

Сергей  
СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ



Севастопольская страда



Все в одном томе

Сергей Сергеев-Ценский  
**Севастопольская страда**

«Издательство АСТ»

1937-1939

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Сергеев-Ценский С. Н.**

Севастопольская страда / С. Н. Сергеев-Ценский —  
«Издательство АСТ», 1937-1939 — (Все в одном томе)

ISBN 978-5-17-154733-2

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский (1875–1958) – российский и советский писатель, лауреат Сталинской премии за роман-эпопею «Севастопольская страда». Монументалист, которого Горький ставил в один ряд с Толстым, Гоголем и Достоевским. Роман-эпопея «Севастопольская страда» посвящен событиям Крымской войны 1853–1856 гг. Но книга эта не о войне, а о людях: об адмирале Нахимове и русских моряках, о генерале Горчакове и жителях Севастополя, которые самоотверженно защищали родную землю. Их имена и судьбы Сергеев-Ценский увековечил в своем романе.

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-154733-2

© Сергеев-Ценский С. Н., 1937-1939  
© Издательство АСТ, 1937-1939

## Содержание

Том 1	6
Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	24
Глава третья	40
Глава четвертая	62
Глава пятая	78
Глава шестая	86
Глава седьмая	99
Часть вторая	111
Глава первая	111
Глава вторая	125
Глава третья	138
Глава четвертая	151
Глава пятая	160
Глава шестая	163
Глава седьмая	181
Глава восьмая	186
Часть третья	218
Глава первая	218
Глава вторая	234
Глава третья	258
Конец ознакомительного фрагмента.	259

# **Сергей Николаевич Сергеев-Ценский**

## **Севастопольская страда**

© ООО «Издательство АСТ», 2023

## Том 1

### Часть первая

#### Глава первая Бал

##### I

Необыкновенной мощности, багроволицая, несмотря на щедрый слой пудры, с дюжим носом и круглыми ястребиными глазами, адмиральша Берх, энергично действуя веером в направлении складчатой шеи и низко декольтированных широких жирных плеч, басом говорила полковнику Сколкову:

– Но послушайте, как адъ-ю-тант светлей-шего, должны же вы были от него слышать его мысли вслух!.. А то мы ведь так и не знаем, можно ли нам, слабым существам, оставаться здесь, в Севастополе, или убираться отсюда, пока в нас не начали стрелять!.. Вон адмирал Корнилов свою Лизавету Васильевну еще в июле в Николаев отправил со всеми чадами... Правда, она ходила беременная пятым ребенком, ей всякая там эта стрельба с кораблей английских вредна, конечно... Ну а для нас чем она может быть полезна?

В сияюще белом кителе, как, впрочем, и все другие офицеры в этом зале, молодой, ловкий и самоуверенный, хорошего роста и еще лучшего на вид здоровья, полковник Сколков, почтительно наклоняясь к адмиральше, но глядя больше на ее племянницу м-ль Катрин, отвечал, улыбаясь:

– Предосторожность, конечно, никогда не мешает, но князь даже и сегодня еще нам говорил, что он десанта союзников не ждет.

– Вот тебе раз: не ждет! Князь может его не ждать, разумеется, на то его воля, однако известно ведь всем, что десант уже три дня стоит у Змеиного острова, – возмущенно пробасила адмиральша, оглянувшись при этом влево и вправо.

– Что же, что он стоит у Змеиного острова! – снова улыбнулся Сколков.

– Постоит, может быть, и еще неделю, потом вернется опять в Болгарию.

– Что-о? Как вернется? – выкатила глаза адмиральша. – Зачем же он выходил в море, если вернется? Это, может быть, ваше личное мнение, а не князя?

– Да-а, между прочим князь высказывал и такое предположение, – невозмутимо продолжал Сколков. – Есть известие, что армию просто вывезли из Варны как из места, зараженного холерой.

– И от холеры их набили битком на суда и вывезли в море? Чтобы удобнее было покойников в море швырять?.. Ну, признаюсь, батюшка, такой глупости мы с вами едва ли дождемся от англичан и французов!

– От холеры они ведь вообще не знают, как избавиться, а между тем армия тает и тает без всяких сражений. Маршал Сент-Арно послал против наших войск генерала Канробера в Добруджу, а через месяц в ту же Варну вернулось из тридцати тысяч войск французских только двадцать: десять тысяч легли там, в болотах... Погибли совершенно бесполезно и для Франции, и даже для теории войн, потому что не удалось им даже и увидеть ни одного нашего казака.

Вообще надо сказать, что союзникам не везет. Вы говорите: зачем было сажать армию на суда? Но ведь Варна почти вся сгорела от ужасного пожара, о каком недавно писали в газетах!

– А-а, это что подожгли греки?

– Греки или не греки, только Варна сгорела. Осталось лишь одно имя, а Варны уж никакой нет. И если бы пороховые погреба не отстояли войска, то и некого было бы сажать на суда после взрыва, потому что...

– Это все вы лично так говорите или князь так говорит? – бесцеремонно перебила адмиральша, настолько уже тяжело дыша и выпучив глаза, что Катрин, хорошенькая блондинка, нашла нужным вмешаться:

– Тетю занимает один только вопрос: пора уж нам уезжать из Севастополя или мы можем пока оставаться здесь?

– Ну конечно же, я ведь сама именно так и сказала, – подтвердила адмиральша, – а все эти рассуждения меня занимают гораздо меньше!.. Это дело князя, это дело Станюковича, Корнилова, Нахимова, моего мужа и прочего начальства... Что князь говорит, это я и без вас знаю от мужа; мне только хотелось бы знать, что он думает!

На это адъютант Меншикова, командующего всеми сухопутными и морскими силами Крыма, улыбнувшись Катрин и несколько понизив голос, проговорил:

– Князь старается думать так и то, что думают по этому вопросу там, в Петербурге.

И при слове «там» наклоном хорошо сработанной головы с безукоризненным английским пробором в темных волосах очень точно указал на север, так как далеко не в первый раз был в этом бальном зале, теперь совершенно переполненном разряженными дамами и офицерами гарнизона и флота.

Было по старому стилю 30 августа 1854 года. В этот день, как всегда, праздновали память «святого благоверного князя Александра Невского». Со времен императора Павла этот день считался днем «царским», так как в этот день непременно бывал именинником или наследник престола, или сам царь. Теперь именинником был наследник, шеф Бородинского полка, а по давним полковым традициям этот праздник знаменовался балом.

Бородинский полк, отправившись пешим порядком из Нижегородской губернии еще осенью 1853 года, прибыл в Севастополь в мае 54-го, и ему не было отведено казарм.

Солдаты помещались в лагере на Бельбеке, верстах в шести от города. Они явились на обедню, молебен и парад к Михайловскому собору, прошли церемониальным маршем перед светлейшим и его свитой, получили от него поздравление с праздником, ответили: «Покорнейше благодарим, ваша светлость!» – и ушли в свой лагерь снова.

Офицерство же деятельно готовилось к балу в приспособленном для балов, вечеров и приемов высочайших особ роскошно отделанном доме Дворянского собрания, стоявшем около Графской пристани.

Танцевальный зал в этом собрании был обширный, в два этажа, облицованный белым мрамором, с пилястрами и колоннами из розовых мраморных плит. Свет в этом зале был верхний, двери из красного дерева, отделанные бронзой.

В бильярдной комнате и нескольких кабинетах, окружавших зал, были дорогие обои – розовые, голубые, зеленые, с золотым тиснением.

И по архитектуре это было красивейшее здание Севастополя, в котором в те времена было все-таки немало больших и красивых зданий.

Библиотека морского ведомства, собранная трудами адмиралов Лазарева и Корнилова, помещалась тоже в обширном и красивом доме, а на площадку над нею, на которой установлены были оптический телеграф и телескоп, вела мраморная лестница, украшенная сфинксами прекрасной работы.

Главные улицы Севастополя, единственные замощенные булыжником – Екатерининская и Большая Морская, – сплошь почти состояли из вместительных двух- и трехэтажных камен-

ных домов – признак того, что Черноморский флот пользовался особым благоволением правительства, и офицерство в нем было богатое, около него могли наживать капиталы, раскидисто строиться и вполне благоденствовать купцы.

Даже форты, охранявшие Севастополь от нападения чужого флота, издали казались не только колоссальными сооружениями, но со своими круглыми башнями по углам были похожи на средневековые замки несокрушимой мощи.

В то время как адмиральша Берх выпытывала тайные мысли Меншикова у одного из его адъютантов, другие дамы атаковали с тою же целью другого адъютанта светлейшего, двадцатисемилетнего конногвардейца, штаб-ротмистра Грейга.

– Самойло Алексеич! Скажите, как решено князем – выйдет наш флот сражаться с флотом союзников? – искательно спрашивала в кругу гораздо более молодых, чем адмиральша, дам жена капитана 2-го ранга Суслова, мать четверых детей.

– Поверьте, что об этом даже не поднималось вопроса! – прикладывал руку к сердцу, снисходительно улыбаясь, коренастый плотный Грейг. – Ведь до последнего времени наш флот и не выходил за рейд.

– Да, конечно, раз это было не нужно... А вдруг их эскадра с войсками подойдет к Севастополю?

– Зачем же ей идти к Севастополю?

– Как зачем? Говорят, так именно и пишут во всех заграничных газетах: цель войны, какую союзники себе ставят, – уничтожить наш флот и взять Севастополь!

Женщина с кроткими карими глазами, всецело занятая детьми, домашним хозяйством, визитами, сама Суслова, как и все дамы того времени, никогда не читала газет, считая это исключительно мужским занятием, как флотская или артиллерийская служба, как парады и выговоры, получаемые от начальства.

– А разве о том, что действительно хотят сделать наши враги, они будут кричать за несколько месяцев? – покоряюще мягко и снисходительно спрашивал ее Грейг. – Вот именно потому, что они кричат об этом очень давно, у нас и думают, что они или совсем никуда не пойдут, ограничатся одним шумом, или пойдут куда угодно, только не в Севастополь!

Этот довод показался до того убедительным, что дамы, слушавшие вместе с Сусловой Грейга, переглянулись.

– Конечно, только шпионы доносят противникам, что те один против другого задумали!

– И за это шпионов вешают!

– Хотя газетные писаки те же шпионы...

– Однако правительства Англии и Франции, наверное, не позволили бы им писать такое, если бы это была правда?

А Грейг продолжал уверенно:

– По нашим сведениям, у них, если исключить больных, наберется не больше пятидесяти тысяч. Это очень много для десантной армии: как можно высадить столько, у нас не представляют ясно, – но это ведь совершенно ничтожные силы для того, чтобы взять Севастополь!

– Я слышала, говорил муж, что в осажденной крепости один человек может и пятерым сопротивляться, – сказала Суслова.

– Да, это общепринято. Но ведь наш гарнизон может быть даже побольше тридцати тысяч, так что у нас думают, что к нам союзники не сунутся! – очень торжественно заключил Грейг, заслужив этим благодарные огоньки не в одних только кротких глазах Сусловой.

Когда он говорил «у нас думают», то это значило, что думают в среде адъютантов светлейшего. Меншиков не терпел не только штабов, но даже и самого слова «штаб», и его молодые адъютанты, исполняя все штабные работы, вполне естественно считали себя «головкой» гарнизона Севастополя и всех войск Крыма. Впрочем, сын и внук знаменитых адмиралов, осно-



воположников русского флота, штаб-ротмистр гвардии Грейг с детства знал о себе, что он рожден для блестящей карьеры, и привык с уважением относиться к своему уму.

Однако одна из дам, его окружавших, бойкая спорщица, капитанша Бутакова, вспомнила об английском парламенте, в котором обсуждались вопросы ближайших военных действий после того, как сухопутная русская армия князя Горчакова 2-го была в июне отозвана с Дуная, чтобы избежать военных действий еще и с Австрией, молодой император которой Франц Иосиф, по выражению царя Николая, «удивил мир своим вероломством».

– Я очень, очень хорошо запомнила это, – отчетливо заговорила Бутакова, сверкая белизной безукоризненных зубов, – в парламенте обсуждался только этот вопрос: идти ли им на Севастополь? И вот все, все они, все эти лорды Пальмерстоны, и Россели, и другие решили: непременно идти! Вот...

Она даже не сочла нужным договорить: вывод и без того казался ей ясен, – и кроткие карие глаза Сусловой снова обеспокоенно обратились на Грейга, но Грейг возразил веско, как взрослый в толпе детей:

– С нами воюет ведь армия, а не парламент! Мало ли чего хотелось бы парламентам, где сидят всякие рябчики!.. Я сказал «воюет», но ведь союзная армия ни разу пока еще не видела нас, а мы ее. Нам известно даже, что в армии союзников существуют большие несогласия среди командующих... А последний манифест Луи Наполеона вам известен? Вот этот манифест гораздо ближе к истине. Там прямо так и говорится: «Враги наши от Балтики до Кавказа не знают, куда мы направим решительный свой удар...» Видите ли, какая нам объявлена милость? Не знаем и не будем знать, пока удар не будет нанесен! Вот как сказано! Мы можем только догадываться, что не в Севастополь, а...

Высказать догадку эту Грейгу так и не удалось, потому что как раз в этот момент музыканты полкового оркестра, помещенные вместо хоров на деревянном помосте под потолком, грянули туш: командир Бородинского полка Вережкин-Шелюта 2-й почтительно встречал начальника своей 17-й дивизии, генерал-лейтенанта Кирьякова.

Знаменитый своим голосом, темно-малиновый от большого количества ежедневно выпиваемых крепких напитков, с голубыми бакенбардами и усами и с голым, как ладонь, черепом, низенький, но на высоких каблуках с гремучими огромными шпорами, всячески стремящийся поддержать о себе мнение как о боевом генерале-рубаче, он прежде всего справился у Вережкина, передернув широкими ноздрями:

– Командующий будет?

– Обещался быть, ваше превосходительство... До его прибытия не откроем танцев... – заторопился ответить бравый видный полковник с тою приветливой улыбкой хозяина, которую как будто надел он на себя исключительно ради этого бала.

– Прибытия... хм-хм... прибытия! – прищурил пренебрежительно глаза Кирьяков, проходя в зал.

Что генерал Кирьяков взял себе за правило презрительно относиться к командующему силами Крыма, открыто разнося в кругу своих подчиненных каждую из его мер по обороне Крыма, это знал Вережкин, знал он и то, что за это Меншиков нескрывая ненавидит Кирьякова и давно бы сместил его, если бы только власть смещать начальников дивизий предоставлена была ему царем.

Стоявший в зале портрет именинника – наследника – был густо обвит гирляндами цветов, между тем как портреты императорской четы хотя тоже были украшены цветами, но заметно скромнее. Кирьяков, остановившись перед портретами, недовольно заметил Вережкину:

– Насколько я вижу, тут кто-то у вас умствовал, полковник, хм... А в таких случаях, доложу вам, требуется как можно меньше ума, но-о как можно больше трепета, – вот что-с!

Веревкин только наклонил скромно голову: этим занималась его жена, а он привык полагаться на нее даже в важных хозяйственных делах управления полком.

Новый встречный туш заставил его обернуться к дверям зала: входил Моллер, тоже генерал-лейтенант, но старше Кириякова по производству, уже довольно древний старик, весьма отяжелевший, с пушистыми кудерьками снежно-белых волос, получивший от Меншикова прозвище Ветреная Блондинка за то, что месяца два назад в депеше, полученной с семафорного телеграфа, «SO», то есть «юго-восток», принял, по незнанию морских терминов, за 50. Депеша была такая: «Неприятельская эскадра показалась на SO». В ней не было ничего тревожного: небольшие неприятельские эскадры часто проходили в виду Севастополя, блокируя русские порты Черного моря, охотясь за каботажными судами. Но у Моллера при докладе его Меншикову получилось: «Показалась неприятельская эскадра в пятьдесят судов», – а это уж прозвучало тревожно: это могло даже означать близкую бомбардировку Севастополя с моря.

Окна собрания были открыты туда, в море, в лунную теплую ночь; двери, конечно, тоже были открыты, однако сквозняка не выходило, даже язычки свечей в люстре почти не колыхались. Проворные солдаты собрания, усатые и с бакенбардами в виде котлеток, но без бород, как это тогда полагалось, высоко подымая над головами подносы со стаканчиками сливочного, кофейного, ягодного мороженого, обносили им дам.

Ничего не надеялись узнать обеспокоенные замыслами союзников дамы ни от генерала Кириякова, ни тем более от Моллера. Но вот вошли вместе два Аякса<sup>1</sup> флота: вице-адмиралы Корнилов и Нахимов, оба равного роста, высокие, узкоплечие, несколько сутулые, – мозг и сердце флота. Корнилов – в золотых аксельбантах генерал-адъютанта, отставших при движении от его впалой груди, с Георгием в петлице и Владимиром на шее. Нахимов – герой Синопа – с двумя Георгиями; оба русоволосые и светлоглазые. Старший летами – Нахимов – старший из флагманов флота; Корнилов же – начальник штаба флота. И дамы, со стаканчиками мороженого или с одними только кружевными веерами в руках, сейчас же окружили обоих.

Нахимов был убежденный холостяк, жил одиноко, тревоги дам были ему не совсем понятны, но, строгий на службе, имел мягкое сердце в быту. Обеспокоенных дам надо было успокоить, и, поворачивая то к одним, то к другим голову с низковатым покатым лбом, как на древних изображениях Александра Македонского, он говорил им:

– Ничего-ничего-с. Все идет как нельзя лучше-с, медам! Неприятель, как видно-с, все-таки побаивается нас и очень близко к нам подходить не желает-с!

– А как же, Павел Степаныч, какая большая эскадра союзная в июле стояла перед Севастополем целый день, – напоминали ему дамы. – Ведь она, разумеется, не зря стояла.

– Это четырнадцатого числа-с? – уточнил Нахимов. – Да-с, да-с, стояла... Что же из этого-с? Постояла и ушла-с. А мы на другой день закладку собора Святого Владимира произвели-с. Мы ведь не теряем присутствия духа-с. Они вздумали перед нами покрасоваться, а мы вот, видите ль-с, собор новый заложили-с... Мы их не боимся, нет-с!

Нахимов говорил это, не улыбаясь, однако и дамы переглядывались, не зная, как его понять: может, это была просто горькая шутка?

Несколько иначе говорил с дамами Корнилов. Смолоду любимец женщин, он сделался хорошим семьянином: никогда не отличавшийся крепким здоровьем, сам он привык беспокоиться о здоровье своих домашних, – но как начальник штаба флота, слишком много труда вложил в огромное дело устройства флота, поэтому больше отвечал беспокоившим очень глубоко его самого мыслям, чем окружавшим его дамам, когда говорил им:

– Только вчера около наших берегов крейсировало одно английское судно – пароход «Карадок». Я его долго наблюдал в трубу. Это было не просто крейсерство: это было судно-

---

<sup>1</sup> Аяксы – два легендарных греческих героя, упоминаемые в поэме Гомера «Илиада». Аяксы всегда были друг с другом неразлучны.

наблюдатель. Видно, наши берега изучались очень тщательно, им делали осмотр, какой следует. Мы не могли прощупать этот пароход с наших батарей, о чем я очень жалею... Да, и эта эскадра, которая нас посетила четырнадцатого числа, имела свои цели. Когда стемнело, она, конечно, ушла, но за день осмотрела все, что можно разглядеть у нас в трубы с приличной дистанции, на какой она держалась.

– Так вы думаете, Владимир Алексеич, что лучше, не теряя времени, уезжать из Севастополя? – по-своему понимали его дамы.

Но Корнилов пожимал узкими плечами, продолжая отвечать своим мыслям:

– Неоспоримых оснований так именно думать я все же не имею. Змеиный остров ведь на одинаковом расстоянии и от Севастополя, и от Одессы. Может быть, противник нацелился на Одессу.

– Оттуда их отобьет опять Щеголев! – сказала было одна из дам, но Корнилов поморщился.

– Ну что там Щеголев с его четырьмя пушчонками! Он, конечно, никого не отбил, это пустяки: союзники тогда высмотрели все, что им было надо, и ушли, чтобы теперь, например, высадить там десант. Одесса – город богатый и почти беззащитный. Кроме того, оттуда они могли бы выйти в Новороссию, отрезать армию Горчакова...

– Так что, это именно так и будет? Значит, они пойдут на Одессу? – спросили дамы.

– Не знаю, не знаю! Если бы мы вообще что-нибудь знали наверное! – поднял обе руки, как для защиты, Корнилов, и одна из дам заметила на это колко:

– Нет, Владимир Алексеич, что вы там ни говорите, а вы хорошо сделали, что отправили Елизавету Васильевну в Николаев!

Корнилов, не ответив на это, оглядел рассеянно поверх искусных и благоухающих причесок дам обстановку зала, заметил кое-что новое, временно внесенное сюда для украшения стен, и, слегка улыбнувшись, проговорил не в тон сказанному раньше:

– А-а, так значит, для бала в этом собрании наши новые сослуживцы отважились на некоторый ремонт! Знать!

Действительно, храбрый полковник Веревкин-Шелюта, готовя собрание к своему первому балу, рассчитанному на большое число гостей, затратил много усилий, чтобы обставить насколько было возможно богаче и без того весьма богато обставленное Дворянское собрание.

Ведавший же всей хозяйственной частью устройства бала полковой казначей поручик Вержиковский заготовил большое количество бутылок шампанского и других вин, но на всякий случай в бакалейном магазине купца Носова, запертом со стороны улицы, дежурил приказчик, который мог бы значительно подкрепить этот запас.

Еще в начале августа стали привозить из окрестностей и благословенных долин небольших речек Бельбека и Качи десертный виноград лучших сортов, и теперь большие корзины чауша и шаслы стояли на стойке буфета собрания рядом с корзиной летних дюшесов и душистых зеленомясых дынь. И, глядя на все это искристое, цветистое, благоухающее великолепие, кто не мог бы мгновенно забыть о какой-то англо-французско-турецкой эскадре с огромным десантом, притаившейся против устья Дуная за плоским островом, на котором будто бы погребено было тело Ахиллеса<sup>2</sup>, перенесенное от стен Трои матерью его Фетидой, – островом, в древности называвшимся Левке, а теперь кем-то и когда-то зловеще названным Змеиным.

Так же точно за островом Тенедосом, лежащим против Безикской бухты, таился ахейский флот, готовясь к походу против твердынь Илиона. За Тенедосом, богатым вином, поджидал Агамемнон, вождь ахейцев, остроносые суда греков, полные воинов для десанта.

---

<sup>2</sup> Ахиллес – один из главных героев поэмы Гомера «Илиада».

В Севастополе знали, что флагманский корабль английской эскадры, таившейся теперь вместе с французской за островом Змеиным, корабль, на котором держал свой флаг командующий эскадрой адмирал Дондас, носил звучное имя «Агамемнон».

## II

– Вот посмотрите, господа, на эти часы – только по рассеянности в свои карманы не прячьте – и скажите, где здесь ключик, – говорил лейтенант Бирюлев, показывая плоские, обыкновенные на вид золотые часы группе молодых флотских офицеров в буфете собрания.

Лейтенант Астапов, склонный к полноте блондин, повертел в руках часы, посмотрел пристально на бретерское осанистое долгоносое лицо Бирюлева и сказал:

– Просто и ясно: ключик потерян.

– Все такого мнения, господа, что ключик потерян? – обвел глазами других Бирюлев. – Как будто все! Тогда смотрите. Вот я завожу часы!.. А вот я ставлю часы по часам этого собрания, так как у меня они позади на двенадцать минут.

И он передвинул стрелку так же без ключика, как и завел часы.

И часы, только что дошедшие в Севастополь из-за границы, пошли бы гулять по рукам, если бы Бирюлев не спрятал их в карман.

– Может быть, такие часы без ключика есть у всех офицеров союзного флота, – сказал Астапов.

На это Бирюлев ответил:

– Я думаю, что и у многих армейцев. Но вот еще какая новость техники: за границей начали будто бы делать бумагу из дерева.

– Как из дерева? Из какого дерева? – удивились все.

– А из чего делают бумагу у нас? – спросил Бирюлев.

– Из тряпок, кажется.

– То-то что из тряпок. Но это дорогая бумага, а там будто бы получается из обыкновенных бревен и очень дешевая.

– Каким же образом?

– Очень просто. Подвергаются бревна химической обработке, в результате получается прекрасная бумага.

– Вот оно что! – качнул головой лейтенант Холин, книжник и немного поэт. – Если с простыми карманными часами и с бумагой так обстоит дело за границей, то сколько же последних слов техники приготовили они для нас, грешных? А мы об этом и понятия не имеем.

– О конических пулях Минье мы уже читали, остается только увидеть их в действии, – сказал Астапов.

– Пули Минье уж не новость, я читал о каких-то ядовитых газах: выдумал один англичанин, – только не дал этому веры, – отозвался на это мичман Завалишин, крепкий брюнет с энергичным лицом. – Могут ли быть изготовлены такие газы?

– Отчего же нет? Есть ведь «Собачья пещера» – грот такой где-то в Италии, в котором собакидохнут. Почему жедохнут? Очень просто – ядовитые газы! – сказал Бирюлев.

– Я не об этом! Ядовитые газы, конечно, есть даже в угольных шахтах в России – незачем в Италию ездить, – а вот как ими действовать могут?

Начинать ими гранаты, что ли?

– А почему же? Хотя бы и так!

Дамы не позволили молодым флотским развить разговор о последних словах заграничной техники в военном деле. Дамы требовали неусыпного внимания к себе, иначе зачем же они пришли на бал? Наконец, они чувствовали себя встревоженно и настойчиво требовали, чтобы их успокоили по-настоящему, прочно, отвлекли бы их мысли в беззаботное прошлое.

Несмотря на то что огромный союзный флот заставил молодой и малочисленный русский флот укрыться в бухте под мощную защиту семисот орудий береговых батарей, севастопольская жизнь отнюдь не нарушала своего заведенного задолго до объявления войны течения.

Даже и в августе до этого последнего дня каждый день в шесть часов вечера на двадцатипушечном корабле «Великий князь Константин», носившем флаг Корнилова и стоявшем у Екатерининской пристани, начинал играть оркестр, а на самой пристани гремело еще несколько оркестров, как флотских, так и армейских, и даже роговой хор гусарского полка с песенниками.

И тогда на Приморском бульваре, где стоял бронзовый памятник герою Черноморского флота лейтенанту Казарскому, начиналось гулянье, и Севастополь мог показаться даже любому мизантропу самым счастливым, самым веселым городом в мире.

На гуляньях этих много было женщин: для них, в сущности, и устраивались гулянья, — потому что Севастополь по самому чину военной твердыни, предназначенной охранять весь юг европейской России, был подчеркнута мужской город. Из сорока двух тысяч его населения в те времена тридцать пять тысяч приходилось на войско гарнизона и матросов флота, а из семи тысяч остальных жителей сколько могло приходиться на женщин, если исключить чиновников, купцов, ремесленников, рабочих и детей?

Конечно, город с таким огромным количеством постоянно живущих военных привлек не одну сотню жриц свободной любви, которые, чуть только раздавалась музыка на пристани, выходили на свой промысел, отчетливо, по-военному маршируя по главным улицам — Екатерининской и Морской, по Театральной площади и пристаням. На Приморский же бульвар, где у входа дежурила с шести часов полиция, могли из них попасть только те, которые одевались «под приличных дам».

По всей основной шестикилометровой бухте, которая называлась Большим рейдом, и по рукаву ее — Южной бухте — стояли картинно красивые, хотя и со свернутыми парусами, корабли, фрегаты, бриги, бригантины, корветы, яхты, тендеры, транспорты, шхуны и многочисленный купеческий флот.

Было и несколько пароходов. Все знали, что за постройкою их следил и принимал их Корнилов.

На всех этих судах, хотя и праздно стоявших, все-таки кипела привычная жизнь. Между ними и от них к пристаням — Екатерининской и Графской — скользили под веслами и на парусах боты, вельботы, шлюпки и катера с катающимися флотскими дамами. Весело, раскатисто смеялись на тихой воде, разноцветными зонтиками защищаясь от жаркого солнца, звонко пели.

В такие «царские» дни, как этот — 30 августа, все суда бывали разукрашены флагами, и эта пестрота флагов, отражаясь в зеркале бухт, не могла не веселить глаз.

Что Севастополь совершенно неприступная крепость и взять ее с моря невозможно — в это поверили к концу дня 14 июля даже и те, кто сомневался в этом. В этот день с утра Севастополь был обложен флотом союзников, который подошел к его батареям почти на пушечный выстрел. Флот был вдвое более сильный, чем скрывшийся в бухте русский. Все видели, что лавирует он не спеша от Камышовой бухты — «Прекрасной гавани» древнего Херсона — до Балаклавы, однако не пытаясь вступать в бой с батареями фортов.

А в это время все начальствующие лица Севастополя были заняты подготовкой к торжеству закладки нового собора. И торжество это действительно состоялось на следующий день, день памяти «святого равноапостольного и великого князя Владимира», когда, по плану профессора архитектуры «действительного статского советника К. А. Тона», собор был заложен, и каждый из присутствующих на торжестве адмиралов и генералов положил свой кирпич в его фундамент, и Златоуст того времени, Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, сказал при закладке памятное слово.



– Кто не знает, что у врагов наших одно из задушевнейших желаний состоит в том, – восклицал он, подымая глаза к небу, – чтобы отторгнуть здешнюю страну от состава России? Но скорее не останется во всех здешних горах камня на камне, нежели мусульманская луна заступит тут место креста Христова!.. Итак, не унывай, богоспасаемый град Севастополь, от множества и от злобы врагов, тебя обышедших, памятуя, что ты преемник не Ахтиара мусульманского, а православного Херсонеса Таврического!

Собор был заложен, и о визите союзной эскадры забыли. Откуда же шел источник этого неколебимого спокойствия, которого хватало на несколько десятков тысяч гарнизона и обывателей, несмотря на статьи в газетах иностранных и русских, как «Северная пчела» или «Journal de S.-Petersbourg», несмотря даже на речь Иннокентия, подчеркнувшего «задушевнейшее желание» союзников?

Источником этого спокойствия являлся сам светлейший князь Меншиков, которому было в то время шестьдесят шесть лет.

Юности свойственна пылкость, старости – хладнокровие, однако хладнокровие Меншикова кое-кому из молодых и пылких временами казалось просто преступным, потому что оно было совершенно бездейственным. Все знали, что Севастополь хорошо укреплен с моря, но все видели также и то, что он почти совершенно открыт с суши: по линии в семь верст расположено было всего полтора десятка мелких орудий. Все знали, что было время укрепить как следует подступы с суши, и все видели, что Меншиков не только сам не делал никаких распоряжений на этот счет, но даже изумлялся, когда ему говорили об этом другие. Между тем берега Большого рейда укреплялись все сильнее и сильнее, чтобы не допустить неприятельский флот прорваться в бухту. Меншиков не был моряком смолоду, однако долготелняя за последнее время служба по морскому ведомству и чин адмирала сделали свое дело: если Меншиков иногда и думал о нападении неприятеля на Севастополь, то ожидал его только со стороны моря. Это была привычка давнего адмирала – глядеть в море. И в то время как местное купечество, сложившись, купило у пьяницы шкипера Малахова курган, на котором завел было он маленькое хозяйство, на кургане этом построило оборонительную башню с амбразурами на пять орудий, сам Меншиков на устройство окружной саперной дороги в окрестностях Севастополя, дороги, которая должна была иметь очень важное значение в случае действия неприятеля с суши, ассигновал из казенных средств всего только двести рублей, а дорогу нужно было проложить в каменистом грунте и протяжением на шестьдесят верст. Инженерное ведомство, добивавшееся у Меншикова согласия на устройство саперной дороги, не могло не охладеть к ней, получив такую сумму; дорогу начали было проводить силами солдат, но скоро бросили, и, когда доложили об этом Меншикову, это вызвало с его стороны только очередной каламбур.

Меншиков имел репутацию остроумнейшего человека своего времени. Когда царь Николай после смерти весьма престарелого петербургского митрополита Серафима в 1843 году обратился к Меншикову за советом, кого бы назначить на место умершего, Меншиков ответил: «Что же вам, ваше величество, затрудняться, когда у вас есть Клейнмихель? Извольте назначить его с отчислением по кавалерии. Он у вас только митрополитом и не был, а то всем уже был!» Один важный сановник, о котором прошла молва, что его били в игорном доме за шулерство, получил орден Андрея Первозванного, и когда Меншиков увидел его во дворце на приеме у царя в новенькой синей андреевской ленте, он сказал громогласно: «Однако основательно колотили этого мерзавца: посмотрите, какой огромный синяк у него вскочил!» На одном из придворных балов дама, бывшая с Меншиковым, спросила его, показав веером на подымавшегося по лестнице министра государственных имуществ графа Киселева: «Qui est ce general la?»<sup>3</sup> – «C'est le ministre, qui s'eleve»<sup>4</sup>, – тут же ответил Меншиков, намекая на то, что

<sup>3</sup> – «Кто этот генерал?» (фр.).

<sup>4</sup> – «Министр, который идет в гору» (фр.).

тогда по служебной лестнице Киселев сильно шел в гору. Но бывшие в ведении Киселева государственные крестьяне часто бунтовались, за короткое время насчитывалось сорок два бунта, усмирявшихся войсками, и Меншиков говорил о Киселеве: «Его надо причислить со всем его ведомством к военному министерству: никто, как он, не заботится о том, чтобы солдаты наши упражнялись в военных действиях в мирное время».

Подобных острот и каламбуров Меншикова ходило в обществе множество. Но, кроме присяжного остроумца, Меншиков считался еще и способнейшим дипломатом. Свою государственную службу он и начинал как дипломат в штатских должностях министерства иностранных дел. На военную службу в гвардию он зачислился во время первой войны с Наполеоном. В конце царствования Александра вздумал вместе с несколькими другими придворными поднять голос против всесильного тогда Аракчеева и в результате вынужден был выйти в отставку и поселиться в одном из своих имений, где почему-то начал изучать морское дело, пользуясь своей библиотекой, одной из лучших частных библиотек тогдашней России.

Когда воцарился Николай, Меншиков снова поступил на службу и снова как дипломат был послан в Персию. Казалось бы, что эта служба не могла сделать из него моряка, но по возвращении из Персии Меншикову было поручено царем преобразовать морское министерство. Однако во главе морского министерства мог стоять только адмирал. Меншиков был переименован в адмиралы. Командовал десантом во время войны с Турцией в 1828 году и взял крепость Анапу, но под другой турецкой крепостью – Варной – был ранен в обе ноги ядром, в третий уже раз, притом ранен тяжело. Но уцелели все-таки ноги, и после войны он был назначен начальником главного морского штаба, потом генерал-губернатором Финляндии. Наконец, снова как дипломат оказался он при истоках восточной войны, посланный царем в Константинополь для переговоров с султаном о ключах вифлеемской церкви.

Эти ключи оказались ключами к первой после Наполеоновских войн большой европейской войне.

О ключах вифлеемской церкви писали в то время очень много и в иностранных и в русских газетах, так что даже и севастопольские дамы, сухопутные и морские, отлично знали, что весь сыр-бор разгорелся из-за каких-то ключей и права водрузить серебряную звезду в алтаре вифлеемской церкви, так как ни ключей, ни звезды православные – русские – не хотели уступить католикам, католики же – французы – не хотели уступить православным.

Ключи были только символ, внешний повод. Разговоры о покровительстве грекам, болгарам, сербам и прочим христианам, земли которых входили в состав турецкой монархии, прикрывали другие, более земные – политические и экономические расчеты.

Решались вопросы о господстве или влиянии на Балканах, в Турции, Персии, об обладании рынками сбыта товаров, о контроле над проливами. Держава – покровительница христиан, всегда имела возможность воздействия на Турцию и даже занять своими войсками Болгарию, Сербию, Грецию, наконец, совсем и навсегда вытеснить турок из Европы.

Турция занимала немалое место в колониальных планах России, Англии и Франции. И в то время как Меншиков вел переговоры с Портой о ключах вифлеемской церкви, лорд Россель в парламенте произнес громовую речь, полную оскорблений по адресу Николая. Он в первый раз сказал во всеуслышание, что дело тут не в ключах, конечно, а в протекторате над Турцией. Между тем – конечно, по указке свыше, – архиепископ Парижский обнародовал в газетах воззвание, что вся Франция должна стать на защиту своей святой римско-католической веры от посягательств русской державы, и прелаты уже призывали на оружие Франции благословения Неба.

Миссия Меншикова не привела ни к чему: султан искал себе покровителя против Николая, и нашел в лице незадолго перед этим взобравшегося на французский трон Луи Наполеона; ключи от вифлеемской церкви были переданы католическому духовенству.

Тогда Николай решил предложить Англии через посредство английского посла Сеймура ни больше ни меньше как любовный раздел Турции, но с тем неперменным, однако, условием, чтобы Англия не посягала на Стамбул и проливы, а вознаградила бы себя Египтом и Критом.

Но правительство Англии не хотело усиления могущества России. Длинные руки из Лондона доставали до самых русских границ, крепко зажали торговлю на Востоке. И как всегда, любая попытка изжить это положение вызывала бурю негодования и потоки лицемерных речей в английских правительственных кругах.

И Англия, бывшая до того с Францией в отношениях, близких к войне, протянула ей руку для борьбы с «нарушителем европейского равновесия» – царем Николаем.

Севастопольские дамы не знали причин войны. В театре они все пересмотрели пьесу Нестора Кукольника «Морской праздник в Севастополе, или Синопский бой», в морском собрании они видели картину молодого художника-мариниста Айвазовского, имевшую темой тот же подвиг Черноморского флота. Но ходили слухи, что англичане, раздраженные победой Нахимова, блистательно истребившего турецкую эскадру в Синопском заливе, деятельно готовились к длительной и большой войне, чтобы русский флот перестал существовать и чтобы Севастополь, как древний Карфаген<sup>5</sup>, был разрушен.

Между тем все разговоры и с адъютантом Меншикова, и с адмиралами, и с генералами, близкими к светлейшему по делам службы, не успокаивали дам. Ответы казались им явно уклончивыми, генерал же Кирьяков ответил насмешливо, что лучше его знают сами союзники, куда именно они вздумали вести десант.

Однако дамам казалось бесспорным, что, кроме союзников, должен знать это тот, кому вверена судьба Крыма, – главнокомандующий сухопутных войск и флота, светлейший князь, который к тому же, как было известно, состоит в личной переписке с самим царем. Он дипломат, конечно, он может не сказать из каких-нибудь соображений этого прямо, если его спросить, но успокоительный ответ всегда ведь можно прочесть на его лице.

И когда полиция, оцепившая с площади дом Дворянского собрания, чтобы праздная публика не смела прохаживаться под окнами, дала знать на лестницу, что вышел из дворца светлейший, дамы из разных углов залы и кабинетов собрания поспешно столпились около входных дверей.

Меншикова звали Александр Сергеевич, и он также был именинником в этот день, как и наследник. И если офицерам флота и армии была возможность поздравить именинника перед парадом и после парада, во время обеда в морском собрании, то дамам предоставлялось сделать это теперь.

Внушительных размеров букет чайных роз и алых гвоздик был приготовлен для этого хозяйкой бала, полковницей Веревкиной, молодой крупной женщиной тех расплывшихся, но искусно стянутых форм, которые вежливо зовут роскошными.

Меншиков поднимался по невысокой, но широкой мраморной лестнице, устланной красным ковром и ярко освещенной свечами в бронзовых бра, весьма торжественно. Он был более чем высокого роста – это было в роду у Меншиковых, начиная с основателя рода «безвестного баловня счастья», петровского денщика.

Несмотря на свои преклонные годы, именинник держался прямо; седые волосы на вытянутой голове были еще довольно густы; коротко подстрижены были белые усы, черные глаза глядели внимательно не под ноги, на ступеньки и ковер, а вверх, где у дверей толпились дамы и слышалась из зала подготовка оркестра к радостному тушу.

---

<sup>5</sup> Карфаген – финикийское государство и главный его город в Северной Африке; разрушен войсками Рима, с которыми вел войны (264–146 до н. э.).

Он казался при своем росте сухощавым, если не худым, однако это не была сухощавость стариков его лет, это была его прирожденная стройность, которую передал он и своему сыну Владимиру, генерал-майору, шедшему с ним рядом, справа, а слева, на шаг сзади него, держался старший его адъютант – полковник Вунш.

Хозяйка бала встретила светлейшего именинника в дверях, скрывая нижнюю половину своего дородного, вдруг раскрасневшегося лица за букетом. Она приготовилась было сказать небольшую речь наподобие речи Иннокентия при закладке собора – конечно, гораздо проще, – но проговорила только:

– Поздравляем вас, Александр Сергеевич, с торжественным днем вашего ангела...

И неожиданно даже для себя самой остановилась: все остальные слова как-то мгновенно вылетели из ее головы, а букет совершенно произвольно потянулся к золотым аксельбантам князя.

Князь благосклонно поблагодарил ее невнятной французской фразой и, молодецкато склонившись, поцеловал ее пухлую руку.

Дамы кругом кричали:

– Поздравляем! Поздравляем, ваша светлость! С ангелом!

Наконец, грянули музыканты и покрыли все голоса. Прижимая к груди букет, Меншиков наклонял голову влево и вправо, и улыбка его при этом была похожа на досадливую гримасу. После обеда в морском собрании он спал часа два-три, но теперь его мучила изжога и он думал только о содовой воде. Вечерний свет скрадывал желтизну его лица, очень заметную днем. Ноги его побаливали, но к этой боли он уже приспособился, привык: это была давнишняя его подагра, иногда она разыгрывалась, но теперь была вполне терпима.

Генерального штаба полковник Вунш, плотный белокурый человек лет тридцати двух-трех, спрашивал между тем на ухо у Веревкина, приготовлен ли в собрании кабинет для князя, и Веревкин торопливо выдвинулся вперед, чтобы провести главнокомандующего в кабинет, убранный особенно заботливо.

Но дамы не разомкнули своего тесного круга перед сделавшим было шага два вслед за Веревкиным светлейшим. Ведь только он мог и должен разрешить все их сомнения и снять их страхи. И одна из дам, стоявшая к нему ближе других, жена капитана 1-го ранга Юрковского, застенчивая вообще, но теперь вдруг проникнувшаяся решимостью, сказала неожиданно, когда музыканты умолкли:

– У меня десять человек детей, ваша светлость!

– Да-а? – непонимающе поднял седые брови Меншиков.

– И самый старший мой всего только кадет третьего класса... – продолжала Юрковская. – И я, как и другие матери, хотела бы знать, оставаться ли нам в Севастополе, если это безопасно, или же... или мы должны куда-нибудь выехать?

Брови князя опустились даже ниже, чем нужно, так как теперь он понял, но, чтобы ответить не сразу, спросил:

– Однако чего же именно вы опасаетесь?

– Неприятельского десанта, разумеется! – ответила за Юрковскую бойкая Бутакова.

– Который направляется в Севастополь! – закончила за Бутакову Суслова с кроткими глазами.

– Ка-ак так направляется в Севастополь? – Брови князя опять вспорхнули. – Ведь десант продолжает стоять у Змеинового острова? – посмотрел он на своего сына, на Веревкина, на Корнилова и, остановив встревоженный взгляд на начальнике штаба флота, спросил начальственно: – Разве были еще депеши?

– Никаких с утра, ваша светлость! – поспешно ответил Корнилов.

– Значит, неприятельская армада как стояла, так и продолжает стоять? – обвел с высоты своего роста всех столпившихся дам несколько игривым даже взглядом Меншиков.

Однако Юрковская снова спросила за всех:

– Но ведь она когда-нибудь тронется все-таки и пойдет... Куда же именно?

– Ах, вот что! Вам хочется знать, куда именно пойдет! – улыбнулся Меншиков и ответил быстро, но многозначительно: – На Кавказ!

– На Кавказ? – изумленно повторила Юрковская, а за нею еще несколько дам. – Почему же на Кавказ?

– Таково мнение его величества, – прищутив глаза, ответил князь.

– А вы лично... ваше личное мнение? – не звонко, но настойчиво спросила Бутакова.

– Какого мнения я лично? – на вид чрезвычайно изумился детскому вопросу хорошенькой женщины главнокомандующий и ответил наставительно и потому как будто сурово: – Если мне известно мнение его величества, я не имею права держаться каких-нибудь других мнений!

Серьезность и даже как будто суровость князя, когда он говорил это, была вполне точно понята дамами, а возможность десанта на Кавказе, о чем они иногда слышали и раньше, тоже стала как-то совсем бесспорной после его слов.

Действительно, где же еще и велась война, как не на Кавказе? У некоторых дам родственники погибли в этой войне, у других погибали, третьи успели уже состариться, в первый раз еще в детстве услышав о войне на Кавказе. Просто Кавказ и был таким местом, где воюют и куда, для медленной или скорой смерти, как кому повезет, высылают правительство тех, кого вздумает разжаловать.

Как-то сразу стало ясно, что больше и некуда идти этому досадному десанту, как только туда, на Кавказ, где принято воевать бесконечно.

И круг дам около Меншикова почтительно и благодарно разомкнулся, и князь смог наконец проследовать в кабинет и спросить себе содовой воды.

Музыканты же ретиво грянули котильон, которым обыкновенно начинались в те годы танцы на всех балах, а заканчивались неизменно мазуркой.

На противоположной стороне улицы собралась толпа любопытных послушать музыку оркестра Бородинского полка, посмотреть на то, что можно было увидеть вблизи этого приманчивого для иных юных сердец севастопольского дома веселья.

Пристав, дежуривший около собрания, считал это скопление народа недопустимым и послал двух будочников разогнать толпу. Но в толпе оказалось несколько офицеров из огромного числа не попавших на бал, и будочники сконфуженно вернулись ни с чем.

Среди этих фланировавших по Екатерининской улице офицеров было два флотских: мичман Невзоров и лейтенант Стеценко, которые с двенадцати часов должны были становиться на вахту на телеграфной вышке морского собрания.

Вышки оптического телеграфа были раскинуты по всему берегу от Севастополя до Николаева. Они устраивались на таком расстоянии друг от друга, чтобы днем можно было разглядеть сигналы флагами и шарами, а ночью – семафорами. Депеши, полученные таким образом, поневоле немногословные, передавались с одной вышки на другую, пока не достигали Севастополя – в одну сторону, или Николаева – в другую: двух портов на Черном море, в административном отношении наиболее важных.

Мичман, только что сам покинувший ради вахты бал, говорил лейтенанту:

– Поглядели бы вы, как Бирюлев прыгает! И с кем это он? С Ниной Бутаковой! Вот кому везет по всем статьям! В Нину ведь и я влюблен, однако я вот должен идти на вахту, а он с нею танцует!.. А третьего дня заложил банк и всех нас обчистил... Я от него вышел – положительно сел на экватор.

Выражение «сесть на экватор» было в те времена в большом ходу у черноморских моряков, когда надо было выразить полное безденежье.

Лейтенант Стеценко был постарше Невзорова и считался одним из серьезнейших среди флотской молодежи. Совершенно невозмутимый, обычно с плотно сжатыми губами, как будто



совсем и не приспособленными к улыбке, и с пристальным взглядом небольших серых глаз, точно постоянно занятый измерением и съемкой местности и встречных лиц, лейтенант отозвался, кивнув на окна:

– Очень похоже на так называемый «пир Валтасара»!<sup>6</sup> А между тем как-то неудобно даже: вдруг союзники направятся к нам, а мы, извольте полюбоваться, встречаем их танцами!.. Как-я, подумаешь, счастливая Аркадия!<sup>7</sup>

– Не сунутся к нам союзники! Одни разговоры!.. – И Невзоров по-прежнему жадно вглядывался в окна, хотя в них, конечно, ничего не могло быть видно, и вдруг толкнул Стеценко, почти простонав тоскливо: – А-ах, божественная Катрин и противный Сколков! Если б вы только видели эту пару!

– А в Катрин вы тоже влюблены? – осведомился Стеценко.

– Безгранично!.. Эх, если бы не эта проклятая вахта, я и сейчас был бы там! Представить только!

– Это представить не трудно... Гораздо труднее представить следующий бал в Севастополе.

– Семнадцатого сентября будет!

– По-че-му вы убеждены в этом?

– Как же почему? Семнадцатого – день Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи. Пол-Севастополя будет именинниц! И чтобы не было в этот день где-нибудь бала... Что вы!

– Ну, пойдем уж на вахту, – отвернулся от Невзорова Стеценко и не остался, хотя тот умолял его постоять еще немного.

Мичману пришлось догонять его, зашагавшего неумолимо четко, хотя минут десять, по всем расчетам, они могли бы еще подождать.

А бал между тем к этому времени вполне разгорелся, и разгорелся пышно.

Сам олицетворенное спокойствие на весьма длинных (трижды – под Рущуком, Парижем и Варной – раненных) ногах, князь Меншиков, так успешно успокоив дам и выпив необходимой ему содовой воды, расположился в кабинете собрания со всеми возможными не у себя дома удобствами.

Молодой Меншиков и полковник Вунш остались в зале, а тут около светлейшего сидели, кроме Нахимова и Корнилова, все почтенные старцы:

Ветреная Блондинка Моллер, которого молодежь называла иногда «Рамоллер», производя это олово от «рамоли»<sup>8</sup>, вице-адмирал Станюкович, бывший в Севастополе командиром порта, – пост, равный генерал-губернаторскому, и князь Горчаков 1-й – генерал от инфантерии, командир корпуса, старший брат главнокомандующего Южной армии, которую отодвинули от Дуная австрийцы.

Станюкович был годами старше даже светлейшего: ему было без нескольких месяцев семьдесят лет. Когда-то бравый флотоводец, теперь он стал только хлопотуном и канцеляристом, ретивым хранителем всякого весьма многочисленного казенного добра, скопившегося за долгие годы в порту. Серые когда-то глаза его выцвели и глядели подслеповато. Он часто нюхал табак, медленно доставая для этого табакерку и большой фуляровый платок. Потом, прочихавшись, прятал так же медленно то и другое, чтобы через несколько минут снова нащаривать их, совсем не в тех карманах, куда положил, и не совсем уже послушными, костенеющими руками. Слышал он тоже уже плоховато, хотя всячески силился это скрывать.

---

<sup>6</sup> Валтасар – вавилонский царь, который, согласно Библии, увидел во время пира начертанные таинственной рукой непонятные слова на стене, предвещавшие, как разъяснили толкователи, гибель его царства.

<sup>7</sup> Аркадия – сказочная страна счастья и простоты нравов.

<sup>8</sup> Рамоли (в пер. с фр.) – человек, старчески расслабленный.

Горчаков был года на два моложе светлейшего, почти такого же роста, как он, и, пожалуй, не меньшего хладнокровия. Он был боевой генерал, участник многих сражений, и на его опытность возлагал большие надежды Меншиков в случае, если бы действительно англо-турко-французы вздумали когда-нибудь впоследствии, ради демонстрации, высадиться в Крыму.

Так в не особенно большой комнате этой собрались почти все, от кого зависела судьба крепости и флота, города и Крыма в случае, если бы союзники пустились выполнять волю английского парламента.

Правда, в городе и в окрестностях его – в казармах, палатках и на судах – спали теперь десятки тысяч солдат и матросов, и от них как будто тоже зависело кое-что, но они обязаны были только делать то, что начальство прикажет, без промедления и рассуждений: наиболее вредными для дела войны считались у солдат и матросов какие бы то ни было свои мысли.

На столе перед светлейшим стояла бутылка шампанского. Не без основания, может быть, именно этому коварному вину приписывая свою подагру, Меншиков все-таки не имел достаточного запаса воли, чтобы от него отказаться, тем более теперь, когда, как всегда в день своих именин, он чувствовал себя празднично и не прочь был несколько разойтись.

Не желая напрягать голосовых связок, он говорил негромко, так что Станюкович таращил на него глаза и тянулся к нему открытым ртом и левым ухом:

– Так же точно, господа, как адмирал Непир боится Кронштадта, как черт ладана, и только несчастные финские лайбы топят, так и Дондас с Гамеленом не сунутся к Севастополю, – нет, будьте покойны!

– Да, конечно, Непир бездействует, – живо подхватил Корнилов, – но ведь берега балтийские кое-где все-таки минированы, а у нас что?

– Минированы? – насмешливо качнул головой светлейший. – Пустяки это все! На всякие мины есть свои контрмины... Мины можно поставить – мины можно выловить...

Однако Корнилов не сдавался:

– Ну, под выстрелами береговых батарей не так легко выловить мины, ваша светлость!

– Крепостная артиллерия не может рассчитывать на меткость стрельбы по движущимся целям, но вы правы, конечно: под выстрелами батарей не так бывает приятно даже английским кораблям, и они предпочитают уходить, – неумовимо улыбался его словам Меншиков, улыбкой, похожей в то же время и на гримасу от подагрических болей. – Вообще эта привычка Англии сначала объявить войну, а потом начать к ней готовиться, очень смешна. Помнится, месяцев пять назад было сообщение в газете, что начали точить на наши головы одиннадцать тысяч сабель в Портсмуте; кажется, потом, месяца через два, сообщили, что их продолжают точить в Плимуте, а совсем недавно где-то попало мне, что их дотачивают в Облимуте. Однако это едва ли конец: мы еще прочитаем через полгода, в каком городе – может быть в Манчестере – их окончательно наточили! Только тогда они и решатся сделать десант на Кавказе. Кстати, через полгода начнется весна, а на зиму глядя кто же делает десант?

Из всего сказанного князем Станюкович вполне ясно расслышал только «десант на Кавказе», поэтому взмахнул радостно табакеркой, которую забыл спрятать, и подхватил:

– Стало быть, на Кавказе десант? Это значит, Александр Сергеевич, вполне решено и подписано, а?

Но Меншиков развел длиннопалыми руками, усмехнувшись:

– В Петербурге – да... А как решили Сент-Арно с Рагланом, мне неизвестно... Между нами, господа (впрочем, это, может быть, и не секрет уже), я ведь писал государю еще месяца два назад о своих взглядах на этот предмет... Может ли противник высадить десант в Крыму и где именно удобнее было бы ему высадиться, это я разобрал в своем письме, кажется, довольно подробно.

– И какое же место для высадки нашли вы наиболее возможным? – спросил Горчаков.

– А вы как бы думали?

– Гм... Может быть, Перекоп, чтобы сразу отрезать весь Крым? – не совсем решительно ответил Горчаков.

– Далеко! Туда они не пойдут-с! – оторвался от своей трубочки Нахимов. – Это далеко-с!

– Херсонес! – решительно сказал было Моллер, но тут же, как напроказивший мальчик, тревожно оглядел всех, особенно светлейшего, а Корнилов, разглядывая свой перстень на левой руке и будто думая вслух, проговорил медленно:

– Если уж ждать их, то где-нибудь тут – между Качей и Евпаторией.

– Совершенно верно, Владимир Алексеич! Так именно я и писал, – кивнул Меншиков. – Я пересмотрел все возможные пункты высадки: Перекоп и даже Феодосию, Керчь – и пришел к выводу, что или в самой Евпатории, или южнее... И просил усилить меня хотя бы вдвое. Но-о... мне предложено было усилить моими войсками генерала Хомутова, и туда, к нему, на Северный Кавказ, все гонят подкрепления и пушки. Значит, есть какие-то основания для этого, нам с вами неизвестные.

– Да-с, наступает сентябрь, месяц равноденствия, – выбил и спрятал свою трубочку Нахимов. – Они еще незнакомы с нашим Черным морем, так вот-с – пусть познакомятся.

– В сорок восьмом году, при покойном Лазареве, помните, какая буря была у берегов кавказских? Вот так и теперь может случиться, – сказал Станюкович. – Вот тогда им и будет десант! У нас тогда три судна погибло, у них может быть гораздо больше потерь!

– Не пойдут они на Кавказ! – вдруг громко и решительно заявил Моллер, и все посмотрели на Ветреную Блондинку выжидающе и молча, но Моллер был напыщен, красен и только вращал глазами.

– Почему не пойдут? – спросил, наконец, Корнилов.

– Потому что они ведь не круглые же дураки – вот почему! – Ветреная Блондинка стал воинственно барабанить мясистыми пальцами по подлокотнику кресла, в котором сидел.

– Они, конечно, люди неглупые, – улыбнулся Меншиков, – но что войну ведут они непостижимо глупо, кто же будет против этого возражать?

Между тем как в кабинете успокаивали самих себя те, кто привычно считался мозгом и волей Севастополя, дамы в зале и других комнатах собрания чувствовали уже себя успокоенными прочно. Опьяненные музыкой и дозволенной в обществе близостью молодых, здоровых, веселых, остроумных, воспитанных, а главное – совершенно посторонних мужчин, с которыми можно за эти несколько часов натанцеваться, игриво наговориться и нафлиртоваться вволю, отнюдь не давая определенных надежд на большую близость, но в то же время и не лишая никого этих надежд, молодые и средних лет дамы, а также девицы, весьма немногочисленные, впрочем, в этом городе неисчерпаемого запаса женихов, к половине первого вошли в пределы вполне счастливой беспечности.

Буфет работал всюду.

Презрительно относившийся к Меншикову генерал-лейтенант Кирьяков в кружке удачно подобранных контр-адмиралов и капитанов 1-го ранга, а также одного из своих бригадных – генерал-майора Гогинова, пил крепкий портер, в изобилии заготовленный хозяйственным поручиком Вержиковским, и то рассказывал сам, то, раскатисто хохоча, выслушивал от собеседников несколько пожилые, но все же казавшиеся после нескольких бутылок портера не лишенными еще пикантности анекдоты.

Десертному винограду и душистым зеленомясым дыням была оказана должная честь. В избытке чувств роскошнотелая хозяйка бала распорядилась умеренно угостить и музыкантов, и когда подкрепившиеся музыканты с новой энергией взялись за свои валторны, фаготы и кларнеты и завихрилась мазурка, в собрание вошел лейтенант, одетый так, как полагалось для вахтенных офицеров, и спросил полковника Веревкина, не здесь ли начальник штаба флота.

– Адмирал Корнилов здесь, – ответил Веревкин, – только... я не знаю, будет ли это удобно...

- Получена на телеграфной станции очень важная депеша, – строго сказал вахтенный.
- Да, если важная депеша – конечно... Как о вас доложить?
- Лейтенант Стеценко.

Через минуту Веревкин сам ввел лейтенанта в кабинет и вышел, плотно затворив за собою дверь.

Стеценко, мгновенно оглядев находившихся в кабинете и сделав два шага в направлении Меншикова, четко стукнул каблуком о каблук и сказал тоном рапорта:

– Ваша светлость, только что получена на телеграфной станции депеша о движении неприятельского флота.

И протянул удивленному князю форменный, синего цвета бланк, в который вписывалось переданное семафорами.

Лорнет, вынутый Меншиковым из бокового кармана кителя, заметно дрогнул в его крупной руке, когда он приставлял его к глазам, чтобы прочесть депешу. Он прочитал ее два или три раза – так показалось остальным сидевшим в кабинете, – наконец, сказал глухо, отнимая лорнет от глаз:

– Это, господа, нужно будет еще проверить завтра... то есть уже сегодня, с восходом солнца. Депеша эта могла быть составлена опрометчиво.

– А содержание ее? – быстро спросили и Корнилов и Горчаков.

– Содержание такое: «Неприятельский флот в несколько сот вымпелов держит курс на ост к западным берегам Крыма», – снова вскинув лорнетку, прочитал Меншиков.

Все переглянулись, а Меншиков обратился к Стеценко:

– Кого вы оставили на станции, лейтенант?

– Мичмана Невзорова, ваша светлость.

– Ага... ночь светлая?

– Почти полная луна, ваша светлость.

– Ветер?

– Был вест, теперь упал и полный штиль, ваша светлость.

– В депеше не сказано, где находится сейчас флот?

– Депеша отправлена из Николаева, ваша светлость.

– Во всяком случае, если штиль, они недалеко уйдут: у них очень много парусных судов, и, чтобы их вести на буксире, не хватит пароходов.

Среди очень обеспокоенных лиц лицо Меншикова удивило лейтенанта своим спокойствием. Князь сложил депешу вчетверо и сказал Стеценко тоном приказа:

– Отправляйтесь сейчас же и установите, где именно в данное время находится флот. Депешу доставьте мне лично, но не сюда, а ко мне во дворец.

– Есть, ваша светлость!

Показав прекрасную выправку на повороте, Стеценко вышел.

А Корнилов, глядя на Меншикова, сказал не то чтобы зло и не то чтобы возбужденно, а как человек, с которого свалилась тяжесть ожидания, мучившая его очень долго:

– Ну вот наконец и дождались!

– Чего именно? – живо отозвался Меншиков. – Что армада сдвинулась с места? Она и должна была сдвинуться когда-нибудь, чтобы пойти на Анапу, к Хомутову.

– На Анапу ли?

– А чтобы дойти до Анапы, ей надо обогнуть Крым.

– Но в депеше ясно сказано «на ост», а не на «зюйд-ост»! Ведь для того, чтобы обогнуть Крым, надо идти на зюйд-ост, а не на ост. Змеиный остров и Евпатория на одной высоте...

И Корнилов ногтем большого пальца на белой глаженной скатерти провел две черты: одну, совершенно прямую, от воображаемого Змеиног острова к Евпатории, другую – изогнутую на конце – к Анапе.

Меншиков же заметил на это досадливо:

– Вы вспомните-ка лучше, где Николаев и каким это образом из Николаева могли увидеть движение флота в открытом море!

– Очевидно, туда дали знать из Одессы верхами-с, – вставил Нахимов.

– Это и показывает, что депеша нуждается в проверке.

Никто уже не сидел, все стояли, потому что встал Меншиков.

Станюкович как открыл рот еще при чтении князем депеши вслух, так и не закрывал его, и, глядя то в этот открытый рот, то в белые глаза адмирала, говорил возбужденно Моллер:

– Я ведь только что – вы слышали? – сказал, что они не дураки, чтобы идти на Кавказ! И вот я оказался прав!

– Депешу, конечно, надо проверить, – выразил свое мнение и Горчаков, вынул часы, медленно открыл крышку, присмотрелся к стрелкам и добавил: – До утра осталось уж не так много, а утро, говорят, вечера мудренее.

– Ваша светлость! Прикажете готовить флот к бою? – вытянулся по-строевому перед Меншиковым Корнилов.

– Нет, это и преждевременно, и... и вообще лишнее, – недовольно ответил Меншиков.

Однако все в этом кабинете, уютно обставленном, поняли вдруг, что бал надобно закончить немедленно.

Но это поняли и в зале.

Полковник Веревкин ждал выхода лейтенанта Стеценко, чтобы узнать от него, что за важная новость получена на телеграфе, и Стеценко не считал нужным скрыть содержание депеши, так как не получил от командующего приказа держать это в тайне; бал же этот был ему противен и раньше, когда он глядел с улицы на ярко освещенные окна.

Он вспомнил три гневные строчки Лермонтова:

О, как мне хочется смутить веселость их  
И дерзко бросить им в глаза железный стих,  
Облитый горечью и злостью!

И он сказал Веревкину настолько отчетливо и громко, чтобы могли слышать и другие, кто оказался около:

– Неприятельские силы идут к берегам Крыма!

И тут же вышел на лестницу.

Когда из кабинета показались Меншиков и другие, в зале уже все знали страшную новость. Она промчалась по собранию почти мгновенно, как электрический ток.

Фаготы и кларнеты умолкли, но слышен был мощный бас адмиральши Берх:

– Ну вот и доплясались!.. А теперь уж, пожалуй, отсюда и не уедешь!

Та сложная военная операция, которая могла еще когда-то совершиться, молниеносно совершилась уже в испуганном мозгу.

Кто-то крикнул тоскливо:

– А днем-то едва ли уж и извозчиков найдешь!

И мать десятерых малолетних детей, капитанша Юрковская, с побелевшим и сразу опавшим лицом, не желая уже терять ни минуты времени на разъяснения светлейшего, ринулась вон из зала. За ней другие.

Светлейший, впрочем, ничего не разъяснял. Он видел смятение дам, понял, что оно вызвано не кем иным, как тем же весьма исполнительным по службе (кстати, имевшим и боевой опыт на Кавказе), лейтенантом Стеценко, но не считал нужным ни осуждать за это лейтенанта, ни успокаивать кого бы то ни было.



Ему и самому казалось очевидным, что союзники, если они действительно высадятся в Крыму, сейчас же выдвинут сильный заслон на большую дорогу из Севастополя в Симферополь.

Подошедшему к нему с обеспокоенным лицом сыну он сказал вполголоса:

– Как я писал в Петербург в июне, так, кажется, и случилось.

Обычно такие кроткие карие глаза Сусловой сделались неузнаваемо негодующими, когда она, стремясь к выходу, взглянула теперь на красноречивого адъютанта светлейшего конногвардейца Грейга.

## **Глава вторая**

### **Враги пришли**

#### **I**

Депеша, полученная на телеграфной станции при морском собрании в ночь на 31 августа, несколько предупредила события.

Из Николаева, с бухты реки Буг, конечно, никто и ни в какую подзорную трубу не мог бы разглядеть движения великой армады, но не только за слишком большою дальностью расстояния, а также и потому, что армада никуда не двигалась в этот день: для парусных судов, из которых в огромном большинстве она состояла, не было достаточной силы ветра.

Однако искать виновного в передаче ложного слуха как военного донесения Меншикову долго не пришлось: армада покинула Змеиный остров и двинулась действительно к берегам Крыма, а не Кавказа, в полдень 31-го числа, когда окреп попутный ветер, и депеши об этом шли уже уверенно и настойчиво одна за другою. В одной указывались даже приблизительные размеры армады – семьсот вымпелов, в другой говорилось, что армада покрыла море на четырнадцать верст в ширину.

В этих депешах была уже некоторая обстоятельность и точность, так необходимая в деле войны. Было видно, что наблюдатели – моряки, сидевшие в мелких каботажных судах в открытом море, – стремились подсчитать безошибочно силы врагов, чтобы было что передать на семафорные вышки. Можно было представить, получая подобные депеши в Севастополе, и то, что неприятельские эскадры идут в собранном виде, имея определенную цель впереди и не желая отвлекаться преследованием каких-то жалких лодок, сколько бы наблюдателей в них ни сидело: они шли открыто и с сознанием полного превосходства своих сил.

К Севастополю, гордой русской крепости, стоящей на прочной скалистой суше, плыла по Черному морю на пароходах и огромных двух- и трехдечных парусных линейных кораблях, на фрегатах, корветах, бригах, на транспортах больших, средних и малых новая крепость.

Все эти сотни судов везли не только до семидесяти тысяч полевых войск с расчетом по тысяче артиллеристов на восемь тысяч пехоты, не только огромные осадные орудия – пушки и мортиры, не только бесчисленное количество снарядов к ним, не только сорок тысяч туров, но и сотни тысяч мешков, набитых шерстью и землей – турецкой землей, из окрестностей Константинополя, из-под Скутари и Галлиполи, и ближе – из Варны, из Балчика... Казалось бы, мешки можно было привезти и пустые, но известен был каменистый грунт на подступах к Севастополю, и представлялось проще и легче привезти водою вполне готовые бастионы.

Корреспонденты иностранных газет, посещавшие лагерь союзников весною и летом, были нетерпеливы, конечно, как наиболее нервны из городских людей. Они жаждали скорейшего начала военных действий, чтобы красочно живописать их для своих газет, но военных действий не было, и им казалось, что армии, собравшиеся сначала в Константинополе, а потом

в Варне, собирались только затем, чтобы постепенно вымирать там от холеры и изнурительной лихорадки.

Но армии отнюдь не бездействовали, напротив: готовились к походу с большой поспешностью и чрезвычайно обдуманно. Готовясь к осаде крепости, они только к этому и сводили все учения в поле, в то время как огромный французский флот и несравненно больший английский безостановочно работали, подвозя из Марселя и Дувра дивизию за дивизией.

Один английский океанский пароход «Гималая» брал сразу по два полка пехоты, с артиллерией и обозом, и окрестности Константинополя переполнялись массами европейцев, проявивших такую деятельность, что она приводила в ужас царство табака, кальяна и кейфа.

Находя берега Дарданелл и Босфора очень плохо защищенными, французы и англичане энергично начинали применять к укреплению их последние достижения инженерного искусства Запада. По всем правилам фортификации укрепляя берега, они даже через такие священные места мусульман, как кладбище, проводили траншеи, деловито выбрасывая вон кости покойников.

Турки отлично знали, что очень часто случалось в истории, когда чужеземные войска, приглашенные на помощь другим правительствам, охотно приходили, но весьма неохотно уходили, оказав помощь, а чаще всего оставались как завоеватели.

Французы, как народ более сангвинический в противоположность холодным англичанам, вели себя в Галлиполи и Скутари, где расположились в турецких казармах и по домам обывателей, как в завоеванной стране.

Они назначали на съестные припасы и на все им необходимое свои цены, и на адрианопольского пашу, назначенного султаном, чтобы помочь союзникам устроиться на турецкой земле, французский генерал Канробер совершенно по-хозяйски топал ногами и кричал, требуя в апреле, когда уж никто в Турции не топил печей, дров для топления казарм.

Однако – и это случилось в первый раз в истории турецкого государства – шейх, уль-ислам, глава турецкого духовенства, издал приказ по мечетям служить молебны о даровании победы оружию гяуров, к величайшему, конечно, изумлению Аллаха и Магомета, пророка его.

Тысячеминаретный Стамбул не один раз видел теперь на своих площадях и парады французских войск, которые, как театральные постановки, проводил в присутствии султана Абдул-Меджида главнокомандующий французских войск маршал Сент-Арно, настоящая фамилия которого была Леруа, актерская же – так как до поступления на военную службу он был мелким провинциальным актером – Флоридаль.

Сент-Арно выдвинулся в Алжире во время жестокого усмирения кабиллов, деревни которых он уничтожал до основания. Этот талант его – жестокость – был отмечен в Париже. Когда племянник Наполеона, Луи Бонапарт, добившийся поста президента Французской республики, вздумал возродить империю и взойти на трон, он отыскал Сент-Арно в Африке, сделал его военным министром и своим послушным орудием в деле истребления свободолюбивых парижан 4 декабря 1852 года.

Тогда по непосредственному приказу Сент-Арно подпадаемые на деньги Луи Бонапарта солдаты не только разметали артиллерийским огнем баррикады на улицах Парижа, но беспощадными и бессмысленными залпами расстреливали и обычные уличные толпы, фланирующие по тротуарам, и даже любопытных, высыпавших из своих квартир на балконы посмотреть на необычайную стрельбу.

Окровавленный Париж, потерявший тогда несколько десятков тысяч человек убитыми и ранеными, был приведен в трепет и молчаливо признал Луи Бонапарта императором, а непризнавшие из депутатов парламента частью были расстреляны, частью сосланы в колониальные страны, частью просто высланы или, как Виктор Гюго, бежали из пределов Франции.

Генерал Канробер, тоже выдвинувшийся в Алжире при разгроме кабилльских деревень, помогал Сент-Арно и при разгроме Парижа. Эти два «декабрьских» генерала стояли во главе

французских войск, как во главе английских – два бывших адъютанта герцога Веллингтона, которому приписывали в Англии победу над Наполеоном, точно так же, впрочем, как в Пруссии чтили за то же самое Блюхера.

Эти два бывших адъютанта и ученики Веллингтона были: главнокомандующий лорд Раглан и начальник одной из дивизий генерал сэр Джордж Броун.

Лорд Раглан был тех же лет, что и князь Меншиков, в битве при Ватерлоо<sup>9</sup>, когда состоял при Веллингтоне для поручений, ему оторвало правую руку ядром.

Сент-Арно был значительно моложе Раглана, однако в свои пятьдесят три года он был уже полумертвец. Он страдал неизлечимой болезнью желудка, и Луи Наполеон, отправляя его на Восток, в то же время снабдил Канробера бумажкой, по которой тот должен был принять командование над войсками в случае смерти Сент-Арно.

Как бывший актер Сент-Арно любил говорить речи перед войсками, издавать цветистые приказы по армии и писать реляции в стиле монологов ложноклассических пьес. Но врачи, лечившие его, не говорили ему, что дни его сочтены. Напротив, они уверяли, что труды и заботы боевой жизни будут для него гораздо лучше всяких лекарств.

В Африке ему никогда не приходилось командовать отрядом больше, чем в шесть тысяч; теперь же под его командованием была огромная армия, которая готовилась воевать отнюдь не с кабилами, и он временами впадал в отчаяние от возможной неудачи похода, и это плохо действовало на окружающих. Тогда он требовал от императора Наполеона III, чтобы тот отозвал в Париж дивизионного генерала, принца Жерома Наполеона, своего дядю, которому было уже под семьдесят и который, по мнению Сент-Арно, разлагающе действовал на всю французскую армию своим гомерическим пьянством и обжорством.

Принц Жером, впрочем, не оставался в долгу и слал племяннику жалобы на Сент-Арно. Наполеон III был тогда еще довольно молод, но обладал совершенно невозмутимым спокойствием и терпеливо ждал смерти обоих.

Он знал, что война, затеянная им совместно с Англией, может принести в случае удачи пользу только Англии, а не Франции, интересы которой не сталкивались жизненно с интересами России.

Но некоторые молодые люди склонны переоценивать свои таланты, особенно военные, и он, которому посчастливилось, хотя и при третьей уже попытке, попасть так легко на трон, завоеванный некогда его дядей, не мог не думать, что часть военного гения Наполеона живет и в нем. Союз с Англией был тем более для него ручательством победоносной войны, что Англия держалась золотого правила не проигрывать войн. А начать свое царствование счастливой войной значило приобрести популярность в народе.

Буржуазию думал он привлечь, предоставив ей возможность нажиться на поставках для армии; офицерство – быстрым производством в чины, так как всякий убитый или тяжело раненный офицер очищает свое место для младшего в чине; солдатам же, которым повезет уцелеть в боях, он заранее заготовил красноречивые всемилостивейшие манифесты.

Один из подобных манифестов был опубликован в «Монитер» – газете Елисейского дворца. Касался он весьма многочисленных потерь «во славу Франции», понесенных французской армией во время июльско-августовской экспедиции в болотистую Добруджу.

Кем-то был пущен слух, что русская армия, отошедшая от Силистрии на Дунае, скопится в Добрудже, чтобы отсюда угрожать союзникам, и вот Сент-Арно спешно снарядил две дивизии, и по совершенно не освещенной разведкой болотистой местности двинулись под начальством Канробера бравые зуавы.

---

<sup>9</sup> Ватерлоо – селение в Бельгии, вокруг которого 18 июня 1815 г. произошло сражение между соединенными силами Англии и Пруссии и армией Наполеона.

Сначала они попали под проливные дожди и брели по колено в воде, потом, выйдя из полосы болот, под палящим солнцем шли по совершенно безводной равнине. От нестерпимой жажды солдаты пили воду из канав, заваленных трупами. Смертность от эпидемических болезней была такова, что целая бригада, видя, что на каждом шагу падает в ней то там, то здесь человек, чтобы никогда не встать больше, в ужасе бросила ружья и ранцы и рассыпалась, как испуганное стадо.

Наконец показался какой-то кавалерийский отряд, принятый за русских казаков, началась перестрелка. Но вскоре оказалось, что это не казаки, а турки. Начальник турецкого отряда убедил Канробера вернуться в Варну, так как этот участок совершенно безопасен от русских.

В перестрелке со своими союзниками французы потеряли около тридцати человек, от эпидемии – до десяти тысяч.

Все генералы, подчиненные Сент-Арно, думали, что после этого он будет наконец смещен, но он не нужен был в Париже, и дело это закончилось манифестом в «Монитер» и секретной телеграммой Сент-Арно с определенным приказом готовить армию к экспедиции в Крым. Цель войны наконец была указана ясно: Севастополь. Приказ (не первый уже) был на этот раз категоричен.

Но эта цель гораздо раньше была известна Раглану, хотя одновременно с Сент-Арно и он получил приказ идти на Севастополь.

Английская армия не истратила ни одного человека на легкомысленный поход в Добруджу. Английская армия была наемная, ее содержание слишком дорого обходилось казне, чтобы швыряться ею. Этим рабочим военного цеха платили по шиллингу в день. Их обязывались хорошо кормить, и обязательство это выполняли. В походе им давали в день по две кружки пива. Солдатские жены, сопровождавшие мужей в поход, перевозились на казенный счет.

По сравнению с маленькими французами английские солдаты – англичане ли, шотландцы, или рыжие ирландцы – были все очень рослый народ (людей низкого роста не вербовали в войска королевы Виктории), а гвардейские их полки казались полками великанов.

Воевать с русскими войсками им приходилось в первый раз за всю историю Англии и России.

Когда большая союзная эскадра, выйдя из Босфора, подошла 14 (26) июля к Севастополю, на ней были и лорд Раглан, и сэр Джордж Броун, и Канробер, и несколько других английских и французских генералов, так что это была не только генеральная, а еще и генеральская рекогносцировка в целях точнейшего изучения Севастополя как крепости и его окрестностей на предмет осады.

Тогда были сосчитаны все орудия береговых батарей, так как маскировать их русские артиллеристы еще не умели, тогда же были обсуждены достоинства и недостатки Балаклавской и Камышовой бухт, и первую наметили себе для стоянки флота англичане, вторую – французы. Тогда же было выбрано и удобнее место для высадки десанта километров на двадцать южнее Евпатории, около озер Сакского и Кизилар.

Вечером в тот день эскадра отошла недалеко: заштилело, и парусные линейные корабли никуда не могли уйти. И утром, как раз когда происходила закладка собора, в присутствии всех начальствующих в крепости и городе лиц, эскадра подошла снова.

Она точно хотела показать, как могут работать в полный штиль пароходы, трудолюбиво таща на буксире по два и даже по три парусных корабля.

А на пароходе «Карадок», который крутился около Севастополя почти весь день накануне бала, снова был тот же неутомимый старик Раглан, и Канробер, и Броун, и другой старый английский генерал – Бургоин.

Русский флот мог бы выйти из бухты на охоту за дерзким соглядатаем, но недалеко стояли на страже три больших судна – между ними и «Агамемнон»...

Все-таки эскадра эта отнюдь не была страшна для всего Черноморского флота, но осторожному Меншикову казалось, что где-то за горизонтом скрываются еще и еще суда, которые быстро придут, заслышав первый же пушечный залп.

Однако никаких неприятельских кораблей не было вблизи Севастополя в этот день. Все остальные суда стояли у Змеиного острова и ждали сигнала к отплытию.

Благополучно вернувшись, Раглан и дал этот сигнал.

## II

На линейном стопушечном парусном трехдечном корабле «Город Париж», шедшем на буксире парохода «Наполеон», в просторной, богато обставленной, отделанной тиковым деревом каюте, изогнувшись, стоял перед небольшим, экононым окошком, с толстым цельным стеклом, очень исхудалый и потому казавшийся чересчур длинным маршал Сент-Арно и глядел неотрывно в море.

На кожаном, излишне мягком диване, полуутонув в нем, сидела и кормила с блюдечка пышно-пушистую белую ангорскую кошку его жена. У нее была крупная фигура бретонки, зеленовато-серые глаза, светлые волосы, очень свежее тридцатилетнее лицо.

У дверей каюты стоял врач, невысокий толстый лысый человек пожилых лет. Он только что вошел, вызванный из соседней каюты звонком мадам Сент-Арно, и глядел неопределенно-вопросительно на нее, на ангорскую кошку, на блюдечко и на длинного человека без мундира, в одной рубаше, небрежно вправленной в форменные брюки со штрипками, в мягких домашних туфлях.

Этот человек, с такой тонкой морщинистой шеей, с такой узкой спиной, на которой торчали, даже выпирая из рубашки, как крылья, сухие лопатки, с такими серыми редкими, но тщательно приглаженными щеткой, точно приклеенными к черепу волосами, был его давний пациент, и о состоянии здоровья его у него не было двух мнений.

– Господин Боше, посмотрите, что делает наш маршал! Он совсем выходит у меня из повиновения!

И мадам Сент-Арно почти с ненавистью взглянула на отставленный левый локоть мужа, торчащий в ее сторону, как казачья пика.

– Господин маршал! – сделал два-три шага от двери Боше. – Вам надобно лечь в постель, господин маршал, а не стоять... тем более у окна... Из окна все-таки немного дует, хотя оно и закрыто. Вам необходимо лечь, господин маршал!

– Ах, надоело уж мне лежать! – полуобернулся Сент-Арно.

– Но тогда, может быть, вы сели бы в кресло, господин маршал.

– Ах, надоело это мне тоже – сидеть! – прошипел маршал.

– Но если вы будете стоять так долго, у вас может опять начаться боль в желудке, господин маршал.

– Ах, оставьте вы меня в покое! Идите! – рассерженно обернулся Сент-Арно.

– Я отвечаю перед Францией за ваше здоровье, господин маршал.

– Идите же, идите, идите, когда я вам говорю это!

И Сент-Арно выпрямился и поднял костлявые плечи. Большие от худобы, черные, с болезненным тусклым блеском глаза стали жестки и, пожалуй, страшны, рыхлый седой правый ус дернулся несколько раз от тика, а рука – тонкая безмясяя рука полумертвеца, – величественно поднявшись, указала на дверь.

Боше, наклонив лысую голову, вышел гораздо проворнее, чем вошел. А Сент-Арно, простояв в величественной позе с четверть минуты, как-то сразу всеми костями скелета рухнул в обширное кожаное кресло, такое же топкое, как и диван, и тоже с подушкой, брошенной на спинку.



– Ну вот, начинается качка! – трагически прошипел он.

– Боже мой! Решительно никакой качки!.. Море совсем тихое, и мы точно едем в хорошей коляске по отличной дороге, – пыталась успокоить его мадам Сент-Арно, не отнимая, впрочем, блюдечка от мордочки уже сытой кошки.

Маршал откинул голову на подушку и закрыл глаза. Не открывая глаз, он проговорил вполне отчетливо:

– Десантная операция не удастся, нет!.. Я это предчувствую.

– Надо надеяться на лучшее, – беззаботно отозвалась она. – Я не сомневаюсь, что лорд Раглан знает, что он делает.

– Лорд Раглан?

Странное действие производит иногда на людей, даже почти умирающих, одно слово. Сент-Арно открыл глаза, вызываяще подбросил седую голову, взялся двумя пальцами за острый подбородок, украшенный острой эспаньолкой, и сказал совершенно уничтожающим тоном:

– Ваш Раглан просто упрямый дикий осел!.. Да! Осел!.. Столько тысяч людей, столько крепких новых судов он ведет на полное истребление! Зачем? Зачем это, я вас спрашиваю?

– Он, конечно, знает это лучше, чем я. Разумеется, он исполняет приказ своего правительства.

– Приказ? Подобный приказ получен и мною от императора, но я... я вам говорил это... получил вместе с приказом и право его не исполнять, если нет шансов на выигрыш... И я высказался против экспедиции.

– Вам вредно говорить много и так волноваться! – заметила она, однако он продолжал, возвышая голос:

– Я был против, адмирал Гамелен тоже, и этот старый бурдюк – принц Жером – тоже был против... А у них, у англичан, адмирал Дондас, герцог Кембриджский, генерал Бургоин... Все, кто не потерял еще головы, были против. И только этот упрямый однорукий осел настоял на отправке войск!.. Вот мы увидим скоро, ка-кими залпами своих пушек встретит нас Меншиков на берегу! Ведь все это погибнет, – обвел он кругом себя рукой. – Ведь все они пойдут туда, туда... вон туда, в море!

Он несколько раз подряд наклонил бессильную кисть руки с вытянутым указательным пальцем и сам внимательно всматривался в сложный рисунок ковра на полу, точно как раз под ним пенилось море, хотя каюта была на верхней палубе.

– Туда, в пучину, с разбитыми черепами пойдут они... тысячи... вы представляете? – страшными глазами глядел он на жену, отрывая их с усилием от рисунка ковра.

– Если вы так убеждены в этом, то как же в таком случае мы с вами? – обеспокоенно спросила женщина, отставив наконец блюдечко и прижав кошку к груди.

– Мы? Мы ведь будем... высаживаться последними... Это значит, что мы... совсем не будем подходить к берегу... Я прикажу, чтобы наш корабль отвели дальше в море...

И Сент-Арно снова закрыл глаза, далеко вперед вытянул прямые ноги и свесил голову на глубоко впалую грудь.

В это время лорд Раглан прохаживался рядом с генералом Броуном и адмиралом Лайонсом по палубе девяностопушечного корабля «Агамемнон».

Им, трем старикам, конечно, нужен был моцион, но палуба была завалена ящиками необходимого военного груза, и потому для прогулки оставалось очень мало места. Им, трем старикам, из которых самому младшему – Лайонсу – было уже шестьдесят три года, может быть, надо было и вообще отдохнуть от военной службы, но Англия была страной, упорно державшейся правила, что генералами и адмиралами только и могли быть люди, которым перевалило уже за шестьдесят.

Чины генерал-майора, генерал-лейтенанта и маршала так же, как и адмиральские чины, не продавались правительством и не покупались за большие деньги, как это было с остальными офицерскими чинами, а давались за особые заслуги отечеству, поэтому достигали их только в глубокой старости, и средний возраст английских генералов того времени был от шестидесяти двух до семидесяти пяти лет.

Лорд Раглан, главнокомандующий английской армии, разрешил себе ходить в штатском платье. На его широкой голове хорошо сидела жесткая, вытянутая спереди назад шляпа формы котелка; серое осеннее пальто было застегнуто, и за борт его закладывал он пустой рукав, а левой рукой при ходьбе опирался на палку.

Плотное, с крупными чертами лицо его было чисто выбрито, глаза в тяжелых мясистых веках внимательно глядели не столько на собеседников, сколько на море впереди и сбоку, и подозрительная труба средней величины висела у него на ремне, перекинутом через плечо.

– Все наше предприятие зависит от того, сколько войска успел собрать Меншиков, – говорил сэр Броун, который был несколько выше, но суше и морщинистей Раглана.

– Вы видели ведь с «Карадока», мой друг, сколько сена в стогах собрано там в степи, от Евпатории к северу и к югу? – отозвался ему Раглан. – Я думаю сейчас об этом сене. Все это сено мы должны захватить, когда окончим высадку, и перевезти на корабли на шлюпках. Оно нам очень пригодится потом.

– Да, объемистый фураж лучше всего достать здесь, на месте, – согласился Броун. – Этот хитрый кроат Омер-паша говорил мне, что татары в Крыму пригонят нам сколько угодно баранов из своих степей.

– Да, конечно, если только этих баранов не угнали уже у них казаки Меншикова.

Адмиралу Лайонсу не нужно было сена для его матросов, и он думал не о татарских баранах, а о русском флоте, который может отважиться напасть на армаду, и он сказал:

– Французы так перегрузили свои корабли войсками, что они совершенно неспособны к бою. Адмирал Гамелен переложил всю ответственность за успех боя на нас. Не могли заготовить транспортов за такое большое время!

– Зачем вас беспокоит это? – живо отозвался Раглан. – Русский флот едва ли выйдет в море... Я думаю о речке Каче. Туда надо будет направить эскадру в десять – двенадцать пароходов и транспортов пять-шесть пехоты.

Это будет демонстрация, чтобы отвлечь внимание Меншикова от места высадки всего десанта. Это мы должны будем сделать раньше, и если в это время будет туман...

– Тумана ждать нельзя, – вставил Лайонс.

– Я хотел сказать: туман или небольшой дождь, чтобы закрыть дальний план, чтобы транспортов и судов казалось с берега больше, чем их будет на самом деле, то этот маневр может дать нам некоторый успех. Я в этом уверен.

– Мы это сделаем. Я сейчас же составлю список паровых судов, которые могут пойти в прикрытие, – почтительно ответил Лайонс.

Этот адмирал искренне и до глубины души ненавидел Россию как конкурента Англии на Востоке, и ему казалось непонятным, что адмирал Дондас упорно пророчил полный провал экспедиции. Впрочем, он объяснял это тем, что почти семидесятилетний Дондас стал уже плох здоровьем. Он надеялся на то, что Дондаса во время кампании правительство отзовет в Англию на покой, и его, Лайонса, назначит командующим всеми силами английского флота на Черном море.

– Герцог Веллингтон, наш общий учитель, – улыбаясь, сказал Раглану Броун, – говорил не раз, как вы сами, конечно, помните: «Не начинай боя, не выяснив сначала силы врага».

– Золотое правило! – качнул шляпой Раглан. – Аксиома стратегии. И мы с вами сделали для этого все, что могли сделать с моря. Если же ждет нас катастрофа у берегов Крыма, то должен сказать вам, мой друг, что ответственность за нее уже заранее взяло на себя наше пра-

вительство. Так что на этот счет мы с вами можем быть совершенно спокойны. Ответственность за полный неуспех, что нам предсказывает герцог Кембриджский, берет на себя совет министров и сама королева.

Сэр Броун знал, конечно, что королева Виктория была или хотела быть самой воинственной дамой во всей тогдашней Европе. Когда отправлялись эскадры в Черное и Балтийское моря, она сама выезжала их провожать на своей королевской яхте. Матросы, взобравшись на рей, кричали ей «ура!», орудия на судах салютовали ей двадцатью одним выстрелом, и в грохоте выстрелов, и в криках, и в пороховом дыму на палубе своей яхты она воинственно махала платком отплывающим офицерам и матросам. И суда величественно проходили мимо яхты и, оставляя за собой клубящиеся белые хвосты на море и дым в воздухе, скрывались одно за другим, а королева все махала им вслед платком, точно твердо была убеждена в том, что этот магический жест, повторенный две тысячи раз, принесет неслыханную удачу британскому флоту.

И когда отправлялась на Восток кавалерия, самая блестящая кавалерия в мире по красоте и чистопородности коней, и когда отправлялась пехота, снабженная самыми лучшими нарезными ружьями, королева Виктория безотлагательно, во всякую погоду появлялась на их проводах, взволнованно жала руки и сэру Броуну, и сэру Бургоину, и лорду Кардигану, и лорду Кодрингтону, и – особенно крепко – единственную левую руку лорду Раглану, на которого возлагала прочные надежды, и в прекрасных северных глазах ее цвета британского неба, когда в очень редкие, правда, дни бывает оно совершенно ясным, стояли слезы. Но это были не слезы вполне простительной женской слабости – это были слезы воинственного экстаза.

Иногда, впрочем, когда она проезжала в открытой коляске по улицам Лондона рядом со своим супругом, принцем Альбертом, в уличной толпе раздавались свистки, громкая ругань и даже крики: «Долой!» Но королева знала, что все это относится не к ней лично, а только к ее супругу. Это проявление народного недовольства ее не тревожило.

### III

Турецкий военный флот был мал и плох, египетский – тоже, но турецкие сухопутные войска показались английским и французским генералам еще хуже, а египетские – просто какой-то ордой оборванцев, не имеющих понятия о дисциплине.

Однако в армаде, составляя особый отряд, шли и турецкие и египетские суда с войсками: Раглан и Сент-Арно решили, что египтяне там, в Крыму, при осаде Севастополя, годятся как рабочие: будут рыть траншеи, подносить к бастионам мешки и плетенки с землей, переставлять орудия... Плохие солдаты, они имели достаточно сноровки в тяжелом труде. Для земляных работ взяли также и тысячу болгарских крестьян с их лопатами и кирками. Турецких лошадей тоже было много на транспортах, так как перевозка морем каждой лошади из Франции обходилась в восемьсот франков.

Для перевозки лошадей и орудий транспорты делались с двойным дном.

Французы не взяли своей кавалерии, твердо решив, что она не будет нужна в Крыму. Но всадники на чистопородных конях, по мнению Раглана, могли понадобиться для преследования казаков Меншикова, поэтому на английские транспорты была посажена дивизия конницы.

Всех подозрительных по холере, конечно, оставили на Змеином острове, но холера не отстала все-таки – погналась за армадой.

На военных и купеческих судах, зафрахтованных под транспорты на палубах и в трюмах кораблей, везде, куда набили солдат, они сидели или лежали очень плотно, как плывут косяки рыбы. Иные спали, иные пили запасенное на берегу вино, иные играли в домино или карты, но все беспокойно вглядывались один в другого – не начинается ли у кого эта страшная болезнь.

И часто то здесь, то там бок о бок со здоровыми начинали корчиться больные.

А суда шли и шли по намеченному курсу, соблюдая тот порядок, в котором они снялись с места и в котором получили приказ прийти.

Впереди шли линейные английские суда, свободные от войск, и все паровые, на случаи встречи с русской эскадрой. За ними военные пароходы, буксирующие транспорты с войсками. Справа и слева – в кильватерных колоннах суда соединенного флота. Непосредственно за линейными кораблями шла легкая пехотная дивизия сэра Броуна, которая должна была высадиться первой, и дивизии французской пехоты под командою боевого генерала Боске.

Вслед за ними, соблюдая определенные интервалы, двигались другие войска.

Ночью на буксирных пароходах приказано было вывесить на бизань-мачтах огни и чтобы число этих огней равнялось номеру дивизии, к какой принадлежали пароходы, так что порядок движения не нарушался и ночью.

Суда, перевозившие артиллерию, были украшены внушительных размеров буквой А на обоих бортах, суда с пехотой – буквой В, суда с кавалерией – буквой С.

Множество баркасов, полубаркасов, шлюпок, флашкоутов и кожуховых ботов было припасено на всех судах для высадки войск. На каждый баркас и шлюпку большой величины назначен был особый лейтенант или мичман для управления ими при высадке. Все до последних мелочей было предусмотрено и включено в длиннейшие инструкции всем родам войск.

Главным же образом предусматривалось то, что на месте, облюбованном для высадки, на плоском песчаном берегу, серьезными строгими рядами будут установлены по приказу Меншикова батареи, а дальше за ними будет торчать целый лес казачьих пик.

Поэтому, когда вечером 12 сентября показались наконец западные плоские берега Крыма, тысячи подзорных труб и биноклей встревоженно поднялись к глазам офицеров-союзников, чтобы разглядеть батареи.

Курс эскадры был взят безупречно правильно. На берегу, на узкой полоске суши, раскинулись два озера, как это и ожидалось. Вечер был безоблачный, теплый, такой же, как и накануне, когда отплывала от острова армада. Озера при последних лучах солнца розово блестя, как два больших зеркала овальной формы, и это было красиво. Но тщетно шарили глаза, отыскивая батареи на берегу: их не было видно. А вместо целого леса казачьих пик, когда эскадра подошла ближе, разглядели всего только шестерых казаков, причем один из них был, без сомнения, офицер, но почему-то во флотской форме. Лошади были небольшие, сухопарые, разных мастей. Офицер, по-видимому, наблюдал подход эскадры и десанта, но ни подзорной трубы, ни бинокля не было у него в руках. Он сидел на лошади совершенно спокойно и что-то записывал в блокнот.

Паровые линейные суда, шедшие впереди, между ними и «Агамемнон», описав полукруг, повернулись правым бортом к берегу и сняли чехлы с орудий, приготовясь на залп русских пушек, где-то скрытых так искусно, что их нельзя даже и предположительно разглядеть в подзорные трубы большой силы, ответить сосредоточенным залпом нескольких сот орудий. От судов до берега было не больше восьмисот метров. Но залпа русских батарей не раздавалось, и Раглан, несколько даже недоуменно пожевав по-стариковски губами, сказал Броуну:

– Кажется, это и все, что нашел нужным князь Меншиков выслать нам навстречу: шестеро кавалеристов.

Броун улыбнулся отвечая:

– Я не назвал бы эту встречу очень торжественной. Мы, конечно, заслуживали большего... Впрочем, судя по этому, отказать Меншикову в джентльменстве нельзя: согласитесь, что всякая другая, более торжественная встреча была бы признаком дурного тона.

– Погодите, мой друг, не ликуйте! – взял его за локоть Раглан. – Солнце уже садится; пока подойдут все транспорты, будет темно. В темноте же высадки мы, конечно, не будем делать, а за ночь эта приятная картина пустого берега очень может измениться к худшему... Эти шестеро, конечно, пикет. Такие же пикеты, должно быть, расставлены по всему берегу. Что стоит за ночь

подвезти батареи из Севастополя и прислать несколько казачьих полков?.. Хотя, разумеется, это уж не так страшно.

– Судовые орудия заставят эти батареи убраться, а казаки способны только добивать раненых и обирать убитых, – сказал Броун. – Но офицер этот в морской форме все-таки рассыпал своих людей: он вне ружейного выстрела – значит, боится, что мы пустим в него гранату... Нет, мы не так щедры.

Офицер в морской форме был лейтенант Стеценко, и он действительно послан был непосредственно самим Меншиковым наблюдать подход десанта и высадку на берег и сообщать ему то, что найдет нужным сообщить, через казаков, которые были с ним; при этом Стеценко получил несколько пакетов, на которых было напечатано: «По приказанию главнокомандующего...» Казаки, конечно, рассыпаны были по всему берегу, и донесения должны были передаваться без малейших задержек.

Когда с линейных кораблей загрели якорные цепи, Стеценко написал в донесении: «Боевая эскадра стала на якорь южнее Евпатории, против двух озер. Транспорты с войсками подходят на буксире пароходов и готовятся к высадке».

Но стало темнеть, и стемнело очень быстро, а высадка не начиналась, и лейтенант послал новое донесение, что, по-видимому, она отложена на утро.

Стеценко был послан из Севастополя часов в двенадцать, за целый день ничего не ел, но зрелище, которое было перед ним, захватило его настолько, что он забыл о еде, забыл об отдыхе.

Слегка колыхавшийся на слабой волне этот город судов с населением не менее как в сто тысяч человек расположился у берега правильными кварталами. Когда совершенно стемнело, зажглись огни на бизань-мачтах буксирных пароходов, точно фонари на улицах, потом какие-то сигналы передавались ракетами и фальшфейерами. Войска спали, но вахтенные принимали и передавали сигналы, неусыпно работала чья-то враждебная, злая мысль.

Стеценко представил, как к этим скученно стоящим транспортам под покровом ночи пробираются русские брандеры. Донесение о возможности произвести большой переполох во вражеском флоте он послал еще засветло Корнилову, когда для него стало ясно, что высадка отложена на утро. И теперь, отъехав от берега на такое место, где могли бы пастись спутанные лошади, он жадно наблюдал за темными силуэтами судов в море. Но стрельба не открывалась – брандеры не подошли, значит. Почему? Он не мог понять.

Эта ночь, проведенная на берегу моря в виду несметной силы врагов, была невозможна для сна, хотя трем из пяти казаков, бывших при нем, он разрешил спать, и они улеглись в сухой траве рядом с ним: двое на всякий случай сидели впереди, в секрете.

Он чувствовал всю великую историчность этой ночи.

Несмотря на внешнее спокойствие, он был впечатлителен. Впрочем, и не нужно было иметь слишком живого воображения, чтобы представить, как, совершенно беспрепятственно высадившись на берег, покатится к Севастополю эта страшная лавина войск.

Ему было уже за тридцать, но продвижение по службе во флоте шло медленно, командиры судов, начиная с капитан-лейтенантов, плотно держались на своих местах. Стеценко поручено было ведать юнкерами морского ведомства, и он не знал, что будет с его питомцами в случае осады города, хотя Корнилов сказал, что теперь не до детей, что их лучше вывезти вон из Севастополя, чтобы не нести ответственность за их жизнь и здоровье перед их родными.

Отослав засветло донесение, что больших судов, стоявших спереди, он насчитал сто шесть, а остальные, ввиду захода солнца и дальности расстояния, слились в одну общую массу, и что фронт судов по глазомеру не меньше как девять морских миль, Стеценко понимал, конечно, что сведений этих слишком мало, однако не думал, что и утром их будет больше: как можно было сосчитать войска, по фронту в девять миль, выходящие на берег? И кто допустит его стоять на берегу и считать?

Воспитанный как моряк Черноморским флотом, он привык относиться к нему с уважением. Он любил морскую службу, как любил и море, какие бы штормы ни подымали на нем норд-ост, норд-вест или бора – северный и самый лютый ветер. Он твердо верил в то, – да это можно было прочесть перед объявлением войны и в статьях «Таймс», – что Черноморский флот представлял собой лучшую морскую силу в мире и по размерам, и по качеству судов и артиллерии на них и, самое главное, по составу команд. Он знал, что на крупнейших из судов вся нижняя батарея состояла из бомбовых 68-фунтовых пушек, чего не имели даже англичане. Когда не плавал сам, он часами мог любоваться огромными кораблями, которые все маневры в море исполняли с такою же легкостью и быстротою, как мелкие суда. Однако и малейшая погрешность кого-либо из его товарищей резала глаз как ему, так и другим морякам, и не было судей в служебном отношении более строгих, чем та же морская молодежь. Севастополь был слишком отрезан от остальной России того времени, чтобы моряки его не спаялись в очень дружную семью. У них было и еще одно могучее средство спайки: чувство своей явной необходимости для государства.

Не в пример Балтийскому флоту, стоявшему безмятежно в Кронштадте, не тревожимому даже и теперь английским адмиралом Непиром, Черноморский флот, начиная с первой при Николае турецкой войны, все время был в состоянии военных тревог, то перевоза войска к так называемой «Береговой линии», то есть к русским фортам, раскинутым по всему западному побережью Кавказа, то охотясь за турецкой контрабандой, идущей на Кавказ, то блокируя турецкие порты в случае войн, то, наконец, нанося турецкому флоту такие сильные удары, как при Наварине и Синопе.

Это сознание своей необходимости развило в каждом моряке и чувство собственного достоинства, и готовность к решению любой ответственной задачи и жертве собою.

Черноморский флот был ясен насквозь и не мог не быть ясен: на него смотрели в тысячу оценивающих глаз товарищи офицеры, на него смотрели в десятки тысяч недоверчивых глаз матросы, на него наведены были, наконец, неусыпные подзорные трубы двух образцовых флагманов флота – Нахимова и Корнилова, и от этих все замечающих труб нигде нельзя было укрыться на рейде.

Историчность этой ночи действовала и подавляюще и возвышающе. Уходило вниз, смятенно сдавливалось, сплющивалось, сморщивалось свое личное, но взмывало кверху, росло, ощутительно и грозно колыхалось уже около то, что вот-вот завтра-послезавтра начнут делать сотни тысяч людей здесь, в Крыму, миллионы людей в России и в Европе.

Если до этой ночи только готовились, то с этой ночи неудержимо начнут стремиться к тому, чтобы доказать русскому царю, что он не смеет рассчитывать на «ключи от вифлеемской церкви» и для доказательства убивать тысячи, десятки, а может быть, и сотни тысяч его подданных из усовершенствованных орудий.

Лейтенант Стеценко не был в бою при Синопе, но был офицером, то есть с детства, с кадетского корпуса, готовился воевать.

Во время экспедиции флота на Кавказ, при перевозке десанта, ему даже приходилось командовать на одном мелком судне обстрелом берегов. Но обстрел этот производился по принятому на Кавказе обычаю перед высадкой пугать горцев: хотя их и не было видно, они всегда предполагались около каждого русского укрепления, где-то там, в лесистых горах.

Но несколько месяцев назад все эти укрепления, стоившие много денег и жертв, принесенных не столько «кровожадности» горцев, сколько кавказской лихорадке, взорвали, и гарнизоны их в количестве пяти тысяч человек вывезли в Крым, чтобы они не стали добычей союзников.

В этой довольно смелой операции, так как союзный флот блокировал уже русские порты, участвовал также и Стеценко.

Но в этих мелких делах все было буднично. Огромная же историческая драма, тщательно подготовленная к постановке искусными режиссерами Запада, начиналась только теперь. Пока зал еще пуст, темно, черный занавес опущен и скрывает лицедеев... Он подымется утром, с восходом солнца, и первое действие драмы начнется.

#### IV

Возможно, что соединенный флот тоже опасался ночью нападения русских брандеров, и все эти фальшфейеры и ракеты зажглись только затем, чтобы расшевелить внимание вахтенных, потому что к утру, когда чуть начали белеть небо и море – Стеценко отметил это в своей записной книжке, – напряжение ожидания улеглось, и в приплывшей крепости было тихо, как бывает в полях перед грозой.

Но рассветало быстро, и вот по сигналу все там пришло в движение: застучали цепи отдаваемых якорей, слышны стали оттуда и отсюда стуки от приколачивания навесных трапов, стали, наконец, доноситься и выкрики команд. Замелькали здесь и там спускаемые на воду шлюпки, палубы покрывались густыми толпами солдат с ружьями и ранцами.

Можно было отлично разглядеть даже лица на ближайших судах: так стало светло и так близки были суда. Утро было тихое-тихое, море гладкое-гладкое, и даже как-то больно стало Стеценко, что так радушно встречает крымский берег таких гостей.

Между озерами, из которых южное было гораздо меньше, расстояние было в две-три версты. Против южного озера стояли французы: они первые начали высадку по приказу Сент-Арно, который вдруг неузнаваемо ожил, когда узнал, что на берегу нигде не видно никаких русских батарей.

По свойственной ему склонности ко всему театральному, он приказал оркестрам играть, и под музыку, плавно, в большом порядке двинулись к берегу шлюпки, блюдя указанные в инструкции интервалы одна от другой.

Не больше как в двадцать минут на берегу была уже целая бригада французов. Сент-Арно приказал перевезти на берег и себя, но он смертельно боялся трапа, и один дюжий матрос снес его на руках с палубы в шлюпку. Удостоверясь, что на берегу ей никакой опасности не угрожает, в ту же шлюпку спустилась и мадам Сент-Арно.

Она, конечно, узнала прежде, что «Наполеон» с его очень удобной каютой главнокомандующего будет сопровождать войско, когда оно двинется вдоль берега к Севастополю. Изумительную ангорскую кошку она оставила под присмотром своей компаньонки, бывшей в соседней каюте.

Эта экспедиция, к которой столько готовились и которой многие так опасались, оказалась пока что просто приятной прогулкой. Русские, очевидно, бежали в испуге; впрочем, если бы началась серьезная стрельба, мадам Сент-Арно обещали тут же перевезти на корабль, так как рисковать своею жизнью она не хотела.

Берег крымской земли был здесь, правда, плоский и не очень живописный, но все-таки это была твердая земля, на которую приятно было ступить после долгого плавания по зыбкому морю; кроме того, это был первый кусок русской земли, занятый доблестной армией ее мужа.

В одну шлюпку со своим пациентом сел, конечно, и доктор Боше. Звонко и величественно играли оркестры, и у маршала был такой вид, вдохновенный и напряженный, как будто он дирижировал сам всеми ими.

Когда он вышел на берег, то старался держаться бодро и даже сказал немногословную, правда, но зато очень патетическую речь выстроившимся на берегу частям. Конечно, ее слышали только передние шеренги ближайших рот, но все с большим подъемом кричали «vivat».

Стеценко со своими казаками, которых осталось при нем только три, так как двух он послал одного за другим с донесениями, что высадка началась, стоя против английских линейных судов и транспортов, отметил, что в противоположность французам англичане отправили свои шлюпки без всякой помпы. Они твердо соблюдали инструкцию для высадки, первое правило которой предписывало подходить к неприятельскому берегу в строжайшем молчании.

Деловито и без лишней суетливости подымались и опускались весла шлюпок, и, к немалому удивлению своему, заметил Стеценко, что из первой шлюпки, мягко врезавшейся в песчаный низкий берег, вышли два генерала.

Это были генерал-квартирмейстер Эри и сэр Джордж Броун, так как его легкая пехотная дивизия по расписанию должна была высадиться прежде других.

– Ваше благородие, зараз тикать надо, а то не втечем, – встревоженно обратился к нему пожилой казак с серебряной серьгой в левом ухе. А двое других казаков вопросительно перегнулись к нему над луками седел.

Поджарые лошадки переступали ногами и кивали, но едва ли приветственно: скорее беспокойно. Стеценко ничего не ответил казаку с серьгой, хотя генералы высадились от него не более как в трехстах шагах.

Можно было подумать о нем со стороны, что, как Плиний<sup>10</sup>, наблюдавший извержение Везувия, он просто забыл всякую предосторожность, но можно было принять его и за парламентаря, пренебрегшего общепринятым обычаем прицепить куда-нибудь белый платок.

Стеценко же надеялся только на то, что от пеших они – четверо конных – всегда могут ускакать, когда придет крайность, пока же не хотелось ему показывать англичанам тыл, не высмотрев всего, что можно.

– Этот русский офицер очень загадочен! – улыбнулся сэр Джордж и сделал несколько шагов по песку в направлении к Стеценко, но встревоженный Эри крикнул фюзилерам, высадившимся вместе с ними:

– Обстрелять казаков!

И тогда на крымской земле раздались первые выстрелы десантной армии союзников, но выстрелы эти были выше цели, так как между стрелками и русскими конниками стоял сэр Джордж.

Стеценко, поворачивая своего серого и давая ему шпоры, слышал, как пропели пули над его головой. Казаки вслед за ним пустили коней в карьер и рассыпались в промежутках между озерами. Проскакав с версту, лейтенант думал было остановиться, чтобы продолжать наблюдения за высадкой, но казаки указали ему, как, огибая южное озеро, наперерез бежали толпой красноголовые зуавы, стреляя беспорядочно и ненужно и что-то крича, а впереди них мчались в охотничьем азарте две вислоухие собаки средней величины, рыжей шерсти.

Пришлось проскакать гораздо дальше, на дорогу, ведущую в Севастополь, откуда ничего уже не было видно.

Этот совершенно незначительный эпизод был всячески приукрашен корреспондентами французских и английских газет. Они писали, что казаки, бывшие под начальством одного морского офицера, едва не захватили в плен генерал-квартирмейстера Эри и увлекающегося военными подвигами, несмотря на свой почтенный возраст, сэра Джорджа.

Когда Стеценко выехал на дорогу, он заметил сзади, далеко от себя, кавалькаду татар в низеньких круглых черных шапках и цветных жилетах, больше малиновых и ярко-желтых, а впереди других заметил седобородого, в зеленой чалме муллу или хаджи, побывавшего в Мекке. Они ехали по направлению от Евпатории в тот самый промежуток между озерами, из которого только что выбрался он. На гривах их иноходцев что-то белелось. И он догадался, что это делегация от местных татар к главнокомандующим союзных армий.

---

<sup>10</sup> Плиний Старший (24–79) – натуралист и общественный деятель.



А дальше встретился целый обоз скрипучих татарских арб: на волах и буйволах везли толстые дубовые бревна, прикрученные веревками.

– Так это ж они, ваше благородие, до хранцуза дрова тянут! – очень оживился казак с серьгой.

И двое других подхватили:

– А известно, до хранцуза!.. А то до англичанов.

А посланный с донесением рано утром и теперь возвращавшийся четвертый казак – малый еще молодой и бойкий, – слышно было, кричал начальственно, показавшись из-за последней подводы:

– Ты что мне заладил одно: «Бельмес – не!»? Ты мне по-русскому отвечай: куда дрова везете?

– Волы эти так что в казанки пойдут, а дрова под казанки, ваше благородие, вот хранцузам и обед будет, – соображал вслух казак с серьгой.

Стеценко остановил переднюю подводу. Татары – их было человек восемь, все бородатые и пожилые – глядели на него не испуганно, напротив, недовольно и, как ему казалось, даже зло. Он пытался втолковать им, что, куда бы они ни везли дрова в ту сторону, там теперь везде неприятель, который отнимет у них и волов, и дрова, и арбы, но татары, только разводили руками, вопросительно глядели один на другого, бормотали что-то по-своему, и нельзя было определить, действительно ли не понимают они ничего по-русски или не желают уж больше ничего понимать, раз пришли в Крым единовсерцы их – турки.

Стеценко приказал было двум казакам спешиться и повернуть быков обратно. Подводы повернули, и казаки погнали было быков назад, но это отняло много времени и грозило отнять еще больше, а между тем надо было спешить с донесением к светлейшему. Поэтому татарам только погрозили нагайками, но бросили их и помчались рысью по дороге.

Было уже не рано – свыше десяти часов, когда впереди показался большой конный отряд.

– Наш полк идет! – повернули к Стеценко радостные лица казаки, но Стеценко и сам разглядел, что это, так же деловую рысью, как и они, движется казачий полк, но зачем именно движется, он не понял.

Он вдруг именно теперь почувствовал, что очень устал, проведя почти сутки без привычки в седле, что хочет есть, а главное – пить, так как день выдался жаркий.

Рядом с командиром казачьего полка Тациным Стеценко, к удивлению своему, разглядел Меншикова-сына. Молодой генерал-майор сидел на рослом гнедом белоногом донце не по-казачьи, то есть с наклоном вперед, а по-гусарски – прямо.

Темноволосый и черноусый, он был похож чем-то неуловимым на своего седого отца, кроме такого же большого роста, и Стеценко, подъезжая к нему, думал: «Вот таким именно был, очевидно, наш главнокомандующий, когда брал Анапу... Но было бы гораздо лучше для Севастополя и России, если бы так же молод был он теперь!»

Стеценко знал о Меншикове-сыне то же, что знали все в Севастополе: при внешнем сходстве с отцом он все-таки не пошел в отца. Конечно, он был хорошо воспитан и образован, но очень пуст, хлыщеват и неумен, как это бывает, впрочем, со многими детьми гораздо более выдающихся отцов, чем старый Меншиков.

Стеценко подъехал с мыслью о рапорте, однако, заметив это и не дав ему начать рапорта, молодой генерал приветливо протянул ему длинную руку, заговорив сам:

– Ну, что там, как? Вы там близко были.

– Нельзя уж было близко держаться, ваша светлость, пришлось убраться: обстреляли и думали даже отрезать и забрать.

– Ну вот видите как!.. Да... Обстреляли? Но с далекой дистанции?

– Никак нет, – пули пролетели над головой.

– Ну вот, над головой! Значит, вы очень близко стояли и все видели.

Кавалерию выгрузили?

– Я видел только пехоту, ваша светлость, но в большом числе. Высадку они ведут в большом порядке и очень быстро.

– Быстро, да? Ну вот, а генерал Жомини в академии доказывал, что большой десант невозможен! Были бы транспорты, а? Не так ли?

Так как в это время он вопросительно глядел не на лейтенанта, а на Тацина, тот, страдавший, насколько мог заметить Стеценко, от узкого ворота рубахи, сдавившего ему шею, повел в сторону багровым лицом с красными глазами и росинками пота на широком носу и ответил хрипло, приложив к козырьку руку:

– Ничего нет невозможного для них, ваша светлость, при их известном богатстве.

Стеценко видел, что в его личном рапорте Меншикову-отцу теперь как будто не было уже нужды, если о высадке десанта все на месте и, наверное, гораздо больше, чем он, может разузнать Меншиков-сын, который даже как будто замещал здесь самого отца, поэтому пришлось поневоле остаться, держаться как бы в его свите и забыть на долгое, может быть, время еще об отдыхе и обеде.

Высадка между тем шла дальше не так уже гладко, как началась. Подул ветер: на море забелели барашки, с запада надвигалась сплошная густая и темная туча.

Французский генерал Боске, человек далеко еще не старый, в избытке наделенный галльским остроумием и энергией, почерпнувший большой военный опыт в колониальных странах, приказал ввиду этой тучи для своей дивизии, высаженной первой, перевезти и палатки.

Его примеру последовали и другие французские генералы. В английской же армии правила высадки выполнялись строго. Там не спеша перевозили дивизию за дивизией, пехоту, но вместе с пехотой переправлялась и причисленная к ней артиллерия, а это отняло много времени. Кавалерия же и палатки по правилам высадки стояли на последних местах.

Между тем в полдень хлынул ливень.

Часть французской пехоты, посланная как раз в это время, когда явился донской полк с Меншиковым-сыном занять татарскую деревню Контуган, спаслась от ливня в этой деревне; донской полк поспешно передвинулся в другую деревню, километрах в пяти от Контугана; французские войска, оставшиеся на берегу, быстро разбили бивак и натянули палатки, англичане же остались под открытым небом и свирепым ливнем.

Перевезено было уже до двадцати тысяч человек. При сильном западном ветре, под хлещущими косыми потоками дождя, кутаясь в одеяла, насквозь промокшие, около часа стойчески выдерживали ливень и старые генералы и молодые лорды на земле, которую явились они приобщить к числу британских владений: может быть, до заключения мира, может быть, навсегда.

Но вместе с ними промокли до последней нитки и «дети королевы Виктории», двадцать тысяч бравых «Томми», оценивших все свои силы и способности в единственный шиллинг в день до того момента, когда убьют и когда даже и этот шиллинг вместе с двумя кружками пива в походе будут уже совершенно не нужны.

Ливень утих к двум часам дня, и высадка продолжалась, но палатки все-таки не были доставлены на берег, а с вечера дождь, доходивший до силы ливня, зарядил на всю ночь, и утром полторы тысячи больных свезено было на пароход «Кенгуру», чтобы отправить их в госпитали в Константинополь.

Впрочем, не все больные были перевезены на «Кенгуру», иначе этот пароход был бы перегружен так, что не смог бы сдвинуться с места. Многие валялись на берегу в грязи без всякой помощи со стороны врачей, так как врачи были тоже люди и незаболевших среди них осталось мало.

Несколько человек офицеров умерло от холеры.

Только 3 (15) сентября перевезли на берег кавалерию.

Дорогие лошади очень пострадали от тесноты и недосмотра за те две недели, какие пришлось им пробыть на кораблях, а при перевозке на берег несколько из них потонуло.

Напуганные первым ливнем, Сент-Арно с женою были перевезены снова на корабль «Наполеон». Однако там, в роскошной и спокойной каюте, несмотря на дождь кругом, поднятое настроение вернулось к маршалу Франции. Он говорил жене:

– И я, и генерал Канробер, и генерал Мартенпре, и многие другие генералы – мы все стояли за то, чтобы или высадиться в Керчи, на восточном берегу Крыма, или отложить экспедицию до весны будущего года. Но посмотрите-ка, какая удача нас ожидала даже и на этом, западном, берегу! Кто же знал, что русские, как утверждает Боске, совсем не желают с нами сражаться!

Начальник штаба Сент-Арно полковник Трошо и военный секретарь Раглана Стилль были посланы с переводчиком Кальвертом в Евпаторию с требованием немедленно сдать город. Так как весь гарнизон Евпатории успел уже выйти, их привели к старенькому чиновнику, начальнику карантинной стражи, состоящей из нескольких инвалидов. Письменное требование о сдаче города было передано ему. Никакого языка, кроме русского, он не знал, но бумагу, полученную из рук полковника Трошо, тут же деятельно проколол булавкой не менее чем в двадцати местах и окурил. Когда Кальверт, по-русски говоривший очень плохо, кое-как растолковал ему, что пришла масса кораблей, до отказа набитых войсками, затем, чтобы высадиться в Крыму, старичок подумал и ответил:

– Высадиться? Отчего же-с, высаживаться на берег не воспрещается. Только, господа, в видах эпидемии холерной, не иначе как приказано от начальства, высаживаться непременно в карантин и выдержать там положенный четырнадцатидневный срок.

В Евпатории высадились два небольших отряда – французский и турецкий – и принялись обшаривать город. На частных складах у хлебных экспортеров-греков найдено было около шестидесяти тысяч четвертей, то есть до полумиллиона пудов пшеницы, что явилось совершенно неожиданным, но очень крупным подарком союзникам, на несколько месяцев обеспечив их хлебом.

Кроме того, под Евпаторией перехвачено было парусное судно, шедшее из Генческа в Севастополь с восемью тысячами ведер спирта для нужд гарнизона. Это был тоже очень ценный приз. На судне этом никто не знал, конечно, о том, что враги пришли, и с недоумением глядели на то, как они хозяйничали в трюме, считали и метили бочки.

Между тем недоумение было уже излишним. Если в Галлиполи и Скутари французские войска, привыкшие в Алжире расправляться с деревнями кабилов, только еще пытались вести себя как завоеватели, то береговая полоса Евпаторийского уезда считалась уже вполне завоеванной ими, хотя и без боя, и в деревне Контуган, как и в других соседних деревнях, занятых ими на другой день, они резали и свежевали для своих котлов буйволов, телят, баранов, кур, а на костры, на которых варили и жарили это, разбирали незатейливые плетневые хлева и сараи, отбирали сплошь муку, крупу, овощи, фрукты, заготовленные на зиму, заставляли запрягать в арбы лошадей и волов и на арбы складывали сено, овес, ячмень, скопом насиловали женщин...

Лишенные всего, татары толпами бежали в Евпаторию, в которой, как они слышали, вводилась уже турецкая власть.

Высадка союзных войск, проведенная так сказочно беспрепятственно, и спокойно, точно на маневрах, закончилась только к вечеру на третий день.

Крылатую фразу, брошенную генералом Боске: «Эти русские совсем не желают с нами сражаться!» – повторяли теперь уже рядовые солдаты.

Погода снова стала прекрасной, как и в день прибытия к русским берегам, но при виде изобилии воды в озерах оказался острый недостаток воды для питья: озера эти были просто клочки моря, отрезанные песками.

Пресную воду, правда, привезли с собою в анкерках на судах: турецкую воду как турецкую землю в мешках для бастионов, – но анкерки быстро опустели. Лошади целые сутки простояли совсем без поила.

И шестидесятитысячная десантная армия двинулась к югу, к речкам Алме, Бельбеку и Каче, гонимая не только воинственным пылом скорее дойти до Севастополя и взять его, но еще и жаждой.

Действительно, такого скопления людей и лошадей нигде в своей степной части не мог напоить Крым.

Когда лейтенант Стеценко, проведя – теперь уже с целым донским полком – еще одну ночь вблизи союзников, вернулся наконец в Севастополь, он узнал, что главнокомандующий вывел из города войска для боя с надвигающимся противником на облюбованной уже им позиции на берегу Алмы.

## Глава третья Потревоженный муравейник

### I

В небольшой гостиной довольно скромного дома на Малой Офицерской улице, которую, точно по приказу начальства, заселяли все больше отставные военные, 5 (17) сентября днем сидел с семьей хозяина дома, отставного капитана 2-го ранга Зарубина, унтер-офицер рабочего флотского батальона Ипполит Матвеевич Дебу. В семье Зарубиных, где он жил на квартире, знали, что он выслан сюда, в знак особой монаршей милости, в солдаты до выслуги в первый офицерский чин, что он, человек хорошо образованный, дает уроки детям адмирала Станюковича, что он принят в лучших домах города, но почти совсем не бывает в том батальоне, к которому причислен, что ему снисходительно разрешено даже носить штатское платье, в котором он был и теперь.

Но сам Дебу только сегодня утром узнал, что его положение очень круто изменилось, так как у Станюковича ему сказали, что вся семья за исключением самого адмирала уже укладывается, собираясь уезжать в Николаев, а из канцелярии батальона прислали к нему солдата-писаря с приказом явиться в казармы полка и быть отныне в них безотлучно ввиду «скоровозможных боевых действий».

Что боевые действия действительно «скоровозможны», это, конечно, знал и сам Дебу, но боевые действия вообще представлялись ему довольно отдаленно и смутно. Он был разжалован военным судом не из офицеров, а из чиновников одного из петербургских департаментов как петрашевец. Наказан он был сравнительно со многими другими – между прочим, и со своим старшим братом – довольно легко: всего только двумя годами арестантских рот – но возможность после арестантских рот выслужиться в офицеры в те времена действительно считалась «особой милостью монарха».

Со времени суда над ним прошло уже почти пять лет: тогда ему было всего двадцать пять – но теперь он казался гораздо старше тридцати: как бы ни были легки, наказания все-таки сильно меняют человека.

В обществе считался он очень осведомленным в разных вопросах и остроумным собеседником, но улыбался редко и бегло – на момент. А внешность его была подкупающей по той постоянной серьезности, которая светилась и в его пристально и прямо глядящих на каждого глазах, казавшихся черными в тени, но на свету неожиданно голубевших, и в прекрасно сработанной голове, и в правильных чертах лица, и в той неуловимо свободной манере держаться,

которой так трудно научиться, если она не присуща человеку, и которую нельзя было изменить в нем даже таким бесспорно сильным средством, как два года арестантских рот.

Негромким грудным голосом он говорил, по-своему пристально глядя в глаза капитана:

– Для того чтобы на тебя не вздумали напасть, нужно только одно: чтобы тебя боялись. Не так ли?.. Но ведь, кажется, наш император делал все для того, чтобы его боялись, однако же на нас вот напали, и, нужно сказать, напали нагло и очень открыто. Это значит, что совершенно перестали бояться.

– И эти напавшие... напавшие... они... они будут истреблены! Да! Истреблены без остатка! – с большим усилием, но азартно выкрикнул капитан и стукнул раза три палкою в пол. – Им не дадут сделать... эту... эту... обратную амбаркацию... амбаркацию... на ихние корабли! Нет! Не дадут! – И еще раз стукнул, точно приложил казенную печать на горячий сургуч.

Капитан Зарубин был красен тощей жилистой шеей и бледен лицом, выкаченные раскосые глаза глядели свирепо, полуседающая щетина на голове стояла дыбом, полуседающая щетина на щеках и подбородке придавала ему воинственный вид.

В синопском бою он был ранен в ногу и контужен в голову и левое плечо, левая рука висела плетью, голова дергалась, язык плохо повиновался мыслям, ходить он мог только медленно, сильно опираясь при этом на толстую палку. В вознаграждение за все это он был представлен к очередному ордену и получил отставку с пенсией и мундиром.

Кроме него сидели в гостиной две его дочери: старшая, Варя, уже невеста, с пышными щеками, с русой косой до пояса и с бирюзовым девическим колечком на левом мизинце, и младшая, Оля, подросток с полуоткрытым алым ртом и жадно вбирающими решительно все на свете глазами.

Иногда заходила и присаживалась их мать, Капитолина Петровна, дородная женщина, всегда очень приветливая и в вечных хлопотах по хозяйству. Придет, посидит, скажет два слова и тут же плавно выйдет, вспомнив, что за чем-то там еще не досмотрела и что-то вот сию минуту перекипит.

– Я не сомневаюсь, Иван Ильич, что никто из сейчас напавших не выйдет от нас живым, но подумайте, сколько это будет нам стоить! – отозвался капитану Дебу. – А между тем как недавно еще, всего лет десять-одиннадцать назад, когда нашему царю донесли, что в Париже ставится пьеса «Екатерина Вторая и ее фавориты» и, конечно, имеет огромный успех – успех скандала, – он собственноручно написал послу нашему при французском дворе, графу Палену: «С получением сего, в какое бы время ни было...» Заметьте, «в какое бы время ни было», то есть хотя бы в четыре часа ночи!.. Я это письмо наизусть знаю! «...нисколько не медля, явитесь к королю французов и объявите ему мою волю, чтобы все печатные экземпляры пьесы “Екатерина Вторая” были немедленно же конфискованы и представления запрещены на всех французских театрах. Если же король на это не согласится, то потребуйте выдачу кредитивных грамот и в двадцать четыре часа выезжайте из Парижа в Россию. За последствия я отвечаю. Николай...» Вот какое письмо, а? Королю Франции!

– Следует, да! – пристукнул капитан. – За это... следует!

– Курьера монарх наш отправил лично, – продолжал Дебу. – Курьер помчался. Прибыл в Париж, – граф Пален как раз обедает в королевском дворце. Вызвал его, передал письмо. Посол наш вернулся в обеденный зал и к королю: «Ваше королевское, прошу дать мне немедленно аудиенцию!» Конечно, Людовик Филипп должен был удивиться – он и удивился. Он предлагал отложить дело до послеобеда, а граф Пален в свою очередь ссылаясь на строгий приказ депеши. Король вышел в соседнюю комнату, граф Пален познакомил его с полученной депешей. Конечно, Луи Филипп вышел несколько из себя. «Воля вашего императора, – говорит, – может быть законом только для вас, граф, а не для меня, поскольку я король Франции. Прошу передать вашему императору, что во Франции не деспотизм, а конституция и свобода

печатания, поэтому если бы я даже вздумал пойти навстречу желанию вашего императора, то пошел бы против конституции французской и против свободы печати, а это уж совершенно невозможно!»

– Гм... Та-ак! А граф Пален на это? – негодуяще пошевелил палкой капитан.

– Граф Пален, естественно, говорит: «В таком случае прикажите выдать мне доверительные мои грамоты». – «Как выдать грамоты? Но ведь это равносильно объявлению войны!» – «Может быть, и так... Во всяком случае, мой император пишет ведь, что сам отвечает за последствия...» – «Тогда дайте, – говорит король, – время посоветоваться с моими министрами!» Пален, конечно, указал на депешу, где говорилось о двадцати четырех часах: дескать, двадцать четыре часа могу ждать, а там, если ответ будет нежелательный, выеду.

– И что же?... Что же?

– И совет министров был тотчас же созван, и часа через два вышло постановление: все напечатанные экземпляры пьесы конфисковать, постановку пьесы запретить... Император был удовлетворен, и Пален остался на своем посту... Вот что было еще так недавно!

– Так, да, так... именно так... должен был поступить... поступить наш царь! – очень волнуясь и дергая головой, припечатал капитан.

– Замечательно! – врасяжку сказала Варя и перекинула тяжелую косу с левого плеча на правое.

Влажный рот Оли заалел еще ярче, и глаза стали еще круглее.

– Однако это еще не все, – продолжал Дебу.

– Ах, вы что-то очень интересное говорили, Ипполит Матвеич, а я опоздала послушать! – вошла, улыбаясь, Капитолина Петровна и села на пуф.

– Сейчас расскажу не менее интересное, – утешил ее Дебу. – В сорок четвертом году кто-то таким же образом написал во Франции пьесу «Павел Первый». Может быть, даже тот же самый автор. Дело касалось, значит, уже не бабушки царя, а его отца. Автор, конечно, не постеснялся наделить его разными отрицательными чертами и сцену убийства его в Михайловском дворце дал. И, конечно, снова успех скандальный был бы, если бы пьеса была поставлена. Но теперь Пален уже следил за этим и сам донес царю, что такая вот пьеса готовится к постановке. Царь наш, конечно, написал королю, что если эта пьеса будет поставлена, то он пошлет в Париж миллион зрителей в серых шинелях, которые ее освищут.

– Bravo! – сказала восхищенно Капитолина Петровна, хлопнула в мягкие ладоши и вышла.

– Вот это... вот это... это... – заволновался капитан, разнообразно двигая головою, наконец поднял палку и положил такую печать, что задребезжали тарелочки на этажерке.

– Конечно, после такого письма пьеса эта так и не увидела света, – продолжал Дебу. – Это ли не мировое могущество? Вмешаться в частные и вполне внутренние дела другой великой державы, и великая держава спасовала, как только наш царь пригрозил войной!.. А венгерская кампания? Неизвестно, что было бы с Австрией в революционном сорок девятом году. Скорее всего, Австрия распалась бы на несколько республик. Кто подавил движение венгров? Наш царь, как известно. И власть молодого Франца Иосифа укрепилась, а ведь на волоске висела! Государь же наш получил название европейского жандарма... Но вот прошло несколько лет, и что же? уж не наш император французскому королю, а французский император нашему пишет знаменитое письмо в январе и предлагает немедленно помириться с Турцией, иначе, пишет, Франция и Англия будут принуждены предоставить силе оружия и случайностям войны решить то, что могло бы быть решено рассудком. Так писать нашему царю – это значит перестать его бояться! А Франц Иосиф!

– Негодяй! – решительно выкрикнул капитан. – Это... это негодяй!

– Он забыл даже о том, что владеет Австрией теперь только благодаря нашему царю, и двинул против Горчакова свои войска. Это значит, что до того уж перестали бояться, что даже

и самой черной неблагодарности не стесняются!.. А наш царь, говорят, до того любил этого Франца, что даже статуэтку его везде с собой возил! Однако почему же перестали бояться? Вот вопрос.

И Дебу оглядел не только Зарубина, но и Варю и даже чрезвычайно внимательно слушавшую Олю.

– Потому что их несколько держав, – не совсем уверенно ответила Варя, перебрав тонкими пальцами кружевную пелеринку на груди.

– Конечно! Потому что их много, а русские одни! – тут же согласилась со старшей сестрой младшая.

Но отец их выжидающе смотрел на своего квартиранта и молчал.

Квартирант же будто думал вслух:

– Отчасти, разумеется, потому, что коалиция, но это не все. Больше всего потому, что высмотрели у нас не одну ахиллесову пятую.

– Не одну! А сколько... сколько же? Две? – вдруг неожиданно зло подался к нему капитан.

– Нет, не две даже, а, я думаю, побольше, – спокойно возразил Дебу. – Севастополь выбран не зря. Прежде всего он у моря, которое не замерзает, а затем – к нему нет дороги.

– Как же так нет дороги? – удивилась Варя.

– Я говорю о железной, конечно. У союзников в руках самый удобный и самый дешевый путь. Пока нашей армии на выручку подойдут пешком, скажем, пятьдесят тысяч, союзники могут подвезти сто. Я думаю, что весь расчет свой они строили только на этом.

– Что вы, Ипполит Матвеич! Неужели же вы думаете, что они возьмут Севастополь? – очень обеспокоилась Капитолина Петровна, вновь появившись.

– Нет, я думаю, что может быть хуже, – быстро вскинул на нее глаза Дебу и тут же опустил, – до того растерянное было теперь лицо у этой всегда приветливой женщины с добрым сердцем. – Видите ли, Россия и во второй половине девятнадцатого века продолжает оставаться страной крепостного рабства. Нужно сказать, что наш император одно время хотел освободить крестьян, и по этому поводу было собрано, как известно, особое совещание Государственного совета, и на нем сам царь выступал с речью, однако из этого ничего не вышло: высшее дворянство оказалось против этого проекта, и в первую голову наш главнокомандующий, князь Меншиков, заядлый крепостник, потому что он владелец чуть ли не десяти тысяч крестьян. Но железные дороги и крепостное рабство, согласитесь сами, это не вяжется одно с другим. И, однако, если Россия и спаслась чем от глубокого вторжения врагов, то только своим бездорожьем. Царь наш в своем манифесте вспомнил 1812 год, но французы его, конечно, тоже помнят, и в глубь нашей страны они не пойдут, я думаю. Какой им смысл уходить от моря, то есть от своего флота, даже в глубь Крыма, не только в глубь России, если у них артиллерия, как известно, гораздо лучше нашей! Мне кажется, союзникам нет даже и смысла особенно спешить брать Севастополь. Зачем им это?

– Как зачем, если вся война из-за Севастополя? – как будто даже обиделась на Дебу Варя за то, что он будто дешево очень оценивает ее родной город.

И все четверо Зарубиных непонимающе переглянулись, но Дебу продолжал спокойно:

– Мне кажется, что Севастополь будет просто местом артиллерийской дуэли. Союзники вызвали нас на артиллерийскую дуэль и местом для нее выбрали нашу крепость, где самый большой арсенал на юге России. На Одессу ведь вот же они не пошли, как многие у нас думали. Они пришли туда, где мы вооружены лучше всего, и, я думаю, их единственный план – своими орудийными заводами задавить наши орудийные заводы. Наш ближайший к Севастополю пушечный завод в Луганске, но доставить оттуда пушки и снаряды в Севастополь куда труднее, чем из Англии морем, – и, конечно, по сравнению с английскими и французскими пушечными заводами это очень плохой завод.

– Что такое он... он... говорит, этот? – побледнев еще заметнее и показав набалдашником палки на Дебу, спросил тихо жену Зарубин.

Та тут же подошла к нему вплотную и положила руку на его шею, шепнув:

– Не волнуйся, Ваня, тебе вредно!

А Дебу, обращаясь в это время только к Варе, продолжал не замечая:

– Допустим на минуту, что союзники пришли к самому Севастополю. Естественно, их встретят орудийными залпами. Так начинается эта дуэль. Допустим еще, что они в результате этой дуэли возьмут Севастополь через месяц. Есть ли им смысл уходить отсюда дальше в Крым? Решительно никакого! Им выгоднее всего снова укрепиться в нем и ждать, когда его придут отнимать русские дивизии, чтобы снова показать им превосходство своих орудийных заводов и своих инженеров.

– Это француз! Да! – стукнул яростно палкой и закричал, исказив лицо, Зарубин. – Вы француз, и потому вы... Как вы смеее говорить так? А?... Как смеее?

И он поднялся, согнувшись и подавши все тело на палку.

– Успокойтесь, Иван Ильич, – кинулся к нему Дебу. – Ради бога, успокойтесь! Я ведь только рассуждаю с точки зрения союзников... то есть пытаюсь найти их точку зрения, – и только! Я француз и католик, но по подданству такой же русский, как и вы.

– Вы не смеее, нет!.. Вы... вы солдат унтерского звания, вот! И вы-вы... не смеее рассуждать! – кричал Зарубин, краснея и дергая шеей.

– Рассуждать я все-таки должен, хоть я и солдат, – примиряющим тоном обратился Дебу не только к нему, но и к Капитолине Петровне. – А говорю это затем, чтобы убедить вас поскорее отсюда уехать, так как мне будет больно, если из вас кто-нибудь погибнет. Понимаете? Очень больно! Вот почему говорю.

– Но ведь князь пошел же не допустить союзников до Севастополя, и он не допустит! – больше вопросительно, чем убежденно сказала Капитолина Петровна.

– Будем верить, будем надеяться... когда на это никто уже не надеется и Севастополь укрепляют, как умеют и могут. Но что вам мешает уехать хотя бы на время, не понимаю.

– Куда же мы поедem из своего дома? – уже с тоской в голосе сказала капитанша. – У нас ведь нет никакого имения, а дом мне от матери перешел по наследству... Здесь они у меня родились все, – кивнула она на Олю, и вдруг слезы навернулись ей на глаза и покатались одна за другою по полным гладким щекам.

Оля подошла к матери и поцеловала в подбородок, Варя отвернулась к окну, плеснув по покатым плечам косою, а сам Зарубин, одетый ввиду прохладной погоды в старый флотский сюртук, продолжал еще смотреть на Дебу яростными глазами, когда вбежал, запыхавшись, пятнадцатилетний сын его Витя, юнкер флота, и, не снимая белой бескозырки с лентами, крикнул ломающимся голосом:

– Суловы уезжают, мама! Я сейчас видел!

– Куда же они уезжают? – спросила Варя.

– Не знаю. Говорят, пока еще можно проехать... «Громоносец» и «Херсонес» вышли за боны, теперь на открытом рейде... И «Бессарабия» тоже.

В семье Зарубиных знали, что эти три парохода военного флота и что это утешительно: отважились выйти из бухты! А мальчик продолжал так же возбужденно:

– А что делается на улицах – не-ве-роятно!.. Везде роют траншеи! И на Театральной площади тоже!

– И на Театральной даже? Надо пойти посмотреть... А потом в свой батальон зайти, – сказал Дебу, подвигаясь к двери, и добавил, выходя: – Вот видите, Суловы уехали, а им ведь труднее вашего было собраться, Капитолина Петровна. Эх, начинайте-ка скорее укладываться, чтобы не было поздно потом! Раз надо бежать, бегите!



## II

Южная бухта делила Севастополь на две очень неравные части: по одну сторону, ближе к скрытым в земле руинам Херсона, расположился довольно правильно разбитыми кварталами собственно город, по другую – морские казармы, порт с его сложным хозяйством, мастерскими и доками, примыкающими к небольшому заливу – Корабельной бухте. По соседству с Корабельной бухтой и доками селились отставные шкиперы и боцманы, построив Корабельную слободу в несколько улиц. Невдали от нее расположены были крепкие, из местного белого камня, двухэтажные постройки морского госпиталя – в одну сторону, а в другую – Малахов курган с башней на пять орудий. Эти две части Севастополя находились между собою в постоянном и очень оживленном сношении: ялики морского ведомства беспрестанно сновали с одного берега на другой.

Но Северная сторона, лежавшая за Большим рейдом, была почти совершенно пустынна. Не привлекавшая поселенцев, она не привлекала внимания и крепостного начальства. Там было только несколько фортов, охранявших вход в Большой рейд с открытого моря, причем один из этих фортов был построен еще при адмирале Лазареве с разрешения Меншикова отставным поручиком артиллерии Волоховым на свой счет. Этот форт, глядевший в море, так и назывался – Волоховой башней.

Однако не нашлось других отставных поручиков артиллерии, чтобы построить хотя бы слабые укрепления поясом по Северной стороне от Волоховой башни до конца Большого рейда – на семь верст. Линия фортов там, правда, намечалась, но давно, лет двадцать назад, и только на карте.

Теперь же первое, что, к удивлению своему, отметил, выйдя от Зарубиных, Дебу, было то, что дюжие воронье артиллерийские кони везли одно за другим несколько орудий в направлении к Царской пристани, откуда их могли переправить не иначе как только на Северную сторону. На улице от грузно цокавших по гладкому булыжнику подков и от подпрыгивавших дебелых зеленых колес с толстыми железными шинами стоял грохот. Из окон, отставляя цветочные горшки и отстраняя занавески, высовывались любопытные женщины.

Рядом с последним орудием ехал верхом знакомый Дебу артиллерист, штабс-капитан Кушталов. Ему крикнул Дебу, поднимая над головой шляпу:

– Куда? На Северную?

– Укрепляемся про всякий случай, – приставив руку ко рту, чтобы Дебу сквозь грохот слышал слова, ответил Кушталов, проезжая.

А в обратную сторону, явно на Симферопольскую дорогу, двигалась длинная арба, запряженная парой мелких деревенских лошадок. Возчик шел рядом, с вожжами в одной руке и с кнутом в другой, а на тяжело груженной разными домашними вещами арбе важно сидела пожилая женщина в ковровой шали – экономка ли, нянька ли чья, а рядом с нею солдат с неизгладимой печатью денщика на широком сытом рябом лице. Выше других вещей на арбе желтело узенькое плетеное детское креслице, без которого как же было обойтись в Симферополе или Николаеве счастливому семейству, очевидно уехавшему из обреченного города раньше.

Партию рабочих с кирками и лопатами на плечах вел куда-то исполнительного вида унтер-офицер. Рабочие были в фартуках и сапогах бутылками. Фартуки и сапоги их были заляпаны известью. Лица у них были не то чтобы запыленные, а явно недовольные. Унтер же говорил им, проходя и взглядывая искоса на штатского в шляпе:

– Теперь не то что новые дома класть, а впору об старых заботу поиметь, чтобы часом их не развалили неприятели...

И Дебу понял, что этих каменщиков по чьему-то приказу сняли с постройки рыть траншеи.

Кучка смуглых бородатых потных людей, оживленно жестикулируя и громко говоря на неизвестном Дебу языке, вышла из переулка прямо против него, и один из них обратился к нему крикливо:

– Гаспадин! Скажи, гаспадин, старшуй начальник как мы найдем, а?

– А вы... что же за люди такие? – спросил Дебу.

– Люди? – вопросительно, но быстро оглядел говоривший других своих и ответил, ткнув себя в грудь большим пальцем: – Ми нэ люди, ми – кадыккойские греки!

– А-а, вон вы кто, а я думал – цыгане... Зачем же вы пришли?

– Ми нэ пришли, ми на лошадь приехали! – с еще большим достоинством ответил грек.

Понемногу разговорились. Можно было понять, что эта кучка кадыккойских греков приехала сюда узнать, что делать всем вообще кадыккойским и балаклавским грекам, если подойдет неприятель: сидеть ли в своей Балаклаве, или, может быть, будет безопаснее перебраться всеми семействами и со всем имуществом сюда, в Севастополь.

Вопрос был, конечно, важный, и Дебу подробно и долго объяснял им, как пройти к Екатерининскому дворцу, где могли бы им указать того, кто теперь распоряжался всем в крепости за отбытием светлейшего на Алму.

А когда он прошел дальше, к Театральной площади, то увидел, что там, в дальнем конце ее, на выходе из города, действительно, как говорил Витя Зарубин, рыли канаву, но рыли какие-то бабы, чего не сказал Витя. Однако бабы эти, не в пример каменщикам, рыли траншеею весело, то и дело покатываясь от хохота по новости дела. Руководили их работой два пожилых саперных солдата, старавшихся унять их веселость окриками.

Дебу хотел было подойти поближе к веселым землекопам, но тут, под барабанный бой маршируя, вышла на площадь рота матросов одного из морских батальонов, сверкая на солнце стволами и штыками ружей. Какой-то лейтенант, ротный командир, четко идя под барабан впереди, вдруг обернулся, прошел несколько шагов задом и неистово скомандовал под правую ногу:

– Протта-а... стой!

Рота сделала еще шаг, ударив по земле ногами изо всей силы, и стала вкопанно. Барабан умолк.

Дебу увидел, что матросы, когда они собраны вот так в роту, кажутся благодаря своим высоким и широким торсам и дюжим воловьим шеям какой-то непобедимой крепостью по сравнению с ротой пехоты. Но вот ретивый лейтенант, отойдя от роты в сторону, прокричал в самом высоком тоне:

– По убегающему неприятелю вдогон-ку... Первый взвод с колена, второй стоя, остальные уступами... рро-отта...

И матросы, кто с колена, кто стоя на месте, кто выбежав вправо и влево, начали старательно целиться в сторону Дебу. Он же с давним уже, но очень стойким неистребимым в нем замиранием сердца ждал команды «пли!».

Этой команды он ждал однажды, стоя на эшафоте на Семеновском плацу в Петербурге, и с тех пор неприятное чувство всякий раз овладевало им, чуть только слышал он это вопиющее «рро-о-та», за которым должно было следовать короткое, как выстрел, и страшное «пли!».

Тогда их стояло на-эшафоте двадцать человек, осмелившихся читать утопистов – Фурье, Сен-Симона, Кабе и других – и о прочитанном спорить. Но самым преступным деянием их, по мнению следственной комиссии и членов суда – нескольких генералов, было то, что они осмелились читать вслух знаменитое письмо Белинского Гоголю по поводу «Переписки с друзьями»!

Выяснилось при этом еще более преступное: что письмо кое-кто из них давал даже переписывать своим знакомым!

Они собирались большей частью у молодого, как и все они, чиновника Министерства иностранных дел Буташевича-Петрашевского, известного прежде всего тем, что он вызывающе открыто носил строго запрещенную в те годы для чиновников и дворян бороду и шляпу с очень широкими полями – признак явного вольномыслия и даже бунтарства. Они не знали, что снисходительно смотреть на эти причуды чиновника было секретно приказано свыше, ввиду особенных целей.

Среди частых гостей Петрашевского, собиравшихся у него по пятницам, были молодые гвардейские офицеры, неслужащие дворяне, литераторы, как Пальм, Дуров, Плещеев, Салтыков-Щедрин, Достоевский, «Бедные люди» которого приводили тогда в восхищение читателей; наконец, имели вход к Петрашевскому и образованные мещане, как некий Шапошников.

Дебу помнил, как письмо Белинского читал своим изумительным голосом глубоко волнующего тембра этот щуплый, низенький и болезненный с виду, некрасивый, когда молчал, и всегда прекрасный в споре, отставной инженер-поручик Достоевский.

После чтения все говорили о позорной петле, накинута на народную шею, – о крепостном праве.

Тогда было время тревожное не для одного только вечно боявшегося революции Николая, тогда «красный призрак бродил по Европе», революции вспыхивали одна за другой то в Париже, свергшем короля Луи Филиппа и установившем власть временного правительства, то в Вене, то в Италии – в Неаполе, Флоренции, Милане, когда впервые известны стали имена Гарибальди, Мадзини. Все известнее становились имена творцов самого революционного учения – Маркса и Энгельса.

Тогда-то, чтобы задавить освободительное движение в Венгрии, Николай послал на помощь Францу Иосифу свыше ста тысяч своих войск под командой Паскевича.

Тем строже отнеслись к тем, кто на «пятницах» у Петрашевского как будто призывал в Россию «красный призрак».

Почти все участники «пятниц» были арестованы в одну ночь, в апреле, но сидели в крепости восемь месяцев до суда в одиночных казематах, причем не выдержали одиночки и заболели умственным расстройством гвардейский поручик Григорьев, девятнадцатилетний студент Катенев и родной брат Дебу – Константин, тоже чиновник одного с ним департамента.

Этот день, когда их рано вывели из казематов, переодели в их собственное платье и повезли – 22 декабря 49-го года, – мгновенно воскрес в памяти Дебу при одной этой команде лейтенанта.

Их посадили в кареты, кареты тронулись, окруженные конными жандармами с саблями наголо. Стоял мороз, и сквозь заиндевшие маленькие окошечки кареты ничего не было видно. С ними ехал солдат-конвойный. Его спросил он: «Куда нас везут?» Конвойный ответил таинственно: «Этого не приказано сказывать». Он стал тереть и скоблить стекло пальцами, чтобы хоть рассмотреть, по какому направлению везут, но солдат завопил: «Что вы, хотите, чтобы меня из-за вас до полусмерти избили!»

Но вот наконец остановились кареты: привезли. Сказали: «Извольте выходить!» Вышли. Огляделись и узнали Семеновский плац.

На скрипучем синем утопанном снегу – какой-то длинный помост из свежих новых досок, небрежно обитых черным коленкором, с лестничками с двух сторон и столбами по обочинам: эшафот. Глядели друг на друга, не веря глазам своим: почему эшафот? Почему в стороне от него солдаты с ружьями, полк солдат при всех офицерах? Почему рядом с офицерами петербургский обер-полицеймейстер Галахов, в генеральской шинели, верхом на лошади, и какой-то рыжий поп в шубе и меховой шапке с бархатным черным верхом?

Оглядывали друг друга, едва узнавая: за восемь месяцев заключения такие все стали обросшие, худые, желтые, даже богатырски сложенный Спешнев!

Все были уверены, что привезут их снова в здание суда, где и прочитают им приговор: конечно, какой-нибудь легкий, – но почему же вдруг такая предсмертно-торжественная обстановка?

Кто-то обратил внимание на сани, стоявшие в стороне. На этих санях громоздилось что-то, покрытое рыжим. «Это гробы наши, а сверху рогожи!» – сказал тогда Дуров, и все поверили, хотя, как оказалось, на санях была свалена их арестантская одежда.

Но говорить друг с другом им запретили: собрались тут люди для дела, деловито приказал им генерал Галахов взойти на эшафот. Их расставили около столбов – по одной стороне девять, по другой – одиннадцать человек, – лицами внутрь, и на эшафот взошел тот самый аудитор, который записывал их показания на суде, длинный и тощий военный чиновник-немец.

– Шапки долой! – прокричал им Галахов.

Неторопливо, сняв перчатку с одной руки, держа бумагу близко к близоруким глазам, деревянным громким голосом прочитал чиновник приговор, кончающийся словами: «Приговорены к смертной казни расстрелянием».

И еще не успели изумленно переглянуться все они – двадцать человек на эшафоте, как торопливо сошел аудитор и взошел поп, левой рукой вытащив из кармана шубы небольшой серебряный крест. Лысой голове его было, видимо, холодновато сразу после теплой шапки, но тут же снова раздалась команда Галахова им, двадцати осужденным, успевшим уже снова покрыть головы:

– Снять головные уборы!

Не все поняли эту команду, но вслед за офицерами, как гвардейские поручики Пальм, Момбелли, Григорьев, опять сняли кто шляпу, кто шапку.

Поп осмотрел кое-кого торопливым взглядом и сказал певуче:

– Братие! Искреннее покаяние перед смертью очищает душу...

Должно быть, он хотел сказать небольшую речь о пользе исповеди, но Дебу заметил, как стоявший прямо против него Петрашевский зло усмехнулся в широкие усы, посмотрев на него исподлобья, и тот пробормотал только:

– Прошу подходить к исповеди по очереди, не толпясь.

Однако никто, кроме Шапошникова, не подошел к нему. Исповедь была недолгая. Шапошников отошел. Поп подождал немного, оглянулся назад, на генерала Галахова, и спросил негромко:

– Может быть, не против убеждений ваших будет приложиться ко кресту?

И к нему продвинулся очень набожный, несмотря на свой фурьеризм, литератор Дуров, чтобы спросить, почему не приобщает он того осужденного, которого только что отысповедовал, но поп, не отвечая на этот вопрос, сунул к его губам крест.

Когда, надев шапку и спрятав крест, спустился вниз поп, на помост взбежали с той и другой стороны солдаты, несколько человек, с веревками, мешками, шпагами... Ротный командир, торжественно произнося: «Лишаетесь военного звания!» – переломил над головою каждого из офицеров заранее надпиленные шпаги, солдаты быстро прикрутили Петрашевского, Григорьева, Момбелли к столбам, на головы всех накинута плотные мешки... Потом раздалась эта подлая, звонкая в морозном воздухе команда ротного:

– По государственным преступникам паль-ба... взводом!

Но после этой команды настала вдруг длительная тишина. И Дебу помнил, что он занят был тем, что про себя считал мгновения: раз... два... три... четыре...

Не представлялось никаких лиц, с которыми хотелось бы хоть мысленно проститься перед смертью, ничего не оставалось как будто в памяти – пустота, и в этой черной пустоте сверкали, падая вниз, мгновения.

Он насчитал так десять, двадцать, тридцать наконец, все ожидая последнего человеческого слова в его жизни – коротенького, но такого огромного по смыслу слова «пли!», после которого раздастся гром залпа и тело в нескольких местах жгуче будет пронизано пулями...

И вдруг вместо этой ужасной команды барабанщик ротный ударил «отбой» и раздалась команда другая, мирная:

– К но-ге-е!

Ружья, взятые сложным приемом с прицела «к ноге», однообразно звякнули, и те же конвойные солдаты, которые натягивали на головы им мешки, кинулись их снимать и развязывать тех, кто был прикручен к столбам.

Дебу помнил, с какой ненавистью поглядел он тогда на этого осанистого генерала, обер-полицеймейстера, распорядившегося всей этой гнусной церемонией, когда он объявлял, что государь «всемиловитейше помиловал» их и «даровал им жизнь»... для того, чтобы разогнать их, кого, как Петрашевского, на каторгу без срока, кого, как Достоевского, на каторгу на четыре года, кого, как самого Дебу, в арестантские роты... в Килию, на Дунае, а потом в Севастополь, в военно-рабочий батальон...

Но этот ненавидящий взгляд был обращен не столько к генералу Галахову, который проделал, как умел, что ему было приказано, сколько к тому, кто приказал это проделать.

Переживший предсмертный ужас Григорьев был бледен, весь дрожал и стучал зубами, бормоча что-то бессвязное: он совершенно сошел с ума.

Позже узнал Дебу, что царю было известно о «пятницах» Петрашевского еще в начале 1848 года, но он только посылал к ним шпионов и выжидал, когда они, как новые декабристы, выйдут на улицу. Петрашевцы на улицу не вышли, время же было тревожное, и царь отдал приказ об их аресте. Он сам следил за процессом, сам читал все их показания, сам же лично пересматривал приговор суда генералов, кому уменьшая, кому увеличивая сроки наказания.

Дебу передернул плечами от этих воспоминаний и обошел роту матросов стороною. Когда же, чтобы взять прямое направление на казармы своего батальона, куда он шел, он поравнялся с кучею баб, работавших так ухарски весело, то услышал громкий, несколько хрипловатый окрик:

– Эй, барин! Чего зря бродишь, слоны слоняешь? Иди к нам, девкам, землю под пушки копать!

На задорный окрик другие ответили дружным хохотом, и он догадался, что это те самые веселые девки, которые во множестве жили именно здесь, около Театральной площади, на выезде из города.

Приглядевшись, он заметил, что порядком здесь ведал квартальный надзиратель, так как всеми подобными девками тогда бесконтрольно ведала полиция.

Только через несколько дней он узнал, что здесь, за насыпанным девками валом, установили батарею мощных орудий и нежно называли Девичьей.

Тут же за Театральной площадью, по берегу Южной бухты, был разбит бульвар, открытый для гулянья даже солдат и матросов, в то время как вход на Приморский бульвар строго им воспрещался. Проходя по этому пока еще чахлому бульвару, где дорожки подметались только перед большими праздниками, Дебу увидел направо от себя новую толпу рабочих, только уже не девок. Это были так называемые «рабочие батальоны порта», но оттуда, из порта, где они работали постоянно, их перебросили сюда по чьему-то властному приказу.

Дебу помнил, что еще в апреле этого года на месте теперешних работ был чей-то виноградник, обнесенный невысокой каменной стенкой, и на винограднике торчала небольшая сторожка. Потом солдаты копали здесь траншеи и блиндажи, которые накрывали бревнами в накат и присыпали землей и песком; это место стало называться четвертым бастионом.

Но теперь он видел, что и бульвар уже был размечен кольями и шестами и кое-где валялись только что срубленные молодые деревья, а к их пенькам бороздою проведена была изломанная линия будущих редутов.

В бухте, где за последнее время привычно неподвижно стояли суда: бриг «Тезей», бриг «Аргонавт», корвет «Андромаха» и прочие, – теперь кипела работа; на них, как муравьи, кишели матросы, артельно крича: «А ну ра-аз!.. А ну два!.. Принима-ай, ра-аз!» Это по сходням из бревен и толстых досок выгружали на берег с мелких, не имевших боевого значения судов орудия, а на берегу уже ожидала их артиллерийская запряжка, чтобы отвезти на позиции.

Но что особенно поразило Дебу дальше, когда он подошел к концу бухты, это кипучая деятельность арестантов морского ведомства, плавучая тюрьма которых, блокшиф «Ифигения», торчала тут же, в бухте.

Засидевшиеся арестанты работали ретиво, с прибаутками и смешками, вроде тех девок на площади, но они разбирали каменную ограду чьей-то земли в стороне и перетаскивали на носилках камень к дороге из Севастополя на Симферополь. Часть их рыла также и землю, но вырытую землю свозили на тачках туда же, где укладывали длинным рядом камень, оставляя на широкой гуртовой дороге в середине только узкий проезд для двух подвод.

Отыскав глазами тюремного надзирателя, Дебу подошел к нему и спросил недоуменно:

– Что такое тут делают, а?

Усатый сумрачный надзиратель оглядел его от шляпы до башмаков весьма недовольно и ответил без малейшей тени уважения:

– Сами видите, что... баррикады.

– Хотя и вижу, любезнейший, но трудно было догадаться, чтобы арестанты вдруг начали строить баррикады! – улыбнулся Дебу.

И он остановился здесь, чтобы уяснить самому себе, какой смысл имели эти баррикады: могли ли надолго задержать войска, обильно снабженные артиллерией, – но надзиратель, оглянувшись, сказал вдруг ему торопливо:

– Проходите, господин, тут вольным стоять не полагается!.. Адмирал едут, проходите!

Отходя от строящихся баррикад и оглянувшись, Дебу увидел большую группу всадников – не менее как человек пятнадцать – и узнал среди них адмирала Корнилова. Корнилов ехал со стороны Корабельной слободки и Малахова кургана со всеми чинами своего штаба и что-то энергично чертил в воздухе рукою – должно быть, линию новых траншей, которые должны быть устроены безотложно.

И Дебу понял, от кого исходят все приказания по обороне города теперь, когда Меншиков терпеливо поджидает на Алме подхода неприятельских полчищ, кто распорядился в спешном порядке снимать орудия с бездеятельных бригав и корветов и даже проституток выгнал на рытье траншей.

И в первый раз именно теперь ему стало неловко как-то за свое «вольное» пальто и шляпу и захотелось поскорее стать по виду солдатом, пусть даже и не пустят тогда его будочники на аристократический Приморский бульвар.

В канцелярии рабочего батальона, куда наконец добрался Дебу, он нашел только хорошо ему знакомого батальонного адъютанта, поручика Смирницкого.

– Ну вот и кончились счастливые дни Аранжуэца!<sup>11</sup> – весело сказал ему поручик, счастливый обладатель внешности, способной быть очень подобострастной и почтительной в отношении к начальству, очень внушительной в отношении подчиненных ему писарской и музыкантской команд, восторженно-мечтательной в отношении женщин и добродушнейше-небрежной в отношении товарищей по полку.

---

<sup>11</sup> Аранжуэц – летняя резиденция испанских королей.

– Да, надо приниматься всерьез за службу, – отозвался ему Дебу, присаживаясь к адъютантскому столу.

– Извольте-с добавлять теперь: «ваше благородие», – неуловимо иронически заметил поручик. – И вообще подрепертите «Памятку рекрута», а то вы нам голову снимете!

– Ну так уж и сниму! Унтер-цер ведь я все-таки.

– Как же не снимете? Ведь вот же «ваше благородие» опять не добавили! А за сколько шагов снимать будете головной убор при встрече на улице с генералом или адмиралом?

– За шестнадцать, ваше благородие, – улыбнулся Дебу.

– Ничего нет смешного! А во фронт будете становиться за сколько шагов?

– За восемь шагов.

– А своим штаб-офицерам?

– Э-э, знаю, знаю все это отлично! Своего полка штаб-офицерам головной убор снимать за восемь шагов, а во фронт становиться за четыре...

Так же и своему ротному командиру.

– А «ваше благородие» где? Нет, вы неисправимый рябчик. Впрочем, будем надеяться скоро увидеть вас офицером: Ганнибал<sup>12</sup> у ворот!

– Вы думаете, у союзников имеется все-таки свой Ганнибал?

– А Сент-Арно на что?

– Посмотрим... А как думают в высших сферах: удержится князь на Алме или...

– Это уж вам лучше знать, чем нам, грешным. Вы ведь возвращаетесь в высших сферах, а не мы.

Так несколько минут поговорив шутивно об очень серьезном, поручик Смирницкий весьма откровенно зевнул во весь рот, сильно потер себе уши, так что они зарделись как пионы, буркнул:

– Спать хочется, как коту! Сегодня ночью и трех часов не спал... – и поднялся, давая этим понять Дебу, что разговор надо уже кончать.

– На так называемое «довольствие» я где-нибудь буду зачислен? – спросил, подымаясь, Дебу.

– А как же! На довольствие пока зачислю вас в писарскую команду... Но при штабе батальона вы, конечно, можете проболтаться недолго. В строю, под пулями, голубчик, наживаются эполеты, а не перышком скрипя. Потом решите сами, к какому вас ротному командиру для военных подвигов откомандировать, к тому и командирею. А завтра с утра непременно уж приходите форменным нижним чином, а то я за вас отвечать буду... Обмундировку не пропили?

– Никак нет, ваше благородие, – хмуро улыбнулся Дебу, искоса глядя на адъютанта.

– А кто же вам разрешил косвенные взгляды эти и разные там улыбки, раз вы говорите с начальством? – играя уголками губ, нахмурил притворно свои пухлые брови Смирницкий и дружелюбно подал ему на прощание тугую широкую лапу.

Когда Дебу возвращался на Малую Офицерскую, он уже вполне чувствовал себя нижним чином, хотя и был еще в шляпе.

И даже Варя Зарубина, которая часто дарила его внимательным, но как бы нечаянным взглядом из-под полуопущенных век и делалась такою благодарно-краснеющей, искренне-радостной, когда он заговаривал с нею наедине, не при родителях, даже она, о которой привык он думать часто и нежно, вдруг почему-то сразу отодвинулась в его мыслях далеко в сторону: все-таки штаб-офицерская дочь!

---

<sup>12</sup> Ганнибал (ок. 247–183 до н. э.) – известный карфагенский полководец.

Арестанты по-прежнему ретиво воздвигали баррикады на Симферопольской дороге, а на четвертом бастионе, остановившись там со всею свитою, что-то начальственно кричал Корнилов.

Нижним чинам того времени свойственно было стремиться по возможности не попадаться на глаза высокому начальству, и Дебу, не вслушиваясь в слова Корнилова, постарался скрыться за кустами бульвара.

### III

Весь этот день 5 (17) сентября, встав рано утром, Корнилов провел не в штабе флота, а на коне, объезжая ближайшие подступы к Севастополю, с каждым часом все ясней и ясней убеждаясь в том, что город этот, оплот всего юга России, почти совершенно не защищен с суши – раздет.

Фортификация – наука не моряков. Но блокада, как буря, выбросила на берег весь Черноморский флот со всем его экипажем, считая и адмиралов, и когда все сухопутные силы ушли на реку Алму, их место на фортах крепости, естественно, должны были занять моряки, которых насчитывалось до одиннадцати тысяч, и контр-адмирал Истомин руководил работами по укреплению Малахова кургана, а другой контр-адмирал, Панфилов, укреплял форты Южной стороны.

В то же время деятельно готовился к выходу в море и к решительному бою весь флот за исключением совсем устаревших и мелких судов, с которых свозились орудия на берег.

Как свернувшийся еж, Севастополь расправлял и выставял во все стороны свою щетину.

Телеграфная станция морского собрания была устроена на площадке над библиотекой, между прочим, очень богатой книгами, там же установлен был и довольно сильный телескоп, в который виднелось вполне отчетливо, какой силы неприятельская армада стала на якорь между Евпаторией и деревней Контуган и в каком порядке происходила высадка десанта, так что лейтенант Стеценко, явившись с докладом к Корнилову, не много мог сказать ему нового, но доклад его понравился Корнилову тем, что был обстоятелен и спокоен, так же как и сам докладчик.

– Вот что мы сделаем, – оцениваяюще глядя на лейтенанта, сказал Корнилов. – Я вас зачислю в свой штаб адъютантом. Приходите ко мне сегодня обедать – познакомимся покороче.

И в свите адмирала, которую увидел Дебу, как новичок в штабе, был и лейтенант Стеценко. Дебу просто не разглядел его в толпе всадников, а между тем они часто виделись, и подолгу говорили друг с другом, и могли бы считаться друзьями, если бы были более сентиментальны оба.

Ветреная Блондинка, генерал Моллер, старший по чинопроизводству, но в то же время непригодный для полевых действий по старости, был оставлен в Севастополе Меншиковым как начальник гарнизона. Но гарнизона этого было всего только четыре резервных батальона, стоявших, как стояли и раньше, на крупных фортах. Кроме того, у Моллера в эти тревожные дни расшалилась поясница, и он ее усиленно парил, сидя дома, и хотя разные важные бумаги по правилам субординации шли на решение к нему, он тут же направлял их к Корнилову.

Корнилов был человек увлекающийся, испытанной личной храбрости в морских боях, очень хорошо знавший морское дело, но в эти дни на него свалилась тысяча мелких забот, с которыми к нему обращались отовсюду, включая сюда и жалобу саперных частей на выданные им из складов адмиралтейства очень мягкие лопаты, которые гнулись, как картонные, при работе на каменистой земле, и слишком перекаленные кирки и мотыги, которые ломались с двух-трех ударов.



В этот день, 5 (17) сентября, с библиотеки было видно, как купеческие суда начали отходить от флота союзников, и можно было насчитать свыше семидесяти судов, которые пошли на юго-запад, освободившись от десанта.

Затем замечен был французский винтовой корвет, на котором разглядели генерала со свитой. Корвет этот подходил очень близко к устьям Алмы, Качи, Бельбека и к мысу Лукулл, очевидно разглядывая позиции русских войск.

Обеспокоенный Корнилов очень ярко представил, как неприятельский военный флот этой же ночью может атаковать Севастополь, может быть, даже подвезет и часть сухопутных войск, чтобы внезапным нападением занять несколько фортов. Корнилов после объезда работ собрал всех младших адмиралов и командиров судов, чтобы назначили команды матросов на помощь резервным батальонам, если услышат сигналы с флагманского корабля.

Но среди всех этих беспокойств о городе, о флоте, о чести России он (очень хороший семьянин) помнил, что этот день – годовщина его свадьбы с Елизаветой Васильевной, с которой он прожил в согласии семнадцать лет, прижил четверых детей, из которых старший сын, Алексей, уже гардемарин и совершает первое свое кругосветное плавание.

В обед он пил шампанское за здоровье своей жены, тревожно думая о том, как-то пройдут пятые ее роды, а вечером с особым курьером из Николаева получил от нее письмо, что роды прошли благополучно, что родилась дочь и в честь роженицы названа Лизой.

В этот вечер, проведенный им вместе со всем своим большим штабом и адмиралами Нахимовым, Истоминым, он был очень оживлен и даже весел. Уединившись в своем кабинете, он написал жене: «С утра взгрустнулось, когда вспомнил, что 5 сентября провожу один. Поздравляю тебя, добрый друг мой, поздравляю и дочку Лизу. Когда-то мне удастся вас всех увидеть! Из лагеря известия были и утром и вечером: неприятель по-прежнему продолжает окапываться, а мы стоим на прежней отличной позиции. У нас в Севастополе все спокойно и даже одушевленно. На укреплениях работают без устали, они идут с большим успехом. Надемся все-таки, что князь Меншиков обойдется и без них. С каким восторгом увидел я твои строки, написанные довольно твердою рукою!»

Он мог бы в другое время написать жене много о том, что было понятно и дорого только им двоим, но теперь за дверью сидело шумное общество, а за другую дверь ждал курьер, который отправлялся обратно в Николаев.

И хотя вот теперь, в ночной уже час, три парохода: «Херсонес», «Бессарабия» и «Владимир» по его же приказу – дежурили за бонами на внешнем рейде в ожидании нападения союзного флота и на всех судах и бастионах ждали тревожных сигналов с его флагманского судна «Великий князь Константин», сам он был далек уже от мысли о возможной опасности, и когда кое-кто за столом сомневался в военных талантах князя Меншикова и не ждал ничего хорошего от его затеи встречать в открытом поле противника, который вдвое его сильнее числом, Корнилов горячо защищал князя и доказывал, что план его превосходен.

На другой день утром, обрадованный тем, что ночного нападения не было, что для укрепления Севастополя дается врагом еще целый день, а это большая удача, Корнилов, взяв с собою только одного нового адъютанта Стеценко, верхом поехал в лагерь на Алме.

Поехал он не за тем, чтобы получить какие-либо распоряжения князя: лагерь уже был связан телеграфом с библиотекой морского собрания, и с князем можно было переговариваться из Севастополя, – нет, хотелось посмотреть лагерь своими глазами и убедиться в том, что он действительно крепок.

Утро было чудесное, бодрое, воздух свежий и ясный, очень четко рисовалась даль.

После ливня, бывшего три дня назад, вновь, хотя и робко еще, зазеленели сожженные летним солнцем неглубокие балки и взлобья холмов. Перепела выпархивали из-под копыт лошадей, когда, желая сократить время, Корнилов и Стеценко сворачивали с извилистой дороги

и ехали напрямиком. Перепелов в это время года множество собиралось со всей хлебородной России. Отсюда они передвигались дальше на юг.

От укреплений Северной стороны до лагеря на Алме считалось верст двадцать пять, но жилые места – хутора и деревни – были здесь только по долинам речек Бельбека и Качи, а между этими долинами – унылое безлюдье.

Раньше, месяц назад, здесь можно было встретить только чабанов с отарами овец крупных здешних помещиков, но теперь и отары держались как можно дальше от моря, вдоль берегов которого от Евпатории и от Севастополя двигались войска.

Только никому не нужные суслики то здесь, то там торчали на кочках, свистели презрительно.

Оценка человека человеком весьма капризная вещь: очень часто меняется она под влиянием иногда совершенно ничтожных причин. Но Стеценко привык с юных лет высоко ценить Корнилова как большого знатока морского дела; теперь же, когда Корнилов взял его к себе адъютантом, он стал ближе к нему и как человек.

То бесстрашие, какое проявил Стеценко при высадке союзников, конечно, было ему присуще, но он и самому себе, пожалуй, не признался бы в том, что тогда, как и на рейде, чувствовал где-то сзади себя подзорную трубу не Меншикова, которым был послан, а Корнилова, который предложил Меншикову послать не кого-нибудь другого, а именно его.

Ему, плотному и уверенному в прочности своего ширококостного тела, как-то даже чисто физически приятно было чувствовать рядом, конь о конь, гибкое и стройное тело адмирала. Он даже не только прощал ему несколько нефронтовую посадку, напротив, она казалась ему такою, как надо: корниловской. И рука адмирала, которой он держал поводья, рука без перчатки, энергичная, нервная рука, казалась ему еще молодою – гораздо моложе сорока восьми лет.

Адмирал спросил его о родных (они жили в Киеве), о невесте (у него пока не было невесты), пошутил насчет Нахимова, который каменно тверд в своих холостых привычках, наконец – заговорил о главнокомандующем (голос его, тенорового тембра, тоже очень нравился Стеценко):

– В такие дни испытаний, как теперь, главнокомандующий – это все! Все военные чудеса только от него зависят. И прежде всего, по-моему, он должен уметь выбрать место для боя... Все, что мы сейчас с таким трудом создали под Севастополем, он должен суметь найти на местности... Князь именно такую позицию и нашел, а это половина успеха, не правда ли?

Стеценко слишком высоко ставил своего начальника, чтобы ответить ему, как подобало испытанному адъютанту: «Это безусловная истина, ваше превосходительство!..» Он принял это за едва прикрытую иронию, почему и сказал, слегка улынувшись:

– Это, конечно, не относится к главнокомандующему противной стороны, который наступает на самые лучшие позиции и берет их, ваше превосходительство?

– Ну да, ну да, это, конечно, относится только к главнокомандующим тех армий, которые защищаются, как мы теперь, – живо поправился Корнилов.

– Но, однако, давно ведь известно, что самое лучшее средство защиты...

– Самому напасть! Конечно! Кто же не будет с этим согласен? Но ведь очень большое неравенство сил не обещает успеха при нападении, нет! У князя едва ли наберется и тридцать тысяч против шестидесяти... а может быть, и семидесяти.

– В истории, однако, бывали примеры, когда...

– Еще бы в истории! Но аббат Сийес<sup>13</sup> очень хорошо сказал насчет этого: «Ссылаться на историю для объяснения настоящих событий – это все равно что отыскивать известное при помощи неизвестного». История – это часто просто слухи, а ведь говорится же: не всякому

---

<sup>13</sup> Сийес Эммануил Жозеф (1748–1836) – французский государственный деятель и публицист.

слуху верь. Наконец, кого бы вы там ни называли: Фемистокла<sup>14</sup> ли, напавшего на флот Ксеркса, Александра ли, напавшего на войска Дария, – все равно закон один для всех: войска нападавших были лучше вооружены. Вот почему им и разрешалось историей быть в меньшем числе. У нас же, конечно, наоборот, не будем высокомерны... Но князь в данной обстановке положительно незаменим. Во-первых, он умен и потому не сделает какой-нибудь вопиющей глупости, а это очень важно: один опрометчивый ход может погубить все дело... Ум – это способность предвидеть, как разовьется событие...

– Что князь умен, этого никто не отрицает, – поспешил согласиться Стеценко.

Он чувствовал, что этот вопрос о главнокомандующем очень волнует адмирала, на которого именно за последние три дня свалилось множество забот князя, множество не доделанных Меншиковым дел. Однако если он, князь, не успел доделать их здесь, в крепости, когда давалось ему для этого много времени, то каким же образом он справится с ними там, в открытом поле, всего за несколько дней, на виду у недремлющего, конечно, и все примечающего врага?

Поняв именно так тревогу своего адмирала, Стеценко поглядел на него вполне сочувствующими глазами.

Над долиной реки Качи стояла старая и густая дубовая роща. Кто-то издревле, века за два, – за три, начал заботиться о том, чтобы не вырубались деревья, и в благодарность за это какие они стали мощные, в два охвата, с широкими кронами, с прохладной тенью.

– Вот где можно было бы устроить союзникам второй Тевтобургский лес!<sup>15</sup> – сказал Стеценко, а Корнилов подхватил оживленно:

– Украли мою мысль, лейтенант! Я только что это же самое подумал!.. А на Алме – там ведь нет такого леса, там ведь голое плато? В конце концов, не так-то легко будет держаться там нашим войскам, если у противника большой перевес в артиллерии!.. Вы хорошо знаете это место?

– Я там был дней пять назад, когда ехал встречать десант, ваше превосходительство. Откровенно говоря, хотя я и не пехотинец, мне она (эта позиция) не показалась удачной.

– Вот как! – внимательно и серьезно глянул на него Корнилов. – Не показалась удачной? Почему именно?

– Она совершенно открыта для противника, как мне кажется. А у противника при наступлении будет огромное преимущество: сады и виноградники вдоль речки... и даже целые деревни... Не знаю, впрочем, как теперь: это я видел пять дней назад, – а за пять дней можно, конечно, вырубить сады и виноградники и сжечь деревни, чтобы за ними не прятались враги... из садов можно сделать у нас на позиции завалы, как это принято на Кавказе.

– Ну разумеется: это все так и сделано, как вы говорите! Ведь это же азбучная истина – постараться раздеть противника и одеть себя. Кроме того, между нами и ими там будет речка.

– Речка эта везде проходима вброд, ваше превосходительство, речка эта не может служить препятствием даже для артиллерии, не только для пехоты.

– Да, поскольку теперь не зима, речка эта проходима, конечно... Но там есть болота... Наконец, если проходимы и болота, то князь, должно быть, придумал какой-нибудь тактический прием, чтобы их разбить...

Наконец, были сведения, что неприятель усиленно окапывается – значит, он сам боится нашего нападения.

– Когда я проезжал мимо нашей позиции пять дней назад, я нигде не заметил у нас окопов, ваше превосходительство, – припомнил Стеценко то, что его тогда поразило. – Значит, у них уже роют окопы, а у нас нет.

---

<sup>14</sup> Фемистокл – афинский военачальник и политический деятель (525–461 до н. э.), разбил персидский флот у острова Саламина.

<sup>15</sup> Тевтобургский лес – легендарное место, где германцы разбили под руководством Арминия в 9 г. н. э. римские легионы.

– Как не было окопов? – даже повернулся к нему в седле Корнилов. – Вы просто промчались тогда мимо в карьер и не заметили их!

– Именно там я не мчался, ваше превосходительство, – там я дал отдых лошадям и ехал шагом... Но, конечно, за пять дней все там сделали неузнаваемым, – добавил Стеценко, заметив, что лицо адмирала из благодушного, каким оно было раньше, становится слишком начальственным.

– Разумеется, при такой массе рабочей силы там уже теперь повернули плато! – отходчиво сказал Корнилов. – Что же там еще им делать, как не рыть окопы?

То и дело попадались по дороге казачьи пикеты, на которых еще издали встречали адмирала раскатистой командой: «Смирна-а!» – но из деревень поспешно выезжали татары, угоняя и скот. Это было особенно заметно в долине Качи, близкой к позициям русских войск. Подводы тянулись цепочкой, обозами на восток, к Бахчисараю.

#### IV

Меншиков встретил Корнилова в своем шатре, где только что собирался обедать со всеми своими адъютантами. Шатер этот был основательной величины вместилище, разделенное он был большим персидским ковром на две части: столовую и княжескую спальню.

Из столовой в сторону неприятеля был направлен телескоп такой же величины и силы, как и стоящий на библиотеке морского собрания. Около телескопа Корнилов и застал князя.

Конечно, приезд Корнилова был не вполне самочинным: он просил разрешения на это Меншикова накануне депешей и получил ответ: «Если обстоятельства позволят вам отлучиться на день из Севастополя, приезжайте». Князь мог бы добавить к этому: «Буду рад вас видеть», – но даже из вежливости не добавил. В таком ответе можно было прочесть желание князя, чтобы обстоятельства оказались сильнее и не позволили любопытному адмиралу появиться в лагере перед боем. Но Корнилов пренебрег всякими догадками и на этот счет: пересилило любопытство.

Однако не одно только любопытство двигало Корниловым, хотя и более чем законное любопытство: было одно очень важное дело, о котором хотелось поподробнее поговорить с князем.

Желая усилить свою армию, Меншиков требовал безотлагательно прислать ему команды лучших стрелков флота. Между тем батальон матросов был уже откомандирован на пополнение войск князя. Корнилов думал, что такая мера, как отзыв из флота лучших людей, сделает флот совершенно небоеспособным; адмирал думал все-таки больше о флоте, о деле всей своей жизни, но другой адмирал, старший его в чине, его начальник, требовал тех, кто должен был обслуживать суда на море, в поле... зачем? Чтобы обессилить флот?

С высокого холма, на котором стоял шатер князя, видно было море верст на тридцать и флот союзников на нем. Несколько минут не отрываясь Корнилов рассматривал оценивающим взглядом старого моряка союзную эскадру.

Он знал, что здесь стоят далеко не все силы союзного флота, но и эта часть их была подавляюще громадна по сравнению с количеством крупных судов Черноморского флота, однако...

– Однако, – сказал он князю, отрываясь от стекол трубы, – я отнюдь не теряю куражу, несмотря на то что их флот сильнее! – И глаза его расширились, потемнели и загорелись.

– Я тоже не теряю куражу, хотя они вдвое сильнее меня! – улыбнулся непроницаемо весело князь, показывая длинной тощей рукой на лагерь противника. – Разве можно проиграть сражение с такими молодцами? Посмотрите, что они делают?

Долина Алмы не широка, и вся опушка садов и виноградников с той стороны реки была занята цепями русских стрелков. Вся позиция тянулась по высокому берегу реки верст за семь. В середине ее приходилась небольшая татарская деревня Бурлюк, на левом фланге деревня

Алматамак, на правом фланге другая такая же деревня, Тарханлар, а от берега моря войска были отодвинуты версты на две, чтобы не пострадать от артиллерии союзного флота. Но цепи противника залегли местами всего в пятистах шагах от русских цепей, и то, на что указывал Меншиков, было, пожалуй, излишнее удальство казаков, которые прорвались ближе к правому флангу – шесть-семь человек – сквозь неприятельскую цепь, зажгли там стог сена и, рассыпавшись, под выстрелами умчались обратно.

– Это что? Завязка сражения? – спросил Корнилов.

– Нет, это милые бранятся – только тешатся, – улыбнулся Меншиков. – Сражения я сегодня не могу начать: жду московского полка из отряда Хомутова. Два батальона должны прийти из Арабатского укрепления, два из-под Керчи. Арабатским ближе – их я жду сегодня к ночи, а вот керченские могут меня задержать. Впрочем, я с Сент-Арно не совещался: может быть, он вздумает меня предупредить и начнет сегодня.

– Сколько у них орудий, Александр Сергеевич?

– Много! Это меня печалит, – серьезно уже сказал князь. – Мы насчитали свыше ста тридцати полевых, у меня же всего восемьдесят. Большая разница! Их осадных орудий я даже не касаюсь, хотя их тоже много, конечно.

– Я могу вам прислать еще несколько судовых орудий, – живо отозвался Корнилов.

– Если не будет поздно, распорядитесь, пожалуйста. Хотя у меня, кажется, для лишних орудий не хватит артиллерийской прислуги, – вяло проговорил Меншиков, а Корнилов вспомнил то, что слышал от Стеценко насчет окопов, и внимательно присмотрелся к рыжим скатам, за которыми стояли главные силы.

– Я что-то не вижу окопов, Александр Сергеич, – сказал он с беспокойством.

– Окопов не видите! Трудно и увидеть то, чего нет, – снова улыбнулся Меншиков.

– Как? Совсем нет окопов? – почти испугался Корнилов.

– Есть кое-где эполементы, но окопы для пехоты мне кажутся совершенно лишними. Видите, как продвинулись к самому морю французы? Ведь под защитой своей эскадры они приготовились меня обойти с левого фланга. Какой же смысл в том, что мои полки будут вязнуть в окопах? Засади их в окопы, они будут защищать окопы до последней капли крови, а ни мне, ни России этого совсем не нужно. Зачем бесполезно истреблять армию?

И опять по этому желтому морщинистому лицу от седых бровей к щегольски подстриженным белым усам пробежала мгновенная улыбка.

– Но все-таки, ваша светлость, – переходя уже на официальный тон, прямо спросил Корнилов, – ведь вы надеетесь же на победу?

– Надеюсь, что будем драться на совесть, – качнул головой Меншиков, – а там уже что Бог даст. Вот если бы я своевременно получил еще корпус, тогда другое дело...

И Корнилов из этого ответа понял, что больше незачем уже спрашивать об этом князя, что он сказал все, что считал возможным сказать, а вывод из его слов только один: надо еще усерднее, чем до этого дня, укреплять подступы к Севастополю.

Так как все адъютанты князя были довольно юны, за обедом царило такое веселье, какого ни Корнилов, ни тем более Стеценко совсем не ожидали найти здесь, в шатре главнокомандующего, нака- нуне боя.

Стеценко знал, конечно, что первый остроумец своего времени Меншиков любил видеть около себя остряков, но слишком непринужденные остроты полковника Сколкова, Грейга и некоторых других его коробили.

После обеда варили и пили жженку. Князь был отнюдь не наигранно добродушен и весел: явно отложил он все важные дела на завтра.

Корнилов, с недоумением на него смотревший, обратился вполголоса к сидевшему за столом рядом с ним старшему из адъютантов, полковнику Вуншу:

– Какие наши главные козыри в завтрашнем бою?

– Разве завтра ожидается бой? Завтра едва ли... Может быть, послезавтра, – хотел как бы уклониться от ответа Вунш.

– Хорошо, допустим, что послезавтра. На что можно надеяться? – повторил в иной форме свой вопрос Корнилов.

– Все надежды на наш испытанный штыковой удар, – вполголоса ответил Вунш. – Мы думаем опрокинуть их штыками.

– Гм... штыками? По-суворовски? Какой старинный прием! Теперь ведь не времена покоренья Крыма, послушайте, теперь мы за-щи-ща-ем Крым! И все-таки ничего, значит, кроме штыков?

Моряк, привыкший иметь дело только с пушками и мортирами, он в силу штыков верил мало.

Еще раз и теперь уже гораздо внимательнее, чем с приезда, оглядел он в трубу лагерь противника. Там как будто бы даже и слишком мирно на вид, но густо, сплошь, как опенки в урожайную осень, сзади резервных колонн уже сидели палатки.

Там, за речной зеленой долиной, было так же голо, как и здесь, и лагерь противника был так же весь на виду, как и русский лагерь, и ему, моряку, даже непостижимым казалось, почему же два этих лагеря врагов соседствуют так мирно, поглядывая друг на друга, вместо того чтобы завязать бой, едва сойдясь, как это принято делать на море.

Странно было видеть, что так же, как и русские гусары, в белых коротких кителях толпились там, на своем левом фланге, спешенные английские кавалеристы дивизии лорда Лукана, а кровные кони привязаны были к длинным пряслам и тянулись тонкими шеями к раскинутому за пряслами сену.

Кавалерийский лагерь англичан был расположен сзади пехотных частей, которым в первую голову нужно было двигаться на линии русских, точно так же сзади французов разбили свои палатки турки, которых, видимо, было не так много. Они знакомо уже для глаз Корнилова алели своими фесками с черными кистями и голубели потертыми кафтанами с крупными медными пуговицами на них.

Линейки пехотного лагеря англичан ярко краснели: «дети королевы Виктории» были одеты в мундиры красного сукна, линейки французского лагеря густо синели. Но среди синемундирного василькового поля французов видны были, как венчики дикого мака, празднично-кумачовые повязки на головах зуавов, алжирских стрелков, получивших свое странное название от африканского племени зуа-зуа, из которого набирались первые туземные полки на французской службе. Зуавы дивизии Боске и Канробера не имели уж никакого отношения к племени зуа-зуа, но, чистейшие французы, они удерживали в своей форме эту дикарскую повязку на голове, нечто среднее между чалмой и феской: это была как бы вывеска их исключительного удалства, и, как пешим казакам французского войска, им сходило с рук многое в мирное время, за что сурово наказывали солдат других частей.

На переднем плане Корнилов увидел и очень знакомое ему по последним дням дело: ретивое рытье окопов. Союзники не были праздными в своем лагере: они передвигались большими частями, они не совсем еще установились, они подтягивали свой тыл, но главное – они деятельно окапывались по всей линии своего фронта.

Может быть, они ждали нападения русских, может быть, готовили себе укрепленную позицию на случай отступления, если их атака будет отбита, но видно было одно: они тщательно старались соблюсти все правила современного ведения сражений, чего совершенно незаметно было в лагере Меншикова.

Корнилов подозвал к себе Стеценко и сказал ему:

– Вот что, лейтенант, хотя его светлость имеет как будто достаточное количество адъютантов, но вы... Я думаю, вы ему пригодитесь тоже. Я сейчас поеду обратно, чтобы приехать

мне засветло. Возьму с собой казаков для эскорта, а вас хочу подкинуть князю. Мне кажется, вы здесь принесете больше пользы, чем... чем там, в городе. Вы меня поняли?

– Есть, ваше превосходительство! – ответил Стеценко, но так как Корнилов заметил недоумение в его глазах, повторил вполголоса: – Здесь вы можете принести гораздо больше пользы, чем кое-кто из адъютантов князя.

И отошел, чтобы поговорить с Меншиковым с глазу на глаз.

Стеценко же не успел еще разобраться в тех мотивах, которые заставили Корнилова отказаться от него как адъютанта и подкинуть его главнокомандующему, но одно то, что он будет участником назревающего, готового вот-вот разразиться, может быть решающего боя для всей кампании, сразу взбодрило его необычайно, и он был рад, когда, поговорив несколько минут с князем, Корнилов сказал ему как будто даже торжественно:

– Итак, остаетесь здесь! Прошу помнить, что от адъютанта зависит многое и до сражения, и во время сражения, и после сражения тоже. Я надеюсь, что головы вы не потеряете, – это самое важное. Я так и рекомендовал вас князю.

И Стеценко понял, что, уезжая отсюда, Корнилов оставлял при Меншикове не столько его, сколько через него ту самую свою недреманную подзорную трубу, которую чувствовал он, лейтенант Черноморского флота, в каждый момент своей службы на рейде.

## V

Московский полк, которого ждал Меншиков, получил от конного ординарца князя приказ о выступлении 4 сентября, но собрался только через сутки. От селения Аргин под Керчью, где стояли два первых батальона этого полка вместе со своим командиром, до позиции на Алме считалось двести двадцать верст, пять суток пути форсированным маршем, причем, конечно, много было бы отсталых.

Командир полка, генерал-майор Куртьянов, человек огромного полнокровия и сверхъестественной толщины, весьма зычноголосый, читавший только журнал «Русский инвалид», и то на тех только страницах, где помещались списки произведенных и награжденных орденами, и предпочитавший так называемые «крепкие» слова всем вообще словам русского лексикона, получив приказ «явиться без всяких промедлений», начал с того, что отобрал у населения все подводы, какая бы запряжка в них ни была: быки так быки, буйволы так буйволы, верблюды так верблюды, – приказал солдатам усесться в скрипучие арбы и погонять что есть силы.

Батальоны двинулись по степи.

Конечно, пущенные рысью лошади скоро оставили за собою верблюдов, верблюды – быков, быки – буйволов, самых неторопливых животных. Но по пути попадались хутора болгар, колонии немцев, имения помещиков. Буйволов и быков бросали и заменяли лошадьми. Усталых лошадей тоже бросали, когда попадалось большое селение с запасом свежих коней. Обедов не варили, чтобы не медлить, но во всех встречаемых хуторах и деревнях врывались в хаты и тащили к себе в арбы все, что попадалось съестного, даже пучки кукурузы, сушившейся вдоль стен под стрехами, даже тыквы, которые долеживались на крышах, и начисто отрясали яблоки и груши в садах.

От недостатка лошадей набивались в арбы так тесно, что ни лежать, ни сидеть в них не могли, стояли – благо арбы эти строились для перевозки соломы и сена и имели высокие боковины.

Стоя пытались и спать, но это не удавалось.

Пели жалостную песню, старательно длинно и высокими фальцетами вытягивая концы:

Вы прощайте, девки-бабы,  
На-ам теперча не до ва-а-ас!

Эх, нам тепереча не до ва-а-ас:  
На сражение везут на-а-ас!

Но ротным командирам, ехавшим верхами, не нравилась эта заунывная, совершенно неформенная песня, они обрывали ее в самом начале: мало ли хороших настоящих солдатских песен? И вот по степи летела другая, гораздо более подходящая к случаю, хотя и старинная, песня на взятие Хотина:

Ой, пошли наши ребята  
На горушку на круту,  
Ко цареву кабаку,  
Ко Ивану Чумаку.  
Ой, Иване, ты Чумак,  
Отворяй царев кабак,  
Увпускай наших ребят!  
Не успели вина пить,  
Барабаны стали бить,  
Они били-выбивали,  
Нас, молодцев, вызывали  
Сорок пушек заряжать  
Хотин-город разорять!

Уже ночью на вторые сутки езды заметили в степи зарево пожаров: это казаки по чьему-то приказанию жгли то здесь, то там татарские аулы и русские деревни, чтобы они не достались врагам.

Утром стали попадаться дымившиеся пепелища, уже брошенные жителями. Лошади устали, но их негде было менять, и много лошадей пало, выбившись из сил. Наконец, ротам пришлось после небольшого привала идти пешком. Было уже утро 8 сентября, до позиций на Алме оставалось, по распросам у жителей, верст двадцать. Роты одна за другою двинулись форсированным маршем. Вышли на дорогу, ведущую из Бахчисарая в Севастополь, и пошли по ней.

Никто не встречал батальон, шли наугад, и вдруг с того плоскогорья, по которому шли, увидели верстах в двух от себя неприятельские разъезды, а несколько далее – огромный враждебный лагерь, в котором все двигалось, все устанавливалось, и уже доносились сигналы трубачей.

Толстый Куртьянов выкрикнул не один десяток слов, предпочтенных им раз и навсегда даже и для менее тревожных случаев, выехал на своем вместительном экипаже вперед и покатил по направлению к аулу Тарханлар, заметив там русские резервы за ним бегом пустились оба батальона.

Через Алму переправились вброд и в мокрых сапогах вышли на пыльную, узкую и длинную улицу этой татарской деревни, покинутой жителями уже несколько дней назад.

Так близко были от них, бежавших сюда с незаряженными ружьями, английские кавалеристы, что одного эскадрона было бы довольно, чтобы их смять лихим ударом в тыл. Тем больше была радость солдат, когда они проскочили благополучно.

Проходя мимо русских батарей, направленных жерлами в неприятельский стан, солдаты вдруг хватили лихую песню даже без команды «песенники, вперед!». Ударили в бубны, заиграла музыка, даже плясуны выскочили перед ротой.



Но идти к своим третьему и четвертому батальонам пришлось далеко, с правого фланга на левый, через весь лагерь, растянувшийся на несколько верст. Радость успела улечься за это время, заступила ее место такая усталость, что еле доволокли ноги.

Генерал Кирьяков, объехав их по фронту и выехав на середину, крикнул:

– Вовремя дошли! Спасибо за службу! Молодцы!

– Рады стараться, ваше прево-сходи-тельст-во! – дружно ответили батальоны.

– Садись, отдыхай, ребята! Будете в резерве полка... Садитесь!

Мешками повалились солдаты наземь.

Толстого Куртьянова тоже благодарил Кирьяков. Он был торжественен, точно выиграл сражение, но сидел на коне нетвердо: много выпил рому в это утро.

– Видали эполементы? – вдруг спросил он Куртьянова зло и с надсадой. – Приказал светлейший, длинный черт этот, такие люнеты сделать, что можно палить из пушек и туда и сюда! Это для того, чтобы французы, когда займут наши позиции, били бы из наших орудий нам в спину!

– Не займут, Василий Яковлевич, наших позиций французы, – отозвался Куртьянов. – Пусть-ка лучше вспомнят двенадцатый год.

– Не возьмут? – прищурился Кирьяков. – Ну, тогда докладывайте командующему, что привели свои два батальона. А я с ним говорить не хочу.

Но Меншиков был недалеко. И слышал дружное «рады стараться!». И вот штаб-ротмистр Грейг, подъехав рысью, передал приказ князя новоприбывшим батальонам Московского полка выйти в первую линию левого фланга.

– Они не могут! Они только что пришли! Они без ног! – запальчиво крикнул Кирьяков.

– Не могу знать, ваше превосходительство, таков именно приказ его светлости, – отозвался Грейг, отъезжая.

Кирьяков повернул за ним коня.

Меншиков сидел на рослом гнедом донце – сухой, костяной, желтый.

Глаза Кирьякова с трудом выкарабкивались из набрякших век, когда он, поднимая руку к козырьку, проговорил желчно:

– Я приказал только что пришедшим батальонам Московского полка остаться в резерве, ваша светлость.

– А я... я приказываю, – поднял голос Меншиков, – взять их из резерва сюда, на левый фланг!

– Они устали, ваша светлость!

– Пустяки! «Устали»!.. Извольте передвинуть их сюда сейчас же! Немедля!.. Сюда! Вот!

И Меншиков, отвернувшись от Кирьякова, указал рукой, куда он думал поставить батальон.

– Слушаю, ваша светлость! – вызывающе громко гаркнул Кирьяков и дернул поводья с такой силой, что едва удержался в седле.

Между тем Куртьянов уже скомандовал:

– Первому и второму батальонам надеть чистые рубахи и сподники!

А ротные подхватили разноголосно:

– Первой роте надеть рубахи и споднее!

– Второй роте надеть рубашки и сподники!

Солдаты, которым только что сам начальник дивизии приказал заслуженно расположиться на отдых, недоуменно вскочили, но проворно начали вытаскивать из ранцев чистое белье.

Меняя белье перед боем, усталые батальоны разделись, как для купания, когда снова подъехал к ним Кирьяков и, покачиваясь в седле и поблескивая Георгием, полученным за

усмирение польского восстания, знаменитым звонким голосом прокричал так, чтобы было слышно и Меншикову:

– Ребя-та! Пойдете сейчас на передовую позицию!.. На голое, открытое ме-сто!.. Но знать, ребята, это приказ командующего армией, а не мой!

Солдаты же говорили, натягивая на не желающие разгибаться ноги чистые сподники:

– Ну, кажись, так, братцы: паны тут промеж собой дерутся, а у нас, хлопцев, будут чубы трещать!

Все-таки голые потные тела их продуло утренним ветерком, освежило. Начали даже шутить по рядам:

– Отысповедались у начальства, причепурились – айда теперь, братцы, к французским попам причащаться!

Они уже узнали от своих однополчан, раньше их пришедших с Арабатской стрелки, что против них и всего левого фланга русской позиции стоят французы.

Кирияков назначен был Меншиковым командовать левым флангом, князь Горчаков 1-й – центром и правым. Против него строились к наступлению красные полки англичан, а синие колонны лучшего из французских генералов – Боске – под музыку и ожесточенный барабанный бой парадным форсированным маршем двинулись уже к устью Алмы, против которого выстроились левыми бортами к русской позиции восемь линейных паровых судов.

Палатки еще рано утром были сняты как в лагере союзников, так и в русском. Уложен был на подводы в тылу и огромный шатер Меншикова вместе с обеденным столом и телескопом, теперь уже ненужным, так как враги шли открыто и были близко.

## **Глава четвертая**

### **Бой на Алме**

#### **I**

На балу, данном Бородинским полком 30 августа, мало было офицеров Владимирского и Суздальского полков, 1-й бригады 16-й дивизии, корпуса князя Горчакова: эти полки еще за две недели до бала вышли из Севастополя и стали лагерем на той самой позиции при устье Алмы, которая была выбрана Меншиковым для встречи союзников.

Может быть, служба в Министерстве иностранных дел, с которой начал свою государственную деятельность Меншиков, приучила его как дипломата к большой скрытности, но он никогда не был тем, что называется «душа нараспашку». Он как будто твердо помнил ядовитый афоризм Талейрана о языке, который дан человеку, чтобы скрывать свои мысли.

Может быть, эта скрытность, как и высокомерие в отношении окружающих, объяснялась переоценкой своих способностей; может быть, он думал, что таким именно и должен быть всякий вообще «светлейший» князь, так как «светлейших» было в России не много. Но могло быть и так, что, сознательно или нет, Меншиков подражал царю Николаю, который готов был вмешиваться во все даже мельчайшие дела своих министров и выносил очень часто решения, совершенно неожиданные для них по своей непродуманности (вроде беседы с английским посланником Сеймуром о разделе Турции), зато самостоятельные и без задержек.

Меншиков тоже привык самостоятельно решать самые разнообразные дела во всех ведомствах, какие поручались ему царем, и потому не заводил штаба, а многочисленных адъютантов держал при себе как ординарцев, для посылок. Между тем среди них были люди, хорошо для своего времени знавшие военное дело, офицеры генерального штаба, также как капитан Жолобов, полковник Исаков, полковник Сколков и другие.

Позицию на Алме он наметил еще в конце июня, когда писал свою докладную записку царю о единственно возможном, по его мнению, месте высадки союзников у Евпатории. Он надеялся, что царь не поскупится на войско, чтобы увеличить крымскую армию вдвое-втрое; тогда он думал решительным сражением на этой именно позиции раздавить союзников, если не удастся помешать их высадке. Однако любивший только свои личные решения Николай не хотел допустить и мысли, чтобы союзный десант высадился в Крыму: берега Кавказа – это другое дело, но никак не Крым!

Меншиков остался при тех слабых силах, какие у него были, но с облюбованной им заранее позиции для встречи противника не сошел, хотя позиция эта и была слишком велика для его тридцатидвухтысячной армии.

Однако позицию эту, природно сильную, можно было значительно укрепить для оборонительного боя, чтобы этим несколько возместить недостаток войск. Для этого было время и много рабочих рук.

Но владимирцы и суздальцы, поставив тут свои палатки и наскоро устроив кухни и пекарни, повели обычную лагерную жизнь. Утром барабанщики и горнисты на передних линейках выбивали и трубили зорю; затем роты маршировали под барабан, благо места для этого было вполне довольно, делали сложные построения и ружейные приемы, ходили учебным шагом, на прямой поднятой ноге вытягивали носок и, продержав ее так с минуту, топали ею о землю что было силы, для того чтобы тут же поднять и вытянуть другую ногу, и под тягучую команду «два-а-а» с минуту дожидаться благодатной команды «три!». Часами ходили так, как никто и никогда не подумает ходить в жизни, но это называлось учением солдат и только этого требовало начальство на смотрах. Иногда вечером командир бригады устраивал для разнообразия «зорю с церемонией» по всем правилам, существовавшим на этот счет в печатном уставе. А ночью, вылезая из палаток и мимо дневальных проходя как бы «до ветру», солдаты делали набег на искушающие виноградники и сады этой богатой долины, где у нескольких мурахов, татарских дворян, были отдельно стоявшие от деревень усадьбы.

Офицеры же облюбовали себе трактир – по-местному кофейню – в ауле Тарханлар, где можно было достать сколько угодно вина и заказать шашлык из барашка и кофе по-турецки.

Этот лагерь русского отряда в несколько тысяч человек пехоты резко бросился в глаза и Раглану, и Канроберу, и другим союзным генералам, выезжавшим на пароходах от Змеино-го острова для окончательного выбора места высадки. Очень нетрудно было догадаться, что именно здесь готовится десантной армии встреча.

Когда Раглан предлагал адмиралу Лайонсу отрядить суда для прикрытия демонстрации высадки у устья Качи, он хотел, между прочим, выявить, насколько прочно прирос к месту русский отряд по Алме – не сдвинется ли поспешно на юг, к устью Качи, отражать десант. Но бригада не сдвинулась с места, так как не получила на этот возможный случай никаких приказаний от высшего начальства.

На алминской позиции, на высоком берегу, на холме, близко к мысу Лукулл, получившему свое имя от римского полководца, победителя царя Митридата VI<sup>16</sup>, была устроена телеграфная вышка. С этой вышки отлично было видно, как эскадра, отряженная Лайонсом для эскорта нескольких транспортов с войсками, подошла к устью Качи, как шлюпки с солдатами отчалили от транспортов, но, будто бы озадаченные выстрелами казачьих пикетов с берега, остановились в море и под вызывающий гром орудий своих судов покачивались на легкой волне, часа два ожидая, когда подойдут к берегу крупные русские силы, те самые, которые стояли на Алме, или другие, расположенные еще ближе, но не видные с рей.

---

<sup>16</sup> Митридат VI (132 – 63 до н. э.) – царь Понта в Малой Азии; подчинил себе всю Малую Азию, Колхиду (Кавказ), Херсонес Таврический (Крым) и Боспорское царство.

Владимирцы и суздальцы остались на своих местах, военные суда и транспорты союзников вернулись вечером к озерам у развалин старого генуэзского укрепления, где производилась высадка, а Раглан понял, что русский отряд стоит на Алме недаром, что с ним неминуемо придется иметь дело при движении берегом на Севастополь.

Союзники двигались по берегу таким же точно порядком, каким плыли на судах от Змеино-го острова: с левой стороны, дальше от берега, – англичане, с правой, ближе к морю, – французы, а за французами шла турецкая дивизия в семь тысяч человек под командой французского генерала Юсуфа.

Вся осадная артиллерия – семьдесят орудий, с ними сто тысяч штук кирпича, сто восемьдесят тысяч мешков с землею, готовые дощатые щиты для стен и крыши деревянных бар-ков, которые можно было установить в один день, миллион рационов муки, полтора миллиона рационов рису, кофе, сахара и множество всего, что нужно было войскам для продолжитель-ной осады сильной крепости, осталось на военных транспортах и должно было прийти туда, где установится под Севастополем армия, когда разобьет русский заслон.

Обоз французов был очень мал, англичане совсем не имели обоза, но в ближайших к месту высадки деревнях отобрали триста-четыреста арб и телег и на них везли немного про-вианта, амуниции, палатки. Солдаты были нагружены чрезмерно: несли с собою провианта на три дня и патроны на два сражения.

То, что высадка весьма многочисленной армии прошла так сказочно удачно, окрылило союзные войска. Боевое настроение не покидало даже и полумертвого Сент-Арно. Он ехал в покойной карете, добытой для него зуавами в имении помещика Ревелиоти, владельца имения Контуган. Мадам Сент-Арно ехала с ним вместе. Она во что бы то ни стало хотела быть сви-детельницей блестящей победы своего мужа, маршала Франции, над князем Меншиковым с его казаками.

О том, что армия Меншикова мала, главнокомандующие союзных армий узнали на берегу из опроса сведущих жителей, так что золотое правило Веллингтона было соблюдено.

А 6 (18) сентября утром большая часть союзных войск стянулась к долинам Алмы, и теперь уже все, до последнего турецкого редифа, могли осмотреть позицию русских, которую должны они были взять приступом через день-два.

## II

При одном внимательном взгляде на русские позиции издали план предстоящего боя ста-новился ясен каждому, кто хоть сколько-нибудь понимал в военном деле: левый фланг армии Меншикова из опасения обстрела с судов был отодвинут от берега моря километра на два и совершенно открыт; само собой напрашивалось обойти русские силы со стороны моря, чтобы выйти им в тыл и одним этим нехитрым маневром решить участь боя.

Так как в силу создавшихся уже условий марша вдоль берега против левого фланга при-шлись французы: дивизии Боске, Канробера, принца Жерома Наполеона и Форе, кроме того, дивизия турок, бывшая также под командою Сент-Арно, – то «декабрьский маршал», почув-ствовав себя совершенно здоровым от одной только возможности легкой и быстрой победы, помчался к Раглану.

Раглан видел, что левый фланг русских численно был как бы намеренно гораздо слабее, чем правый, приходившийся против английских дивизий: наиболее густые колонны русских и наибольшее число батарей виднелись именно тут, – поэтому недовольно сказал Сент-Арно:

– Вы хотите взять себе легкое, а трудное великодушно предоставить мне!

– О, совершенно напротив, совершенно напротив! – горячо возразил маршал. – Вашим храбрым полкам, может быть, даже нечего будет и делать! Дивизия генерала Боске обойдет русских, и им ничего не останется больше, кроме как отступить. Вы просто пойдете по их

следам, и ваши стрелки будут им стрелять в спины – это для ваших храбрых солдат не более чем военная прогулка!

Раглан слегка улыбнулся и сказал:

– Гораздо лучше было бы, если бы нам удалось обойти русских с их правого крыла: тогда они были бы прижаты к морю и расстреляны судовой артиллерией, а нам с вами открылась бы свободная дорога на Севастополь!

– Это превосходно! Это чрезвычайно умный план! – живо одобрил его Сент-Арно. – Сделайте так!.. Если только это не будет гораздо труднее... Но зато русская армия совершенно перестанет существовать, и Севастополь достанется нам самой дешевой ценой! Сделайте так!

– Я подожду все-таки, когда генерал Боске сделает свой маневр по охвату русских, – уклончиво ответил Раглан. – Тогда и я попытаюсь охватить их со своей стороны... Если нам приблизительно известна численность противника, то сила его сопротивления для нас пока величина неизвестная.

Сент-Арно ликовал: близкая и несомненная для него победа над Меншиковым отдавалась Рагланом в его руки.

Он отдал приказ, чтобы 8 (20) сентября, в шесть утра, 1-я бригада дивизии Боске начала наступление, и батальоны зуавов и африканских стрелков двинулись добывать славу Франции, Наполеону и маршалу Сент-Арно. С этой бригадой, которой командовал генерал д'Отмар, пошел и сам Боске.

Дойти до устья Алмы по долине не представляло труда, но здесь Боске остановил бригаду. Поведение русских полков левого крыла было таинственно и загадочно: отлично видные отсюда, с довольно близкого расстояния, они не стреляли, молчали их батареи; по берегу Алмы не было заметно цепи их стрелков.

Берег с этой стороны был пологий, с той – высокий, утесистый. Батареи русских стояли на холме вокруг телеграфной вышки. Алма около устья разлилась несколько шире, чем влево, выше по течению, но была очень мелка, вполне проходима вброд. А при впадении в море суживалась до того, что ее можно было перепрыгнуть с разбега: ее запруживали ею же принесенные сюда во время ливней большие камни и гравий, набросанный на эти камни морским прибоем.

Боске долго и внимательно вглядывался в ряды англичан, ожидая, что они пойдут дружно на приступ, но никакого движения там не заметил. Вторая бригада его дивизии, бывшая под командой Буа, тоже почему-то не двигалась.

– Должно быть, они завтракают, – высказал он свою догадку д'Отмару. – Отчего же в таком случае и нашим солдатам не напиться кофе? Говорят, что это не так плохо перед боем. Вода же у нас под рукой, дрова тоже... будем пить кофе!

И вот очень быстро среди зуавов и стрелков, расположившихся на невольный отдых, загорелись и весело задымили небольшие костры, и неслышно вкусен оказался кофе вблизи русских батарей, загадочно молчаливых.

Сент-Арно в это время выходил из себя от неповоротливости генералов Буа и Юсуфа. Он даже взобрался на верховую лошадь, чтобы быть настоящим, то есть театрально-картинным, полководцем; впрочем, два адъютанта поддерживали его справа и слева, чтобы он не выпал из седла.

Он поехал лично на свой правый фланг узнать, почему мешкают с выступлением бригада Буа и дивизия турок, но при его приближении двинулись с музыкой и та и другая.

Тогда и Боске приказал своим переправляться через речку вброд, и батальон зуавов, рассыпав впереди цепь, перепрыгивая с камня на камень, перебежал речку там, где она разлилась шире, но зато была мельче, и вот уже начал карабкаться на почти отвесные скалы русской позиции.

Это энергичное движение бригады д'Отмара было замечено Меншиковым с того холма, с которого сняли его шатер, и вот посланный им к Кирьякову лейтенант Стеценко подскочил к командующему левым крылом.

– Его светлость просит вас, ваше превосходительство, обратить внимание на эти семь батальонов французов, которые идут на вас в атаку! – почтительно взяв под козырек, отдельно проговорил Стеценко фразу, заранее составленную им так, чтобы не оскорбить вспыльчивого генерала, что могло повредить успеху сражения.

Кирьяков, прищурясь, презрительно оглядел и лейтенанта – этого нового адъютанта князя, и казачьего маштачка, на котором он сидел, и сказал с ударением:

– Передайте его светлости, что восемь батальонов французов хотят меня обойти, а не семь! И что я этих мартышек вижу и сам, но-о... нисколько их не боюсь... Так и передайте!

Стеценко видел, что Кирьяков пьян, и это его испугало. Передавая ответ Меншикову, Стеценко хотел было добавить, каким он нашел этого генерала, но промолчал. Кирьяков имел репутацию боевого генерала, а привычки боевых генералов так или иначе вести себя во время сражения были ему мало известны. Ему самому казалось, что бой и без вина опьяняет, однако он знал и то, что для большей храбрости принято поить перед боем солдат; могло случиться так, что это не мешало и иным генералам.

А Боске, карабкаясь по узенькой козьей тропинке между скалами вверх, говорил д'Отмару:

– Ну не прав ли я был, скажите мне! Нет, решительно эти господа не имеют никакого желания сражаться с нами!

Тут сверкнули желтые огоньки на бортах двух судов, окутались дымом, громом выстрелов, и через головы зуавов полетели первые ядра в русский лагерь. Огневой бой начался.

Против мыса Лукулл была небольшая деревня Улюкол. Боске послал к ней разведку узнать, не занята ли она русскими стрелками.

Осторожно, пробегая от выступа к выступу скал, прячась за каждым холмиком, зуавы подобрались к деревне, но оказалось, что она была пуста. Лишь вдали за нею, ближе к своим войскам, однако оторванно от них, вне выстрела с судов, расположилась фронтом к морю колонна русских, приблизительно в тысячу человек.

Это был батальон Минского полка. Взобравшись наверх, откуда этот батальон отлично было видно, Боске долго вглядывался в него; даже и этому опытному в военных делах генералу, прошедшему в Африке – и всегда успешно – несколько сражений, непонятно было, почему фронтом к морю, а не к нему, стоял теперь этот батальон.

Но командир батальона получил приказ наблюдать за морем, не покажутся ли на нем спущенные с союзных судов шлюпки с десантом: генерал Кирьяков предполагал, что союзники способны и на такую выходку.

Однако, когда довольно густые уже толпы зуавов показались на гребне, командир батальона решил, что одной роте его можно не только повернуть к ним фронт, но еще встретить их залпом.

Раздался первый русский залп, но гладкоствольные ружья русских солдат, в которые круглые, как орехи, пули забивались при зарядении шомполами с дула, не стреляли далеко.

Зуавы, мгновенно присев, увидели, как эти пули, ударившись в землю, подняли пыль и подскочили довольно далеко от них, и переглянулись в недоумении. Но вот другие взводы роты выдвинулись вперед по команде, дали новый залп, очень старательный, как на учении, отнюдь не сорванный ни одним из солдат, однако пули подняли полосой пыль опять на том же месте: на предельной дистанции их полета, в трехстах шагах от стрелявших.

Тогда зуавы захохотали неудержимо, отнюдь не стесняясь своего начальства. Они готовы были кататься по земле от хохота.

У них у всех, по всей дивизии Боске, были дальнобойные нарезные штуцеры, стрелявшие ровно вчетверо дальше, и когда улегся взрыв их непринужденной веселости, они открыли пальбу из своих штуцеров, очень оживленную, хотя и далеко не образцовую в смысле залпов. Они знали – им говорили это, – что у русских принято ставить в строю офицеров на фланге колонн, и они прежде всего обстреляли фланги, и там учащенно начали падать раненые и убитые.

Но, заслышав перестрелку сверху, снизу, от речки, французы все быстрее и быстрее карабкались вверх, и вот уже вся бригада д'Отмара появилась слева от русских войск.

Эта часть русской позиции осталась незащищенной не потому только, что Меншиков считал ее неприступной: он, адмирал, опасался огня судовых орудий, – а между тем за высоким мысом и за круглым холмом недалеко от мыса не было видно берега в глубину с союзных судов, и стрелять оттуда могли только наугад, без прицела.

Однако в восьми батальонах у Боске было всего не больше четырех с половиной тысяч солдат легкой пехоты, с прекрасными, правда, штуцерами, но без орудий. Орудия дивизии были при бригаде Буа, которая в это время только еще подошла к Алме и пыталась перебраться с батареями на другой берег по песчаным наносам у самого моря.

Против Боске на левом крыле русских было двенадцать-тринадцать тысяч.

Пылкий Сент-Арно, желая поскорее добиться победы на своем фланге, двинул обе дивизии: Канробера и принца Наполеона, – чтобы атаковать русских еще и с фронта против деревни Алматамак.

Со своей стороны и Меншиков, взбешенный бездейтельностью Кирьякова, совершенно утратил присущее ему спокойствие дипломата и, окруженный всеми своими адъютантами, поспешно спустился с холма в тылу, откуда он думал руководить боем.

И вот перед двумя в это утро пришедшими батальонами Московского полка, построенными к атаке, то есть к штыковому бою, появилась пестрая толпа всадников в самой разной форме: кавалерийской, артиллерийской, пехотной, инженерной и флотской, – и, полуподнявшись на стременах, длинный, тонкий, с желтым лицом, искаженным негодованием на Кирьякова, как будто задавшегося целью перещеголять его самого в спокойствии, Меншиков закричал дребезжащим, иступленным, но не звонким, старческим голосом:

– Пе-ервый батальон вполоборота налево, а второй – вполоборота направо! Ша-агом... марш!

И батальоны разошлись: один в сторону бригады д'Отмара, другой – к берегу Алмы.

### III

Штуцеры были введены в те времена и в русской армии, но их было еще очень мало – всего по двадцать четыре на целый пехотный батальон. А у резервных батальонов Белостокского и Брестского полков, которые тоже были переброшены Меншиковым из Севастополя на Алму, были даже совсем древние – кремневые ружья, как у запорожцев времен гетмана Сагайдачного.

Штуцерники полков, стоявших в первой линии, были посланы в застрельщики в сады и виноградники на правый берег Алмы. В трех деревнях долины – Алматамаке, Бурлюке и Тарханларе – почему-то разместили батальоны белостокцев и брестцев, а также два морских батальона тоже со старыми ружьями, причем матросы удивляли даже самых захудалых пехотинцев своим полным неумением стрелять; они стреляли не из-за деревьев, а прислонясь к ним своими широкими спинами.

Между тем на них надвигались дивизии, в которых все солдаты имели штуцеры и, что было не менее важно, опыт недавней войны в Африке, в то время как во всей армии Меншикова не было ни одного обстрелянного солдата.

Правда, полковые священники утром в этот день, после воинственного «генерал-марша», выбитого барабанщиками в одно время во всех полках и отдельных батальонах, служили торжественные молебны о победе и кропили солдат «святой» водою, но настроение солдат падало, когда они видели, что их ружья вызывают только хохот французских егерей, не нанося им никакого вреда, а в русских рядах падали офицеры, фельдфебели, унтеры, сваленные коническими разрывными, с ушками и стерженьком в середине, пулями Минье, так что в короткое время они, молодые солдаты, остались совсем без начальства и не знали, стоять ли им на месте, идти ли вперед, или повернуть назад. Но что делали они прежде всего, оставаясь без начальства, это снимали тяжелые, плотно набитые ранцы, сильно резавшие им плечи ремнями, – снимали и клали возле себя: без ранцев было гораздо свободнее и дышать легче.

Из двух батальонов Московского полка, получивших команду от самого Меншикова, 2-й батальон при подполковнике Грале двинулся к берегу Алмы навстречу дивизии Канробера, а первый, при котором был и сам командир полка, генерал Куртьянов, ехавший верхом, сомкнутым двадцатичетырехшеренговым строем, похожим на знаменитую фалангу Филиппа Македонского<sup>17</sup>, под барабанный бой, способный из любого простоватого сельского парня сделать лихого драчуна и записного вояку, пошел больше чем за версту в атаку на бригаду д'Отмара.

Батальон этот, правда, шел не один, он шел только в голове колонны, собранной Меншиковым наскоро из ближайших к нему разрозненных частей. Тут были и батальоны Минского полка, и два эскадрона гусар, и сотня казаков, и две батареи легких орудий, стрелявших картечью.

Однако уже с тысячи четырехсот шагов в фалангу Куртьянова стали залетать певучие пули Минье, и, пройдя еще шагов двести, батальон остановился: пули начали летать к нему очень густо, и отбивавшим ногу рядам то и дело приходилось обходить упавших в первых шеренгах.

– Ба-та-ль-он, ложи-ись! – скомандовал Куртьянов, однако и лег батальон так, что ровными линиями по земле очертились красные воротники солдатских мундиров, – линия за линией, – двадцать четыре сплошные линии красных воротников. И ноги в пыльных сапогах были откинута однообразно – у всех влево. Разомкнутого строя не знали в те времена русские войска. Их учили не отрываться от локтя своего товарища и не делать ни одного шага без приказа на то начальства.

Но главнокомандующий приказал батальону идти в атаку, а не лежать под певучими пулями. И вот лейтенант Стеценко на своем маштачке подскакал к тучному генералу Куртьянову, стоявшему сзади своего батальона и платком старательно вытиравшему пот с обширного лица, не менее обширной плечи и красной шеи.

Стеценко был противен вид этой непомерно жирной и насквозь потной туши, но он передал приказ Меншикова почтительно, насколько мог.

– Что я должен идти в атаку, это я знаю сам, – продолжая вытирать шею, отозвался ему Куртьянов. – Но идти одному батальону на целую бригаду с такими ружьями, как у них, – это без-рас-суд-ство!.. Вон, видите, сколько выбито у меня людей? – показал он на убитых и тяжело раненных, валявшихся сзади.

– Я это вижу. Однако приказ его светлости идти, невзирая на потери от огня, ваше превосходительство, – старался передать точнее слова князя Стеценко.

– Приказ его светлости, повторяю вам, лейтенант, мне известен, – но вот если бы вы передали его командиру Минского полка! В одной линии с Минским полком я мог бы пойти дальше, невзирая на большие потери...

<sup>17</sup> Филипп Македонский (382–336 до н. э.) – царь македонский. Им введен новый тогда строй пехоты, называвшийся фалангой.



Стеценко понял эти слова не только как адъютант главнокомандующего, а как участник сражения своей армии с армией противника. Он сказал Куртьянову:

– Есть, ваше превосходительство! – и повернул танцевавшего на месте буланого маштачка в сторону Минского полка.

Однако случилось непредвиденное: командир Минского полка Приходкин, нестарый еще, высокий полковник, сделал вид, что очень удивлен словами Стеценко: даже спросил, кто он такой и почему тут разъезжает – а узнав, что это – новый адъютант светлейшего, сказал с достоинством:

– Я получил приказание от самого главнокомандующего подпереть Московский полк... Подпереть, понимаете? А вы передаете мне вдруг какое-то там приказание командира Московского полка идти в атаку!

– Это не приказание, конечно... – начал было Стеценко, но полковник перебил его, подняв голос:

– Во-первых, лейтенант, передо мною нет неприятеля, а есть только Московский полк... Значит, на Московский полк мне прикажете идти в атаку? А во-вторых, лей-те-нант, я такой же командир полка, как и Куртьянов, и ему я нисколько не подчинен, чтобы от него получать приказания!

Стеценко вспомнил, что был послан он только к генералу Куртьянову, и понял, что командир Минского полка со своей точки зрения вполне прав: он не получал приказа князя идти в атаку, он должен только был подpirать Куртьянова. Остановился Куртьянов – остановился и он.

А зуавы Боске палили зато безостановочно. И выдвигалась уже на гребень снизу бригада генерала Буа, втаскивая орудия на холм.

Перед тем как они появились, пробовали палить по зуавам д'Отмара русские легкие батареи картечью, но картечи не положен далекий полет, а пули Минье стали перебивать орудийную прислугу и лошадей.

Когда же бригада Буа установила свои батареи на гребне, то после первых же залпов все части отряда, брошенного на этот участок боя Меншиковым, как атакующие, так и подpirающие, подались назад.

При этом пулей в левую руку ранен был генерал Куртьянов и тут же уехал на перевязочный пункт в тыл. Вслед за ним ранен был и полковник Приходкин, командир минцев.

А за бригадой Буа переходила Алму турецкая дивизия – правда, переходила не спеша, так как тропинка на крутом левом берегу была очень узка. Многие нежились, развалились на пляжике при устье речки, иные даже снимали свои туфли, закатывали выше колен широкие шаровары и толпою стояли в море у берега.

Стрелки бригады Буа между тем занимали места стрелков д'Отмара, продвигавшихся дальше, к аулу Орта-Кесэк, в тыл русских войск.

Так, шаг за шагом, после полудня против обессиленного потерями от орудийного и штыцерного огня крыла Кирьякова скопилось уже шестнадцать тысяч французов и турок, левый фланг позиции Меншикова был обойден, сопротивление его сломлено, и Меншиков понял, что сражение он проиграл, как бы ни держались стойко части Горчакова в центре и на правом фланге.

Он потерял последние запасы спокойствия, когда увидел, что второй батальон Московского полка стремительно и налегке, без ранцев, тем форсированным маршем, который похож на бег, направлялся в тыл, бросая берег Алмы под натиском стрелков Эспинаса, бригадного генерала дивизии Канробера. В то же время несколько дальше и тоже от берега Алмы уходил также без ранцев 4-й батальон Московского полка, а Кирьяков, по-прежнему нетвердо сидевший в седле, даже и не пытался остановить его.

– Генерал Кирьяков, – закричал ему Меншиков, – ваша дивизия бежит! Почему она бежит? Что это значит?

– Это значит только то, что она не имеет оружия такого, как у противника, – вот что это значит! – запальчиво крикнул в ответ Кирьяков. – Но она не бежит, а отступает!

– Она бежит, говорю я вам! Остановите ее сейчас же!

– Она не бежит, ваша светлость! Вы плохо видите! Остановить ее? Слушаю, ваша светлость!

И, повернув коня в сторону второго батальона, успевшего уже далеко продвинуться в тыл своим маршем, похожим на бег, он скомандовал во весь голос:

– Второй батальон – о-он, стой! Налево кру-у-гом!.. Слушай-а-ай на кра-уул!

И батальон, остановившись и повернувшись кругом, под ядрами, бороздившими совершенно чистое синее небо, под зловеще певшими пулями бригады Буа слева и взобравшейся уже на крутобережье со стороны Алматамака бригады Эспинаса с фронта, отчетливо, как на параде, взял на караул.

Для ружейных приемов гладкоствольные ружья годились, а пасовали только перед дальнобойными штуцерами.

– Спасибо, братцы! – зычно крикнул Кирьяков, и 2-й батальон Московского полка, продолжая держать «на краул», не менее зычно ответил:

– Рады стараться, ваше превосходительство!

Кирьяков победоносно поглядел на Меншикова и махнул батальону рукой: это означало, что батальон может взять «к ноге», повернуться кругом снова и идти тем же форсированным шагом, похожим на бег, каким и шел.

Французы смотрели на это зрелище с немалым изумлением. Люди весьма живой фантазии, они могли бы даже подумать, что этот русский батальон отдает им вполне заслуженную ими честь. Они даже перестали стрелять и отнюдь не преследовали уходившие колонны русских.

Продолжали орудийную пальбу только четыре паровых судна союзников, совсем близко от устья Алмы ставшие на якорь. И, должно быть, разглядели оттуда пеструю, яркую группу всадников – Меншикова в окружении нескольких адъютантов. Два ядра одновременно ударили в эту группу, и лошади испуганно шарахнулись в разные стороны от кровавой, барахтающейся на земле и вопившей массы.

Когда же Стеценко с трудом повернул буланого и подъехал к сраженным, он увидел прежде всего страшно поразившую его чью-то отдельно валявшуюся небольшую ногу в ботфорте, в оборванной и залитой свежей кровью штанине, а возле этой ноги, будто желая добраться до нее во что бы то ни стало, двигались по земле с большой силой белые передние ноги серой в яблоках лошади с развороченным брюхом, в котором крупно клубились кишки.

Стеценко мгновенно вспомнил, что это лошадь капитана Жолобова, и тут же отыскал его глазами: он, человек небольшого роста, запрокинулся за спину лошади, придавившей ему другую ногу. Он был без сознания от большой и внезапной потери крови и от боли. Обычно нервное, иронически умное лицо его и высокий с зализанной лоб были окроплены кровью. Другой сраженный был веселый полковник Сколков. Ему оторвало левую руку выше локтя, но так как тем же самым ядром разбило голову и его лошади, то он упал с нее вперед, а не на бок, однако запутался в стремях ногами. Это он и вопил, как ребенок, забыв, что он полковник, что он не только адъютант главнокомандующего, но еще и флигель-адъютант, что ему вообще не полагается вопить от боли. При падении он ранил себе и подбородок о пень спиленного дерева: здесь были деревья и кусты, которые могли бы очень пригодиться при защите этой позиции, но владимирцы и суздальцы спилили и вырубали их еще в августе на дрова для своих кухонь.

Быстро спрыгнув с буланого, Стеценко освободил из стремян ноги Сколкова и помог ему подняться, но он не устоял на ногах.

На скрещенных штыках отступавшие белостокцы отнесли в полевой госпиталь и его и Жолобова, пришедшего было в себя, когда его вытащили из-под лошади, но скоро снова потерявшего сознание.

Меншиков ценил серьезного Жолобова и привык видеть около себя всегда живого и остроумного Сколкова, и Стеценко отметил про себя, как, хриповато крикнув им, остальным адъютантам: «Никогда не держитесь кучей!» – он понуро, не глядя по сторонам, направил своего донца в тыл.

Когда, почувствовав запах гари, Стеценко обернулся в сторону Алмы, он увидел сплошное облако дыма, гораздо более темное, чем дым от орудийной пальбы, затуманивший дальние планы. Догадаться было нетрудно, что это горит лежащая как раз против левого фланга позиции деревня Алматамак, подожженная отступавшими русскими частями, чтобы затруднить преследование их французами.

Алматамак горела, горели фруктовые деревья около построек, отчего дым был особенно густ и черен, но это не остановило французов. Напротив, пользуясь дымом, как защитой от выстрелов русских стрелков-штуцерников, засевших за стенками садов, одна из бригад дивизии принца Наполеона подвезла прямо к горевшей деревне свои орудия и задавила немногочисленных уже стрелков сосредоточенным огнем картечи.

И когда остатки этих упорно сопротивлявшихся стрелков были выбиты, бригады принца Наполеона безудержно покатались дальше.

Весь левый фланг позиции на Алме был во власти французов к двум часам дня.

#### IV

Генерал Канробер, низенький, но сутулый, слабого на вид сложения человек лет сорока пяти, когда-то блестяще выдержал экзамен на первый офицерский чин и не менее блестяще уцелел во время войны в Африке, когда он, будучи командиром роты, неосторожно с небольшою кучкой своих солдат сунулся в каменоломни, где засели вооруженные кабилы.

Все солдаты около него, числом шестнадцать, были тогда или убиты, или ранены, спасся только он один, и за то, что так чудесно мог уцелеть, получил орден Почетного легиона. Подавляя движение кабил, он не менее жестоко, чем Сент-Арно, почему и выслужился, конечно. Но резкий скачок в его карьере создало ему участие в декабрьской бойне<sup>18</sup> на улицах Парижа, где, впрочем, он вел себя не особенно решительно. Другой французский генерал, Пелисье, говорил о нем: «Хотя зовут его Сертэн (то есть верный), но на него буквально ни в чем нельзя положиться!»

Канробер любил славу и любил женщин, как истый француз любил даже, сидя за картой, строить планы больших сражений, но дивизией в бою он командовал впервые.

Другому же начальнику дивизии армии Сент-Арно, престарелому принцу Жерому Наполеону, никогда не приходилось командовать в бою даже и взводом, не только целой дивизией, поэтому Сент-Арно сам безотлучно находился при нем, как Меншиков при отряде Кирьякова.

И в то время как принц поглядывал кругом с понятным в старике его возраста и физических возможностей любопытством, но совершенно без необходимого в таком серьезном бою воодушевления, полумертвый Сент-Арно волновался ужасно, чувствуя на себе взгляды целой Франции с ее монархом и всего остального мира.

Когда Боске с бригадой д'Отмара оторвался от армии и исчез там, за этими скалами, на левом фланге позиции русских, Сент-Арно очень живо представил, что он погибает, окружен-

---

<sup>18</sup> 2 декабря 1852 г. Луи Наполеон, до того президент республики, провозгласил себя императором и в несколько дней подавил восстание, вспыхнувшее на улицах Парижа.

ный со всех сторон, – вот-вот погибнет! И он растерялся до того, что даже к лорду Раглану посылал адъютанта, не найдет ли тот способа выручить зарвавшегося Боске.

То, что на позиции русских ни в какую подозрную трубу нельзя было разыскать никаких укреплений, казалось ему военной хитростью Меншикова: заманить в засаду туда, дальше в эти таинственные холмы и там истребить.

Больное воображение его работало лихорадочно. То, что происходило перед его глазами, представлялось только завязкой настоящего сражения, которое должно будет, по замыслу русских, произойти дальше, в глубине полуострова, где военные суда не в силах уже помочь армии французов, неосторожно рвущихся вперед, и армии англичан, которые действуют так медленно именно потому, должно быть, что не хотят далеко уходить вглубь, в местность, которую не удалось осветить порядочной рекогносцировкой: подполковник генерального штаба Ла Гонди был послан Сент-Арно накануне именно с этой целью, но по ошибке принял русских гусар за английских кавалеристов и попал в плен.

Даже когда вся дивизия Боске и вся турецкая дивизия Юсуфа поднялись на скалистый берег и исчезли из глаз Сент-Арно там, в этом огненном жерле русских позиций, и когда дивизия Канробера с приставшими к ней двумя батальонами дивизии принца уже перешли Алму и толпились под защитой крутого берега, укрываясь от русских ядер, – он считал сражение окончательно потерянным.

Еще больше развинчивали маршала своими рассказами легко раненные, которые в очень большом, как ему казалось, количестве уходили в тыл, в лазареты: как всегда бывает в подобных случаях, они преувеличивали силу русского огня, чтобы найти себе сочувствие у начальства.

Одного за другим слал Сент-Арно своих адъютантов к Раглану, прося перебросить на его фланг свои резервы.

Раглан, который по недавнему плану самого же Сент-Арно должен был только терпеливо ожидать, когда – разумеется, очень быстро – будет все кончено на левом фланге, и только потом пустить в дело главным образом свою кавалерию для преследования уходящих русских, увидел, что сражение ложится всею тяжестью на его армию, хотя ей и не может ничем помочь мощная артиллерия судов. Тогда он решил бросить в наступление против центра русских сил, которые стояли крепко и совсем не думали уходить, дивизию легкой пехоты своего друга, сэра Джорджа.

Пехотная дивизия англичан была в то время равна по численности одному русскому полку. Центр русской армии приходился против деревни Бурлюк. Сады и виноградники этой деревни, в сторону англичан, были заняты немногочисленными командами штуцерников и матросами морского батальона. Но матросы если и стреляли из своих старых ружей, то только наполняли воздух около себя пороховым дымом. На весь двадцатитысячный отряд, занимавший под командой Горчакова центр позиции и правый фланг, приходилось только полторы тысячи штуцеров, но из них почти половина оставалось на всякий случай в тыловых частях. Между тем каждый солдат двадцатишеститысячной армии Раглана вооружен был штуцером новейшей системы, быстрозарядным и еще более дальнобойным, чем принятый в армии французов.

В полчаса все защитники бурлюкских садов были вытеснены из них частой и очень меткой ружейной пальбой. Оставляя Бурлюк, русские стрелки подожгли его, так что в долине одновременно горело уже две деревни; сады заволокло сизым и черным дымом; дым ел глаза солдатам, потому что поднявшийся с моря ветер гнал его на русские колонны, построенные к атаке; артиллеристы продолжали свой поединок с редко стрелявшими батареями англичан, совсем не видя цели.

В Бурлюке был мост через Алму. Саперы при отступлении кинулись было разорять его, но не успели этого сделать: мост зорко берегли английские стрелки, – к этому именно мосту направлялась в развернутом строе легкая пехота сэра Джорджа.

Правда, легко можно было перейти у Бурлюка Алму и вброд, но мост представлялся сэру Джорджу совершенно необходимым для перевозки пушек. Он видел издали, как французские канониры помогали лошадям перевозить орудия через речку, стоя по пояс в воде и руками проталкивая вперед колеса. Мокрые канониры, по его мнению, никуда не будут годны в бою.

Берег Алмы был здесь более отлогий, и батареи стояли в эполементах, хотя и очень возмущивших генерала Кирьякова своим устройством, но все-таки придававших этой части позиции укрепленный вид.

Как только стройные ряды англичан, красномундирные, ярко и зловеще в этот яркий и зловещий день озаренные пламенем пышно горевшего Бурлюка, появились около моста, в них полетела меткая картечь пристрелянных легких орудий.

Пехотинцы Броуна легли на землю, но это не спасло их от большого урона. Наконец, по одному перебегая, они укрылись за одиноко стоявшим бурлюкским трактиром и оттуда уже отступили снова в виноградники и сады.

Отсюда, таясь за каменными стенками, меткие английские стрелки били на выбор артиллеристов и лошадей. Даже стоявший позади батарей Бородинский полк, теряя одного за другим своих батальонных и ротных командиров, вынужден был отступить. Батареи с остатками людей и лошадей покинули эполемент.

Командир одной из бригад сэра Джорджа, генерал Кодрингтон, упорно желая перейти на тот берег по мосту, а не вброд, снова бросил сюда пять батальонов. Гладкоствольные ружья не годились для обстрела моста, батареи ушли от берега, и красные мундиры появились наконец на южном берегу Алмы.

Горчаков двинул против них в атаку два батальона Казанского полка. Со штыками наперевес, под барабанный бой, дружно, стеною двинулись вниз казанцы. Подъехавшие было снова к покинутым эполементам легкие батареи могли бы засыпать англичан картечью, но казанцы заслонили их своими спинами. В то же время стрелки Кодрингтона встретили казанцев такой меткой стрельбой по офицерам, что в две-три минуты были убиты и командир полка, и оба батальонных, и почти все ротные, и солдаты беспорядочной толпой кинулись назад, к эполементам, а следом за ними в эполемент ворвался один из английских полков, и красное знамя заалело на валу батареи. Два подбитых орудия остались в руках англичан.

Владимирский и Суздальский полки, «старожилы» этой позиции, стояли в резерве: в ближнем резерве – Владимирский, в дальнем, за версту от него, – Суздальский. Владимирский полк поддерживала батарея, стоявшая на холме.

Пули Минье из английских штуцеров залетали иногда и к владимирцам, безвредные уже, как всякие пули на излете. Офицеры и солдаты поднимали их, разглядывали, но не могли догадаться, что это такое и зачем.

– Какие-то бабьи наперстки, глянь! – говорили солдаты.

Артиллерийские же офицеры неуверенно объясняли пехотным:

– Тут, по всей видимости, был какой-то горючий состав в середине, только он, конечно, уже выгорел.

Пехотные спрашивали, не понимая:

– Зачем же все-таки сюда наложен был этот состав?

– Зачем?.. А затем, знаете ли, – тянули артиллеристы, – чтобы в наши зарядные ящики попасть. Попадет такая штучка в патронный ящик – вот вам и взрыв, и все у нас полетит к черту!

Даже и сам командир полка, с Георгием в петлице, полковник Ковалев, рассматривая внимательно «наперстки», только чмыхал в усы, выпячивал губы, пожимал плечами, но объяснить, что это такое, не мог.

Владимирский полк, как и Суздальский, только в августе пришел в Крым из Бессарабии, но и там против турок не приходилось ему выступать, как и всей 16-й дивизии.

Начальник этой дивизии, генерал Квицинский, виден был впереди рядом с Горчаковым.

Когда пошли в атаку казанцы, полковник Ковалев, разминавший ноги на свежевылезшей травке, прокашлялся, погладил шею, не спеша, но привычно ловко подпрыгнул легким, не ожидавшим еще телом, вскочил в седло и, повернув своего гнедого коня к фронту, скомандовал:

– Господам офицерам занять свои места!

И офицеры стали на фланги, ожидая, когда двинут их полк вслед за казанцами, чтобы закрепить их победу.

Но вот увидели все то, во что не хотелось верить: казанцы, так бравое шедшие в атаку, отступали обратно снизу под грохот жестокой пальбы из нескольких тысяч ружей, падали, вскакивали, пробовали двигаться дальше и падали снова, чтобы уже не подняться больше, и могучие лошади батареи, искривив напряженно шеи, дико кося глазами, под крики и удары проволоки мимо владимирцев в тыл орудия.

– Стой, сто-ой!.. Куда-а? Куда вы-ы? Стой! – доносился чуть слышно, как стон, иступленный крин генерала Квицинского, который появился совсем невдалеке от полка на вороной большой лошади, стараясь перехватить и остановить казанцев.

Но казанцы не останавливались, а дальше, в разрывавшемся ключьями дыму, краснели на валу укрепления английские мундиры.

Барабаны там, у казанцев, неровно и сбивчиво били по чьей-то команде «сбор», трубили горнисты, а перед владимирцами остановился большой вороной конь Квицинского. В руке генерала, как плетъ для коня, была зажата и спущена вниз обнаженная сабля; обычно яркое и спокойно-веселое лицо его теперь посерело и стало жестким, белый длинный пушистый правый ус отогнуло не сильным, но упругим ветром с моря, закрывая ему рот, но команда его прозвучала отчетливо и выразительно:

– Первым двум батальонам в атаку!

– Первый и второй батальон... на рру-ку! – поспешно скомандовал Ковалев, одновременно с последними словами своей команды выхватив из ножен саблю. – Ша-агом марш!

И сразу с места, взяв ружья наперевес, поблескивая черной лакировкой своих металлических киверов, первые батальоны владимирцев двинулись вперед прямо на занятые англичанами эполемента.

Их плотная тысячная масса, идущая строго в шаг, под барабаны, казалась издали всесокрушающей.

Как и все полки дивизии Квицинского, Владимирский полк был настоящим парадным полком. Рослые люди в нем, уроженцы северных губерний, умели плотно, во всю ступню ставить ногу, отлично делать ружейные приемы, вызывая этим на инспекторских смотрах непритворное восхищение самых строгих и самых старых генералов; ни один волосок не шевелился ни у кого в строю после торжественной команды «смирно!». Все построения роты, батальона, полка проводили они безукоризненно; все мелочи уставов изучены были ими до тонкостей... Неоднократно в приказах по дивизии и даже по корпусу объявлялась благодарность Владимирскому полку за знание службы, и полк знал себе цену. Эти два батальона полка шли, все учащая и учащая шаг, чтобы одним ударом в штыки разметать там все красное, торчащее на валу.

Ружья были стиснуты в руках крепко, до белизны и боли пальцев, и штыки уже чудились воткнутыми в тех, красномундирных, по самые хомутики.

Впереди, почти рядом с Квицинским, прямо сидя на гнедой машистой лошади, ехал Ковалев; батальонные и ротные командиры – впереди своих батальонов и рот; сзади батальон-

ных командиров – батальонные адъютанты; все дистанции соблюдались с наистрожайшей точностью. На штыки жалонеров надеты были красные флажки; осанистый и широкогрудый знаменщик гордо нес полковую святыню – знамя.

А пули навстречу им пели кругом – чем дальше, тем чаще и гуще, – те самые «наперстки», пустые в середине, как колокольчики, и потому звонкие.

Одна пуля сорвала георгий с повернувшегося назад полковника Ковалева, другая, следом за ней, пронизала ему грудь навывлет.

В то же время под лошадью адъютанта 1-го батальона взорвалась граната. Вскочив на дыбы перед тем, как грохнуться на землю, лошадь сбросила адъютанта, поручика, и он очутился как раз перед падавшим со своего гнедого коня Ковалевым. Наскоро засунув ему под мундир спереди, к ране, из которой сильно лила кровь, свой платок, поручик, человек неслабый, взял легкое тело полковника, в обхват подняв его, и понес между расступившимися, но все идущими вперед рядами. Солдатам задней шеренги батальона адъютант передал тело полковника, чтобы несли его на перевязочный пункт; впереди за это время были ранены одни, убиты другие – еще несколько человек офицеров.

Обходя упавших, владимирцы шли как на параде; сзади однообразно били, точно гвозди вбивали в спины, неутомимые барабанщики, а спереди, где уже не было и командира 1-го батальона, все еще виднелся крупный вороной конь начальника дивизии, то и дело вздрагивавший высокой головой с поставленными торчком ушами.

И вот раздалось наконец это: «Урра-а!...» Его только и ждали все, кто еще оставался и жив и не ранен, и кинулись на вал шагов за сто с таким остервенелым криком, с такими искаженными лицами, что красномундирные не вынесли ни этого крика, ни этих лиц и ринулись вниз к реке, очищая занятые эполементы.

## V

Когда первая атака сэра Джорджа на позицию Горчакова не удалась и в помощь его дивизии пришлось послать дивизию генерала Леси-Эванса, Раглан поехал сам на передовую линию осмотреть положение на месте.

Русские стрелки в садах южнее деревни Бурлюк были уже сбиты: валялись тела убитых, стонали, пытаясь подняться, тяжело раненные – и Раглан со своим штабом совершенно беспрепятственно переехал вброд через Алму и выбрался на берег как раз в том месте, где должны бы были соединиться отряды Кирьякова и Горчакова, но где совершенно не было никаких русских солдат.

По мере того как развивалось сражение, рассасывался центр армии Меншикова. Не только все части отряда Кирьякова стягивались к его левому флангу, где ясно с самого начала обозначился замысел обхода его французами, но даже и батареи донцов приказал Меншиков перебросить сюда от Горчакова.

В центре было пусто, и главнокомандующий одной из союзных армий очутился благодаря этому со всем своим штабом на линии русских резервов.

Десятка казаков или полувзвода гусар было бы достаточно, чтобы отрезать эту любопытную кавалькаду и взять ее в плен, и, может быть, совершенно иной ход приняло бы тогда сражение, но судьба часто бывает на стороне дерзких.

Раглан не только высмотрел расположение войск Горчакова, но он видел также и то, что не было известно ни Горчакову, ни даже Сент-Арно, – он видел, что левый фланг армии Меншикова отступает, что французы почти уже закончили свое дело, что остановка только за ним.

Как раз в это время и раздалось раскатистое «ура!» владимирцев, и Раглан видел, как они ворвались в укрепление, из которого бежали полки легкой дивизии сэра Джорджа.

Волнуясь, он сказал одному из своих адъютантов:

– Вот здесь, именно здесь, на этом холме, за которым мы стоим, нужно поставить батареи, – обстрелять их во фланг... Скачите сейчас же назад, возьмите хотя бы два орудия и поставьте здесь.

Адъютант поскакал назад, а Раглан проехал еще несколько вперед, чтобы обдумать, как лучше и что именно сделать.

С холма он увидел, что отряд Горчакова расставлен очень разбросанно, потому что был мал для большой позиции, какую волей Меншикова пришлось ему защищать; что слишком большие интервалы между резервными колоннами не позволят резервам второй очереди вовремя подойти на помощь к передовым частям; что артиллерии мало, что она слаба, что она поставлена неумело.

И когда он повернул наконец коня, очень обрадовав этим свой штаб, план его был уже готов.

Это был очень простой план: навалиться на передовые части отряда Горчакова всеми дивизиями сразу, с обходом не правого его фланга, а левого, и раздавить их одним общим ударом.

И когда участник знаменитого сражения при Ватерлоо окончательно остановился на этом плане и рысил к своей армии, чтобы немедленно его выполнить, не принявшие атаки стрелки Броуна, выстроившись длинным и редким двухшереножным строем на гребне спуска к реке, открыли губительную пальбу по владимирцам.

Правда, по команде Квицинского: «Штуцерники, вперед!» – выскочили вперед десятка три штуцерников, но этого было слишком мало: владимирцев расстреливали на выбор, – и они начинали пятиться.

Когда издали заметил это Горчаков, он, стоявший одиноко, без адъютантов, кинулся сам к остальным батальонам полка, чтобы лично вести их в атаку.

Граната догнала его: она взорвалась впереди его лошади, и та, убитая наповал осколком, опрокинулась навзничь, придавив его боком и спиной.

Подбежали владимирцы, оттащили лошадь, подняли генерала. Старик с минуту стоял, не понимая, что с ним и где он, и глядел на всех нездешними глазами. Но бой шел, пели пули, лопались гранаты, нельзя было этого не понимать долго... Бледный, хромающий, в длинной летней шинели, отчего казался еще выше, чем был, он стоял перед фронтом и кричал то же самое, что недавно звонко кричал Квицинский:

– Третьему и четвертому батальонам в атаку!.. Шагом... марш! – и также выхватил саблю.

Один из батальонных адъютантов, поручик Брестовский, спешившись, подвел ему свою лошадь и помог сесть в седло. И так же парадно, как первые два: штыки наперевес, безукоризненно в ногу и строго держа равнение в рядах, – пошли вперед и эти два батальона, и если впереди первых двух ехал генерал-лейтенант, то впереди этих – командир корпуса, генерал от инфантерии.

Между тем, как бы ни были малочисленны штуцерники в первых двух батальонах, это были самые меткие стрелки в полку и так же, как англичане, стремились выбивать из строя нарядных офицеров. Это озадачивало англичан, и если медленно пятились владимирцы, то не наступали и те.

А Горчаков уже подводил беглым шагом свои два батальона, и сквозь беспорядочную пальбу чуткое ухо могло уже уловить мерные удары барабанов к атаке.

Кенцинский за валом батареи крикнул:

– Ко мне!.. Жалонеры, на свои места!

И вот за валом, уже густо укрытым телами убитых и тяжело раненных, солдаты поспешно начали строиться к атаке. И еще только подходил Горчаков, как они уже кинулись, огибая вал, с ширококрытым «ура!» и штыками наперевес на британцев.



Те не ожидали этого, а может быть, не хотели уже отступать, потому что видели: и к ним через мост и броды шли на подмогу отборные полки – гвардейские гренадеры, шотландские фузелеры и Cold-stream – гвардия.

Гвардию вел сам герцог Кембриджский, начальник гвардейской дивизии.

Тогда начался жестокий рукопашный бой, которым всегда сильны были русские войска и побеждали.

Рослый и сильный и в большинстве молодой еще народ, владимирцы сгоряча иногда ломали штыки и тогда, обернув ружье прикладом кверху, превращали его в доисторическую дубину и били по головам.

В ряды остатков батальонов Квицинского влились, добежав, свежие батальоны Горчакова, и теперь уже два старых генерала руководили боем.

Но подбегали снизу, от речки, на помощь своим тоже рослые гвардейские гренадеры, мускулистые шотландцы в своем национальном костюме – в круглых меховых шапках, в коротких юбчонках над голыми коленями и со шкурой зверя головою вниз спереди...

Гвардейцы же обходили владимирцев справа, открывая по ним стрельбу во фланг, а слева прямою наводкой начали бить по ним прибывшие на указанные Рагланом места два орудия.

Должен был слезть с лошади Квицинский, раненный пулей в ногу; на ружьях понесли его в тыл.

Вторую лошадь убили пулей под Горчаковым.

Красные жалонерные флажки приняли британцы за батальонные знамена и, чтобы отбить их, нажали сильнее.

Поражаемые ружейным огнем справа, орудийным слева, владимирцы получили наконец от пешего Горчакова приказ отступить.

Да было и время: их осталось всего несколько сот от двух почти тысяч, а офицеров только десять человек от шестидесяти восьми.

Шинель Горчакова была прострелена в шести местах.

В раненого Квицинского, когда несли его в тыл, попала новая пуля, раздробив ему руку и ребро.

Между тем ни Суздальский, ни Углицкий полки, стоявшие в резерве, не шли на выручку владимирцам, так как не получали от высшего начальства такого приказа; артиллерия боялась стрелять во время рукопашного боя, чтобы не попасть в своих.

Наконец, когда владимирцы, теряя все больше и больше людей, отступили, то Углицкий полк, не дожидаясь приказа, сделал то же.

То же самое и в то же время произошло и на крайнем правом фланге, на который вел наступление сэр Колин Камбелл, имевший большой опыт боев в Индии. Но там, вдали от высшего начальства, от генералов Квицинского и Горчакова, все кончилось гораздо быстрее: часам к трем дня главные силы русских отступили по всему фронту.

Между тем левофланговый отряд был остановлен Меншиковым: человек очень самонадеянный, он не хотел поверить сразу в то, что сражение не принесло ему успеха. Он выжидал, чем кончится у Горчакова, хотя не послал к нему никого из своих адъютантов. Но выжидали также и стрелки Боске, и дивизия Канробера, который был легко ранен в плечо осколками гранаты, и дивизия принца Жерома, успевшая вся перейти на южный берег Алмы.

И только когда показался неудержимо бегущий в тыл Углицкий полк, а за ним на рысях какая-то легкая батарея, Меншиков понял, что надо заботиться только об отступлении в возможном еще порядке и выставлять в арьергард бывшие в резерве полки казаков и гусар.

## Глава пятая Отступление

### I

За те неполных два дня, которые провел вблизи Меншикова на Алме, Стеценко не успел разглядеть его так, как ему бы хотелось.

Этот лейтенант обладал холодной и спокойной натурой наблюдателя, и если бы не был лейтенантом, из него мог бы выйти неплохой естествоиспытатель, например, способный часами рассматривать в микроскоп тифлек и амёб в капле застоявшейся воды или структуру нервной системы москита. Но перед этим спокойным и наблюдательным лейтенантом был не микроскопический организм под стеклом, а главнокомандующий армии и флота великой державы, на которую напали соединенные и отборные силы двух других великих держав. И если одна амёба способна во всем повторить другую амёбу, смотри на нее сегодня или завтра, через месяц или через год, то перед глазами Стеценко проходили события, не только небезопасные для наблюдения, но еще и такие, которые волновали до боли, проносились стремительно и никогда уж потом не могли повториться.

Когда заметил вдали, справа от себя, эту бегущую не вперед, а назад, густую огромную толпу солдат, он живо обратился к Грейгу:

– Посмотрите, ротмистр, что это за полк бежит? Или это целая бригада?

Грейг, казавшийся ему наиболее правдивым и общительным из адъютантов князя, присмотрелся внимательно и вскрикнул:

– Это Углицкий полк!.. Углицкий!..

И тут же, повернув лошадь к Меншикову, сказал строевым тоном:

– Честь имею доложить, ваша светлость. Углицкий полк бежит!

Князь вытянулся на стременах.

– Как бежит? Где?

Вдали он различал предметы уже не совсем ясно. Грейг указал рукою на бегущих, и Стеценко еще только думал, кого из них двоих, бывших к нему ближе других, пошлет князь туда узнать, почему и от кого бегут, как Меншиков, ударив шпорой своего донца, с места рысью помчался наперерез бегущим. Ему и Грейгу оставалось только прищипорить своих коней.

Стеценко удивился, как молодо скакал теперь светлейший. Он, тонкий во всей фигуре, очень похож был именно теперь, сзади, и так держась на коне, на своего сына, молодого генерал-майора.

Его заметили конные офицеры-угличане. Они заматались около бегущей толпы солдат, и Меншикову не пришлось кричать: «Сто-ой!» – это прокричали другие. Толпа остановилась раньше, чем он подъехал.

Правда, задние еще напирали на передних, и хотя командир полка – полковник из гвардейцев, поэтому далеко не старый и молодцеватый на вид человек, – раза три, выехав перед полком, прокричал: «Смир-но! Глаза налево!.. Господа офицеры!..» – но смирно не становились, и равнения не было, и офицеры не в состоянии были в перемещавшихся ротах занять свои уставные места.

Меншиков подскакал, и Стеценко видел, как он силился что-то такое крикнуть, но от возмущения только открывал и закрывал рот, а полковник застыл с рукою под козырек и с округлившимися серыми глазами навывкат.

– Отрешу-у-у! – вдруг высоким, каким-то неожиданно скопческим фальцетом прокричал Меншиков. – От командования полком... я вас отрешу-у!

– Ваша светлость! – начал было что-то говорить в свое оправдание полковник, но, отвернувшись от него, Меншиков крикнул в первые ряды солдат: – Песенники, вперед!.. Музыканты перед середину полка!

И пока строились роты и занимали свои места офицеры, а песенники, барабанщики и музыканты со своими трубами и бубнами протискивались через ряды вперед или обегали роты с флангов, Меншиков обратился к старому командиру 1-го батальона со шрамом на щеке от сабельного удара, с курносым простонародным лицом, с владимирским крестом в петлице:

– А что же ваш начальник дивизии, генерал Квицинский, видел, как вы пустились в бегство?

– Начальник дивизии ранен, ваша светлость... или, может, даже лишен теперь жизни: пронесли мимо нас на перевязочный, ваша светлость! – весь вытянувшись на седле и с застывшей у козырька рукой, хрипловато и подобострастно ответил подполковник со шрамом.

– Ранен?.. А командир вашей бригады генерал Щелканов?

– Говорили так, что тоже ранен смертельно, ваша светлость!

– Как? И Щелканов ранен?.. А князь Горчаков? – уже упавшим голосом спросил Меншиков.

– Не видно было на лошади, когда бежал Владимирский полк, а его сиятельство пошел в атаку с третьим батальоном владимирцев, ваша светлость, убит или ранен, не могу знать.

Меншиков согнулся в поясе, точно под тяжестью большого груза, но, постепенно выпрямляясь, спросил уже негромко:

– Разве владимирцы... владимирцы тоже бежали?.. Опустите руку.

– Так точно, ваша светлость! – Батальонный опустил руку. – Их осталось от полка совсем немного: может, только две роты, – остальные же погибли в рукопашном, ваша светлость!

С минуту молчал Меншиков, как будто занятый только тем, как выбегали и строились впереди песенники и музыканты. Но вот он заметил, что у многих солдат совсем нет ружей в руках, кроме того, что почти ни на ком нет ранцев... Он дернул лошадь, повернулся лицом к полковнику и закричал вдруг снова пронзительным фальцетом:

– Ваш полк стоял в ре-зер-ве, полковник... в бою с неприятелем не был и потерял оружие!.. За это я вас предам суду-у, знайте это!

Стеценко заметил, что у князя, обычно бескровного, вдруг слабо покраснели впалые щеки, уши и нос, когда вслед за этим криком он небрежно бросил музыкантам презрительный приказ:

– Играть церемониальный марш!

И Углицкий полк под торжественные звуки марша парадов двинулся мимо князя, Стеценко и Грейга в том же направлении, в каком бежал: безоружный, он не годился даже и для того, чтобы прикрывать отступление армии.

Не понимавшие, что это и зачем, все офицеры, начиная с самого командира полка, при первых звуках церемониального марша выхватили сабли и взяли их «на руку», чтобы, не доходя столько-то шагов до князя, взять их «подвысь» и затем опустить «на караул».

Но князь не смотрел уже больше в сторону проходившего полка: он даже хвостом повернул к нему своего донца. Он говорил Грейгу:

– Поезжайте, ротмистр, узнайте, что такое с князем Горчаковым и кто там сейчас его замещает, если он... ранен.

– Слушаю, ваша светлость!

– И в каком порядке там проводится отступление, – сделал ударение на последнем слове князь.

Грейг повторил:

– Слушаю, ваша светлость!

И вот уже точеные белые ноги его рыжей англазированной кобылы Дэзи замелькали, огибая задние ряды проходившего полка, в том направлении, откуда летели еще английские гранаты и ядра, провожавшие беспорядочные толпы русских солдат.

## II

Лорд Раглан, проехав через вполне уже безопасный теперь от русских орудий и ружей бурлюкский мост, направился к сэру Джорджу, чтобы поздравить его с победой.

Сакли аула строились из камней на глине, полов в них не было, горели только деревянные накаты потолка, который в то же время служил и крышей, потому что, смазанный сверху глиной с навозом, не пропускал дождевой воды.

Дым от горевшего навоза был очень удушлив, однако пожара никто не собирался тушить, хотя воды в Алме было для этого довольно; никому не нужен был горевший аул, от которого войска должны были направиться дальше, отрезать отступавших русских и перебить всю армию Меншикова, если она не сдастся.

Но только что проехав мост и подымаясь на другой берег Алмы, Раглан был испуган горами страшно искалеченных тел стрелков дивизии сэра Джорджа.

Около них возились уже санитары и врачи, выискивая заваленных трупам раненых, которых клали пока отдельно, чтобы после перенести на корабли, так как походные госпитали, хотя и хорошо оборудованные, не были взяты на военные транспорты: они остались в Варне.

Оторванные ядрами головы страшно глядели на старого Раглана открытыми глазами. Некоторые тела были без ног, другие без рук, иные были разорваны так, что трудно уж было различить что-нибудь в кровавой массе. У иных черепа были разможены не то осколками гранат, не то прикладами русских пехотинцев, и мундиры были обрызганы сплошь белыми сгустками мозга...

Тела убитых офицеров складывали отдельно по полкам, и Раглану доложено было, что одного только 23-го полка дивизии Броуна найдено восемь убитых офицеров, между ними и полковник.

– Боже мой! – Раглан поднес руку к глазам. – Такого количества убитых офицеров не было ни в одном нашем полку даже и в битве при Ватерлоо!

Потом он узнал, что ранен начальник дивизии, генерал сэр Леси Эванс, что под сэром Джорджем была убита лошадь... Встретивший его сэр Джордж имел удрученный вид.

– От моей дивизии не останется ничего, – сказал он Раглану, – если дальше нас ожидает такое же сражение!.. И сколько великосветских семейств должны будут теперь надеть траур!.. Убит капитан Монк... Убит сэр Вильям Юнг... Лорд Читон ранен смертельно... У меня не хватает мужества назвать их всех...

– Как? Неужели и лорд Читон?.. Это печально! Это очень печально, дорогой мой друг! – Раглан покивал головой. – Я никак не ожидал, чтобы русские с их никуда не годными ружьями могли так ожесточенно сражаться! Но у нас есть еще впереди задача их отрезать.

– Отрезать? Да, конечно... Но это, может быть, гораздо труднее, чем заставить их только очистить позиции. Притом же четвертый час уже: скоро начнет смеркаться. А успеем ли мы сделать это до темноты? У того, кто стремится уйти от гибели, вырастают быстрые ноги... Кавалерия наша может быть пущена вслед русским, но кавалерии у Меншикова впятеро больше, чем у нас... Будут ли шансы на успех?

– Да, я уже думал об этом, вы правы, конечно. Мы достаточно сильны, чтобы их победить еще и еще раз, но для преследования их нужны свежие силы. Может быть, задачу эту возьмет на себя Сент-Арно... Тем более что потери его, кажется, гораздо меньше наших.

Между тем он уже поднялся на гребень, за которым густо, кое-где даже не только в два ряда, а горами лежали убитые русские.

– О-о, как много они потеряли!.. Очень много, да, очень много! – с торжеством в голосе протянул Раглан, оглядывая место ожесточенного рукопашного боя.

– Приблизительно вдвое больше, чем мы, – уточнил сэр Джордж.

– Да, не меньше... не меньше, чем вдвое... Но присмотритесь – они лежат головами к линии нашего фронта... Если только их не напоили пьяными перед боем, то это... это наводит меня на размышления... Это противник очень серьезный, кто бы ни говорил обратное, как это делают наши газетные писаки... Очень серьезный, очень серьезный... И ведь мы шли на совсем не укрепленную позицию, а Севастополь – первоклассная крепость. Для меня ясно по этому первому сражению, что она нам будет стоить дорого, очень дорого, мой друг! Сколько взято знамен и орудий?

– Орудий только два из двенадцати, какие стояли в этом эполементе... В плену у нас будет один генерал и много офицеров, все раненые, впрочем, так что их надо еще лечить... Знамен нами не было взято... Пленных солдат, тоже раненых, наберется, пожалуй, семьсот-восемьсот.

– Вот видите, какие скромные трофеи! Ни одного знамени и всего только два орудия!.. Нет, русские – противник очень серьезный!.. А насчет пленных я, знаете, думаю так: генерала и офицеров мы, соблюдая международную вежливость, возьмем к себе на госпитальное судно, а раненых солдат, пожалуй, вернем обратно их отечеству. У нас, кажется, мало будет медиков и для своих раненых, а для нескольких сот русских надо отрядить целый транспорт и приставить к ним большой штат хирургов. Нет, это нам не по средствам. Самое лучшее – отправить их в Николаев или в Одессу. Пусть со своими ранеными возьмется сами русские.

А русские разбитые силы в это время уходили своими плотными каре как бы в строго выдержанном шахматном порядке. Британские орудия, занявшие открытые места неподалеку от заваленных трупами эполементов, пускали им вслед снаряды, но кое-где замечались уже недолеты.

Присмотревшись внимательно к этим плотным удалявшимся каре, Раглан добавил:

– Все-таки они представляют собой еще очень сильные войска. Лорд Лукан рвался ударить им в тыл, и я разрешил ему это, но лучше будет отозвать его обратно. Кавалерии у нас мало, она нам еще может пригодиться в будущем. Нам же надо будет заняться своими ранеными и похоронить, как должно, убитых.

Когда были подсчитаны потери в дивизиях Броуна и Леси Эванса, среди гвардейских гренадер и шотландских стрелков, Раглан написал донесение военному министру, герцогу Нью-кестльскому о «сражении при ауле Бурлюк». Донесение это было составлено скупым на краски, чисто деловым языком.

Потери были показаны в две тысячи солдат, сто четырнадцать сержантов и девяносто шесть офицеров. Упомянуто было о двух орудиях и пленном русском генерале Щелканове.

В то же самое время писал свое донесение самому Наполеону Сент-Арно о «победе на реке Алме», начиная торжественно и высокопарно, как это было свойственно ему, бывшему актеру Флоридалю: «Sire! Le canon de Votre Majeste a parle...»<sup>19</sup>.

И если Раглан силы русских, стоящие против английских, называл равными английским, то преувеличение тут было небольшое. Сент-Арно, донося обо всем вообще сражении, как будто и войска Раглана были под его командой, исчислял силы русских в сорок пять тысяч, восемьдесят русских орудий выросли в его донесении в сто восемьдесят, а совершенно не защищенная окопами позиция оказалась «покрытой страшными редутами, которые были взяты только благодаря беспримерной храбрости французских полков, строго выполнявших предначертания своего главнокомандующего».

---

<sup>19</sup> Государь! Пушка вашего величества заговорила... (фр.).

Излагая последовательно и сухо ход сражения, Раглан ни разу не упомянул о себе лично. Полумертвый Сент-Арно, находившийся все время в почтительном расстоянии от русских пушек, говорил только о себе.

Зуавы Боске возле деревни Орта-Кесэк, лежащей на дороге из Севастополя к Алматамаку, захватили беспечно подъезжавшую во время боя к русской позиции карету Меншикова, в которой сидел писарь, везший кое-какие чистые бланки и неважные текущие бумаги на подпись князю. И об этой карете в торжественно-победном тоне доносил своему монарху маршал: «Я захватил карету князя Меншикова! Я взял ее с его портфелем и перепиской!.. Я воспользуюсь драгоценными данными, какие там найду!..»

В руках французов остался тяжело раненный командир одной из бригад дивизии Кирьякова генерал Гогинов, о чем так же пространно и высокопарно писал Наполеону маршал.

А мадам Сент-Арно, с живейшим интересом наблюдавшая издали великолепную картину боя, вечером, не желая подвергать себя неудобствам бивуачной жизни, перебралась на корабль «Наполеон», в свою каюту.

О возможности преследования русских Раглан ничего не писал «милорду герцогу», но Сент-Арно заканчивал свое донесение словами: «Если бы у меня была конница, ваше величество, армия князя Меншикова перестала бы существовать!»

### III

Телеграф на мысе Лукулл сделал около двух часов дня свою последнюю передачу о том, что неприятель наступает на алминскую позицию по всему фронту. Но еще за час до того пушечная пальба была отчетливо слышна в Севастополе: поверхность моря передает звуки дальше и ярче, чем сухопутье.

Адмирал Корнилов, только что начавший было обедать, вскочил из-за стола, взял с собою обедавшего у него инженер-подполковника Тотлебена, незадолго перед тем присланного Меншикову Горчаковым 2-м из Бессарабии, и поехал верхом по знакомой уже ему дороге на Алму.

Горчаков оценил Тотлебена как инженера на Дунае, при осаде Силистрии, где он сложной системой подземных ходов вплотную подошел к передовому укреплению Араб-Табия и взорвал его по всему фронту.

Но осаду Силистрии приказано было снять, и Горчаков направил этого способного инженера в Севастополь. Однако непоколебимо уверенный в том, что из-за позднего времени года и по другим причинам союзники в Крым не пойдут, Меншиков не хотел даже думать ни о каких работах по укреплению Севастополя с суши. Только после 30 августа Корнилов вспомнил Тотлебена, этого флегматичного на вид, круглолицего офицера, который все жаловался на плохое сердце, но работать мог день за днем, по двадцать часов в сутки. Скоро Тотлебен сделался его ретивым помощником.

Сражение уже кончилось, когда они подъезжали к Алминской долине; им навстречу шла уже разбитая армия, вид которой всегда бывает сумрачен, даже если музыкантам и приказывают играть церемониальный марш.

Сумрачен был и сам Меншиков, который ехал верхом, хотя у него и побаливали ноги: его карету, трофей его победителя, облюбовала себе для дальнейшей прогулки к Севастополю мадам Сент-Арно.

Первое, что услышал от Меншикова Корнилов, было то, что он потерял двух своих адъютантов.

— Капитан Жолобов погиб, бедняга! — сказал он грустно. — Я заезжал проведать его на перевязочном; он был еще жив, но уже совершенно безнадежен. А Сколкову лекаря обещают жизнь, однако без руки какая же может быть у него карьера!.. Впрочем, генерал Скобелев и безрукий стережет Петропавловскую крепость...

Помолчав, он продолжал с гримасой большой брезгливости:

– Кирьякова же я ни в коем случае не хочу больше у себя видеть: это пьяный шут и болван! Вся сегодняшняя неудача наша исключительно от него!.. Если военный министр назначит его куда-нибудь в резервную часть, например в Киев, я буду очень доволен... Это положительно какой-то шут гороховый, а не начальник дивизии!

Корнилов хотел узнать, велики ли потери в полках и какие из полков наиболее пострадали, но ждал, когда об этом заговорит сам князь. Он же больше молчал, чем говорил, что было вполне понятно в его положении.

– А каков Петр Дмитриевич! – Меншиков покачал головой. – Что это – задор, какой был бы только безумному подпоручику к лицу, или в его корпусе совсем и не ночевала дисциплина?.. Командующему главными силами бросать общее наблюдение за ними и во главе батальона идти самому в атаку, что это такое? А батальонный командир на что?.. Или батальонные должны идти в атаку впереди взводов? Очень странно и непонятно! Человек по седьмому десятку... полный генерал, а?! Его счастье, что остался хоть в живых, а генерал Квицинский – тоже впереди батальона пошел в атаку! Может, и не выходит! Что же они оба думали, что за это я их к награде должен представить? Нет, не представлю!

Когда подъезжали к Качинской долине, в которой предусмотрительно были оставлены обозы армии, Корнилов спросил:

– Как вы думаете, Александр Сергеевич, не двинут ли они теперь свой флот к Севастополю, чтобы бомбардировать его на рассвете или даже ночью?

– Да, вам, конечно, надо ехать сейчас же назад и быть наготове ко всяким неприятностям... А я уж останусь при армии и заночую здесь, при обозе, – устало сказал Меншиков. – А чтобы неприятельский флот не ворвался в бухты, я думаю, надо бы затопить несколько старых судов на выходе из Большого рейда...

– Как так – затопить несколько судов? – ошеломленно повторил Корнилов.

– Обратив бухту в закрытое озеро – это единственно возможный выход из нашего положения... А вам, полковник, – Меншиков повернулся к Тотлебену, – вам надобно сделать вот что... Неприятель будет двигаться вдоль берега, как он и двигался, и, конечно, придет к Северной стороне – это неизбежно. Найдите на Инкерманских высотах позицию для нашей армии такую, чтобы можно было взять неприятеля во фланг именно тогда, когда он будет подходить к Северной стороне. Форты Северной стороны будут у него с фронта, армия – с левого фланга... Оборону же Северной стороны, Владимир Алексеич, я поручаю вам.

Корнилов был так изумлен предложением затопить суда при входе на Большой рейд, то есть обрекать флот на полное бездействие, что не понял и последнего поручения князя.

– Оборону Северной стороны? – переспросил он. – Какими же силами могу я оборонять семиверстную линию, если вся армия будет под вашим командованием на Инкермане?

– Возьмите матросов с судов в дополнение к резервным батальонам... По моим подсчетам, у вас может составиться тысяч десять.

– Эта цифра может составиться только тогда, если я возьму с судов почти всех матросов, Александр Сергеевич!

– Я именно об этом и говорю, – подтвердил князь. – Кроме того, вот еще что: нужно послать фельдъегерем к государю с донесением о сегодняшнем деле ротмистра Грейга... Ротмистр Грейг! – крикнул он назад, так как адъютанты его ехали на приличной дистанции. – Вы назначаетесь фельдъегерем к государю, – обратился князь к штаб-ротмистру, когда тот подъехал.

– Я, ваша светлость? – Грейг испуганно поглядел на него.

– Да, мне кажется, что вы это сделаете лучше, чем кто-нибудь другой. Я не знаю, получите ли вы за это очередную награду, но... во всяком случае хорошо сможете доложить государю, что вы видели и знаете... Прежде всего, конечно, скажете о том, что я нуждаюсь в самой

спешной присылке подкреплений... Что армия противника велика, снабжена прекрасным оружием, но что если мы в самое ближайшее время, совершенно незамедлительно, получим корпус свежих войск, то сбросим неприятеля в море... Вот, Владимир Алексеич, вы возьмете его с собой, дадите ему необходимые инструкции и бумаги, и завтра же утром он должен выехать в Петербург... Свое донесение государю я напишу сейчас и пришлю вам с Исаковым...

Когда Корнилов, Тотлебен и Грейг, простившись с Меншиковым, отъехали две-три версты от Качинской долины, где войска расположились бивуаком на ночь, Грейг заметил на боковой дороге смутные в густых сумерках силуэты длинноногих украинских серых волов, запряженных по несколько пар в три подводы, причем на каждой подводе было что-то длинное, черное и, видимо, очень тяжелое. Около же подвод, покрикивая на волов, шли толпою матросы.

– Что это может быть такое? – озадаченно самого себя, но вслух спросил Грейг, а Корнилов ответил на его вопрос:

– А-а! Это судовые орудия... Я их послал князю еще рано утром, а они только теперь доплелись сюда, когда в них нет уже надобности... Поезжайте, пожалуйста, к ним, голубчик, скажите, чтобы возвращались назад... чтобы оставили их на Северной стороне... Они там сослужат свою службу.

– А государю я должен буду донести и о том, как у нас перевозят орудия, ваше превосходительство? – не без насмешки спросил Грейг, поворачивая коня.

– Отчего же не доложить и об этом? Государь должен знать и то, какие у нас способы перевозки тяжелых орудий, – ответил ему Корнилов.

Подполковник Тотлебен, державшийся все время очень молчаливо, вдруг отозвался на это с большим оживлением:

– Да, государь должен знать правду! Не с парадного подъезда, а с заднего крыльца государь должен знать все о положении Севастополя! И что перевозочных средств очень мало, и что инженерное имущество очень бедное, и что войск очень мало, и что оружие очень плохое – все это должен сказать государю ротмистр Грейг. Он должен иметь мужество сказать это! Это есть его долг!

– Я уверен, что у Грейга мужества на это хватит, – сказал Корнилов, – но... будем молиться Богу, чтобы хватило мужества и у князя не настаивать на истреблении своего же флота! Я думаю, что это вырвалось у него под влиянием неудачи... Он очень расстроен... А? Вы это заметили?

– Как знать, – уклончиво ответил Тотлебен. – Когда Геркулес<sup>20</sup> бросал Антея на землю, земля Антею возвращала все его прежние силы... Если матросы наши хороши на море, то тем лучше они будут на суше...

– Матросов посадить в окопы? – крикнул Корнилов.

– Конечно, это только в случае крайней необходимости, ваше превосходительство, – поспешил смягчить свои слова Тотлебен.

– Матросов засадить в окопы – это все равно что художников заставить красить заборы!.. Нет, моряки слишком дорогой вид войска, и они сделают для защиты Севастополя то, что их учили делать! И сделают это именно на море, а не на суше!

## IV

Как только стемнело, ничего не евшие и не пившие за целый день солдаты, вдобавок еще, как это было в нескольких полках, бросившие тяжелые ранцы и сухарные мешки, разбрелись по Качинской долине в виноградники и сады: зрелое и незрелое, все поедалось без разбору.

---

<sup>20</sup> Геркулес – легендарный герой древних греков. Один из его подвигов заключался в победе над великаном Антеем, сыном богини земли Геи.



Слышалось только повсюду, за невысокими каменными стенками и плетнями, как отрясались деревья, как градом падали наземь яблоки и груши, как перекликались друг с другом и переругивались солдаты, а фельдфебеля на привале около построек кричали неистово:

– Пе-ервая рота Бородинского полка-а, сюда-а-а-а!

– Пятая рота Суздальского полка-а, сюда-а-а-а!

– Восьмая рота Московского полка-а, сюда-а-а-а!

Это последнее «а-а-а-а!» тянулось до бесконечности. Конечно, голоса у фельдфебелей были разные: у кого бас, у кого звонкий тенор, – но трудно было все-таки различить в темноте, кое-где только слабо пронизанной огоньками непышных костров, свой ли фельдфебель кричит, или чужой, и солдаты, собираясь на крики, которые неслись со всех сторон, часто ошибались, попадали не только не в свою роту, а даже в чужой полк, и до полуночи почти бродили зря, а после полуночи барабанщики по всему лагерю ударили сбор, потому что Меншикову не спалось, – беспокоила мысль о глубоком обходе, охвате, даже о десанте противника под самым Севастополем, оставшимся без армии: представлялось совершенно необходимым к рассвету довести войска до Инкерманских высот.

И вот, то и дело натываясь на кусты карагача и дуба, объединенные за лето козами и потому колючие, отводя душу руганью, двинулись в темноте дальше совершенно перемешавшиеся местами части – просто толпы солдат, подгоняемые единственным желанием добраться до кухонь, когда придут наконец на место. Дальше, в лесу, совершенно перепутались и перемешались части, так что утром, едва забрезжило, когда дошли до Бельбекской долины передовые отряды, пришлось остановить их, чтобы разобраться по ротам, батальонам, полкам...

Но перед тем как разобраться, молодые офицеры и солдаты вкупе и влюбие разгромили виноградники и сады, чтобы уж ничего не досталось следом идущим французам.

А часам к девяти утра с Северной стороны на Южную через Большой рейд начали перевозить раненых, которые могли идти сами и шли впереди войск небольшими командами. Так как среди них не было начальства, то они и не знали, куда именно следует им направиться. Они появлялись толпами в наиболее сытном месте города – на базаре, где были харчевни и сидели торговки с булками, студнем, гороховым киселем, грушевым квасом. Торговки сердобольно роздали голодным раненым все свои товары, но подходили новые толпы усталых, измученных, закопченных пороховым дымом, с кровавыми повязками на руках, головах, иногда даже на ногах: ковыляли, но двигались – и глядели молящими глазами на базарную снедь.

Харчевни закрылись; торговки ушли; раненые разбрелись по улицам, просили Христа ради у прохожих. И скоро весь Севастополь уже знал, что армия с неприятелем справиться не могла, что и остановить его была не в силах, что она бежала, а он идет за нею следом и вот-вот придет.

Одна старая грудастая боцманка с Корабельной, завидев юного и тонкого подпоручика, шедшего по улице без каски, расстановисто сказала ему, покачав головой в коричневом чепце:

– Что-о, длинноногий! Так от француза лататы задал, что и каску свою потерял? На мой чепец возьми, накройся!

И, пожалуй, бросила бы ему свой чепец, если бы подпоручик не юркнул от нее в переулок.

Жены офицеров Бородинского и других полков, заранее нацепив траурные ленты на шляпки и черный креп на рукава и с готовыми уже слезами, кидались на улицах ко всем офицерам и солдатам, стремясь узнать что-нибудь о своих мужьях.

Кто-то пустил слух, что гражданскому населению будут раздавать оружие для защиты Севастополя, и потому порядочная толпа сошлась к Екатерининскому дворцу и другая – к дому адмирала Станюковича, но вместо ружей выдали кирки и лопаты и под командой саперов повели рыть новые укрепления.

Матросы за недохваткой лошадей сами тащили орудия с судов на бастионы.

Все жалующийся на плохое сердце и в то же время неутомимо и методически работающий, Тотлебен размечал места для пехотных полков и батарей на Инкерманских высотах.

## Глава шестая

### Смертный приговор флоту

#### I

После того как Корнилов простился с Меншиковым, отъехавшим в сторону, он подозвал к себе лейтенанта Стеценко.

Стеценко думал, что адмирал берет его снова в свой штаб, так как сражение окончилось, но Корнилов сказал ему несколько пониженным заговорщицким голосом:

– Пожалуйста, сделайте для меня вот что: разыщите, где идут морские батальоны, – сколько бы людей в них ни уцелело, – и чтобы они шли, не отдыхая, к Северной пристани, поняли? Я дам распоряжение, – их немедленно перевезут на свои суда... А там – *coute que coute*<sup>21</sup>.

Стеценко сказал, конечно: «Есть, ваше превосходительство», – но совершенно не понял, зачем понадобились адмиралу морские батальоны, вошедшие в состав сухопутной армии; подумал, что об этом уже договорился он с князем, и, только успев сказать другому адъютанту, Панаеву, что послан Корниловым, направился в тыл.

Однако в густом потоке идущих в темноте войск не только трудно было найти два морских батальона, мудрено было даже пробиться назад: долина Качи была слишком узка и вся сплошь занята садами и саклями; оставалась для прохода целой армии только по-восточному узкая улица аула.

Часа два блуждал Стеценко, пока нашел наконец командира одного из батальонов, капитана 2-го ранга Надеина, и передал ему приказ адмирала.

– Это, конечно, приказ князя, только переданный через адмирала? – спросил Надеин.

– Иначе и быть не могло, конечно, – ответил Стеценко.

Надеин отозвался на это шутливо:

– Китайский мудрец сказал: лучше идти, чем бежать, лучше стоять, чем идти, лучше сидеть, чем стоять, и лучше быть дома – в Севастополе, чем черт знает где! Только двадцать минут привала, и мы выступаем на Северную.

Но опередить остальную армию морским батальонам не удалось: когда Стеценко вернулся к князю, он уже поднял полки с бивуака и сам сел на лошадь. Панаев передал лейтенанту, что Меншиков хотел послать его вместо полковника Исакова с наскоро написанным донесением царю, которое должен был отвезти Грейг, и ему пришлось сказать, что он, Стеценко, послан Корниловым с каким-то своим поручением в тыл.

– Вы где были, лейтенант? – мрачно спросил Меншиков, едва разглядев при потухающем костре Стеценко.

– Выполнял приказ адмирала Корнилова, ваша светлость!

– Ка-кой же та-кой приказ адми-рала Кор-нилова? – сознательно или нет, но как будто бы даже гнусаво, точно простуженно, проговорил князь, и Стеценко ответил, уже запинаясь:

– Относительно двух морских батальонов... чтобы они незамедлительно шли к Северной пристани... откуда их должны будут перевезти на свои суда, ваша светлость!

---

<sup>21</sup> Во что бы то ни стало (*фр.*).

– Вот ка-ак!.. Странно, – протянул так же гнусаво князь. – Я-а лично такого распоряжения не давал!

И Стеценко понял, наконец, что в отношениях между главнокомандующим и начальником штаба флота, между двумя генерал-адъютантами что-то не все и не совсем ясно.

Однако Меншиков не сказал больше ни слова о двух морских батальонах. Он, правда, вообще стал очень молчалив после сражения.

Стеценко не заметил в нем накануне боя открытой уверенности в победе, но теперь видел, что поражение если и представлялось ему, то далеко не в таком виде и не с такими потерями.

Он пробовал сам угадать дальнейший план действий, который строился вот теперь, ночью, для всей этой массы людей, для всего населения города, для будущего ведения войны, для сбережения флота, для чести России, – строился и рос в этой самоуверенной почти семидесятилетней голове.

Но, несмотря на свойственную молодости способность к быстрому распределению каких угодно средств и сил, не мог он придумать ничего больше, кроме как поставить всю армию на бастионы.

От Бельбекской долины армия шла уже по двум дорогам, чтобы скорее добраться до бастионов Северной стороны, и все-таки едва к девяти часам утра первые эшелоны появились в виду этих бастионов.

И Стеценко встревоженно вглядывался в морскую синь, не скопятся ли вновь, как он уже видел у соленых озер, армада союзников и здесь, перед Большим рейдом. Но море было пустынно; виднелись только два пароходных дымка обычных судов-наблюдателей. Город же издали казался совершенно спокойным... Город, которому приготовлена была волею всего только нескольких людей, имеющих власть, самая злая участь, сверкал теперь, утром 9 сентября, яркой белизной домов, чуть тронутый кое-где позолотой садов, золотыми куполами и крестами церквей... Нарядный, кокетливый даже, был у него вид, у этого Севастополя.

Подозвал к себе Стеценко Меншиков. Под глазами князя синее, заметнее стали мешки, чернее круги; все лицо еще более осунувшееся и желтое, чем всегда. Голос хриповатее и суше.

– Сейчас же переедете на Южную сторону, – сказал князь, – найдите адмирала Корнилова, передайте ему, что я приказал все средства флота и порта обратить на перевозку войск на Южную сторону...

– Есть, ваша светлость! – бодро ответил Стеценко, довольный тем, что план действий князя оказался отгаданным им, что он все же был единственным возможным планом: вся армия становилась гарнизоном крепости.

– Узнайте также, уехал ли Грейг, и явитесь потом ко мне вместе с Исаковым... Кроме того, еще вот что: мы везем до ста человек раненых офицеров. Для переноски их в госпиталь чтобы высланы были носилки.

Несмотря на то что переживания боя и бессонная, проведенная большей частью на коне ночь не могли не отразиться на лице князя, все-таки Стеценко заметил теперь в нем спокойствие, которое он так часто терял раньше, во время отступления полков.

Отъехав от князя, Стеценко довольно игриво подумал даже, что в такой стране всевозможных уставов, правил и предписаний начальства, как Россия, должен быть написан и издан – с высочайшего разрешения, конечно, – устав для главнокомандующих соединенными силами армии и флота, с точным указанием, как должны вести себя они во всех предусмотренных случаях, то есть не только при несомненной победе, но и при возможном поражении тоже. В уставе же этом должна быть и такая статья: «Если обнаружится из донесений арьергардных частей, что неприятель не гонится за отступающей армией по пятам и не стремится ее обойти и отрезать, то главнокомандующему разрешается вздохнуть свободно и стать на некоторое время спокойным».

## II

Когда Стеценко перебрался на Южную сторону, то поехал сначала на квартиру Корнилова, но там адмирала не оказалось. Удалось узнать только, что он на военном совете, который создан по его распоряжению в кают-компании корабля «Великий князь Константин».

Корнилов, вернувшись из поездки часов в десять вечера, до полуночи подготавливал Грейга к его обязанностям фельдъегеря и снабжал нужными бумагами. Потом, когда Исаков привез донесение Меншикова царю, они ужинали и разошлись поздно.

Но даже и в те немногие часы, которые оставались для сна усталому адмиралу, заснуть он не мог, а в восемь часов утра разослал приказ флагманам флота и капитанам кораблей явиться на совещание.

Если уставы для главнокомандующих складывались только в мозгу лейтенанта Стеценко, то отношения между начальствующими и подчиненными сложились уже очень давно.

Вице-адмирал Корнилов был только начальником штаба Черноморского флота, притом он был еще молодой вице-адмирал: старше его по службе считались и Станюкович, и Нахимов, и командующий флотом Берх.

И если Станюкович и Берх – оба глубокие старики – не получили приглашения на совет, то Нахимов был приглашен, остальные же адмиралы и капитаны 1-го ранга получили просто приказ явиться.

Вопрос, который волновал Корнилова, был действительно слишком серьезен для того, чтобы он решился на такой шаг, не предусмотренный уставом: вопрос этот был о флоте.

И поскольку речь должна была идти о флоте – о самом насущном для моряков, а военный совет был делом совершенно новым для людей, привыкших получать только приказания и отвечать на них коротким, как выстрел, «есть!», то все приглашенные явились в парадной форме – в вицмундирах и шляпах.

Обширная кают-компания корабля вполне вместила всех флагманов и капитанов 1-го ранга, и если Нахимов, расположась в кресле рядом с Корниловым, тут же принялся набивать табаком свою трубку, то другие, младшие чином и заслугами, не решились этого сделать: она навликала их не только торжественность минуты, но и бледное, с воспаленными глазами, очень посуровевшее лицо Корнилова.

Расселись за длинным столом, Корнилов – на своем почетном председательском месте. В руке у него был карандаш в серебряной вставочке, на столе перед ним записная книжка.

Голос его был глуховат, когда он начал:

– Господа! Вы уже знаете, я думаю, что остановить натиск армии союзников – армии, вдвое сильнейшей, чем наша, и вдесятеро лучше снабженной оружием, – нашим войскам не удалось, что можно было предвидеть и раньше. Войска наши отступают к Севастополю; вчера вечером я их оставил на Каче... Его светлость, командующий армией, передавал мне, что ждет нападения союзников на Северную сторону, а сам предположил занять фланговую позицию на Инкерманских высотах. Но силы неприятеля велики, поэтому Сент-Арно, очевидно, будет действовать так же решительно, как действовал на Алме. Допустим, что он займет южные Бельбекские высоты, надавит на Инкерман и оттеснит нашу армию... Ведь наша армия имеет теперь уже гораздо меньшую численность, чем на Алме. Пусть даже неприятель понес такую же потерю, как и мы, одно дело потерять, скажем, шестую часть армии, другое дело – двенадцатую. Второе можно перенести незаметно, а первое очень чувствительно. Вполне допустимо также, что и настроение наших войск несколько подавлено неудачей сражения, – предположим и это, с тем мужеством предположим, с каким мы приучены глядеть в лицо опасности... И вот представим: неприятель преодолел все препятствия, поставил свои батареи на высотах и начал действовать по кораблям Павла Степановича, – он кивнул в сторону Нахимова. – Чтобы

не потерять эти суда, придется переменить позицию. Но ведь в то же время и корабли противника будут стоять наготове и близко, чтобы прорваться на рейд, а сухопутная армия атакует северные укрепления, где оборонительные работы еще далеко не закончены. Вот, господа, какая картина рисуется мне в самом близком будущем. Что, если северные укрепления будут взяты, несмотря на все геройство их защитников? Тогда, господа... тогда, – дрогнул голос Корнилова, – Черноморский флот наш очутится в такой же ловушке, как турецкий в Синопской бухте, но погибнуть может гораздо бесславнее, чем погибла турецкая эскадра, потому что та эскадра сражалась, а наша будет просто расстреляна!.. Избитый, израненный, если даже он попытается тогда выйти в море, то ведь он не пробьется через кордон гораздо сильнейшей союзнической эскадры... И что же ему останется тогда? Не будем ни секунды останавливаться на этом подлом слове «плен»! В плен к нашим врагам не попадет, конечно, наш доблестный флот! – Корнилов ударил карандашом о стол. – Он, конечно, погибнет в бою, но гибель-то эта будет совершенно бесполезна для дела защиты и Севастополя и всего Крыма!..

Корнилов приостановился, обвел всех воспаленными, как будто зажженными изнутри глазами и продолжил голосом, более строгим и суровым:

– А между тем, господа, мы еще могли бы несколько поправить большую, огромнейшую ошибку, нами допущенную в первый же день, когда стало известно о движении неприятельских сил на Евпаторию. Тогда была у нас возможность – блестящая, я бы сказал, возможность – напасть всему нашему флоту на суда, перегруженные десантом, на суда с очень большой осадкой...

– Но ведь тогда был штиль, Владимир Алексеич, – перебил Нахимов. – Ведь мы об этом думали-с тогда, думали с вами вместе, но штиль, штиль помешал-с!

И Нахимов побарабанил пальцами левой руки о пальцы правой, что у него означало: «Ничего не поделаешь!»

Но Корнилов блеснул в его сторону насмешливо глазами и подкивнул волевым, упрямым подбородком:

– Шти-иль? Да-а... Штиль тогда был, это так, но-о... не столько на море, сколько... Оставим это! Это дело прошлое. Потерянного не воротишь... Наши парусные суда могли подойти тогда к неподвижной и не способной лавировать армаде на буксире наших пароходов, в ночь с 1-го на 2-е сентября. И я предлагал этот план, но он, как вам известно, не был одобрен... А между тем мы могли бы разгромить десантную армию там, на море, где она не имела бы возможности защищаться во всю свою мощь, так как очень многих орудий своих не могли бы на нас направить военные суда: их палубы были загружены пехотой... Вот что могло бы произойти, господа, но о прошлом больше уж говорить не будем... Перед нами катастрофа, господа! Она надвигается очень быстро и требует бури в наших мозгах!.. Если флот наш останется на тех же местах, на каких стоит сейчас, он погибнет! Может быть, даже завтра, послезавтра, но над ним уже висит гибель, она очевидна, и единственное средство спасти наш флот от гибели совершенно бесполезной и, конечно, бесславной – это вывести весь боеспособный состав его в море и... напасть на неприятельскую эскадру!

Неотрывно глядевшие в лицо Корнилова адмиралы и капитаны переглянулись, когда были сказаны – и сказаны с большой энергией – последние слова; Корнилов же продолжал с подъемом:

– Это может, пожалуй, показаться слишком смелым, но надо же, господа, хоть сколько-нибудь надеяться на удачу, на счастье! Не один же только арифметический расчет решает дело сражения! Пусть эскадра противников гораздо больше, но, насколько я наблюдал ее, плохо умеет лавировать, – в этом мы ее превосходим... Я видел их эскадру в полном сборе у мыса Лукулла: мне она не показалась особенно внушительной... Стремительность нападения – вот

был бы наш главный козырь!.. Вспомните, как Густав Третий<sup>22</sup> стремительно напал на русский флот под командой этого международного проходимца принца Нассау-Зигена и разгромил его. В морской операции этой со стороны Густава не было ничего, кроме смелости... Конечно, моряки английские и французские совсем не то, что русские моряки времен Екатерины, но в крайнем случае, господа, мы если и погибнем, то погибнем в бою и такой можем нанести вред противнику, что десантная армия окажется в конце концов и без осадных орудий, и без продовольствия, по крайней мере – на ближайшее время. А там придут наши дивизии, которые уже идут в самом спешном порядке, и Севастополь будет спасен, а десантная армия должна будет сдаться, если не захочет быть совершенно истребленной. Вот мой план, господа, и я предлагаю вам обсудить его со всем беспристрастием!

Из всех бывших теперь в кают-компаниях флагманского корабля бессонную ночь провел только один Корнилов, и отступление армии видел один только он. Все остальные могли бы быть гораздо спокойнее, но от Корнилова как бы исходила большая взволнованность, и она заражала.

Нахимов, увидев, что на него вопросительно глядело несколько пар пытливых глаз, затопился, зажал в левую руку трубку чубуком вперед и заговорил сосредоточенно и негромко:

– Я думаю, господа, что Владимир Алексеевич, о-он... он высказал верную вполне мысль. То есть, что флот есть флот, да-с, и назначение его – морской бой... Иначе зачем же вообще государству тратить большие средства на это... это установление-с?.. Сегодня штиль, зато вчера был вполне попутный нам ветер – зюйд-вест... Между тем что же говорят о вчерашнем сражении? Что его будто бы решили суда союзников – несколько их пароходов... Вот что говорят-с!

Нахимов не был рожден оратором, как Корнилов, с трудом собирал мысли, а для того чтобы публично излагать их, должен был глядеть на какой-нибудь неподвижный и непременно неодушевленный предмет. Теперь он глядел на кончик своего чубука.

– Возможна ли победа, если мы выйдем для боя с противником? – продолжал он. – Я не сказал бы, господа, что она... что победа... вполне возможна, – нет. Этого я бы не сказал... Потому что я не знаю, каковы будут союзные моряки в бою... Это зависит от многих причин, и между прочим от того даже, ладят между собой командиры их или же нет-с. Да-с, это тоже может быть одна из причин... Но что я знаю, это-с... это то, что свою службу по блокаде портов наших несли они спустя рукава-с! Безобразно-с! Наш «Святослав», например, разве он не стоял целые сутки на мели-с?.. Притом же вне выстрелов наших батарей... Однако же нам удалось вполне благополучно его стащить... Это что значило? Значило только то-с, что плохо они несли службу, вот что-с! А «Тамань»? Как позволили они выйти «Тамани» из Севастополя, чтобы каперствовать у них же под Босфором? Это значит, что плохо несли они службу-с!.. Возможен ли успех с подобным противником? Я бы сказал так: не невозможен, да-с! И кто это во время высадки – кажется, лейтенант Стеценко – прислал донесение, что два-три брандера могли бы ночью тогда большо-го переполоха у них наделать, да-с! Кажется, поздно пришло донесение, почему и не были посланы брандеры... Но ведь могли бы догадаться об том и сами, здесь – промедлили-с! Допустили оплошность! Но повторять, господа, повторять свои упущения и оплошности мы уже не имеем теперь больше никакого малейшего основания, да-с!.. Флот есть флот, и его назначение – бой на море! Я кончил-с.

И разрешенно подняв на всех свои светлые, с небольшой косиной глаза, он снова повернул трубку чубуком к себе, и рука его при этом заметно дрожала почему-то, но два Георгия, полученные им за боевые подвиги, белели на черном сукне его вицмундира весьма внушительно.

---

<sup>22</sup> Густав Третий – шведский король (с 1771 по 1792 г.), вел войну с Россией.

– Спасибо, Павел Степанович, что поддержали меня! – Корнилов полуподнялся на месте, протянув Нахимову руку.

– Все поддержим! – густо сказал контр-адмирал Панфилов, крепкий блондин с пухлым лицом и маленькими глазами. – Назначение флота – морской бой, это правильно сказано!

Корнилов благодарно склонил голову, поглядев на него признательно, и обратился к другому контр-адмиралу, Истомину:

– А вы, Владимир Иванович?

– Можете ли вы сомневаться в моем ответе? – как будто даже несколько укоризненно проговорил, положив руку на грудь, Истомин, лысоватый спереди, с очень внимательным всегда к словам начальства лицом первого ученика. – Черноморский флот – это, простите мне такое сравнение, сторожевой пес всего юга России, а кто же держит сторожевого пса запертым в сундуке? Раз приходят во двор хозяина воры, сторожевой пес должен хватать их за горло!

И Истомин даже сделал рукою такой хватающий за горло жест.

Двое Вукотичей – Вукотич 1-й и Вукотич 2-й, – оба смуглые пожилые люди, братья, контр-адмиралы, сербы по отцу, один за другим также высказались за то, что надобно вывести флот из бухты и вступить в бой.

С лица Корнилова при выступлениях контр-адмиралов все заметнее слетала обеспокоенность. Зажженные изнутри глаза продолжали гореть, может быть, даже и еще ярче, но оживали впалые щеки, выше поднималась голова, крепче становились узкие плечи...

Но вот на дальнем конце стола, как раз против него, поднялась мешкотная, неуклюжая фигура капитана 1-го ранга Зорина.

– Ваше превосходительство, надеюсь, позволите и мне сказать несколько слов? – обратился он к Корнилову.

– Пожалуйста, Аполлинарий Александрович, пожалуйста! Больше голов – больше умов, – ободрил его Корнилов.

– Я, господа, буду краток. – Зорин обвел многих как будто несколько мутноватыми глазами. – Времени у нас в обрез, каждого из нас ждет дело, а враг наступает. Длинных речей говорить некогда.

Он оперся пальцами о стол, подался вперед и, глядя не на Корнилова, а по сторонам, больше на капитанов, чем на адмиралов, начал негромко, однако уверенно:

– Прошу прежде всего, господа, не обвинять меня в трусости: я никогда не был трусом, я – человек дела. Предложение о том, чтобы выступить флоту и сразиться, и я бы принял очень охотно, если бы видел от него хоть какую-нибудь пользу защите Севастополя. Но – должен честно сказать – не вижу! На победу надеяться нельзя, это сказано, – на что ж можно надеяться? На большой урон, какой мы принесем врагу, хотя в то же время и сами погибнем. Пчела, когда жалит нас на пчельнике, думает, конечно, тоже, что причинит нам огромный вред, но у нас поболит и перестанет, а пчела неминуемо погибнет... Представим, что мы истребим даже ровно столько судов противника, сколько их есть у нас: сцепимся, например, на abordаж и вместе взорвемся. Геройский подвиг, что и говорить! Но противник потеряет при этом, скажем, третью часть своего флота, а мы весь! У него останется до-ста-точно, господа, чтобы стать тогда полным хозяином положения, а у нас погибнут вместе с судами вся судовая артиллерия, во-первых, которая пошла бы на бастионы; десять, скажем, тысяч отличных артиллеристов – матросов и офицеров, – во-вторых, которые могли бы сейчас же стать при своих же батареях на бастионах. Вот вам и защитники Севастополя, опытные, умелые артиллеристы. С потерей Москвы, господа, не погибла Россия, авось и с потерей судов не пропадет Севастополь.

– Как с потерей судов? – Корнилов вздернул голову.

– Я говорю, ваше превосходительство, о тех нескольких судах, которые придется затопить в фарватере Большого рейда, чтобы неприятельский флот не прорвался в бухту... Несколько старых судов, семь-восемь. Геройство, конечно, хорошая вещь, но здесь, в данном случае, оно

совершенно не у места... Нам теперь просто не до геройства, господа! Дело идет ведь о ничуть не романтической, а самой обыкновенной защите Севастополя нашего от очень сильного, как оказалось, врага! Суда, какие мы должны будем затопить для этой защиты, построят, конечно, вновь со временем на наших же верфях, но если нам вот сейчас, в такой момент критический, не могут прислать достаточно сухопутного войска, то станем вместо этого неприсланного войска на бастионы сами и бастионы даже можем назвать именами тех самых судов, какие придется затопить, и вот матросам будет казаться, пожалуй, что они опять на своих кораблях, только корабли стоят так прочно на якорях, что никакая буря их не сорвет... Но это уж я в область поэзии ударился, что совершенно ни к чему, конечно... Я все сказал, господа, что думал сказать.

И капитан Зорин так же мешкотно уселся на свое место, как и поднялся.

– Это ваш собственный план? – подозрительно поглядев на него, резко спросил Корнилов.

– Да, разумеется, это мой личный взгляд на положение наше, – проговорил уже не так уверенно Зорин, заметив, что какое-то неловкое молчание наступило в кают-компании после его слов.

– Надеюсь, что этот ваш план, – сделал ударение на слове «ваш» Корнилов, – не будет никем разделен.

Он сказал это сухо, как будто даже презрительно, но вдруг услышал:

– В словах капитана Зорина много правды, если только не все они правда!

Это сказал вице-адмирал Новосильский, самый молодой из вице-адмиралов, а капитан 1-го ранга Кислинский заявил еще определеннее:

– Я вполне согласен с капитаном Зориным.

Этого никак не ожидал Корнилов. Это было уже похоже на открытый бунт младших в чине против высшего начальства.

Однако неудержимо заговорили именно эти младшие в чине:

– Единственный выход из положения – затопить суда в фарватере!

– И всем идти на бастионы!

– Как будто бастионы под обстрелами противника не то же самое, что и суда в море!

– Геройство остается геройством и на бастионах, и подвиги – подвигами!

– И если даже такого случая не было в истории, то пусть будет первый случай в Севастополе!

Корнилов увидел вдруг по этим возгласам, таким откровенным, что его предложение не принято большинством военного совета. Он поглядел на Нахимова, ища у него поддержки, но Нахимов усиленно сосал свою трубку, заволакивая себя дымом, как из мортиры, и был безмолвен.

– Хорошо, господа, – сказал Корнилов громко, вставая с места. – Больше мы обсуждать этот вопрос не будем. Должен все-таки сказать вам: готовьтесь к выходу в море! Будет дан сигнал, что кому делать. На этом кончим.

Все встали из-за стола, переглядываясь и пожимая плечами. Корнилов сам отворил дверь кают-компании и увидел, что к нему по коридору направлялся лейтенант Стеценко.

– Как? Вы уже здесь? – удивился Корнилов.

– Я от его светлости, ваше превосходительство.

– А-а! Где же в данный момент его светлость?

– Вероятно, уже переехал на Южную сторону.

– Вот как! А где же армия? На Инкермане?

– Приказано все средства перевозки как флота, так и порта предоставить на переброску армии северной на Южную сторону, ваше превосходительство. С этим приказанием я и послан его светлостью.



– Значит, армия вся возвращается в Севастополь и становится на его защиту? Я очень рад!.. А союзники? Где же их армия?

– Неизвестно. По-видимому, еще не тронулась с места.

– Вот как? Они, стало быть, дают нам лишний день на подготовку к их встрече? Это гораздо лучше сложилось, чем можно было думать, гораздо лучше!.. Я сейчас же распоряжусь насчет перевозки войск и буду у князя по очень важному делу...

В отворенную дверь кают-компаний Стеценко разглядел и Нахимова, и Истомина, и двух Вукотичей, и кое-кого из капитанов 1-го ранга.

На корабле ему сказали уже, что тут собран Корниловым военный совет, но он думал, что над ним по-дружески подшутили. В том уставе для главнокомандующего, который несерьезно, правда, но все-таки довольно назойливо складывался в его голове, совсем не было и даже не предполагалось статьи о военном совете.

### III

Когда Корнилов, распорядившись о перевозке войск, приехал в Екатерининский дворец, Меншиков был уже там и завтракал. Он сидел за столом один. Он держался сутуло, понуро, какой-то не желтый даже, а обескровленный, точно не армия, а лично он был тяжело ранен на алминском турнире. Корнилову он показался теперь похожим на рыцаря из Ламанчи<sup>23</sup>: не хватало только острой эспаньолки. И хотя Меншиков любезно, как всегда, пригласил его разделить с ним завтрак, Корнилов заметил на себе недовольный чем-то и пристальный взгляд князя.

– Перевозку войск наладили? – спросил Меншиков.

– Распорядился, ваша светлость... Войскам вы приказали бивуакировать на Куликовом поле?

– Да-да-а... Их надо привести в известность, переформировать... От Владимирского полка, например, осталось нижних чинов всего на один батальон, и то мирного состава, а офицеров и на три роты не хватит... Многим надобно выдать новую амуницию... Их надо накормить, надо, чтобы они отдохнули немного...

– А дальше куда их и как?

– Когда противник покажет свою деятельность, будет известно и нам, что нам делать... Пока же он, по-видимому, хоронит убитых, которых у него, я думаю, не меньше, чем у нас... Но скажите мне, Владимир Алексеич, вот что... Сейчас у подъезда я встретил капитана Кислинского... шел в парадной форме... Я спросил его: «Почему парадная форма?» Он отвечает, представьте, что идет с военного совета!.. Гм... С военного со-ве-та! Будто вы собрали флагманов флота и командиров кораблей на совет по поводу...

– По поводу ближайших действий флота, ваша светлость! – досказал, видя затруднения князя, Корнилов.

– Разве ближайшие действия флота не были предуказаны вам мною? – Князь откинулся на спинку стула. – Разве я вам не сказал вчера, что нужно сделать?

– Вы мне сказали, ваша светлость, относительно того, чтобы затопить суда на входе в Большой рейд, но я почел это за предложение только, а не за приказ...

Корнилов почувствовал, что он бледнеет, становится так же бескровен с лица, как и старый князь. Сердце его начало биться беспорядочно и гулко, и трудно стало дышать.

– Какого же вы ждали еще приказа? Бумажки с моей подписью?

– Да, именно... именно приказа на бумаге, ваша светлость! Оправдательного документа перед государем... перед историей, наконец!

---

<sup>23</sup> Рыцарь из Ламанчи – Дон Кихот, герой одноименного романа испанского писателя Сервантеса.

Меншиков собрал все свое небольшое лицо в очень сложную гримасу.

– История будет писаться потом, сейчас она делается.

В этой гримасе было и презрение к истории, как она и кем она там пишется, и старая ненависть к своей подагре, которая начала заявлять о себе настойчиво, и борьба с зевотой, которая совершенно его одолевала, но считалась им неприличной, и злость на своего повара, который не нашел в своем арсенале ничего другого, кроме жалкой яичницы с ветчиной ему на завтрак, а ветчина оказалась твердой, совсем не по его челюстям, но вызвать повара и накричать на него было неудобно: мешал не вовремя явившийся Корнилов, который созывает какие-то «военные советы», пользуясь его отсутствием. Корнилов же подхватил только смысл его слов, не обратив внимания на смысл гримасы.

– Совершенно верно, ваша светлость, – горячо сказал он, – история делается на наших глазах, но нужно, чтобы ее делали мы сами, а не Сент-Арно! Мы не должны ждать, что соблаговолит с нами сделать союзники, мы должны поставить их в невозможность сделать то, что они задумали сделать! Мы должны перемешать и перепутать их карты и ходы!

– Слова! – Князь махнул двумя пальцами, вытирая подбородок салфеткой. – Как именно перепутать их ходы?

– Прежде всего так: они рассчитывают, что наш флот замер от ужаса перед их флотом, как кролик перед удавом в зверинце, а мы вдруг покажем им, что они нам несколько не страшны, и нападём на их флот!

Меншиков узнал от капитана Кислинского, о чем говорилось на военном совете, но намеренно сделал круглые, изумленные, неподвижные глаза, прежде чем спросить Корнилова:

– Вы не этот ли свой проект и обсуждали на так называемом «совете военном»?

– Этот, да, ваша светлость! Именно этот, и только этот... Как творцы истории мы выступили с очень большим запозданием, точнее – нас просто застали врасплох... историю готовились делать там – в Париже, в Лондоне, в Константинополе, в Варне, а мы только смотрели на это... издали смотрели, и как будто это нас совсем не касалось. Но если армия наша... если она оказалась мала, хотя ее можно было увеличить значительно, то флот мы увеличить за такой короткий срок не могли, флот остался таким же, каким и был, и вполне боеспособен и готов к выступлению по первому приказу вашей светлости.

– Не-ет! – Меншиков бросил салфетку на стол. – Нет, я такого приказа не давал и не дам!.. Вы же... Что касается вас лично, то вы превысили свои полномочия, – вот что такое военный совет, какой вы изволили созвать! Кроме Государственного совета, в каком, может быть, когда-нибудь удостоимся заседать и мы с вами, ни-ка-ких советов не должно быть в Российской империи даже и в мирное время, тем более нетерпимы они в военное – как сейчас! Вы не могли этого не знать! Вы начальник штаба Черноморского флота, вы вице-адмирал, вы генерал-адъютант, вы не имели права этого не знать или об этом забыть!.. А вы собираете вдруг совет!.. Далее: отлучась из Севастополя на несколько дней для встречи противника, я оставил заместителем своим не вас, а генерал-лейтенанта Моллера. Вы же, как я узнал, распоряжались тут всем вполне самовластно, даже не посылая многих бумаг генералу Моллеру на подпись!..

Корнилов встал; медленно поднялся и Меншиков и, уже стоя в привычной позе начальника, который отчитывает подчиненного, продолжил, повышая голос:

– Я несколько не сомневаюсь, что ваши намерения имели в виду пользу службы, в данном случае – защиту города, но вести на явное истребление флот я вам не позволю, нет!

– Ваша светлость! Я могу привести вам несколько данных за то, что нас ожидает успех, – начал было, собрав все свое самообладание, Корнилов, но Меншиков перебил его:

– Властью, данной мне государем, я требую, чтобы вы свои данные оставили при себе! При себе, да... А не стремились внушать их другим, которые ниже вас по служебной лестнице! Парусный флот при безветрии становится легкой добычей парового винтового флота – вот

вам аксиома! Даже если он в равных силах, в смысле артиллерии, с флотом противника, а не впятеро слабее, как наш флот!

– Наш флот слабее, да, но отнюдь не впятеро, как вы изволили сказать, а вдвое!

И при этих словах Корнилов, который был несколько ниже ростом, чем Меншиков, непроизвольно растянул все позвонки своего спинного хребта и шеи, чтобы глаза его пришлись прямо против глаз князя, так же воспаленных от бессонной ночи, как и его глаза.

– Про-шу-у... мне не противоречить! – видимо, сдерживаясь с большим трудом, проговорил князь и тут же начал шарить по карманам, бормоча при этом: – Вот тут... я набросал... список кораблей... которые можно будет... затопить, чтобы закрыть вход неприятельскому флоту... Вот он, этот список.

И, вытащив клочок бумаги, поднес к глазам лорнет.

Корнилов понимал, что этот клочок сознательно разыскивался князем довольно долго только затем, чтобы овладеть собою – остыть, поэтому он не говорил ни слова, только дышал тяжело и глядел в глаза князя не мигая.

– Я наметил пять старых кораблей и два фрегата, – старался говорить теперь уже совершенно спокойно, разглаживая пальцами скомканную бумажку, князь. – Корабли: «Уриил», «Селафиил», «Варна», «Силистрия» и «Три святителя»... Фрегаты: «Флора» и «Сизополь»... Экипаж этих судов – почти три тысячи человек – расписать на бастионы. Всю артиллерию незамедлительно снять; крют-камеры очистить...

Опустив лорнет, Меншиков протянул бумажку Корнилову, говоря при этом отходчиво:

– Я вас вполне понимаю, Владимир Алексеич: вы хотите соблюсти честь Андреевского флага, – но разве я занят тем, чтобы нанести ему бесчестье?

– Вы просто его спускаете, ваша светлость, спускаете перед флотом союзников без боя! – резко сказал Корнилов.

Меншиков вздернул нависшие брови.

– Как так – спускаю?.. Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?

– Отдаю. Вполне. Вы приказываете доблестному Черноморскому флоту кончить жизнь самоубийством, но флот хочет жить, ваша светлость!

Двое высоких, узкоплечих, упрямых, оба с золотыми аксельбантами, свободно висевшими над впалой грудью у каждого, они стояли друг против друга, пронизанные нервной дрожью.

– Вы-ы... этот приказ мой... выполните... если обстоятельства заставят меня... вновь отлучиться из города? – с усилием, хрипло и негромко спросил, наконец, Меншиков.

– Нет, не выполняю! – так же тихо ответил Корнилов.

– Та-ак?.. Тогда вы... вы можете отправляться отсюда... в Николаев... К своему семейству... В Николаев! На новое место службы!

С криком, Меншиков заметался по обширной столовой, потом неожиданно, быстро, широко и легко шагая большими длинными ногами, направился к двери, отворил ее срыву, приказал:

– Ординарца ко мне! – и вышел.

Корнилов слышал, как затопало несколько пар ног по деревянной лестнице, потом – голос князя: «А-а, это вы очень кстати явились, лейтенант! Я хотел послать ординарца, мичмана Томилина, но вы сделаете это лучше. Пригласите ко мне сейчас же адмирала Станюковича! Немедленно!» И тут же – знакомый голос Стеценко: «Есть, ваша светлость!..»

Нервными пальцами Корнилов рвал в это время в мелкие клочки бумажку, данную ему князем, и смотрел в окно на рейд, где, не подозревая о своей участи, привычно стояли на местах обреченные на бесславную гибель от своих же моряков корабли.

– Итак, – сказал, входя снова, Меншиков, – сейчас, при мне, в моем присутствии, вы передадите свою должность начальника штаба флота адмиралу Станюковичу и немедленно после этого отправитесь в Николаев!

– Что может сделать Станюкович на моем месте? – Корнилов отвернулся от окна и опять стал лицом к лицу с главнокомандующим. – Ничего!.. Я повторяю еще раз, ваша светлость: это самоубийство, то, к чему вы меня принуждаете! Но чтобы я уехал из Севастополя, окружаемого врагами, – ни-ког-да!

– Но вы не можете оставаться здесь и делать по-своему!.. За все свои приказы ответственность несу я, а не вы!

– Да, конечно... Вы!.. А не я... хорошо, что ж... Мой прямой долг – вам повиноваться... Повторяю: это самоубийство!.. Но... подчиняюсь...

На глазах его блеснули слезы.

Он опустил голову и стал как-то сразу гораздо ниже ростом.

Нерешительно и медленно Меншиков протянул ему руку.

#### IV

Часа через два после этого разговора на корабле «Великий князь Константин» был поднят сигнал: «Кораблям и фрегатам прислать к адмиралу по два буйка с балластами и концами».

Этот краткий и очень малопонятный для сухопутных приказ означал коренную ломку в расположении флота. По этому приказу старшие штурманы должны были расставить по рейду буйки для указания новых мест всем крупным боевым судам.

Десять новых кораблей – «Гавриил», «Храбрый», «Чесма», «Святослав», «Ростислав», «Двенадцать апостолов» и другие – выстраивались так, что правые борта их были обращены к Северной стороне, чтобы обстреливать ее при неприятельской атаке, а пять старых кораблей и два фрегата должны были стать на место казни – в кильватерной колонне по прямой линии между Александровской и Константиновской батареями, охранявшими вход на Большой рейд.

Вслед за тем писаря канцелярии штаба Черноморского флота спешно и рьяно принялись переписывать приказ, подписанный Корниловым:

«По случаю ожидания сюда неприятеля, который, пользуясь своим численным превосходством, оттеснил наши войска и грозит атакою северному берегу Севастопольской бухты, следствием которой будет невозможность флоту держаться на позиции, ныне занимаемой – выход же в море для сражения с двойным числом неприятельских кораблей, не обещая успеха, лишит только бесполезно город главных своих защитников, – я, с дозволения его светлости, объявляю следующие распоряжения, которые и прошу привести немедленно в исполнение.

Корабли расстановить по назначению в плане диспозиции; из них же старые: «Три святителя», «Уриил», «Селафиил», «Варна» и «Силистрия», фрегагы: «Флора» и «Сизополь» – затопить в фарватере.

Фрегатам и остальным, мелким, судам войти в Южную бухту.

Людей, остающихся от затопленных кораблей и от стрелковых и абордажных батальонов, оставить на кораблях для действия артиллериею по балкам северного берега до тех пор, покуда потребуется, а потом составить из них батальоны для усиления уже образованных.

Контр-адмиралу Вукотичу 1-му привести в исполнение затопление кораблей, когда это потребуется.

Все корабли, на позиции стоящие, также должны быть готовы к затоплению, буде придется уступить город».

Так был подписан смертный приговор флоту теми, кто вложил в него все свои недюжинные силы и знания. Ироническая усмешка истории блеснула тут, в этом приказе, непреклонно холодно и жестоко.

Уже с трех часов пополудни 9 (21) сентября шесть больших пароходов деятельно принялись растаскивать на буксирах огромные стопушечные корабли на новые места их стоянки. Они были похожи издали на трудолюбивых муравьев. Мирная бухта вся вспенилась от лопастей их колес, от их усилий точно по буйкам расставить громоздкие суда, неспособные к собственным движениям без силы ветра.

С кораблей-смертников пока еще не приказано было сходить экипажу. Их поставили со слабо теплившейся надеждой, что, может быть, неприятельский флот захочет все-таки форсировать Большой рейд, чтобы покончить с русским флотом путем боя с ним в его же убежище, как это удалось сделать Нахимову с турецкой эскадрой в Синопской бухте. Тогда несколько сот орудий, бывших на обреченных судах, могли бы сослужить большую службу, и гибель судов, если бы им суждено было погибнуть, отнюдь не была бы бесславной.

Хотя и старые, они, как крепость на якорях, могли бы еще быть грозными для эскадры союзников, достойно завершить свое боевое прошлое.

Огромный корабль «Три святителя», поставленный в середине других судов, сражался при Синопе; фрегат «Флора» незадолго перед тем отбился в открытом море во время штиля от напавших на него трех турецких паровых фрегатов...

Небольшие пароходы, баркасы, боты и другие гребные суда густо бороздили поверхность бухты, перевоза с Северной стороны на Екатерининскую пристань орудия, зарядные ящики и другие тяжести...

Только часам к десяти вечера улеглась наконец суматоха, поднятая на Большом рейде и Южной бухте приказом Корнилова: флот приготовился встретить союзные силы на новых местах, ошетилился хоботами орудий, разжег калильные печи для ядер...

Но на все эти приготовления моряков подозрительно смотрел отдохнувший уже от впечатлений неудачного Алминского сражения и бессонно в походе проведенной ночи Меншиков. Он даже прислал вечером одного из своих адъютантов к Корнилову справиться, когда именно будут затоплены в фарватере суда. Корнилов ответил, что затопить суда недолго, было бы все к этому готово, сам же думал все-таки как-нибудь повлиять на князя, чтобы спасти суда.

Однако часа через два разыскал его другой посланец князя с приказом перед тем, как топить суда, поднять над городом русский национальный флаг в виде сигнала.

Но ни в этот день, ни даже на следующий, 10 сентября, суда потоплены не были. У Меншикова и кроме них было много заботы: перевозилась и переходила на обширное Куликово поле – южнее четвертого бастиона – армия со всеми обозами; составлялись списки потерь; подтягивались отсталые, записанные в «пропавшие без вести»; устраивались в госпитале раненые; выдавались ранцы и ружья из складов и цейхгаузов; наполнялись снова патронные и сухарные сумки...

Приходили депеши, что неприятель все еще не тронулся с места, но это значило только, что он, освобождаясь от своих раненых, готовится к дальнейшим действиям не спеша и обдуманно. Казаки и гусары встречали кавалерийские разъезды, освещавшие местность, даже у Бельбекской долины.

Утром 10-го близко ко входу в Большой рейд, но, конечно, вне выстрелов с береговых батарей, подошли два парохода союзников. Выстроившиеся совсем по-новому, в две кильватерные колонны, русские суда на Большом рейде их изумили. Они тут же ушли с донесением адмиралам Лайонсу и Гамелену, что русская эскадра приготовилась выйти, чтобы напасть на союзный флот.

Союзный флот собрал все свои силы и целый день усиленно готовился к бою и ждал нападения, несколько раз меняя для этого места.

Вечером те же два разведочных парохода подходили снова: картина на рейде не менялась.

Между тем штиль продолжался – не было ни малейшего ветра. Это говорило союзникам только о том, что русские парусные корабли выступают утром, когда подует попутный им бриз.

Но в шесть часов вечера над библиотекой взвился трехцветный флаг – сигнал на этот раз весьма печальный. Несколько видных морских офицеров сошлись у Корнилова, умоляя его повременить с исполнением жестокого приказа.

– Господа, я все сделал, что мог, но приходится покориться необходимости, – говорил им Корнилов.

– Мы навсегда опозорим себя в глазах противника! – возражали ему. – И население Севастополя, и моряки, и гарнизон – все будут подавлены, если мы сами затопим свои суда!

– Я приводил все эти доводы князю, но он ссылаясь на историю: часто бывало, дескать, то, что армии, высажаясь в чужой стране, сжигали свои корабли, чтобы отрезать себе путь отступления... Мы же, дескать, сделаем гораздо умнее, если их потопим и тем обезопасим себя с моря от наступления... Он до того упорен в этом, что я уже перестал с ним спорить. Сигнал дан, надо свозить с кораблей экипаж и орудия и вообще что можно успеть свезти... Потом прорубить отверстия в подводных частях и...

Корнилов сделал правой рукою ныряющий жест и отвернулся, чтобы скрыть приступ слабости.

Весь вечер и всю ночь деятельно перевозили с судов-смертников на берег орудия, снаряды, офицерские вещи, однако перевезти всего не удалось.

Из орудий были сняты только мелкие, потому что крупные при их огромной тяжести снимать спешно и в темноте было невозможно.

На каждом судне хранились большие запасы провианта, но об этих запасах никто, кроме коков и баталеров, даже и не вспомнил в общей суматохе.

Почему-то упорно держалось мнение, что неприятельский флот, по депешам – скопившийся в большом числе возле устья Качи, только для того именно и скопился и усердно готовился к сражению, чтобы утром 11-го числа атаковать Большой рейд и в него ворваться. Поэтому спешили потопить суда еще до рассвета, совершенно бросив их разгрузку.

Матросы прорубали широкие, на совесть, отверстия ниже ватерлинии. И вот на рассвете погрузились уже окончательно «Варна», «Силистрия», «Сизополь»... Только обломки мачт плавали на тех местах, где они стояли.

За ними пошли на дно «Уриил» и «Селафиил». «Флора» держалась на воде до восьми часов, потом, покачиваясь и вздрагивая всем корпусом, точно от холода или боли, медленно скрылась в водяной могиле.

Только стоявший как раз над самым глубоким местом фарватера огромный корабль «Три святителя» не выказывал ни малейшего желания расстаться с жизнью, хотя вода и вливалась добросовестно во все бреши, сделанные в нем топорами.

Капитан Зарубин, как и все севастопольцы, с большой тревогой наблюдал за всем, что делалось кругом. Для этого времени у него было довольно. Если по дому он – человек отставной во всех смыслах – ничего не мог делать, то ковылявшие ноги дотаскивали его все-таки до Приморского бульвара, откуда хорошо видны были и Южная бухта, и вход на Большой рейд. То, что появились на улице раненые, говорившие, что «француза этого прет на Севастополь – темно! Даже так, что и сосчитать нельзя!» – его уже достаточно испугало.

Капитолина Петровна только ахала, всплескивала руками, металась то туда, то сюда и искала, кого бы ей обвиновать в том, что вовремя не уехали, как люди. Дебу жил уже в казарме при канцелярии своего батальона; юнкер-сын пропал на корабле; Варя и Оля еще меньше, чем их мать, знали, что надо делать.

Зарубин пошел на бульвар и в это утро – ближе к полдню, как был тут и накануне, когда видел колонну кораблей, выстроившихся поперек рейда.

Что они готовятся здесь при поддержке береговых батарей встретить грудью эскадру врага, это было ему понятно; что в самой середине колонны, как бы в кореннике, стоит корабль «Три святителя», его корабль, на котором, будучи капитан-лейтенантом, он сражался с тур-

ками, было ему тоже и понятно и даже радостно вчера, но очень страшно показалось в этот день, 11 сентября, когда он увидел вдруг, что корабль его стоит уже только один... Куда же ушли остальные?..

И почему на его корабле так страшно вдруг стали торчать мачты? Или это только кажется его глазам?

Он стоял, облокотясь на высокий каменный парапет над бухтой. Близко никого не случилось, чтобы спросить, куда делись остальные шесть судов и действительно ли что-то там такое с мачтами, или ему только так кажется.

Вдруг Зарубин увидел большой пароход «Громоносец», шедший на сближение с кораблем.

Вот он сделал поворот, надымил из трубы черным дымом в небе, вспенил кормою воду в бухте, и странно, и неожиданно, и оглушительно грянул с него орудийный выстрел...

Ниже полосы черного дыма отплывал от него клубами белесый пороховой дым... И еще орудийный выстрел... И еще один... И корабль «Три святителя» вдруг покачнулся, пораженный несколькими ядрами в подводную часть, мачты его упали, и на глазах Зарубина он стал погружаться: сначала медленно, потом быстрее, быстрее... наконец, исчез в воде. И Зарубин понял, что его корабль просто расстрелян и затоплен сознательно, по приказу, так же затоплен, как и остальные шесть...

Больному, изувеченному, слабому, старому, ему стало страшно, как малому ребенку, и, уткнув лицо в руки, лежащие на парапете, он зарыдал, как ребенок.

## **Глава седьмая**

### **Фланговый марш**

#### **I**

Отставить генерала Кириянова от командования дивизией Меншиков не имел полномочий. Он даже не просил об этом и в том донесении царю, которое повез Грейг; когда же 11 сентября в полдень получены были депеши, что армия союзников оставила, наконец, Алминскую долину и направляется к реке Каче – вдоль берега моря, как и раньше, – Меншиков приказал Кириякову с его отрядом двинуться, обогнув Северную сторону, и быть авангардом армии, назначение которого – наблюдать за противником, а князю Горчакову приказано было вести свой отряд как ядро армии на Инкерманские высоты.

Этот вывод войск из Севастополя, для того чтобы не дать союзникам запереть в крепости полевые войска, а, напротив, сделать из этих войск для союзников угрозу их флангу и тылу и сохранить связь Севастополя с остальным Крымом и, значит, с Россией, и был началом отмеченного впоследствии в истории военного искусства флангового марша Меншикова.

Теперь, когда между бухтой и открытым морем выросла непроходимая баррикада из затопленных судов, Меншиков мог быть спокоен за целостность матросов и судовых орудий: взгляды даже самых воинственных флагманов поневоле обращались теперь с моря на сушу.

Но он издал еще два приказа: приготовить к затоплению так же и все новые корабли, чтобы не достались союзникам в случае, если атаки отразить не удастся; двум же Аяксам Черноморского флота стать во главе сухопутной обороны: Корнилову – северной части Севастополя, Нахимову – южной.

Командовать всем севастопольским гарнизоном в свое отсутствие Меншиков назначил снова Ветреную Блондинку – Моллера.

Получив приказ, Нахимов тут же направился к князю. В парадной форме с большей частью своих орденов, он был торжественно-решителен.

Он стоял официально навытяжку перед главнокомандующим и говорил, против обыкновения, почти без запинок:

– Вы изволили, ваша светлость, зачислить меня в сухопутные генералы, но я – вице-адмирал-с! Я ничего не знаю ни в саперном деле, ни в деле обороны разных там бастионов-с... Я могу по своей неопытности во всем этом-с наделать таких непозволительных ошибок, что... что мне их никогда не простят-с!.. Вместо пользы я могу принести огромный вред-с, чего я боюсь!

– Пу-стя-ки! – Меншиков сделал гримасу. – Всякий вице-адмирал равен по своему чину генерал-лейтенанту. Кроме того, у вас под командой будут ваши же матросы, вам очень хорошо известные... Так что вы, Павел Степанович, напрасно волнуетесь.

Однако Нахимов продолжал обдуманно:

– В воинском уставе, ваша светлость, есть статья, прямо запрещающая назначать адмиралов на должности сухопутных генералов, так как это две разные военные специальности-с... Ведь никому не придет в голову сухопутного генерала вдруг взять и сделать адмиралом!

– Однажды, – сухо отозвался Меншиков, – это пришло в голову ныне царствующему монарху, и ваш покорнейший слуга, – он ткнул себя пальцем в аксельбант, – из сухопутных генералов сделан был адмиралом, о чем вы, как видно, забыли!

Нахимов действительно забыл об этом, поэтому был очень сконфужен и покраснел даже.

– Виноват, ваша светлость, я упустил-с, да... совсем упустил это из виду-с.

Тут он подумал, что князь, пожалуй, не поверит, будто он говорил без всякого умысла; что князь может найти в его словах намек на проигранное Алминское сражение, которое мог бы выиграть настоящий, коренной сухопутный генерал, – и покраснел еще гуще.

Меншиков заметил это. Он сказал полушутливо-полусерьезно:

– Древние римляне назначали на должности полководцев не только адмиралов взамен генералов, а даже людей, никогда не служивших в войсках... Возьмите хотя бы Лукулла, который был только богат и любил хорошо покушать... Однако же он оказался очень удачливым полководцем, не так ли?... Почему же? Да по той простой причине, что была у него, как у всякого богатого человека, привычка командовать людьми... И не нужно ему было совсем никаких знаний саперного дела, если была такая привычка.

– Пример вы привели разительный, ваша светлость! – пробормотал Нахимов и после двух-трех произнесенных еще фраз простился с князем, который собирался уже уезжать к отряду Горчакова.

Не снимая ни орденов, ни парадного вицмундира, Нахимов верхом поскакал знакомиться с Южным фронтом, который должен он был защищать, может быть даже завтра, против опытных полчищ союзников.

С молодости осталось у него представление о морской стихии как о беспредельной и необъятной, но стихия земная оказывалась еще необъятнее, как только пришла для него необходимость ее защищать.

Он взял направление на ближайший к городу седьмой бастион. Он думал о Лукулле, который, почти две тысячи лет назад, так же вот, должно быть, трясся на лошади по малоазийскому бездорожью и проклинал неугомонного Митридата, как он теперь проклинает Сент-Арно.

Направо от него синела вполне известная ему и понятная Артиллерийская бухта, у входа в которую стоял корабль «Ростислав» с флагом контр-адмирала Вукотича 1-го, а налево раскинулась сгоревшая от солнца низенькая желтая трава, из которой торчали повсюду белые известковые камни, и вдали копошились люди, – матросы рыли траншеи...

Левая штанина адмиральских брюк с широким лампасом все стремилась закатиться к колену; от шеи гнедого эквуса сильно пахло трудовым конским потом; было жарко в парадной форме, хотелось пить...



Густорыжеволосый, приземистый, с искорками неукротимо-легкомысленной веселости в карих глазах, шахматист и любитель кутежей, капитан 2-го ранга Будищев встретил его рапортом, что все на вверенном ему 7-м бастионе обстоит благополучно.

– Благополучно, вы сказали-с? – поздоровавшись с ним, прикрикнул Нахимов. – Как же так благополучно-с, когда все орудия просто на земле валяются, как бревна-с? – и показал рукой на несколько таких орудий.

– Эти орудия только недавно привезли, ваше превосходительство, но лафетов к ним пока нет еще... и платформ тоже... Поэтому они и лежат пока на земле...

– Вот тебе на – нет!.. Как же так нет?.. Неприятель наступает, а платформ нет?.. И даже лафетов нет! Черт знает что-с!.. Как же так нет?

– Отчасти потому их нет, что не готовы еще, ваше превосходительство, отчасти же...

– Довольно-с!.. Одного этого довольно, что не готовы!

Но Будищев все-таки досказал:

– Отчасти же потому, что не хватает подвод.

– Да, вот видите! Подвод! – подхватил Нахимов. – Если на это не хватает подвод, то как же тогда защищать город? – Он махнул рукою вправо и влево, желая очертить хоть какое-нибудь определенное, как палуба какого-то огромного корабля, пространство из этой необъятной стихии земли.

– Придется забрать все подводы у обывателей, какие только найдутся, ваше превосходительство... А также лошадей, быков что у кого имеется, раз город на осадном положении.

– Кто объявил город на осадном положении? – очень удивился Нахимов. – Разве был такой приказ?.. Я только сейчас от князя, – об осадном положении он ничего не говорил мне!

– Но ведь если даже не объявлен еще на осадном положении, ваше превосходительство, то вот-вот должен же быть объявлен, когда будет осаждаться противником!

Нахимов заметил усмешку, промелькнувшую в карих глазах и под короткими рыжими усами Будищева.

– Как же так, в самом деле-с, а?.. Князь из города уехал... Город на осадном положении не объявлен... Платформ и лафетов нет!.. Подвод тоже нет! И вот извольте-с тут защищать Южную сторону!

– Неприятель ожидается с Северной стороны, ваше превосходительство, – напомнил адмиралу Будищев.

– Ну да-с, ну да-с... с Северной, – поэтому все средства защиты идут туда... но, однако-с, почему-то приказано защищать и Южную сторону! Предполагается, значит, окружение сразу со всех сторон!

И для большей наглядности Нахимов прочертил над головой лошади круг левой рукой. Будищев снова приложил руку к козырьку:

– У нас еще и перевязочного пункта нет, ваше превосходительство... И хотя бы доставили с какого-нибудь судна бочонок уксуса с пенной водкой для перевязок...

– Вот видите, видите-с! – удивился Нахимов. – Ожидается с часу на час атака, а ничего нет! Как же так никто не позаботился раньше?.. Черт знает что-с!..

До позднего вечера Нахимов ездил по бастионам Южной стороны, и наконец, совершенно усталый, с головой, ощутительно разбухшей, раздавшейся в висках от массы несообразностей, нелепостей, недохваток, обнаруженных им на этом необъятном пространстве желтой каменистой земли, которую нужно было ему защищать, появился на квартире генерала Моллера со смиренным вопросом:

– Какие приказания от вас, ваше превосходительство, должен я получить по обороне Южной стороны, мне порученной его светлостью?

Усталый вид Нахимова, запыленная парадная форма и такой подчеркнuto официальный тон вопроса – все это поразило Ветреную Блондинку до чрезвычайности.

– Вот мы сейчас, Павел Степанович, мы сейчас... присядьте, пожалуйста, очень прошу... Мы сейчас пригласим Владимира Алексеича и втроем, втроем как-нибудь... обдумаем это... Закусите что-нибудь, а? Чайку стаканчик?.. Сейчас распоряжусь, чтобы Владимир Алексеич к нам... А каков князь, а?.. Ведь бросил нас!.. В такой, можно сказать, момент критический, когда неприятель подходит, взял и увел войска!.. Значит, что же нам теперь остается? Защищаться с теми резервными батальонами, какие есть... да вот еще матросы. На них вся надежда, Павел Степанович, на ваших матросов. Вот придет Владимир Алексеич, все обсудим... – не говорил даже, а просто как-то невразумительно лепетал старец, то и дело приглаживая пушистые белые волосы у левого плоского уха.

И, оглянувшись на дверь, от которой к уютному чайному столу, озаренному бронзовой лампой, ему удалось оттиснуть Нахимова, Моллер добавил полушепотом, чтобы не испугать своих семейных:

– А может быть, в этой вот моей квартире завтра мне и ночевать уж не придется... а будет тут ночевать уж этот... маршал Сент-Арно, а?

И в выпуклых бесцветных глазах старого генерала Нахимов увидел недоумение, страх и надежду, что он, боевой адмирал с двумя Георгиями, молодой еще по сравнению с ним человек: всего только в начале шестого десятка, – его успокоит и ободрит.

## II

Старый Моллер не знал еще, что маршалу Сент-Арно было приготовлено уже другое место для ночлега.

Когда мадам Сент-Арно узнала, что армию при ее движении к Севастополю могли ожидать всякие неприятные сюрпризы со стороны Меншикова, она отказалась от прогулки к русской крепости в карете светлейшего. Она предпочла путешествие морем вдоль берега в своей удобной каюте на корабле «Наполеон».

Правда, целый день было беспокойство во флоте, – думали, что выйдет и нападет русская эскадра, но потом все успокоилось. Передавали даже такой странный слух, будто часть русских судов затоплена самими же русскими.

11 (23) сентября, к вечеру, маршал Сент-Арно прислал жене изумительнейшей работы ночной столик с инкрустациями из перламутра и бронзы, взятый им, как он писал ей, «во дворце княгини Бибиковой», хотя Бибикова совсем не была княгиней и скромный дом в ее усадьбе на Каче отнюдь не был похож на дворец. Но это был последний подарок, который сделал маршал своей супруге: на другой же день, когда армия союзников подошла к Бельбекской долине, маршал уже был до того плох, что его поспешно перевезли на корабль «Наполеон».хлопоты врачей около него вернули ему небольшой запас сил для того, чтобы продиктовать приказ, которым он прощался с армией, так как решено было отправить его в Константинополь, не столько для того, чтобы лечить, сколько для похорон в торжественной обстановке.

В своем последнем приказе Сент-Арно объявлял войскам, что, «побежденный жестокой болезнью, должен отказаться от командования» и что смотрит на это «с горестью, но мужественно...». «Воины, – говорил он, – вы пожалеете обо мне, потому что несчастье, меня поражающее, безмерно, не вознаградиво ничем и, быть может, беспримерно!» Потом он в том же возвышенном стиле говорил о генерале Канробере, перечисляя его заслуги и подвиги, и заканчивал так: «В эти-то достойные руки будет вверено знамя Франции. Он будет продолжать начатое мною так удачно; он будет иметь счастье, о котором я мечтал и в котором я ему завидую, – вести вас на Севастополь».

Во французской армии, впрочем, давно уже все привыкли к тому, что Канробер носит жезл маршала если не в ранце, то в боковом кармане мундира; уход Сент-Арно ни малейшим

образом не повлиял на движение армии, заранее рассчитанное так, чтобы прийти к бухтам Балаклавской и Камышевой, где можно было поставить флот и на него опереться.

Союзники шли без обозов и парков. Все, что могло затормозить их движение, все, что было приготовлено для осады Севастополя, плыло морем, погруженное на военные транспорты. Их убитые были закопаны на Алманской позиции, их раненые были отправлены на госпитальных судах в Скутарийские казармы, обращенные в лазарет; их ничто не отягощало.

Может быть, впрочем, несколько тяжелее стали ранцы солдат, в которые переселилось все, пригодное для военного обихода, что было найдено в русских ранцах, брошенных на Алме: сапоги, белье, бритвы, мыло, дратва...

Тяжело раненные русские дня два оставались совсем без помощи; одни из них умерли там, где легли в бою; другие нашли в себе силы кое-как добраться до деревень севернее Алмы, откуда казачьи разъезды перевезли их кого в Бахчисарай, кого в Симферополь; но большинство тех, кто мог выжить без помощи врачей, без питья и пищи два дня, было подобрано на третий день санитарями союзников, врачи наскоро делали перевязки, раненых переносили на английский пароход и отправляли, как заранее решил Раглан, в Одессу, где они прежде всего попали на три недели в карантин и только после того были устроены в лазареты.

12 (24) сентября фланговым маршем, одна в виду другой, мирно двигались две больших армии: армия союзников в сторону Балаклавы, и армия Меншикова на пройденную уже однажды ею дорогу через долины Бельбека, Качи, Алмы к Бахчисараю.

Когда одна армия огибала Инкерманские высоты с севера, а другая с юга, расстояние между ними было не более пятнадцати верст, но ни Раглан, вполне подчинивший себе нового главнокомандующего французов, не решился на сокрушительный фланговый удар, который при удаче отдал бы в его руки город, ни Меншиков, стремившийся только к тому, чтобы Севастополь не был отрезан.

Они разошлись почти безболезненно: только часть обоза гусарского полка захвачена была английским разъездом да уничтожен один артиллерийский парк.

С библиотеки Морского собрания в сильную подзорную трубу было видно, как двигалась по узкой долине красная лента английских полков, а ближе к городу – синяя лента французских, но русских войск вблизи Севастополя уже не было видно.

Не успевшие выехать из Севастополя дамы, как флотские, так и сухопутные, были в отчаянии чрезвычайном.

– Вот так князь!.. Вот так подлец! – кричали они. – Бросил Севастополь и бежал!.. Изменник престола и отечества!.. Продал нас французам!

Десять паровых судов союзной эскадры, держась вне выстрелов береговых батарей, начали обстрел. Правда, снаряды не долетали до берега, как и снаряды с берега не долетали до пароходов, но эта совершенно напрасная трата боевых припасов наполняла город громом и пороховым дымом, воспринималась всеми как начало близкого конца, раз ушла из города армия.

Генерал Моллер кинулся сам разыскивать Корнилова затем, чтобы передать ему командование гарнизоном.

– Владимир Алексеич! Только вы один можете что-нибудь сделать при таких обстоятельствах! Распоряжайтесь, ради бога! – умолял он его. – Распоряжайтесь так, как будто меня не существует вовсе!

– Что вы, помилуйте! – отговаривался Корнилов. – Разве будут меня слушать пехотные части?

– Как не будут, голубчик, что вы? Как же они смеют не слушаться вас, если я сам вас прошу об этом?

– Но ведь им известен же приказ князя, что гарнизоном командуете вы, а совсем не я!

– А вы объявите... объявите по гарнизону, что вы – мой начальник штаба, вот и... И они обязаны слушаться вас! Обязаны!

Бедный Моллер был совершенно растерян.

Грохотали орудия; по улицам пополз едкий пороховой дым; метались голосившие, как на пожаре, женщины; двигались красные и синие ленты неприятельских войск по долине Черной речки...

Корнилов говорил Моллеру:

– Но ведь Павел Степанович старше меня – он, я думаю, не захочет мне подчиняться...

– Я только что от него, голубчик Владимир Алексеич! Он будет очень рад вам подчиняться, поверьте!.. Сейчас же объявим приказ по гарнизону, и... распоряжайтесь, ради бога, как вам подскажет... подскажет ваш ум!

Хороший семьянин, каждый день писавший письма жене и детям и отправлявший их с курьером в Николаев, Корнилов несколько дней назад написал духовное завещание и запер его в шкатулку. Он приготовился к смерти. Он чувствовал себя свободным и полным энергии, несмотря на беспокоивший его ревматизм. Приказ о том, что он назначается начальником штаба гарнизона, был спешно объявлен всюду; одновременно и Севастополь объявлен был на осадном положении.

У Моллера накануне вечером было решено ввиду близости неприятеля прорубить отверстия в подводных частях кораблей, чтобы затопить их в случае, если неприятель возьмет город. Теперь, под грохот канонады, хотя и безвредной пока, матросы деятельно работали топорами в трюмах кораблей, заделывая прорубленные дыры временными пробками и конопатя их паклей, чтобы корабли не затонули раньше времени.

Но большая часть пароходов союзников обстреливала Северную сторону. Это дало Корнилову повод думать, что готовится атака Северной стороны. Он приказал немедленно стянуть туда несколько морских батальонов, которые предназначались раньше на Южную сторону.

Нахимов подсчитал тогда свои силы: оказалось, что у него только пять резервных батальонов, с которыми нельзя было и думать удержаться против целой армии противника. Он приказал привязать к палубам кораблей просмоленные кранцы, чтобы зажечь их, если корабли будут тонуть так же медленно, как «Три святителя».

Он становился час от часу мрачней и мрачней. И в то время, как Корнилов натянул, точно струны, до последней степени напряжения все нервы своего длинного и узкого тела, появляясь всюду, где, по его мнению, требовался зоркий глаз начальника обороны, Нахимов глухо говорил подчиненным:

– Мы должны думать прежде всего о том, чтобы флот наш не достался в руки врагов, – вот что-с!..

Он все-таки еще оставался по-прежнему только адмиралом.

Солдаты Литовского резервного батальона, занимавшие бастион Северной стороны, отнюдь не имели, на взгляд Корнилова, бравого вида, обычного для матросов, и, остановясь перед ними, счел нужным прокричать им звонко:

– Ребята, помни: если надо будет умереть на защите этого бастиона, умрем до единого все, но ретирады<sup>24</sup> не будет! А ежели кто из вас услышит, что я скомандую ретираду, – коли меня!

И он ударил себя кулаком в тощую грудь.

Вице-адмирал Новосильский назначен был им командовать морскими батальонами; контр-адмирал Истомин с тысячью человек матросов день и ночь работали над укреплением

---

<sup>24</sup> Ретирада – отступление.

Малахова кургана. Укрепления росли всюду: орудия и зарядные ящики матросы тащили к ним на руках... Так прошел день.

Ночью была тревога: три ракеты и три орудийных выстрела подняли на ноги весь гарнизон – думали, что наступают союзники. Союзники, правда, были отчасти виноваты в тревоге этой тем, что заставили своим продвижением ретироваться один батальон Тарутинского полка, оставленный для защиты Инкерманского моста через Черную речку, и батальон с факелами вошел в город, везя с собой и четыре своих орудия.

Утром выяснилось, что против Северной стороны не было неприятельских сил. Нахимов, поднятый, как и все, среди ночи тревогой, решил, что под ударом будет его, Южная сторона, что тот критический момент, когда нужно уничтожать суда, уже наступил. А так как он в то же время был и командующий эскадрой из десяти новых кораблей, то он и издал утром такой приказ по эскадре:

«Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизону. Я в необходимости нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры и оставшиеся на них команды, с абордажным оружием, присоединить к гарнизону. Я уверен в командирах, офицерах и командах, что каждый из них будет драться как герой, нас соберется до трех тысяч; сборный пункт на Театральной площади. О чем по эскадре объявляю».

По приказу в первую голову был затоплен вспомогательный транспорт «Кубань», полный разных артиллерийских снарядов и дистанционных трубок к ним; затем – два брандера: «Кинбурн» и «Ингул».

Только что получив донесение об этом на своей квартире, только что успев подивиться этому распоряжению Нахимова, Корнилов увидел входящего к нему взволнованного контр-адмирала Вукотича 1-го, флаг которого был на «Ростиславе».

Остановясь у порога комнаты, совершенно официальным тоном строевого рапорта Вукотич проговорил глухо:

– Доношу вашему превосходительству, что корабль «Ростислав» затоплен.

– Ка-ак затоплен? Почему затоплен? – почти испугался Корнилов, отшатнувшись.

– Согласно приказу по эскадре его превосходительства вице-адмирала Нахимова, – тем же строго строевым тоном ответил Вукотич и добавил: – Успели снести на берег только кое-какой багаж и часть провизии... Корабль быстро наполняется водою.

– Отставить! – закричал Корнилов. – Сейчас же спасти корабль!.. Я отменяю приказ Нахимова!

В это время в комнате появился сам Нахимов.

Он не сомневался в том, что приказ дан им вовремя, он только хотел просить Корнилова, не уступит ли он ему для защиты Южной стороны морские батальоны под командой Новосильского.

Вукотич выбежал спасать свой корабль, пока еще было не совсем поздно, а два вице-адмирала, которым вверена была защита города, остались с глазу на глаз и смотрели друг на друга безмолвно.

– Павел Степанович!.. Прежде-вре-менно! – сказал, наконец, придушенно Корнилов.

– Преждевременно, вы находите?... А какая же есть надежда? – вполголоса отозвался Нахимов.

Они не протянули друг другу руки: забыли об этом.

– На-дежд особенных я и не питаю, конечно, но... одного штурма, думаю я, им будет мало, чтобы взять Севастополь... если только по вашему приказу не потопят все наши плавучие батареи!.. Кроме того, я еще надеюсь на подход подкреплений!

Нахимов молчал и, точно перед ним был не хорошо известный ему Владимир Алексеевич, а кто-то совершенно другой и незнакомый, удивленно раскрывал все шире светлые, с косиной глаза.

– Прошу вас немедленно, сию минуту отменить приказ! – добавил Корнилов голосом более тихим, чем раньше: какие-то нервные спазмы сдавили гортань, и он едва протолкнул эти слова.

Нахимов тут же повернулся и вышел.

### III

Если Змеиный остров – Левке древних греков – был связан с именем Ахиллеса, то Балаклавская бухта воспета была Гомером как гавань царства лестригонов, утесоподобных гигантов-людоедов, живьем сожравших очень многих спутников злополучного Одиссея, другого героя осады Трои.

Балаклава того времени была чистеньким, хоть и небольшим городком.

Узкий вход в бухту, между высокими скалистыми берегами, выгодно мог защищаться против натисков с моря, и когда-то была здесь построена генуэзцами крепость. Крепость эту разрушили османы, однако и развалины ее были еще очень высоки, крепки и живописны.

Балаклава была зажиточна: все жители ее были рыбаками, и все имели сады, виноградники, огороды, пчельники, молочный скот, а под боком – Севастополь, неутолимый рынок сбыта.

Но балаклавцы не знали, что тишайшая и многорыбная бухта их была облюбована Рагланом для стоянки английского флота, как не знали этого и в Севастополе. Между тем 14 (26) сентября утром, полчища союзников показались на дороге, ведущей к ближайшей от Балаклавы деревне – Кадык-Кою. В то же время близко ко входу в бухту подошли два парохода союзников. Они держались все-таки осторожно, опасаясь, не встретят ли огня скрытых за скалами русских батарей.

Правда, батарея в Балаклаве была – вернее, батарейка – из четырех небольших мортир. Командовал ею молодой поручик Марков. И гарнизон был: рота по мирному составу – восемьдесят человек, и инвалидная команда – тридцать. Подполковник Манто был начальником гарнизона, капитан Стамати – командиром роты. Надвигался же на все эти силы авангард английской армии – три-четыре тысячи пехоты.

Вся эта колонна шла спокойно и с тем невольным подъемом, с каким предвкушается людьми конец всякого долгого путешествия. С разных мест Англии, Шотландии, Ирландии съезжались в Дувр, затем – долгий путь Атлантическим океаном до Гибралтара, потом через все Средиземное море в длину до Дарданелл; Константинополь, Варна, Змеиный остров; долгие месяцы подготовки к походу в Крым, пока отправились, высадка у двух соленых озер в Крыму; проливной дождь на этом чужом берегу в течение дня и ночи; поход до Алмы; сражение, в котором потеряли так много товарищей, и вот наконец пришли к тому месту, к которому так долго стремились, – предельная точка, отдых...

Уже отчетливо был виден полосатый, черно-бело-красный, как везде в тогдашней России шлагбаум, который вот-вот должен был торжественно подняться, а жители городка, столпясь по ту сторону шлагбаума, должны были стоять с хлебом-солью, как принято было у русских встречать начальство.

Так ожидалось всеми, но чуть только подошла колонна на триста шагов, раздался ружейный залп и несколько человек упали.

Никого не было видно в стороне от шлагбаума, откуда раздался залп, только сизые дымки здесь и там между большими камнями и густыми кустами.

Колонна остановилась, подалась назад, проворно убрала раненых в тыл, беглым шагом раздвинулась в стороны... Залп повторился.

Цепь фузелеров открыла пальбу по невидимому противнику, но, теряя людей, отодвинулась, только загнула флаги.

Офицеры видели по числу дымков, что противник немногочислен, но очень хорошо укрыт. И с полчаса тянулась бесполезная перестрелка, пока не зашли почти в тыл дерзким гарнизонным солдатам и инвалидам. Однако они отлично знали местность кругом: куропатками между обросшими мхом камнями и кустами шныряли они, продвигаясь к городу, отстреливаясь на ходу.

Колонна прошла шлагбаум. Казалось, что сопротивление совершенно подавлено. Но ударил орудийный выстрел с горы над городом, закричала над головами граната и разорвалась в середине колонны, переранив и убив почти два десятка стрелков.

Пришлось остановиться снова и выдвинуть свою батарею. Началась канонада. Четыре мортирки поручика Маркова по очереди посылали в красные ряды англичан гранаты, запас которых был невелик, а гарнизон медленно стягивался между домами и садами туда же, где стояли мортирки, – в эти живописные развалины крепости генуэзцев.

В это время другая колонна союзных войск, тысяч в пять, подошла к Балаклаве уже не по дороге, а с северной стороны, от горы Кефаловрисы, и тоже выставила по гребню этой горы свои батареи. Наконец, к двум пароходам-разведчикам придвинулись еще не меньше двадцати паровых судов, и большой трехпалубный винтовой корабль бортовыми залпами начал громить укрепление.

Четыре мортирки поручика Маркова стали действовать теперь и по колонне у шлагбаума, и по колонне на Кефаловрисы, и по союзной эскадре... И часа полтора палили эти четыре задорные мортирки... Но снаряды иссякли наконец, мортирки умолкли. Не слышно уж было и ружейных выстрелов...

Только тогда бросились на штурм густые цепи с горы, и на развалинах заалел английский флаг.

Подполковник Манто и капитан Стамати были ранены осколками гранат, с ними попали в плен человек шестьдесят солдат и инвалидов, а остальных увел лихой поручик Марков вместе со своими артиллеристами. В густых зарослях и в расщелинах скалистого берега скрывались они до темноты, а ночью пробрались в Севастополь. Занятие Балаклавы неожиданно обошлось англичанам человек в двести убитых и раненых, и сам Раглан захотел посмотреть на пленных.

– Только-то! – сказал он с недоумением. – Такая жалкая горсть людей сопротивлялась нам столько времени! На что же вы надеялись, безумец? Зачем вы затеяли перестрелку с целой армией? – обратился он к полковнику Манто.

– Мы только выполнили свой долг, как могли и как сумели, – ответил Манто.

В бухту бойко вбежал небольшой паровой катер, кое-где сделал промеры глубины, потом выбежал снова в море, чтобы привести на место стоянки всю эскадру.

В небольшую Балаклаву двумя сплошными потоками – от шлагбаума и с горы Кефаловрисы – влились английские полки. Еще когда только началась перестрелка, почти все жители Балаклавы переправились на яликах на другой, малозаселенный берег и бежали в сады и виноградники, но когда канонада окончилась, они вернулись, чтобы приглядеть за своим имуществом.

Однако имущество их было уже в руках других хозяев, которые простую мебель ломали на дрова, более ценную отправляли на пароходы; срывали обои и распарывали матрацы, ища, не спрятаны ли где деньги и золотые вещи; платье разбирали по рукам; настенные зеркала разбивали на куски.

Плача, умоляли хозяйки домов прекратить этот разгром, но от них требовали сначала доказательств того, что они действительно хозяйки здесь, а когда доказательства представлялись, говорили: «Пустяки. Это все – наше теперь!» – а особенно голосистым указывали на свои штыки или сабли. Женщины пытались жаловаться на солдат офицерам, но те хлопали жалобщиц по плечу и утешали насмешливо: «Стоит ли вам хлопотать и убиваться об этих жалких лачугах! Вот возьмем Севастополь – подарим вам дворцы и кареты!»

Вся домашняя птица была изловлена и пошла на кухни. Молочный скот, к вечеру вернувшийся с пастбища, был убит на порции солдатам. Виноградники, сады, огороды были очищены в первый же день. Но у многих балаклавских греков было по несколько колодок пчел.

В первый день этих колодок не трогали; до них добрались на второй день, когда было уже покончено со всеми ближними виноградниками и садами. Однако балаклавские пчелы защищались не менее яростно, чем маленький балаклавский гарнизон, тем более что «дети королевы Виктории» только знали, что в ульях бывают соты с медом, но не умели вынимать эти соты. Право победителей не помогло им, когда они вздумали разламывать колодки, чтобы достать соты. Десятки, сотни тысяч рассерженных пчел напали на грабителей.

Те сначала отмахивались от них руками как от мух, потом спрятали руки в карманы, спрятали шеи в поднятые воротники, уткнули лица в сгибы локтей, – ничто не помогало!.. Мириады пчел вились всюду; от них темнел день и жужжал воздух... Солдаты пробовали закутываться с головой в только что снятые с кроватей балаклавские одеяла, но пчелы проникали и под одеяла. Особенно пострадали от них шотландцы, голоколенные и в юбчонках. Они ожесточенно хлопали себя по ляжкам, визжа от болезненных укусов. Они вертелись как бешеные, наконец не выдержали и пустились в постыдное бегство. Многие бросались в бухту и погружались в тинистую воду до глаз, чтобы хоть в таком положении спастись от разозленных насекомых, но пчелы вились сплошной тучей и над водою у берегов бухты, а боль от укусов не проходила в воде. Многим потребовалась даже помощь врачей, до того они были искусаны и распухли.

Но когда покончено было со всем исконным балаклавским бытом, даже и с пчелами, начали ломать ограды и каменные стенки, выходящие на набережную, и рубить деревья в садах за этими стенками и оградами, чтобы набережную сделать шире. Под госпиталь отвели самый большой из домов; разметили остальные дома под квартиры начальства; расчистили от виноградных кустов поляны и на них установили красноеверхие палатки – и начали разгружать транспорты, нагруженные еще в Варне тем, что было приготовлено для планомерной, методической осады Севастополя.

В то же время французская армия устраивалась по соседству, поближе к Севастополю, у «Прекрасной гавани» древних херсонесцев, – Камышевой бухты, куда вошел и весь французский флот.

Транспорты привезли французским войскам вполне готовые стены и крыши деревянных барачков; их оставалось только поставить и сбить гвоздями.

И в два-три дня на пустынных до того берегах появился целый густо населенный деревянный город, игриво названный французами *Petit Paris*<sup>25</sup>. В этом маленьком Париже на правильно разбитых прямых улицах заперестрели даже вывески маркитанток, парикмахеров и прочих необходимых для войск людей.

Набережную здесь сделали гораздо шире балаклавской, и скоро появились на ней выгруженные с транспортов огромные осадные орудия.

#### IV

Утром 16 (28) сентября в Севастополь явился посланный Меншиковым лейтенант Стеценко. Он пробирался из-под Бахчисарая, где был Меншиков, расположивший там свою армию. Ночью, пешком, оставив свою лошадь в сторожевом отряде на Мекензиевых горах, в окрестностях Севастополя, Стеценко с проводником-татарином прошел по дну нескольких глубоких, заросших лесом балок, вышел к долине Черной речки, перешел через эту речку по

---

<sup>25</sup> Маленький Париж (*фр.*).



остаткам сломанного моста, увидел, правда, неясно, вдали неприятельский лагерь; перед рассветом наткнулся на разъезд, который принял тоже за неприятельский.

Разъезд оказался русский, и в офицере этого разъезда Стеценко узнал лейтенанта Обезьянинова, с которым был очень дружен. Один из казаков разъезда дал ему свою лошадь, и вот, подъехав к Малахову кургану, едва поднялось солнце, Стеценко не узнал кургана: так много было сделано всего только за пять дней тысячами работавших там матросов.

Контр-адмирал Истомин был уже на работах сам, несмотря на столь ранний час. Но не успел Стеценко показаться вблизи него, как адмирал забросал его нетерпеливыми вопросами:

– Где князь? Где армия? Что делает? Почему бросила Севастополь на произвол союзников?

– Ваше превосходительство! Да если Севастополь за эти дни вообще укрепился так, как я это вижу здесь, то, поверьте, никакие союзники ему не страшны и без армии князя! – сказал Стеценко.

– Мы работаем, конечно, но как же так без армии князя? – испугался Истомин. – Куда ж пошла армия?

– Армия получила подкрепление в десять тысяч, – сказал Стеценко, улыбаясь этому испугу. – Кроме того, ожидается еще целая дивизия – двенадцатая, генерала Липранди.

– Хорошо, подкрепление... Это очень хорошее известие вы привезли. Но куда же потом пойдет эта подкрепленная армия?

– Она вернется в Севастополь через два дня.

– Правда? Вот это известие! Да вы просто архангел Гавриил, а не лейтенант! – Истомин обрадованно жал руку Стеценко. – Поезжайте сейчас же к адмиралу Корнилову, обрадуйте и его, как меня!

И Корнилов действительно был обрадован, так как и не ожидал увидеть Стеценко. Он тут же взял его с собою в объезд бастионов; он весело говорил на каждом бастионе, указывая на Стеценко:

– Вот адъютант его светлости приехал от него с доброй вестью! Армия возвращается к нам через два дня. Она теперь почти вдвое больше, чем была, – подошли подкрепления!.. И еще подходят!.. Пусть-ка попробуют теперь взять у нас Севастополь эти наглецы!

На радостях он, распорядившись уже выдать работающим на укреплениях матросам по две чарки водки, обещал в этот день выдать им еще и по третьей.

Когда же Стеценко, которому приказано было князем без промедления вернуться к нему с докладом о положении в Севастополе, искал на базаре своего проводника, он показался очень подозрительным всем харчевникам и торговкам.

Его окружили. Раздались яростные крики:

– Держи его, братцы! Это же явственный переодетый французский шпион!.. Зови скорее ича полицию сюда!

Правда, у флотских офицеров и вообще-то не было принято заходить в такое слишком демократическое место, как базар, а тем более обращаться так к первому встречному с вопросами о каком-то татарине.

Явились будочники. Примчался даже сам полицеймейстер верхом. Стеценко едва удалось убедить полицеймейстера, что он – адъютант светлейшего, а не шпион.

В этот же день – 16 сентября – другой адъютант Меншикова, штабс-ротмистр Грейг, приехал фельдьегерем в Гатчину к царю.

В своем рабочем кабинете гатчинского дворца Николай сидел за письменным столом перед картой Финского и Рижского заливов, видимо озабоченный разгадыванием того, что именно может замышлять у русских берегов английский адмирал Непир.

За окнами лил и барабанил в стекла косой крупный дождь, отчего в кабинете царя было сумрачно, только отчетливо белел над камином большой мраморный бюст Бенкендорфа, выде-

ляясь на фоне темно-малиновых обоев, и слабо золотела рама образа Николая-угодника над походной кроватью.

Царь был в строго застегнутом сюртуке. Его широкий затылок отражался в трюмо напротив, а прямо к вошедшему Грейгу повернулось почти шестидесятилетнее, но без единой морщины лицо с полуседыми небольшими баками и тугими, закрученными на концах в два симметричных завитка усами.

Хорошо знакомые Грейгу стального цвета выпуклые глаза смотрели на него ожидающе.

– Ваше величество, честь имею явиться! Фельдъегерем из Крымской армии прибыл штабс-ротмистр Грейг! – проговорил Грейг отчетливо и без запинки.

– Здравствуй, Грейг! – сказал Николай, принимая от него пакет с донесением от Меншикова.

– Здравия желаю, ваше величество! – невольно громче, чем ему хотелось бы, ответил, как в строю, Грейг, глядя на лоснящуюся широкую плешь царя, разрывавшего пакет.

Едва глянув в донесение Меншикова, царь поднял глаза на Грейга:

– Так сражение на Алминской позиции состоялось 8-го сентября?..

– Так точно, ваше величество...

– Как себя вели мои войска? Что ты видел?

Грейгу не было свойственно теряться. Офицер одного из самых блестящих гвардейских полков, он видел и слышал царя много раз. Придворный этикет тоже был ему знаком. Но он не отделался еще от запавшего в него в Севастополе глубокого взволнованного голоса адмирала Корнилова, напутствовавшего его перед поездкой: «Скажите государю все, что вы знаете о положении дел! Государь должен ясно представить все наши недостатки, все наши болезни, чтобы приказать их исправить и вылечить!.. Честь России поставлена на карту... Что, если карта эта будет бита только потому, что вовремя не подоспеют к нам подкрепления?..»

И под звуки этого взволнованного голоса адмирала, мгновенно возникшие в нем с прежней силой, он твердо ответил царю:

– Войска вашего величества держались сколько могли, но по своей малочисленности и плохому оружию не имели возможности противостоять долго противнику и оставили поле сражения... А некоторые полки даже бежали, ваше величество...

Царь бросил на стол донесение Меншикова, вскинул голову, как от удара в подбородок, и оглушительно крикнул вдруг:

– Вре-ешь, мерзавец!

Стального цвета страшные глаза выкатились, выпятилась нижняя челюсть и заметно задрожала, а длинная-длинная рука царя, сорвавшись с подлокотника вольтеровского кресла, обитого зеленым сафьяном, дотянулась до Грейга, схватила его за борт мундира, притянула несколько к себе и тут же отшвырнула к стенке.

И Грейг, чувствуя себя побледневшим и готовым провалиться сквозь пол, услышал более тихие, сдержанные и медленные слова:

– Мои войска могут отступить, но бежа-ать... бежать перед противником, кто бы он ни был, – ни-когда!.. Запомни это!

И так как глаза царя глядели после этих слов на Грейга уничтожающе-презрительно, но неотрывно-ожидающе в то же время, Грейг пробормотал вполголоса:

– Так точно, ваше величество: войска отступили в полном порядке... И неприятель не осмелился преследовать их, ваше величество!

Николай наклонил свою тускло блестящую голову так, что глядел теперь на посланца Меншикова исподлобья, и глядел долго, с полминуты, показавшиеся целым часом Грейгу, – наконец, сказал совершенно спокойно:

– Что же ты остановился?.. Про-дол-жай!

## Часть вторая

### Глава первая Самодержец

#### I

Великолепный фронтовик, огромного, свыше чем двухметрового, роста, длинноногий и длиннорукий, с весьма объемистой грудною клеткой, с крупным волевым подбородком, римским носом и большими навывкат глазами, казавшимися то голубыми, то стальными, то оловянными, император Николай I перенял от своего отца маниакальную любовь к военному строю, к ярким раззолоченным мундирам, к белым пышным султанам на сверкающих, начищенных толченым кирпичом медных киверах; к сложным экзерцициям на Марсовом поле; к торжественным, как оперные постановки, смотрам и парадам; к многодневным маневрам, хотя и совершенно бесцельным и очень утомительным для солдата, но радовавшим его сердце картинной стройностью бравой пехоты, вымуштрованной кавалерии и уверенной в себе артиллерии – тяжелой, легкой, пешей и конной...

Будь он поэтом, он только и воспевал бы смотры, парады, маневры... но он не мог быть поэтом: он ничего не понимал в поэзии, он смешивал ее с вольнодумством, и если терпел во дворце наставника наследника-цесаревича поэта Жуковского, то потому только, что тот был переводчиком благонамереннейших немецких (а не французских) поэтов.

Из всего огромнейшего гардероба генеральских мундиров разных частей войск, один другого причудливее и краше, ему особенно нравился казачий: в нем он даже представлялся в Ватикане папе Пию IX, когда в 1845 году был в Риме. Он как бы спустился в папский дворец, чтобы монах в тиаре мог лицезреть последнее из воплощений Марса.

Он был тогда признанно могущественнейшим государем Европы, а значит, и всего мира.

Когда ему случалось бывать в собрании больших и малых немецких владык, начиная с короля прусского, стороннему наблюдателю могло бы показаться, что объединение Германии состоялось под верховенством русского царя, – с такими к нему относились преданностью и почтением коронованные особы Германии.

Умиравший император австрийский, престарелый Франц, умолял его на смертном одре не оставить без помощи его слабоумного сына, который должен был после его смерти вступить на престол Австрии, и Николай великодушно обещал свою помощь.

Он щедро раздавал русские ордена высоких степеней знатым иностранцам; он до того открыто благоволил к служившим у него в армии немцам, что талантливый генерал Ермолов, отставленный им от службы, не то в шутку, не то всерьез говорил: «Очень желал бы, чтобы меня произвели в немцы».

Иностранной политикой при Николае во все время его царствования ведал граф Карл Вильгельмович Нессельроде, финансами до 1843 года – граф Егор Францевич Канкрин, приехавший из Германии в год смерти Екатерины II; шефом жандармов был граф Бенкендорф; министром императорского двора – граф Адлерберг; министром путей сообщения – граф Клейнмихель...

Члены Священного союза, основанного его братом Александром в 1815 году в Париже, Австрия и Пруссия, до последнего года царствования представлялись Николаю надежнейшими

форпостами, охранявшими Россию от зловердных революционных идей, рассадником которых являлась Франция.

Тут же после Июльской революции в Париже, когда был свергнут с престола Карл X, Николай послал графа Дибича-Забалканского в Берлин к прусскому королю, а графа Орлова – в Вену, к Меттерниху, для обсуждения вопроса об интервенции на предмет восстановления свергнутых Бурбонов.

Однако члены Священного союза<sup>26</sup> весьма охладели за пятнадцать лет к идеям союза и от вмешательства в частные дела Франции уклонились. А тем временем готовилось и, наконец, разразилось восстание в Польше, унесшее и Дибича, назначенного его усмирить, и старшего брата Николая, Константина, неудачного претендента на несколько престолов, между прочим и на константинопольский, к чему готовила его еще Екатерина II, его бабка.

Польское восстание так напугало Николая, особенно после нерешительных и, может быть, намеренно неудачных действий Дибича, что граф Паскевич, взявший по чужому плану Варшаву, признан был спасителем отечества, и ему приказано было воздавать царские почести.

Венский трактат 1815 года, завершивший наполеонаду, имел в виду главным образом охрану европейских правительств от разрушительных идей французской буржуазной революции. Заветы этого трактата достались Николаю по наследству от старшего брата, а воплощенные идеи революции он видел однажды воочию, когда утром 14 декабря 1825 года они вышли на Сенатскую площадь в лице хотя и плохо построенных, но вооруженных офицеров и солдат.

Это событие прочно оформило внутренний облик Николая: дало ему резкую прямолинейность. Борьба с революцией, в какой бы форме и в какой бы стране ни появлялась, стала его навязчивой мыслью.

Однако и Россия и вся Европа революционизировались, несмотря на то, что на страже тезисов венского трактата стоял двухметровый самодержавный драбант<sup>27</sup>, ненавидевший свободную мысль.

Даже покровительство турецким подданным христианам простиралось только до бунта этих христиан против власти султана; раз поднимался бунт, Николай готов был помогать против бунтовщиков и самому султану.

От султана же хотел он выдачи повстанцев-поляков, бежавших в Турцию, и не только поляков, а и венгерцев, кроатов и прочих, спасавшихся там от преследования своего правительства по политическим мотивам. По его настоянию Австрия требовала, чтобы Порты сняла с крупнейших командных должностей своих генералов: Омера-пашу, Измаила-пашу, Селима-пашу на том основании, что они ренегаты, бывшие революционеры, а между тем они пересоздавали турецкую армию по западным образцам, и первый из них, Омер-паша, кроат по происхождению, путейский инженер по образованию, был впоследствии главнокомандующим турецкой армией на Дунае, в Евпатории и на Кавказе.

Революционные движения на Западе вспыхивали то там, то здесь с 30-го года по 37-й – время чрезвычайно тревожное для Николая. Однако, зорко оберегая Россию в эти годы от «морового поветрия, охватившего Европу», Николай не забывал и другого завета, полученного им по наследству уже не от брата и даже не от отца, а от более умной и дальновидной бабки. Этот завет – крест на Святой Софии<sup>28</sup> и проливы в русских руках.

Когда Потемкин основывал Севастополь, он на западной окраине его приказал поставить огромный столб и на доске славянской вязью сделать четкую надпись: «Дорога в Константино-

---

<sup>26</sup> Священный союз был заключен в 1815 г., после изгнания Наполеона, между Австрией, Россией и Пруссией с целью противодействия революционному движению в Европе.

<sup>27</sup> Драбант – воин, входивший в отряды, которые охраняли начальствующих лиц.

<sup>28</sup> Святая София – храм в Константинополе, построенный в 325 г. и превращенный турками в мечеть.

поль». Это было вполне объяснимо: Потемкин был не только человек обширных планов, но в войнах с турками провел последнюю часть своей жизни.

Войну с турками, как и войну на Кавказе с горцами, которых поддерживали тоже турки, Николай получил тоже по наследству, но всеми мерами стремился эти две войны привести к благополучному для себя концу.

Едва оглядевшись на занятом престоле, он уже двинул свои армии против турок и в направлении на Эрзерум и, главное, в направлении на Константинополь.

Эрзерум сдался Паскевичу; до Константинополя не дошел Дибич. Пришлось заключить в Адрианополе мир.

Николай не сидел в это время в Петербурге – он сам был в армии Дибича и видел своими глазами, что такое война. Он уехал в Одессу из взятой Варны только тогда, когда получил известие о тяжелой болезни своей матери, разбитой параличом.

Адрианопольский мир имел серьезное значение: Греция, находившаяся под господством турок, получила самостоятельность, Сербия, Молдавия и Валахия – автономию, к России же отошли устье Дуная и Ахалцых.

Удачно был использован Николаем момент затруднений султана, когда восстал против него египетский паша Махмет-Али. Тогда, в 1833 году, в Ункиар-Скелесси, летней резиденции султана, был заключен договор с Портой, по которому за помощь против Египта Порта обязалась запретить Дарданеллы для военных судов западных держав.

Этот договор не пришелся по душе Англии и Франции, стремившимся сохранить все свои привилегии и запретить России выход из Черного моря, преградить России доступ на Балканы. Были пущены в ход все средства борьбы, и через семь лет, когда истек срок этого договора, по настоянию этих держав Порта не возобновила его.

Уже тогда, за тринадцать лет до начала Восточной войны, положение было довольно близким к войне, и французский посол в Константинополе, генерал Гильемино, занятый вопросом о высадке союзного десанта в Крыму, наметил для этой цели именно Евпаторию.

Но война не началась, потому что состоявшие в «сердечном соглашении» Англия и Франция перессорились тогда из-за Египта, на который слишком горящими, по мнению Англии, глазами вздумалось глядеть Франции.

Однако разногласия между сильнейшими морскими державами длились недолго: изворотливый руководитель английской политики лорд Пальмерстон не только возобновил с Францией прежние отношения, но еще и привлек ее подписать с Портой новый договор о проливах: военным судам, по новому договору, запрещалось проходить через проливы, но только до тех пор, пока Турция будет в состоянии мира.

Когда Николай увидел, что влияние его в Турции очень пошатнулось благодаря проискам Англии, он вздумал отправиться в Лондон, чтобы там на месте договориться по турецкому вопросу с английским правительством. Это было в 1844 году.

В Виндзоре устроили парад войск по случаю прибытия могущественного русского монарха, и на этом параде Николай имел случай не только показать свою безукоризненную посадку на коне, свою гвардейскую выправку, свой звонкий командный голос, но и любезно сказать королеве Виктории, что в случае ее затруднений военного свойства она может вполне рассчитывать на всю его армию.

Чтобы ознаменовать его посещение Англии, там выбили медаль с его профилем... Виктория писала королю бельгийскому Леопольду: «Этот приезд – великое событие для нас и знак большой учтивости к нам. Английский народ очень польщен этим визитом».

И сама королева, и руководители английской политики: Пальмерстон, Абердин, Роберт Пиль и другие – все сделали вид, что очарованы и любезностью, и прямоотой, и даже величественной внешностью Николая.

Но вопрос о Турции так и не был решен визитом царя, и «сердечного соглашения» с Англией Николай не достиг.

## II

Быть не только императором-самодержцем, но еще и талантливым артистом в роли императора – вот чем был особенно занят Николай за долгий срок своего царения.

Он охотно позировал художникам, и одному из них – Крюгеру – удалось изобразить его как исключительно картинного всадника на исключительно картинном коне.

Вставая рано, Николай не позволял себе отдыха днем: он желал быть образцовым императором, который неустанно печется о нуждах государства.

Поэтому с самого утра он уже занимался в своем кабинете очередными государственными делами, принимал министров, накладывал свои резолюции на множество бумаг – так до обеда в своей весьма многочисленной семье.

После обеда любил ходить пешком, однако не бесцельно: одно время он направлялся обыкновенно из Зимнего дворца в Мариинский, где жила его старшая замужняя дочь, герцогиня Лейхтенбергская.

Была и еще цель этих прогулок: наблюдать, правильно ли, по форме, одеты встречающиеся ему офицеры, кадеты, пажи, юнкера, как они становятся во фронт и какова вообще их выправка вне строя.

Однажды во время такой прогулки он встретил юнкера инженерной школы.

– Откуда идешь так поздно? – спросил его царь.

– Из депа́, ваше императорское величество! – громогласно ответил юнкер.

– Дурак!.. Разве «депо» склоняется? – крикнул царь.

– Все склоняется пред вашим императорским величеством! – еще громче и самоотверженнее гаркнул юнкер.

Этот ответ понравился царю. Он милостиво разрешил юнкеру идти дальше. Он вообще любил, когда перед ним склонялись, и его боялись даже его министры.

Некий тайный советник Вронченко, по старшинству в чинах заместивший вышедшего в отставку дряхлого и почти слепого графа Канкрин в заведовании русскими финансами, не выдававшийся решительно никакими талантами человек, уличный потаскун и циник, всей своей последующей блестящей карьерой и графством был обязан только тому, что однажды до трепета рук и ног испугался грозного вида Николая.

Был обычный прием министров во дворце в утренние часы. Вронченко был на этом приеме самым младшим по своему положению, между тем как доклады министров производились по старшинству. Он смело мог бы явиться тремя часами позже, но, по новости дела, приехал раньше всех. Бывший тут же, как управляющий морским министерством, Меншиков отпустил на его счет обычную для себя остроту, что новый министр финансов явился на доклад, видимо, прямо с ночных своих походов на Невском проспекте.

Шутка вызвала общий смех; смех этот донесся до слуха царя, и он показался во весь свой рост в дверях кабинета с вопросом: «Что тут за шум?» Вид его был гневен и так испугал Вронченко, что он выронил портфель с бумагами для доклада, бумаги разлетелись по полу, и царедворцы теперь уж никак не могли удержаться от нового взрыва смеха при взгляде на трясущегося от страха, с выпученными глазами и разинутым, но безмолвным ртом министра финансов.

Однако царь сказал им недовольно: «Тут нет ничего смешного!» – и, приказав камерлакею подобрать с полу бумаги, пригласил Вронченко к себе для доклада первым.

Но за свой верноподданнический страх перед самодержцем Вронченко был награжден не только этим вниманием к себе. В первый же новогодний день, к которому приурочивалось

большинство наград, он получил звезду и ленту Александра Невского, а вскоре после этого графский титул.

Его предшественник Канкрин считался гениальным финансистом; при Канкрине рубль ценился выше *al pari*<sup>29</sup> на иностранных биржах, а за ассигнации<sup>30</sup> платили довольно большой лаж<sup>31</sup> внутри страны. Этот чудаковатый, вечно боявшийся простуды старик любопытен был еще и тем, что один во всем русском государстве упорно не хотел подчиняться жестким правилам присвоенной ему по генерал-адъютантскому званию форме одежды и ходил зимою в теплых, на меху, ботфортах Александровской эпохи, в теплой, на меху, шинели с поднятым воротником, обвязанным шерстяным шарфом, и в неизменном зеленом шелковом зонтике над глазами, боявшимися дневного резкого света. Единственная форменная часть костюма на Канкрине была треугольная шляпа с султаном из белых петушьих перьев.

И строгий царь не раз при встречах делал ему замечания, но Канкрин отвечал уныло: «Разве, ваше величество, желаете вы, чтобы я заболел и умер?.. Кто же тогда будет держать в порядке русские финансы?»

Однако и самый гениальный финансист не сможет упорядочить государственные финансы при плохой торговле, а время Николая было время крупного вывоза за границу помещичьего хлеба, хотя хлеб и сильно упал в Европе в цене по сравнению с первой четвертью девятнадцатого века.

После Наполеоновских войн Западная Европа пользовалась очень долгим, почти сорокалетним, миром, если говорить исключительно только о международных войнах. Народонаселение везде сильно увеличилось, промышленность развивалась в ущерб земледелию. На русский хлеб появился очень большой спрос, и соперничать с Россией в этом не могли еще тогда ни Соединенные Штаты, ни Индия, ни какая-либо другая из английских колоний.

Но Канкрин ничего, конечно, не сделал для развития хлебной торговли; к сожалению, он ничего не сделал и для развития железнодорожного дела в России; больше того: он оказался яростным противником рельсовых путей.

Старикам свойственна скупость, а дороговизна железных дорог просто испугала старого министра.

– И к чему, батюшка, эти рельсы, когда их все равно на полгода занесет снегом? Напрасная трата денег, батюшка мой!

По-русски он до конца дней своих изъяснялся с трудом и с сильным акцентом, но на немецком языке им было написано несколько ученых работ, главным образом по лесному делу, которое изучал он раньше, в Германии.

Он опасался, что железные дороги своей дороговизной расстроят так блестяще поставленные им русские финансы, поэтому, кроме вредоносного снега, он указывал Николаю на то, что рельсовые пути подорвут исконно русский извозный промысел. Наконец, охраняя русские леса, которые неминуемо истреблялись бы для топки паровозов, он в записке, поданной царю, называет железные дороги «истинным недугом века»; ввозить же в страну каменный уголь, а также рельсы – значит вывозить из России большие капиталы... Но, чтобы окончательно убедить Николая, хитрый старик ссылался, наконец, и на вред дорог этих явно политический: «Железные дороги подстрекают к частым путешествиям без всякой нужды и таким образом увеличивают непостоянство духа нашей эпохи...» Закончил же он свою докладную записку так: «Следует не только считать превышающей всякую действительную возможность мысль о покрытии России целой сетью железных дорог, но одно уже предположение сооружения железной дороги от С.-Петербурга до Казани надо признать на несколько веков преждевременным».

<sup>29</sup> *Al pari* – означает, что курс бумажных денег равен обозначенной на них ценности.

<sup>30</sup> Ассигнации – бумажные денежные знаки, не подлежавшие обмену на металлические деньги.

<sup>31</sup> Лаж – надбавка, уплачиваемая за ценную бумагу сверх обозначенной на ней ценности.

Так один из наиболее талантливых и просвещенных министров Николая оказался гораздо более консервативным, чем даже сам Николай, который все-таки понимал, что этой «болезнью века» необходимо заболеть, и заболеть как следует, и России.

Дорога между двумя столицами, единственная, построенная при Николае, начата была только после ухода в отставку Канкрин; обошлась она очень дорого казне и строилась очень долго – восемь лет! За то же время и за те же деньги можно было бы довести рельсовый путь и до Одессы, и до Севастополя, и до Кавказа, и кто знает, решился ли бы тогда Запад на борьбу с Востоком на юге России?

Но тот, кто требовал от всех в государстве только охраны узаконенного порядка вещей, как мог бы он собрать около себя в лице министров людей широкой государственной мысли? Если Канкрин сидел, как наседка, на собранных им государственных деньгах, то другие министры так же, как он, ревностно охраняли свои ведомства решительно от всяких новшеств. Они и не могли проявить самостоятельности ни в чем по той причине, что царь то и дело вмешивался в их работу – работу отнюдь не созидательную, конечно, – а военным министерством управлял он всецело сам, предоставляя министру Чернышеву только исполнение личных «предначертаний» царя и за это награждая его всеми высшими степенями наград, включительно до титула светлейшего князя.

Между тем, зачарованный бесподобной выправкой своих солдат, Николай не то чтобы не видел, а просто не хотел видеть того, как перевооружались западные армии, как вводился там новый рассыпной строй и многое другое.

Еще в 1834 году, после опытов с ружьем Роберта, отличавшимся гораздо большей скорострельностью, чем кремневые, раздались было робкие голоса за то, чтобы перевооружить и нашу пехоту, но генерал Муравьев докладывал особой запиской великому князю Михаилу Павловичу, что «введением сего ружья делается совершенно противное тому, что надобно (ибо и ныне уже пехота наша без меры и надобности стреляет)», что «привычку сию надобно бы извести в войсках, а не усиливать оружием, дающим способ к сему», что «у нас с сим ружьем войска перестанут драться и неостанет никогда патронов...»

Так и не было введено это ружье из боязни, что русский солдат с ним испортится!

У Михаила Павловича была любимая поговорка: «Война только портит солдат». Но если война только портила солдата и если хорошее ружье способно было испортить солдата, то что же такое был николаевский солдат?

В мозгу у начальства этого несчастного солдата твердо укоренилось сознание, что ружье солдату давалось только для ружейных приемов, в крайнем же случае для штыковых ударов. Так как ружейные приемы должны были делаться четко, хлестко, звонко, то винты в ружьях нарочно расшатывались, затравки рассверливались, и после всех этих поправок получалось оружие если и опасное вообще, то исключительно для тех, кто рискнул бы стрелять из него, зато совершенно безвредное для всякой живой и мертвой цели.

К стрельбе в цель относились тогда как к пустой затее, зря отнимающей время от настоящего «обучения» войск. При заготовке боеприпасов тогда полагали, что даже для большой европейской войны русскому солдату за глаза довольно ста сорока патронов на ружье на всю войну.

Нарезные ружья не были полнейшей новостью в эпоху Николая: они являлись вооружением егерских батальонов еще при Екатерине II, но начали выходить из употребления еще при Павле, отовсюду, даже из ружей, вышибавшем «потемкинский дух»: нарезы в стволе мешали начальству рассмотреть как следует, хорошо ли вычищен ствол. А ствол чистили тогда толченым кирпичом, и при Николае чистили так усердно, что ствол ружья стирался до толщины газетного листа. С такими-то ружьями и пошли в Крыму навстречу доброй половине Европы!

Знал ли Николай о том, что армии Англии, Франции, да и других европейских держав перевооружаются штуцерами Гартунга или Литтиха? Знал – ему доносили об этом посланники,



но только в 1853 году, году начала Восточной войны, он приказал ввести штуцеры в количестве тысячи восьмисот на каждый корпус пехоты, состоявший из сорока двух тысяч человек.

Одежда солдат преследовала разные цели, кроме лишь удобства.

Ранцы из тюленьей или телячьей кожи, квадратные, полуметровые, носились на широких ремнях, которые перекрещивались на груди. Эти ранцы с полной выкладкой весили около пуда. Вообще же тяжесть всего носимого солдатом на походе составляла два с четвертью пуда, а при дожде, когда намокала шинель, до трех пудов – вдвое больше, чем в армиях французской и английской.

Грудь солдата была так сдавлена узкими мундирами и ранцевыми ремнями, что у многих во время походов открывалось кровохарканье от переполнения легких кровью.

Жалованья рядовой армейской пехоты получал два рубля с копейками в год, но у него было право, которого не имели даже высшие чиновники России, если только они числились по гражданской службе: это было право на усы! Даже офицеры инженерного ведомства (каким был, например, Достоевский) долгое время при Николае не смели носить усов как нестроевые; капельмейстеры как военные чиновники дирижировали усами солдатами; военные врачи, интенданты всех чинов были тоже безусые. Это правило было законом и соблюдалось строго.

Чтобы строевого военного даже в отставке можно было с первого взгляда отличить от презренного «рябчика» – штатского, ему разрешалось носить усы, но если кто из строевой службы переходил на нестроевую, тот прощался с усами.

Бороды же вообще никто не имел права носить, кроме духовенства, купцов и «простолюдинов». Женщины как лишенные усов и бороды от природы оставлены были властью в этом смысле в покое, но шляпки носить разрешалось только дворянкам и чиновницам; шляпка же, очутившаяся на голове купчихи или мещанки, вызывала привод в полицейский участок для составления протокола.

Оборона государства предоставлялась Николаем всецело живой силе войска. Все русские крепости за исключением Севастополя были в состоянии очень жалком, хотя сам Николай, еще будучи наследником, интересовался саперным делом и один из кабинетов его дворца носил название инженерного.

В числе крепостей был Свеаборг, предназначенный для защиты с моря Гельсингфорса, но крепость эта была при Николае в таком состоянии, что комендант ее не разрешал делать ни одного залпа в учебных целях, потому что от сотрясения при залпах неминуемо должны были рассыпаться крепостные стены.

И они рассыпались действительно, когда пришлось дать уже не учебный, а боевой залп по слишком близко подошедшей к безмолвной крепости английской эскадре адмирала Непира.

Консерватизм Николая был так велик и многообразен, что даже ни одна сколько-нибудь крупная постройка в каком бы то ни было городишке его обширного царства не могла начаться, если план и фасад ее по непременном представлении ему для просмотра не был им почему-либо утвержден. Хотели ли строить церковь, казарму, Дворянское собрание, институт благородных девиц – все должно было идти на утверждение самого царя.

Наиболее способным строителем Николай считал Клейнмихеля, который угодил ему быстрой постройкой Зимнего дворца на месте сгоревшего. Ему поручено было в одно и то же время наблюдать за постройкой трех совершенно различного вида сооружений: грандиозного Исаакиевского собора над Невой, который строил знаменитый архитектор Монферран, постоянного моста через Неву и вокзала железной дороги из Петербурга в Москву.

Но все эти три постройки велись так медленно, что это дало повод Меншикову пустить очередную острогу:

– Достроенного собора мы не увидим, но, может статься, его увидят наши дети; достроенный мост мы, пожалуй, увидим, но зато наши дети уж не будут его видеть, потому что он рухнет, а достроенной железной дороги не увидим мы, не увидят ее и наши дети!

Когда же железная дорога, хотя и очень поздно, все-таки достроилась, Меншиков говорил:

– У Клейнмихеля все поводы к вызову меня на дуэль, но я отвергну и пистолеты и шпаги. Я предложу ему сесть нам обоим в вагон в Петербурге и пуститься в опаснейший путь в Москву, а там уж посмотрим, кого из нас убьет при неизбежном крушении!

Крушение для них обоих готовила все-таки не Николаевская железная дорога, а, напротив, полное бездорожье юга России, одна из крупнейших причин севастопольского разгрома, после которого и тот и другой из этих деятелей эпохи Николая были отставлены от службы.

Понятие «взятка» было при Николае так неразлучно с понятием «чиновник», что даже министр юстиции граф Панин однажды дал взятку в сто рублей своему департаментскому чиновнику, выправлявшему какую-то вполне законную бумагу для его, Панина, дочери, а понятие «казна», то есть казенные деньги, было бок о бок с понятием «красть», и казнокрадство доходило иногда до таких размеров, что, например, от полуторамиллионного «инвалидного капитала» за один год буквально ничего не осталось, причем инвалиды из этого капитала не получили ни копейки.

### III

Чиновников за казнокрадство судили, ссылали в Сибирь, а там они снова приглашались местным начальством писать в канцеляриях и составлять отчеты, так как грамотных людей было в русских глухоманях мало.

Когда в 1827 году временно замещавший Воронцова на посту новороссийского генерал-губернатора граф Пален испрашивал позволения приговорить к смертной казни двух контрабандистов, оказавших вооруженное сопротивление при аресте, Николай отменил этот проект приговора, написав на нем: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек двенадцать раз. Слава богу, смертной казни у нас не бывало и не мне ее вводить».

Он как будто забыл в это время о пятерых повешенных им декабристах. Однако эти двенадцать тысяч палок стоили не одной смертной казни, так как не было и не могло быть человека, который был бы способен вынести такое наказание и остаться в живых.

И если смертных казней в буквальном смысле слова после повешения Пестеля, Рылеева, Каховского, Бестужева-Рюмина и Муравьева-Апостола почти не было уж больше при Николае, то очень трудно было бы сосчитать всех забитых насмерть палками и кнутами за время его царения.

Палки из лозняка – шпицрутены – имели строго определенную толщину (несколько меньше вершка в диаметре) и были ровно в сажень длиной. Осужденный со связанными руками и обнаженной спиной проходил сквозь строй солдат, которые били его палками по спине изо всей силы. Если палки ломались, их тут же заменяли новыми. Начальство смотрело во все глаза, чтобы били солдаты на совесть. Когда избиваемый падал, его приводили в чувство, и наказание продолжалось... Только мертвого переставали бить. Однако кто же, кроме самого забитого насмерть, был виноват в том, что он не вынес нескольких тысяч палочных ударов?

Точно так же и наказание кнутом было как бы рассчитано на то, что человеческая выносливость неизмерима. Кнутом били уже не солдаты, а особые мастера этого дела. Они выходили на площадь, к «кобыле», в старинной форме, присвоенной палачами: красных рубахах и широких плисовых шароварах. К «кобыле», толстой доске с прорезами для рук, палач прикручивал свою жертву, потом отходил от нее шагов на двадцать, на тридцать и торжественно медленно подходил снова, как бы лениво волоча за собой длинный кнут из сыромятной кожи. Уже с первого удара он рассекал спину до позвоночника; собирая кнут, он пропускал его через сжатую ладонь левой руки, чтобы снять с него кровь. Потом отходил снова на двадцать – тридцать шагов и так же медленно и торжественно подходил для нового удара. Иногда, как бы чув-

ствуя себя усталым, пил водку из штофа стаканом... При наказании обычно присутствовали священник и доктор. Если сплошь окровавленный, искалеченный человек переставал стонать, доктор давал ему нюхать спирт, и когда находил, что он еще жив, истязание продолжалось.

Конечно, ни дворяне, ни чиновники, ни духовенство к телесным наказаниям не присуждались: они были опора трона. Не наказывались также и лица, получившие образование: Николай признавал все-таки, что интеллигенция довольно дорогой человеческий материал. Например, врачи. Он помнил, что во время русско-турецкой войны один врач приходился на шестьсот человек больных и раненых, и неоткуда было их взять. В этом смысле он все-таки был расчетлив. Он каждый день убеждался в том, что содействовать высшему образованию в России необходимо.

Но когда раскаты революционного грома на Западе стали отчетливо слышны в России, Николай испугался, не слишком ли много и у него интеллигентов, весьма склонных, как ему было известно, к опасным шатаниям мысли.

Московский генерал-губернатор князь Голицын неосторожно брякнул в разговоре с ним, что не мешало бы в России ввести адвокатуру, так как без содействия адвокатов совершенно невозможно вести гражданские дела в русских судах.

Николай гневно возрился на него своими оловянными навывкат глазами и прикрикнул:

– Подумай раньше, чем говорить такое!.. Ты долго жил в революционной Франции – это тебя испортило... Вспомни, кто были Робеспьер, Мирабо, Марат и другие! Адвокаты! Кто и теперь особенно заражен революционными идеями там и в других странах? Они же – адвокаты! И вот этих прохвостов ты советуешь мне расплодить в России?.. Не ожидал!

В Москве же он, столь возлюбивший полное единообразие форм одежды и даже человеческих лиц, заметил на улицах группы молодых людей в каких-то фантастических клетчатых пледах и в совершенно штатских шляпах и узнал, что это студенты университета.

Московский университет был у него вообще на плохом счету в силу своей либеральности, и, когда бы ни заезжал в Москву, Николай никогда не посещал этого подозрительного, на его взгляд, рассадника просвещения. Но пледы и шляпы на студентах заставили его вызвать попечителя учебного округа Голохвостова и накричать на него за то, что студенты не носят формы.

Голохвостов хотел оправдаться.

– Трудно усмотреть за всеми студентами, ваше величество! Их слишком много.

– Много? А как именно много? – грозно спросил Николай.

– Свыше тысячи... Поэтому надзор за ними вне стен университета весьма затруднителен для университетского начальства, ваше величество.

– В таком случае, – сказал царь, – оставить для удобства наблюдения за ними только триста человек, слышишь? Остальных же уволить!.. За исключением медиков, – добавил он, вспомнив, что врачи весьма необходимы на случай войны.

В университетах допускалась при нем тень самоуправления: должности ректоров и деканов были выборными, – но после 48-го года уничтожена была и эта тень, и, например, вместо избранного деканом историко-филологического факультета либерального Грановского был назначен благонамеренный Шевырев. Вместо же рекомендованной Голицыным адвокатуры Николай ввел жандармерию, назначив своего любимца Бенкендорфа шефом корпуса жандармов, и вот голубые мундиры – эти «всевидящие глаза» и «всеслышащие уши» – ретиво замелькали здесь и там в русской жизни, замораживая всякое вообще проявление самостоятельной мысли у самых ее истоков.

Действуя по особым инструкциям, «по именному приказанию его величества», жандармские офицеры, даже и малых чинов, зорко следили и за губернаторами, являясь властью над властью, крепчайшей сетью, опутавшей весь организм России. И если офицеров, чиновников, духовенство за те или иные преступления не гоняли сквозь строй, не били палками или кнутами на площади, то все воспитание и обучение их происходило при воздействии розог. Необ-

ходимо было с мечтательных детских лет выбить всякое вольномыслие, чтобы получить надлежащего николаевского офицера, чиновника и попа, поэтому секли жестоко и в кадетских корпусах, и в гражданских школах, и в бурсе, так же как секли солдат в полках, матросов на судах, крепостных в конюшнях.

Это был век розог, кнута, шпицрутенгов, ссылки и каторги.

Когда-то, еще будучи четырнадцатилетним, Николай писал на тему, данную одним из его наставников, сочинение о стойке на троне – Марке Аврелии Философе<sup>32</sup>. Ставши взрослым, он уже не писал никаких сочинений ни на какие темы, но, может, у него было немало минут, когда он вполне чистосердечно воображал себя именно стойком на троне, подобным Марку Аврелию, ложась спать в том или ином из своих великолепных дворцов на походную кровать, на тонкий тюфяк, набитый сеном.

Он не курил и не любил, чтобы около него курили его близкие; он почти не пил никаких спиртных напитков; пруссак до мозга костей, он всячески хотел казаться истинно русским, и потому щи и гречневую кашу предпочитал изысканным изделиям французской кухни; на ужин ему подавали только суп из протертого картофеля.

У него и маленький, всего девятилетний, внук, первенец наследника престола, будущего Александра II, приучался нести военную службу всерьез и на деле: стоял иногда часовым у будки во дворе дворца. И когда начинался при этом очень частый гость Петербурга – дождь, маленький Николай (впоследствии умерший юношей) накидывал на себя огромную шинель гвардейца, лежавшую в будке, и все-таки выстаивал положенные два часа, пока разводящий не приводил ему на смену нового часового; а в окно дворца на сынишку, храбро высывавшего нос из огромной шинели, на три четверти валявшейся на земле, испуганными глазами глядела его мать и заламывала в отчаянии руки: «Простудится!.. Непременно простудится!»

Ненавидя Францию за то, что она была поставщиком на весь мир революционных идей, Николай все-таки любил ходить во французский театр, и наоборот: будучи немцем в душе и по крови, имея немку жену, опираясь на немецкие государства как на союзные, он терпеть не мог немецкого театра и никогда туда не ходил, хотя и французский и немецкий театры Петербурга одинаково содержались на казенный счет.

Иногда, но гораздо реже, чем французский, он посещал и русский театр. В целях борьбы со сплошным взяточничеством своих чиновников он сам разрешил к постановке пьесу «Ревизор», и хотя она очень не понравилась ни его министрам, ни всему высшему петербургскому обществу, а старый Канкрин ворчал на первой постановке: «Какая глупая фарса!» – все-таки Николай не позволял снимать ее со сцены.

За сверхпатриотическую пьесу однокашника Гоголя Нестора Кукольника – «Рука Всевышнего Отечество спасла» Николай пожаловал автору бриллиантовый перстень, а за правдивую, но резкую критику этой пьесы закрыл журнал «Московский телеграф» Полевого.

По его «высочайшему» заказу Айвазовский написал картину «Синопский бой», Боголюбов – «Бой адмирала Корнилова на пароходе «Владимир» с турецким пароходом «Перваз-Бахры»; художник Машков командирован был на Кавказ в действующую армию Паскевича для увековечения его подвигов и написал картину «Сдача крепости Эрзерум»... Николай поощрял изобразительное искусство.

Он любил бывать и в оперном Большом театре, и патриотическая опера «Иван Сусанин» Кавоса пользовалась его неизменным вниманием.

Для него на слова придворного поэта Жуковского капельмейстер придворной капеллы, духовный композитор Львов, написал гимн «Боже, царя храни!». Три дня Николай то и дело подходил к партитуре этого гимна и играл основную мелодию его на флейте или пел слова

---

<sup>32</sup> Марк Аврелий (121–180 н. э.) – римский император (с 161 по 180 н. э.); разделял учение философской школы стоиков, требовавшей пренебрежения к жизненным благам.

присущим ему царственным тенором; несколько раз слушал его в исполнении своей капеллы и соединенного оркестра гвардейских полков; наконец, объявил его национальным русским гимном.

Пушкин назвал его брата Александра Первого кочующим деспотом, но мог бы сказать то же самое и о нем.

Древние полагали, что хорошо управлять можно только таким царством, размеры которого не превышают четырех дней конного пути от центра до любой из его границ.

Со времен Петра размеры русского государства далеко превышали все скромные представления древних, однако Николай ревностно колесил по России.

Он не был только в Сибири, куда, начиная с декабристов, высылал в ссылку и на рудники тысячи людей, но часто ездил на смотры и маневры в отдаленные концы европейской России, причем не один раз бывал и в Севастополе.

Он добрался даже и до Эривани, за взятие которой дал Паскевичу титул графа Эриванского, и, посмотрев на низкие глиняные стены этой «крепости», удивленно спросил своего «отца-командира»: «Что же тут было брать?»

В Геленджике на смотре кавказских войск сильный ветер сорвал и унес его фуражку; на Военно-Грузинской дороге опрокинулся его экипаж, но, повиснув на краю пропасти, он сам счастливо отделался только ушибами; зато, когда он подъезжал к родному для Белинского и Лермонтова уездному городишке Пензенской губернии Чембару, кучер вывалил его из экипажа с меньшим успехом: Николай сломал при этом ключицу и левую руку, должен был пешком идти семнадцать верст до Чембара и пролежать там на попечении местных эскулапов целых шесть недель, пока не срослись кости.

Когда же стал поправляться, то захотел увидеть чембарских уездных чиновников, и пензенский губернатор Панчулидзе собрал их в зале того дома – дома уездного предводителя дворянства, в котором жил император.

Они сошлись, одетые в новую, залежавшуюся в их сундуках и пропахшую махоркой – от моли! – форму, очень стеснительную для них, кургуzych, оплывших, привыкших к домашним халатам, и стали, выстроившись по старшинству в чинах, в шеренгу, при шпагах, а треугольные шляпы с позументом деревянно держа в неестественно вытянутых по швам руках...

Трепещущие, наполовину умершие от страха, воззрились они на огромного царя, когда губернатор услужливо отворил перед ним дверь его спальни, а Николай осмотрел внимательно всю шеренгу и сказал по-французски губернатору, милостиво улыбаясь:

– Но послушайте, ведь я их всех не только видел, а даже отлично знаю!

Губернатору была известна огромная память царя Николая на лица и фамилии, но он знал также и то, что до этого Николай никогда не был в Чембаре, и он спросил его недоуменно:

– Когда же вы изволили лицезреть их, ваше величество?

И Николай ответил, продолжая милостиво улыбаться:

– Я видел их в Петербурге, в театре, в очень смешной комедии под названием «Ревизор».

#### IV

30 марта 1842 года Николай собрал членов Государственного совета на чрезвычайное заседание по крестьянскому вопросу.

Он вошел в зал совета одетый в блестящий конногвардейский мундир. С ним был наследник, а за великим князем Михайлом Павловичем послали нарочного.

Члены Государственного совета все были в сборе за исключением трех-четырех глубоких старцев, явно расслабленных и ни к какому передвижению не способных.

На этом собрании Николай произнес большую речь о крепостном праве, называя его «злом, для всех ощутительным и очевидным, но прикасаться к которому теперь было бы еще более гибельным делом».

Он говорил, что «никогда не решится дать свободу крепостным, так как это было бы преступным посягательством на общественное спокойствие и на благо государства. Пугачевский бунт показал, до чего может дойти буйство черни. Позднейшие попытки в таком же роде были до сих пор счастливо прекращаемы, что, конечно, и впредь будет точно так же предметом особенной и, с Божьей помощью, успешной заботливости правительства, но нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде, и каждому наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может длиться вечно».

В этой перемене мыслей Николай обвинял в первую голову тех либеральных помещиков, которые давали и дают образование своим крепостным и тем вообще расширяют круг понятий крестьян.

Однако, хотя и не высказываясь за уничтожение крепостного права, Николай говорил о том, что «надобно приготовить пути для постепенного перехода к другому порядку вещей и, не устрашаясь перед этой переменой, обсудить ее пользу и последствия. Не должно давать вольности, но должно проложить дорогу к переходному состоянию, а с этим связать ненарушимое охранение вотчинной собственности на землю...»

Минута была торжественная: своего грозного императора слушали старые заматерелые крепостники; он же говорил без всяких видимых усилий и без запинок: вопрос этот был им продуман, речь приготовлена заранее.

Звучный голос его – голос площадей, марсовых полей, учебных плацев – здесь, в строгом зале Государственного совета, свободно доходил до слуха даже наиболее тугоухих за преклонностью лет. Они встревоженно переглядывались иногда украдкой, стараясь угадать, как все-таки далеко способен зайти преобразовательный пыл царя и что, собственно, означает эта «дорога к переходному состоянию».

Но дальнейшая часть речи царя давала уже порядочные надежды, чтобы остаться спокойными. Николай говорил: «Невозможно ожидать, чтобы дело принялось вдруг и повсеместно, – это даже не соответствовало бы и нашим видам...»

Но самое утешительное для старцев крепостников (на собрании их было всего тридцать четыре) ждало впереди. Даже на этом торжественном заседании высших чинов и в высшем государственном учреждении самодержец не мог обойтись без острастки.

Упомянув о том, что вопросом о крестьянах долго и обстоятельно занимался особый, по его приказанию, комитет, результаты работ которого он не решился подписать без особого пересмотра их в Государственном совете, Николай заявил, что он очень недоволен болтливостью членов совета, «той публичной, естественно преувеличенной народной молвой, источники которой отношу к неуместным разглашениям со стороны лиц, облеченных моим доверием».

Боязнь гласности проявилась в полной мере и здесь. Понятно, что после таких слов царя, закончивших его получасовое выступление, наступило подобострастное молчание, и все члены совета сидели неподвижно, глядели на царя неотрывно и молчали безукоризненно верноподданно, пока это молчание не надоело самому царю: он приказал наконец прочитать выработанный комитетом проект указа о крестьянах.

Однако лишь только по предложению царя члены совета начали высказывать свои мысли, и наиболее либеральный из них – князь Голицын – сделал замечание, что если предоставить улучшение участи крестьян доброй воле помещиков, как это было сказано в прочитанном проекте указа, то никаких улучшений нельзя будет дожидаться, а лучше прямо указом царя-самодержца ограничить власть помещиков, – Николай торопливо перебил его:

– Я, конечно, самодержавный и самовластный монарх, но на такую меру никогда не решусь!

Совещание это кончилось ничем. Даже восстановить трехдневную барщину, введенную было его отцом, но отмененную братом Александром, Николай не решился, хотя едва ли кто-нибудь внимательнее его читал проекты декабристов об отмене крепостного права и выслушивал их пылкие молодые показания по этому предмету на допросах.

Комитетов для рассмотрения вопроса о крепостных учреждалось еще несколько и после того, но они ни к чему не привели, а революция 48-го года в Западной Европе совсем сняла с очереди этот вопрос при Николае.

На заседании Государственного совета 30 марта не присутствовал князь Меншиков, сославшийся на болезнь, но он боялся просто, чтобы кто-нибудь из его многочисленных врагов в совете не напомнил ему публично о либеральной выходке его в юности, когда он, совместно с графом Воронцовым, графом Потоцким, князем Вяземским, Васильчиковым и двумя братьями Тургеневыми – Николаем и Александром, подал императору Александру декларацию об освобождении крестьян.

За этот смелый шаг он, как и все прочие, подвергся опале, исключен был из службы и должен был уехать в деревню. Но теперь взгляды его настолько радикально переменились, что он даже одним своим появлением в совете не хотел вызвать у кого-либо воспоминания о своем старом либерализме. Особую докладную записку, в которой «решительно преждевременной» назвал даже и саму мысль об освобождении крестьян, Меншиков подал Николаю потом, на обычном приеме им министров.

Еще года за четыре до чрезвычайного заседания Государственного совета Николай учредил новое министерство – государственных имуществ, которое должно было ведать не крепостными, правда, а государственными крестьянами, то есть крестьянами, не принадлежавшими помещикам, и во главе министерства этого поставлен был генерал Киселев.

По мысли Николая, новое министерство должно было поднять нравственность и зажиточность государственных крестьян, а также устраивать для них школы и больницы.

Но если великое множество чиновников, которые устроились на службу в новом министерстве, и обрели для себя неплохие средства к достаточной жизни, то на крестьян лишним бременем легло содержание их; что же касается больниц, то даже и к концу царствования Николая одна лечебница приходилась на миллион крестьян, ученых же повивальных бабок было не свыше сорока на все ведомство.

Когда же Киселев начал усиленно заботиться о благосостоянии государственных крестьян и вводить среди них усовершенствованные приемы сельского хозяйства, то это привело к «картофельным» бунтам, а в Шадринском уезде Пермской губернии в 43-м году был довольно крупный, охвативший несколько волостей бунт на почве ложных слухов, будто государственных крестьян здесь казна продала помещику.

В наследство от своего брата Александра Николай получил военные поселения, насажденные и взлелеянные Аракчеевым; жизнь этих солдат-крестьян была беспросветно несчастна. Иногда они восставали и убивали свое начальство, как это было, например, во время холерного бунта в Новгородской губернии, но их умирляли жестоко и беспощадно.

И, однако же, все эти крестьяне – крепостные, государственные, военнопоселенцы, – забритые в солдаты по рекрутскому набору или взятые в ополчение и украшенные здесь медными крестами на картузах и шапках, защищали своею грудью в Севастополе от натиска англо-французов военную славу России.

## V

Когда Николай появился на свет, бабка его Екатерина II писала о нем своему старинному корреспонденту Гримму<sup>33</sup>:

«Сегодня мамаша родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него бас, и кричит он удивительно. Длиною он аршин без двух вершков, а руки немного менее моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря. Если он будет продолжать, как начал, то братья его окажутся карликами перед этим колоссом!...»

Поэт Державин не замедлил предречь ему великую будущность:

Он будет, будет славен!  
Душой Екатерине равен!

Пушкин в 1826 году, когда Николай разрешил ему выехать из Михайловского, написал известные «Стансы» – напоминание о его прашуре Петре:

Семейным сходством будь же горд,  
Во всем будь прашуру подобен...

Однако колоссального роста и могучего голоса оказалось далеко не достаточно, чтобы стать вторым Петром. Не помогли Николаю и огромная трудоспособность и память, если и отнюдь не «незлобная», то все же, по общим отзывам современников, выдающаяся.

Петр в умственном движении вперед своего народа видел прогресс, Николай – революцию; Петр делал из пирожников министров и из простых кузнецов – королей железа и стали; Николай – из людей государственного ума и способностей делал висельников и каторжников, из даровитейших поэтов – солдат.

Его долголетняя и упорная борьба с мыслью беспримерна в русской истории. Ее он начал с первых же дней своего царствования новым «уставом цензурным».

В уставе этом было 230 параграфов. Установлен был верховный цензурный комитет из трех министров: просвещения, внутренних и иностранных дел.

При выполнении всех правил этого устава литература русская могла существовать, только едва дыша.

Но после европейской революции 30-го года петля цензуры затянулась гораздо туже.

Николай, как и во всех областях управления, стремился делать все лично и в этой области.

Он не только был цензором Пушкина, а находил время быть строжайшим цензором решительно всей тогдашней – правда, поневоле небогатой – литературы, особенно журнальной. Ходатайства о разрешении на издание новых журналов или газет шли непосредственно к нему, и он клал большей частью резолюцию краткую, но выразительную: «Не нужно!»

Журнал Киреевского «Европеец» запрещен был с первой же книжки за статью его «19-й век»; запрещена была «Литературная газета» Дельвига; запрещен журнал «Телескоп» Надеждина, причем сам Надеждин сослан в Усть-Сысольск за помещение «Философического письма» Чаадаева, который по царскому приказу объявлен был сумасшедшим...

Цензоров, пропустивших те или иные не одобренные царем статьи, сажали на долгие сроки на гауптвахту. Даже о дороговизне извозчичьих такс нельзя было писать в газете, так

---

<sup>33</sup> Гримм Фридрих-Мельхиор (1723–1807) – литератор, состоявший в переписке с Екатериной II.



как это принималось за порицание действий полиции, составлявшей таксы. Лиц, заведовавших цензурой, было гораздо больше, чем всех книг, выпущенных в царствование Николая.

Когда начала строиться железная дорога между столицами и появились первые робкие статьи об этом в газетах, Клейнмихель испросил у Николая разрешения, чтобы все, что пройдет через цензуру по этому предмету, шло потом к нему на утверждение и без его ведома не печаталось.

Служащие военного и гражданского ведомств ничего не смели отправлять в печать без разрешения на то своего начальства. Гласности боялись как источника революции.

Могли быть миллионные хищения; губернаторы могли буквально грабить откупщиков и купцов; десятки тысяч людей могли умирать от голода, как это было в ряде губерний в исключительно неурожайный 1840 год, – ни слова об этом нельзя было помещать в газете.

А один из цензоров не пропустил даже такой строчки в учебнике географии Ободовского: «На севере России ездят на собаках». Он написал на полях книги: «Как будто в России не хватает лошадей! И что подумают об этом иностранцы?»

Литература русская была разгромлена. Погибли Грибоедов, Пушкин, Полежаев, Марлинский... Когда был убит на дуэли Лермонтов, Николай сказал: «Собаке собачья и смерть!» Ямская тройка с жандармами увезла в Вятку Салтыкова-Щедрина, который и пробыл там семь с лишком лет; угас Гоголь; за статью на его смерть был засажен под арест Тургенев, а через месяц отправлен в свое имение без права выезда оттуда куда бы то ни было; на каторге изнывал Достоевский; в эмиграцию ушли Герцен и Огарев; десять лет томился в Орской крепости, в Оренбургском крае, Шевченко, живописно-насмешливо сказавший о той эпохе, в какую пришлось ему жить:

От молдаванина до финна —  
На всех языках все молчит,  
Бо благоденствует!

Николай процарствовал лет тридцать, а заморозил Россию на шестьдесят.

## **Глава вторая**

### **Другой самодержец**

#### **I**

В 1829 году, когда длилась еще война с Турцией, на русскую службу в армию Дибича хотел поступить волонтером двадцатилетний принц Луи Наполеон, племянник Наполеона I, сын бывшего короля Голландии Людовика, брата Наполеона, и падчерицы Наполеона – Гортензии Богарне.

Когда доложили об этом желании молодого принца Николаю, он отказал наотрез – даже топнул при этом ногою от возмущения: он вообще не выносил напоминания о ком бы то ни было из наполеонидов.

Луи Наполеон рос при матери, вполне унаследовав от пылкой креолки склонность к безбрежным фантазиям при внешнем спокойствии, чудовищный эгоизм при самом любезном обхождении с окружающими, решительность замыслов, не всегда связанную с решительностью действий.

Гортензия Богарне получила воспитание в светском Сен-Жерменском институте, где основным предметом было l'art de plaire – искусство нравиться; это искусство она постигла вполне, его же передала и своему сыну.

Между прочим она имела и талант к живописи и занималась ею под руководством знаменитого художника Изабе. Отец же Луи Наполеона тоже увлекался искусством и литературой, писал стихи, романы, кое-что из истории фамилии Бонапартов и прочее. Это тоже передалось будущему императору Франции.

Впрочем, муж Гортензии, Людовик, не считал Луи Наполеона за своего сына: он даже не приехал к его родинам и крестинам. Как настоящего и подлинного отца Луи Наполеона ему называли Деказа, будущего министра полиции, с которым познакомилась Гортензия, будучи одна на водах в Котере, в Пиренеях.

Впоследствии, разойдясь уже с мужем, Гортензия родила еще сына от графа Флахо; этот побочный брат Луи Наполеона стал известен под именем графа Морни и деятельно помогал своему брату Луи взобраться на престол Франции.

Николаю было тогда восемнадцать-девятнадцать лет, когда он, сопровождая своего старшего брата, победителя Наполеона, был в Париже в 1814 году. Он видел тогда и Гортензию, старавшуюся – и не без успеха – вскружить голову мягкосердечному Александру, и ее шестилетнего сынишку – Шарля Луи Наполеона. Он гостил даже вместе с братом в ее имении Сен-Ле, где, окончательно очарованный Гортензией и ее умением петь под игру на арфе романсы, причем и слова этих романсов и музыка к ним были сочинены ею, Александр обещал ей титул герцогини Сен-Ле, чего, конечно, без труда добился от Людовика XVIII Бурбона, им же и посаженного на французский престол на место отречшегося и сосланного на Эльбу Наполеона.

Передавая лично патент на герцогство Сен-Ле Гортензии, к которой заехал по пути в Англию, Александр поручил секретарю русского посольства особую заботу о денежных делах герцогини и приказал сообщать непосредственно ему, если возникнут затруднения для нее в этих делах.

Такая забота о дочери Наполеона (которому вздумалось удочерить свою падчерицу, бывшую всего на четырнадцать лет моложе его) очень не нравилась юному Николаю.

Гортензия же, освободившись от всякой опеки со стороны своих близких (мать ее, Жозефина Богарне, первая жена Наполеона, неожиданно умерла), во всю ширь развернула свои познания в основном предмете аристократического Сен-Жерменского института, применяя их сразу в отношении нескольких венценосцев и их наиболее видных государственных деятелей.

Даже и сам Людовик XVIII был так очарован ею, что кое-кто советовал ему добиться ее развода с мужем и на ней жениться.

Однако, увлекаясь устройством своих личных дел, она забывала, что осталась единственной высокопоставленной бонапартисткой в Париже. Об этом ей часто напоминал муж в своих письмах, об этом ей напоминали немногие бонапартисты, приходившие к ней, чтобы пристыдить «дочь Наполеона», предавшуюся его врагам. Наконец, случилось то, чего она не ожидала: бежавший с Эльбы Наполеон появился в Париже, и Гортензия как ни в чем не бывало помчалась к нему. Теперь она была снова дочерью Наполеона.

Однако названный отец принял ее сурово. Он говорил ей, что она действовала позорно, вымаливая титул и земли у его победителей; он ужасался, как могла она даже вообще о чем бы то ни было говорить с его врагами...

Гортензия тихо плакала и молчала. Что могла она сказать в свое оправдание? Сильная в нескольких искусствах, она хорошо знала только одну науку – нравиться, и жизненный опыт ее доказывал ей на каждом шагу, что это самая полезная из наук. Единственное, что она могла сказать, наконец, – это о будущем двух детей, за которых она болела сердцем.

Но тут огромная толпа, собравшись под окнами дворца, кричала все громче и громче приветствия Наполеону, еще не вполне доверяя слухам о его возвращении с Эльбы, и он, сорвав с места рыдающую Гортензию и грозно приказав ей мгновенно осушить потоки слез и начать очаровательно улыбаться, появился рядом с ней в окне. Народ принял ее за Марию Луизу,

народ снова видел императора в его спокойной семейной обстановке – все было в порядке, народ заревел от восторга.

Наполеон примирился с Гортензией: в королевском дворце Тюильри<sup>34</sup> нужна была хозяйка для приемов, так как жена Наполеона Мария Луиза бежала из Франции. Гортензия и стала этой хозяйкой на все сто дней новой наполеонады вплоть до конца ее при Ватерлоо.

Новое и явно непоправимое уже падение Наполеона заставило Гортензию выехать из Парижа, так как союзники отнеслись к ней теперь как к ярой бонапартистке, и она действительно впоследствии стала ею: культ Наполеона воцарился в замке Арененберг, в швейцарском кантоне Тургау, где она после долгих мытарств поселилась прочно.

В этом скромном замке сформировалась довольно сложная личность будущего противника Николая.

Если существует в богатой копилке человеческих типов этот странный тип заговорщика от молодых когтей, глядящего кругом подозрительно и исподлбья, не доверяющего не только своим близким, но и самому себе, зорко следящего за каждым своим движением, чутко слушающего каждое свое слово, то именно таким прирожденным заговорщиком и был в свои молодые годы принц Шарль Луи Наполеон.

## II

Старшего своего сына отобрал у Гортензии по суду Людовик Бонапарт и увез во Флоренцию, так что все материнские заботы ее сосредоточились только на Луи.

В доме матери еще при жизни ее в Париже маленький Луи видел только наиболее знаменитых людей своего времени. Как м-м Рекамье<sup>35</sup> или Сталь<sup>36</sup>, имевшие свои салоны, Гортензия стремилась привлекать к себе в дом людей, о которых говорил Париж. Среди них были не только наполеоновские генералы и полковники, но иногда и писатели, художники, композиторы, даже ученые, которые как истые французы умели быть интересными в разговоре с хозяйкой дома, несмотря на свою ученость.

С тех пор как Гортензии предложено было выехать из Парижа и она попала под надзор дипломатических агентов Священного союза, переезжая из города в город, она поняла, что время пения романсов под аккомпанемент арфы и время акварельных этюдов и автопортретов в манере ее учителя живописи Изабе прошло надолго, если не навсегда.

По иронии судьбы категорический приказ короля Людовика XVIII о немедленном выезде из Парижа ей привез тот самый Деказ, которого молва называла отцом Луи.

Из иных городов ей приказывали выехать уже через два часа после приезда. Она была доведена этим до такого отчаяния, что говорила не раз: «Мне остается только броситься в озеро!»

Так усиленно считали ее ярой бонапартисткой, что ей ничего больше и не оставалось, как сделаться ею. И вместо былых поэтов и художников ее стали окружать исключительно бонапартисты.

Однако в 1821 году Наполеон умер в своем заточении. Казалось бы, с его смертью должна была умереть и бонапартистская идея. Нет, она питалась надеждами на сына Наполеона от Марии Луизы, на рождение которого поэты того времени написали тысячу триста стихотворений.

---

<sup>34</sup> Тюильри – дворец в Париже, резиденция французских монархов.

<sup>35</sup> Рекамье Юлия (1777–1849). В ее салоне собирались, особенно во времена Наполеона I, представители французской интеллигенции.

<sup>36</sup> Сталь Анна Луиза (1766–1817) – французская писательница, объединявшая вокруг себя интеллигенцию, настроенную оппозиционно в отношении Наполеона.

Провозглашенный еще в колыбели римским королем, сын Наполеона назывался теперь скромнее – герцогом Рейхштадтским, жил вместе с матерью при дворе императора Австрии Франца.

И, признавая его первым претендентом на французский престол, Гортензия внушала своему сыну, что второй и совершенно бесспорный претендент – он.

Внушение – великая вещь; из заядлого труса оно может сделать героя, из Альдонсы<sup>37</sup> – Дульцинею, а принц Луи Наполеон был от природы больших способностей. Ему не нужно было сомневаться в том, что он принц: он был принцем; ему не нужно было сомневаться и в том, что он Наполеон: это было его имя; ему оставалось только силой или хитростью пробиться к престолу Франции: это он и сделал целью всей своей жизни.

История народов представлялась ему в свете сказочной судьбы его дяди, которому казалось, что он все смеет и все может, и потому он сделался тем, кем хотел, – покорителем Европы.

Фееричность и блеск его карьеры, несмотря на печальные последние шесть лет его жизни, буквально ослепляли Луи. Ничего, кроме этого, не видел он ни позади, ни впереди истории. История же прельщала его только своим драматизмом, шумихой войн, сильными жестами. Как и дядя его, он обучался артиллерии, как и дядя его, он верил в свою звезду.

И если отец его в его годы писал сонеты, если даже его идеал – дядя Наполеон I – написал пьесу «Граф Эссекс», то он, возвратясь из Италии после подавления восстания, в котором участвовал вместе с братом, написал книжку «Политические мечтания» и продолжал заниматься артиллерией в Туне в Бернском кантоне.

Брата он потерял: тот умер от какой-то болезни, которой не переболел в детстве. Теперь исключительно на нем одном сосредоточились смутные, но тем не менее сильные надежды Гортензии.

Июльская революция в Париже изгнала Бурбонов; престол перешел к Орлеану, Луи Филиппу. С английскими паспортами для себя и сына Гортензия отважилась явиться в Париж, повидаться с новым королем. Тот принял ее ласково, но попросил все-таки скрывать свой приезд с сыном.

Однако Гортензия отнюдь не хотела делать из этого тайны. Она устраивала совершенно открыто свои денежные дела, показывала теперь уже взрослому сыну все то великолепие, которое он видел только в детстве и которое «по праву», в чем она не переставала убеждать Луи, должно было принадлежать ему, а принадлежало Орлеанам. Наконец, ей предложили выехать из Франции.

Между тем началась революция в Польше, и горячая голова Гортензии переполнилась мечтаниями о польском троне, который пока мог бы занять ее сын. Но революция в Польше была раздавлена войсками Паскевича, Варшава взята.

Временно можно бы было успокоиться двум «политическим мечтателям» – матери и сыну. Но вот неожиданно умирает в Вене болезненный сын Наполеона, герцог Рейхштадтский, и для Гортензии стало как нельзя более ясно, что теперь единственный претендент на престол Франции ее сын.

Но к престолу нужно было идти уверенными шагами, и беспокойная мысль Луи стала усиленно работать над планом военного переворота.

Он хорошо изучил истории всех вообще переворотов и отлично понимал, что стоило ему только овладеть Парижем, и он овладел бы всей Францией. Однако пробраться в Париж не представлялось возможным: там его хорошо за последний приезд рассмотрела полиция. Был выбран большой город в Эльзасе – Страсбург, был разработан план военного восстания. Гортензия сначала испугалась такой затеи сына, но ведь она так же верила в его счастливую

---

<sup>37</sup> Альдонса – крестьянка, которая в воображении героя романа Сервантеса, Дон Кихота, превратилась в прекрасную даму Дульцинею.

звезду, как и он сам. Она согласилась, наконец, с его планом, тем более что время шло, она старела, Луи шел уже двадцать восьмой год.

А между тем единственным человеком, на кого мог рассчитывать Луи, был полковник артиллерии Водре, который только своих подчиненных мог убедить в том, что в Париже произошла революция, что Луи Филипп свергнут с престола, а нового императора, племянника великого Наполеона, они скоро увидят в Страсбурге и в артиллерийской казарме.

И принц Луи Наполеон действительно явился, в сером сюртуке и треугольной шляпе – историческом костюме своего дяди, несколько загримированный под Наполеона I для полноты иллюзии и с теми немногими орденами на сюртуке, которые обычно сопровождали изображения корсиканца.

Принц Луи вошел в казармы не один, конечно, а со «штабом» из нескольких лиц. Водре принял его с подобающей торжественностью и тут же послал нескольких из своих подчиненных арестовать начальника дивизии и префекта.

Торжественно проследовал Луи в соседние казармы 46-го полка, но здесь провалилась вся затея. Даже простых солдат, ничего не слыхавших о революции в Париже, оказалось не так просто убедить, что перед ними новый король Франции, а вбежавший командир полка немедленно приказал арестовать и Луи Наполеона и его «штаб» и отправить всех вместе с Водре в Париж.

Вместо трона Луи попал в тюрьму в ожидании суда. Это так испугало его мать, что она ринулась через все рогатки в Париж сама, чтобы умолить короля помиловать ее сына. Но королю и без того вся эта затея бонапартистов показалась более смешной, чем опасной. Он решил совсем не судить Луи, чтобы не поднимать излишнего шума около бонапартистской идеи, а отправить его как можно дальше от Франции.

Остановились на Соединенных Штатах, и король не только выпустил из тюрьмы претендента на свой престол, но еще и приказал выдать ему десять тысяч франков на обустройство в Америке, куда он был отвезен на одном из военных судов. Даже полковник Водре и другие участники неудавшегося «переворота» не понесли никакого наказания.

Все-таки на Гортензии отразилась тяжело эта неудача с сыном и насильственная разлука с ним. Она заболела и уже не смогла оправиться. Она умерла осенью 1837 года, но за месяц до ее смерти в замок Арненберг приехал к ней бежавший из Америки Луи. Похоронив мать, он остался один со своей мечтой о короне. Однако французское правительство обеспокоилось его приездом, и целый корпус войск придвинут был к швейцарской границе, чтобы силой поддержать требование немедленно удалить его из Швейцарии.

Швейцарцы начали готовиться к войне с Францией; категоричность требования им не понравилась.

Хотя такая готовность защищать его вооруженной силой как нельзя более пришлась по душе принцу Луи, но он все-таки решил избавить Швейцарию от явного разгрома и тайком выехал в Англию.

Великое искусство нравиться, унаследованное от матери, принц Луи пустился широко применять в лондонских высших кругах и в среде крупных политических деятелей.

Он видел, что отдых англичан – это только замена одного занятия другим, поэтому тоже был чрезвычайно деятелен в отыскании все новых и новых знакомств с людьми, которые со временем могли бы быть ему полезны. Он стремился быть популярным, он заботился всячески о том, чтобы о нем говорили.

Когда в Лондоне появился командированный Николаем дельный и знающий военный инженер генерал-адъютант Шильдер, принц Луи добился знакомства и с ним, и не было тех льстивых комплиментов, которых не расточал бы он по адресу русского царя. Но все это говорилось им только затем, чтобы Шильдер по приезде в Петербург доложил Николаю, что одного

слова такого могущественного монарха достаточно было бы для него, племянника Наполеона, чтобы он, принц Луи, сверг ничтожного Людовика Филиппа с французского престола.

И Шильдер действительно доложил об этом Николаю, но, как признавался он сам потом, гораздо лучше бы сделал, если бы не докладывал, – так раздражило это царя.

Между тем в 1840 году, как известно, французское правительство решило перевезти с острова Святой Елены прах Наполеона во Францию. Для человека, только и жившего наполеоновской легендой, с детства воспитанного в культе Наполеона, это решение прозвучало как приказ тени великого полководца: «Действуй!»

Из Лондона он поддерживал денежно две бонапартистские газеты: «le Capital» и «Le Commerce»; эти газеты всячески старались поддерживать во Франции настроения в пользу бонапартистских идей. Он написал и выпустил книгу «Наполеоновские идеи», в которой стремился доказать, что Наполеон I был не кто иной, как «исполнитель заветов революции, ускоривший наступление царства свободы»; что весь он был поглощен одной заботой установления демократии, а войны его имели только одну цель: водворить мир.

Нетрудно убедить человека, который только и ждет, чтобы его убедили. Немногочисленным сторонникам принца Луи стоило только сказать ему, что настроение умов по ту сторону Ламанша всецело в его пользу, как он появился во Франции, только уже не в Страсбурге, а в Булони.

Увы, булонский путч был так же неудачен, как страсбургский! И принц Луи и его сторонники, кроме двух убитых, были захвачены, но теперь претенденту на французский престол пришлось уже выступить перед судом.

На суде он держал себя с достоинством и презрительно относился к судьям. Оскорбленные им судьи приговорили его к пожизненному заключению в крепости Гам.

Казалось бы, на этом и должна была закончиться карьера неудачного искателя престола Франции: сиди в крепости и жди смертного часа, – но принц Луи обратил свою камеру в кабинет писателя по политическим и военным вопросам.

Он прочитал в своем заключении множество книг и написал книгу об Англии, книгу «Об уничтожении пауперизма», отнюдь не лишнюю интереса для специалистов, книгу «О прошедшем и будущем артиллерии». Он написал ценную статью о возможности прорытия канала на Панамском перешейке для соединения Атлантического океана с Тихим, на много лет предупредив практическое разрешение этого вопроса; писал статьи о сахарной промышленности; писал по ряду вопросов политических и в то же время вел обширнейшую корреспонденцию со своими сторонниками, пользуясь сочувствием, которое возбуждал теперь во многих своей судьбой.

Высланный за прахом Наполеона корабль бросал якорь в бухте острова св. Елены, когда принца Луи водворяли на всю жизнь в крепость Гам. Между тем прах Наполеона был привезен, и «Франция среди рукоплесканий и кликов радостных», как сказал Лермонтов, его встретила. Принц Луи ожидал даже, что эта всеобщая радость заставит правительство отворить дверь его камеры.

Ожидания оказались напрасными, однако сочувствие в народе к нему, родному племяннику великого полководца и императора Франции, очень выросло за эти дни торжества. Партия бонапартистов весьма значительно увеличилась численно. И хотя принцу Луи пришлось пробыть в заключении около шести лет, все же бонапартистам удалось помочь ему освободиться, доставив ему в камеру костюм рабочего, в котором он и вышел из тюрьмы, неся на плече доску и прикрываясь ею от тюремного начальства на дворе и от часовых в воротах.

Через два дня он был уже снова по ту сторону Ла-Манша, а через два года избран был президентом французской республики при помощи плебисцита: из семи с лишним миллионов голосов за него было подано около пяти с половиной миллионов.

Короля Луи Филиппа сбросил, конечно, не он, а мощный взрыв февральской революции 48 года. Она длилась в Париже, как известно, всего два дня – 23 и 24 февраля, вылившись в восстание республиканской партии против монархии и начавшись, как всегда, баррикадами в рабочих кварталах.

Испуганный Луи Филипп отказался от престола в пользу своего внука, графа Парижского, но сделавшийся королем утром 24 февраля граф Парижский перестал уже считаться им к вечеру того же дня, так как образовавшееся из членов разных партий правительство издало декрет: «Республика учреждается как правительство Франции». И так же точно, как и в июле 30 года, революция в Париже не вызвала ни малейших протестов нигде во всей Франции.

Политический деятель того времени Жюль Симон, который отказался присягнуть на верность Людовику Наполеону, так говорит об этом перевороте: «Агитация была устроена либералами в пользу республики, которой они боялись: а в последнюю минуту подача голосов была организована республиканцами в пользу социализма, который внушал им ужас».

Высшая власть сосредоточилась в руках Временного правительства, в которое вошли члены двух партий: республиканцев «парламентских» и республиканцев «демократических». Каждая из этих двух партий понимала республику по-своему: первая – она называлась национальной, – не шла дальше всеобщего избирательного права и трехцветного знамени; вторая – она называлась партией реформы, – требовала социальной революции, немедленного улучшения положения рабочих и признала красное знамя.

Борьба между этими двумя партиями во Временном правительстве началась с первых же дней. Представители социальной партии преобладали в правительстве. Рабочие, вооруженные революцией, не сдавали оружия. Когда правительство издало декрет, чтобы все граждане имели право войти в национальную гвардию, рабочие вступили в легионы, и национальных гвардейцев оказалось в Париже до двухсот тысяч к середине марта. Возникли рабочие клубы, в которых коммунисты пропагандировали социальную революцию.

Чтобы ввести в жизнь формулу социалистов «право на труд», член правительства социалист Луи Блан составил декрет: «Правительство французской республики обязуется гарантировать рабочему существование посредством труда; оно обязуется обеспечить работу каждому гражданину». Вслед за этим декретом последовал декрет об устройстве «национальных мастерских».

Однако осуществить это не удалось, между тем число безработных росло с каждым днем: к маю их было уже до ста тысяч в Париже. Им давали земляные работы на Марсовом поле с платой по два франка в день, потом оставили совсем без работы.

Избрано было всеобщей подачей голосов Учредительное собрание из девятисот представителей, в котором большинство стояло за политику буржуазной части Временного правительства, то есть хотело демократической республики и высказывалось против социального переворота. Социалисты пытались силой установить правительство социальных реформ. Подавая петицию в пользу Польши, они объявили собрание распущенным и провозгласили вновь Временное правительство, составленное исключительно из вождей социалистической партии, как то: Бланки, Барбес, Луи Блан, Кабе, Прудон, Ледрю-Роллен и другие, – но национальная гвардия вытеснила их из собрания.

Тогда поднялось восстание рабочих, и началась гражданская война.

Это было в июне. Собрание поручило генералу Кавеньяку подавить восстание рабочих, и оно было подавлено с большою жестокостью. Бои на улицах были очень кровопролитны. Пленные расстреливались. Социалистическая партия перестала существовать.

Тогда Учредительное собрание выработало Конституцию 1848 года сообразно с политическими взглядами большинства членов: права личности были провозглашены, социальные же реформы только обещаны. Основами республики были признаны: семья, собственность, общественный порядок. Наконец, установлено было две власти, обе исходившие от французского

народа: законодательная, передаваемая народом собранию из семисот пятидесяти представителей, избранных всеобщей подачей голосов, и исполнительная, вручавшаяся народом президенту республики, которому предоставлялось право назначать министров. Президент избирался по этой конституции на четыре года (как в Соединенных Штатах Америки).

Таким образом, власть над Францией должна была перейти в руки того, кто будет выбран президентом.

Начиная с февральских дней, боролись за власть только две партии; они и выставили своих кандидатов в президенты: одна – бравого усмирителя восстания рабочих генерала Кавеньяка, другая – Ледрю-Роллена. Партию бонапартистов старались даже не замечать по ее малочисленности, но она в короткое время развила энергичнейшую деятельность.

Принц Луи Наполеон постарался забыть старый политический лозунг: «Кто победит Париж, тот победит и Францию», – точнее, он перевернул его. Получилось: «Кто победит Францию, тот победит и Париж». Он постарался победить Францию провинциальную, крестьян французских, а не парижских рабочих, крестьян, отнюдь не разбиравшихся в программах политических партий, но хорошо знавших, кто был Наполеон.

Делал ли при этом что-нибудь он лично? Очень немного: только руководил издали своими приверженцами, наиболее энергичным из которых был его побочный брат, граф Морни. Правда, он немедленно явился в Париж из Англии, чуть только дошла до него весть о революции и свержении Людовика Филиппа, но Временное правительство попросило его удалиться из пределов Франции. Помня шестилетнее заключение в крепости Гам, он не заставил себя упрашивать и поспешил уехать. Он вернулся только тогда, когда всеобщей подачей голосов был избран в Национальное собрание в нескольких департаментах.

Временное правительство очень встревожилось этим и хотело издать приказ об аресте его, ссылаясь на закон 1816 года, по которому все члены фамилии Бонапарт изгонялись из пределов Франции. Однако возобладало мнение, что «закон, направленный против одного только человека, не достоин великого собрания». Тогда сложивший было уже свои полномочия и приготовившийся к новому бегству Луи Наполеон остался скромно выжидать дальнейших событий.

Выбранный президентом таким громадным большинством голосов (за Кавеньяка было подано миллион четыреста тысяч голосов, за Ледрю-Роллена триста семьдесят тысяч), Луи Наполеон поднял голову.

Он почувствовал, что наконец-то мечта его жизни исполнилась: хотя и не император еще, он стал уже хозяином Франции. Ему было в то время сорок лет.

### III

Никто не был более изумлен таким оборотом дела Луи Наполеона, как император Николай, для которого этот принц все продолжал оставаться только незаконным племянником узурпатора дяди и пылким, хотя и неудачным деятелем итальянской революции 30-го года.

Но с каждым новым донесением своего посланника во Франции, с каждым новым листом иностранных газет, которые им внимательно читались, раз дело шло об его исконном враге – революции, Николай изумлялся еще более, только теперь в обратную сторону. Он вполне искренне и с большим сочувствием говорил теперь о президенте Луи Наполеоне: «Молодец!» – узнавая, как он расправляется с революционерами во Франции, хотя и поклялся, вступив во власть, «быть верным демократической республике и защищать конституцию».

Хотя Учредительное собрание и продолжало заседать по-прежнему, но министры, избранные президентом из представителей монархических партий, уже посылали префектам в провинции приказы рубить так называемые «деревья свободы», запрещая всякие политиче-



ские собрания, и французская армия, вопреки решению собрания, получила приказ атаковать Рим.

Годы президентства Луи Наполеона прошли в непрерывной борьбе его с республиканцами и в подготовке Франции к провозглашению Второй империи.

Уже в мае 49-го года в Законодательное собрание из семисот пятидесяти членов его было избрано пятьсот монархистов. Это большинство в полном согласии с президентом и министрами давило республиканскую партию, отнимая у нее средства действия, как то: газеты, школы, всеобщую подачу голосов, право составлять политические общества.

Крупнейший из руководителей партии республиканцев, Ледрю-Роллен, вынужден был эмигрировать в Лондон.

Постепенно и министров-орлеанистов президент заменил бонапартистами. Во всей Франции появились католические гимназии и начальные школы, а школы для девочек были поручены монахиням.

Президент остался верен своему правилу опираться на крестьян. Он часто ездил по провинции и всюду говорил с большим искусством речи, проводя в них свои, «наполеоновские идеи». Его агенты в толпе слушателей кричали: «Да здравствует Наполеон!..» – но с течением времени начали уже кричать как бы в соловьином экстазе: «Да здравствует император!»

Луи Наполеон отнюдь не делал вида, что его смущают подобные проявления восторга толпы. Он не запрещал таких криков. Напротив, когда после смотра армии в Сатори в октябре 50-го года кавалерия кричала: «Да здравствует Наполеон!» – а пехота по приказу командовавшего ею генерала вздумала молчать, военный министр уволил этого генерала в отставку.

Луи Наполеон все гуще окружал себя своими сторонниками, готовыми на самые энергичные меры для восстановления империи, и на первом месте среди них стоял его брат, граф Морни, из которого вышел человек недюжинных способностей, биржевой спекулянт, организатор многих торговых и промышленных обществ, врашавшийся в среде практических людей, ясно видевший цели, к которым надо было идти, и средства, благодаря которым их можно было достигнуть.

Но он был только делец; среди военных же наиболее ревностным и способным сторонником наполеоновской идеи был полковник Флери, неспособный отступить ни перед какой опасностью. Он отыскал в Африке Сент-Арно, и этот генерал был приглашен в Париж и сделан военным министром. А когда стал военным министром, то немедленно приказал убрать из всех казарм декрет 48-го года, который давал Учредительному собранию права требовать вооруженную силу.

Префектом полиции был назначен сторонник принца Луи, весьма исполнительный Мопя; к заговору примкнули и начальник парижского гарнизона генерал Маньян, и генерал Авостин – командир национальной гвардии, и много других видных представителей вооруженных сил Парижа: опыт неудачных путчей в Страсбурге и Булони отлично был учтен Луи Наполеоном, и теперь он сделал все, чтобы бить наверняка.

В свою очередь и республиканцы организовали тайные общества для борьбы с президентом, который не имел желаний сложить свою власть к концу четырехлетия, на какое был избран, но эти общества не только не были объединены одним руководством, но даже враждовали друг с другом. Между ними выделялись: партия бланкистов, социалистическая партия Луи Блана и Союз коммунистов.

Агенты правительства обвиняли эти общества в том, что они имеют склады оружия и готовят нападение на префектуры, а президент, открывая собрания по подготовке к выборам, говорил о «демагогическом заговоре, который организуется во Франции и в Европе».

Луи Наполеон, убедившись в том, что все военные силы Парижа в его руках и ему будут послушны, решился не ожидать конца своих полномочий как президента и произвел переворот. 2 декабря 1851 года он издал декрет, которым Законодательное собрание распускалось

и французский народ, в силу всеобщего избирательного права, призывался к избирательным урнам. Исполнительная власть восстала против власти законодательной.

Чтобы обеспечить себе успех без сопротивления, Луи Наполеон приказал арестовать ночью главных вождей партий.

Однако свыше двухсот членов Законодательного собрания все-таки нашли возможность собраться и, что было вполне согласовано с конституцией, постановили низложить президента. Солдаты арестовали депутатов собрания и отвели в тюрьму.

Большими отрядами проходя по улицам и бульварам, солдаты на другой день стреляли залпами в безоружную толпу, даже в тех, кто выскакивал из квартир верхних этажей на балконы, чтобы посмотреть, что за стрельба на улицах.

В кварталах Сент-Антуан и Сен-Мартен, рабочих кварталах Парижа, не замедлили появиться баррикады, но для борьбы с целым парижским гарнизоном силы были слишком неравны.

Участником борьбы республиканцев с президентом в эти дни, 2–4 декабря, депутатом собрания Виктором Гюго, бежавшим из Франции, была написана в эмиграции книга «История одного преступления», полная потрясающих подробностей разгрома Парижа «маленьким Наполеоном», как он назвал президента в своем знаменитом памфлете.

По документам, найденным в Тюильри в 1870 году, арестованных в связи с переворотом 2 декабря было свыше двадцати шести тысяч, из которых пятнадцать тысяч приговорены были к ссылке (девять с половиной тысяч – в Алжир, около двухсот пятидесяти – в Кайенну).

Так сделан был Луи Наполеоном решительный шаг к трону. Подача голосов назначена была на 20 декабря, и семь с половиной миллионов высказалось за то, что «народ желает сохранения власти Людовика Наполеона Бонапарта и дает ему полномочия на составление конституции на основаниях, изложенных им 2 декабря».

К этому можно было бы добавить: «Притом изложенных гораздо убедительнее пулями и штыками, чем словами».

Самый день 2 декабря выбран принцем Луи потому, что в этот день совершена была коронация Наполеона I и в этот же день произошло знаменитое Аустерлицкое сражение, в котором Наполеон разбил соединенные русско-австрийские силы и обратил в бегство императоров Александра и Франца.

Нужно было только получить полномочия на составление новой конституции, составить же ее не представляло труда. И она была составлена так, что президент, избранный теперь уже на десять лет, а не на четыре года, становился самодержавным властелином Франции.

Он был ответствен теперь только перед народом, объявлявшим свою волю плебисцитом, то есть был безответствен. Он имел право самостоятельно заключать договоры с другими державами, объявлять войну и осадное положение, назначать на все должности и издавать законы.

Все военные и гражданские чины должны были приносить ему присягу на верность как монарху.

Дальше этого идти уже было некуда. Оставалось только вместо маловразумительного слова «президент» поставить пышное слово «император» и вместо «десяти лет» поставить знак бесконечности, имея в виду еще и династические интересы.

Такие результаты декабрьского переворота, конечно, обеспокоили не только революционные круги, но и всех вообще государственных деятелей Европы и особенно монархов. Больше всех возмущен был этим Николай I.

Пока Луи Наполеон подавлял революцию во Франции, он был, конечно, и приемлем и даже более чем на месте в глазах Николая: он готов был думать, что даже Бенкендорф и Клейнмихель при таких обстоятельствах не могли бы действовать энергичнее и умнее.

Но стремиться стать императором или даже королем... Это, по понятиям Николая, было бы во всяком случае оскорбительным для монархической власти, которая должна быть прежде всего наследственной.

– Пусть он будет всем, чем хочет, этот Людовик Наполеон, – говорил он возмущенно, – хотя бы великим муфтием<sup>38</sup>, если ему это нравится, но что касается императорского или королевского титула, то я не думаю, что он будет настолько неосторожен, чтобы его добиваться.

Между тем, верный своим наследственным способностям нравиться, сам Людовик Наполеон уже через месяц после переворота обратился к Николаю с письмом, похожим на докладную записку, которая составлена с таким расчетом, чтобы быть непременно одобренной начальством.

Он всячески выпячивал в этом письме необходимость сделать то, что он сделал, так как «деятельность партий угрожала Франции анархией, которая вскоре могла бы обнять всю Европу...»

Если «всю Европу», то, значит, и Россию; недвусмысленно принц Луи давал понять Николаю, что он заботился и о его благополучии и покое, совершая свой кровавый переворот; что у него, президента Франции, с ним, императором России, вполне общие интересы, почему он и действовал «по-русски».

Свое письмо он заканчивал так: «Правительство будет особенно заботиться о поддержании внешнего мира и о более близких отношениях к кабинету вашего величества».

Конечно, Николай не замедлил ответить, что очень доволен энергичными действиями президента на пользу порядка в Европе, поздравил его с «доверием» к нему Франции, избравшей его снова на десять лет, уверил его, что всегда встретит он в нем «полную готовность соединиться для совместной защиты священного дела сохранения общественного порядка, спокойствия Европы, независимости и территориальной целостности ее государств и уважения существующих трактатов».

Трактаты же были всякие; между ними был и Венский 1815 года, которым раз и навсегда воспрещалось представителям дома Бонапартов занимать престол Франции.

#### IV

Однако престол Франции был занят и именно Бонапартом, президент ли он был, или король, или император: Венский трактат был нарушен, и Николай не мог этого не понимать, но ни за что не хотел признать этого открыто. Просто он был так воспитан, что считал неприличным замечать чужое неприличие.

Со всех сторон Европы, из столиц, где были русские посольства, шли к нему тревожные депеши дипломатов школы канцлера Нессельроде.

Барон Бруннов, русский посланник в Англии, доносил, что в Лондоне все очень встревожены декабрьским переворотом, что там боятся войны, которую может начать новый полновластный самодержец Франции, начиненный, как бомба, «наполеоновскими идеями», что трехсоттысячная армия французов будто бы уже начинает бряцать оружием, чтобы придать больше блеска ореолу племянника воинственного дяди.

Николай на этом донесении сделал такую пометку: «Я уверен, что если Франция начнет войну, то первые ее удары будут направлены не против Германии, а скорее против Англии, так как там это более вероятно, чем возможно».

Ему так хотелось, чтобы скорее развалилось «сердечное соглашение», что он уже принимал желаемое за необходимое, тем более что, по уверениям того же Бруннова, Англия была совершенно неспособна к сухопутной войне, – она не имела постоянных войск, а с кем же и

---

<sup>38</sup> Муфтий – мусульманский богослов.

воевать, как не с соседом, не имеющим большой армии? Именно только так и привык вести войны сам Николай с персами, с кавказскими горцами, с турками в 28-м году.

Может быть, никогда за все сорок лет с падения Наполеона I дипломаты не работали так усиленно, как в 1852 году, стараясь как-нибудь выйти из того запутанного положения, в какое поставил их «Наполеон маленький».

Что он стремился к провозглашению во Франции Второй империи – это было очевидно для всех; что вслед за этим неизбежно последует отнюдь не восстание в Париже, а война в Европе, – в этом не сомневались дипломаты, постигшие уже со свойственной им хитростью таинственный характер французского президента.

И если император Николай с легким сердцем пророчил, что французская армия замарширует на северо-запад, то политики Лондона заранее начали готовить все доводы к тому, чтобы набухающую грозным электричеством тучу направить из французских гарнизонов на юго-восток.

Дипломаты не ссорятся с теми, кого опасаются: напротив, рассыпаются перед ними в любезностях, – поэтому барон Бруннов предупреждал Николая, что если Людовик Наполеон объявит себя императором, то Англия первая признает за ним этот титул. Австрийский министр иностранных дел, князь Шварценберг, тоже советовал русскому канцлеру признать империю, ссылаясь и на то, что «Людовик Наполеон оказался лучшим и единственным охранителем порядка во Франции».

Пруссия заявила Николаю, что готова «действовать в полном согласии с Россией». Николай же был совершенно непреклонен и поручил русскому послу в Париже Киселеву отклонить принца Луи от пагубной мысли об императорском титуле, сам же лично внушал это французскому послу при своем дворе Кастельбажаку.

Переговоры дипломатов все шли. Кипы бумаг, исписанных по этому вопросу, грозили обратиться в горы.

В мае 52-го года Николай был в Берлине. К нему для переговоров все о том же «возможном изменении формы правления во Франции» был командирован президентом барон Дантес-Геккерен, убийца Пушкина, забывший уже свою былую верность Бурбонам и служивший Бонапарту. Николай принял его как бывшего офицера своей гвардии.

Барон Геккерен изложил надежды президента на поддержку императора России в его домогательствах, причем Луи Наполеон обещал даже разоружение, чтобы уверить все державы в своем миролюбии.

Николай возразил, что, по его мнению, положение принца и без императорского титула превосходно; окончательно же высказаться по этому вопросу он обещал тогда, когда принц Луи действительно разоружится и будет соблюдать Венский трактат в том пункте, который касается наследственности власти.

Дантес поспешил заверить Николая, что Луи Наполеон и не собирается передавать власть кому-нибудь из своих родственников, так как всех их он одинаково презирает; детей же у него, пока еще холостого, нет.

Между тем Николай видался не только с королем прусским, но и с юным Францем Иосифом, чтобы укрепить нити Союза. В том, что Людовику Наполеону надо решительно отказать в праве передачи власти кому-либо из Бонапартов, все три монарха были вполне согласны.

Англичане же оказались гораздо более ветрены: они не видели особенной важности в этом вопросе, – а престарелый фельдмаршал Веллингтон, когда к нему обратились за мнением, сказал ворчливо:

– Франция – и престолонаследие! Разве эти два понятия были связаны в текущем веке?... Наполеон Первый ушел в изгнание. Карла Десятого выгнали, Людовика Филиппа выгнали... Почему же все думают, что не выгонят этого нового Бонапарта? И почему так много говорят о престолонаследии, когда нет никаких вероятностей, чтобы оно вообще состоялось когда-нибудь?..

Старик оказался прав, как известно; Николай же все старался убедить Луи Наполеона оставаться по-прежнему президентом и не объявлять Францию империей. Он весь был во власти «исторических фактов, которые не могут быть стерты словами», как писал он принцу.

Когда же к концу 52-го года стало известно, что, несмотря ни на какие советы Николая, принц Луи твердо и бесповоротно решил принять титул императора, перья дипломатов заскрипели с удвоенной силой, чтобы решить, как должны себя вести при этом посланники России, Австрии, Англии, Пруссии; как должны будут писать к новоявленному императору монархии этих держав в частных письмах: «mon frere» («мой брат»), как они писали друг другу, или только «mon cher ami» («мой дорогой друг») – и можно ли позволить Луи Наполеону именовать себя «Наполеон III».

Последнее особенно возмущало Николая, который упорен был в своем взгляде на Наполеона Бонапарта как на обыкновенного узурпатора престола, лишённого всяких династических прав по Венскому трактату. Если же признать, что на троне Франции сидит Наполеон III, то, значит, нужно порвать Венский трактат и признать династию Бонапартов равноправной с династией Бурбонов. Кроме того, если счесть за Наполеона II давно умершего в Вене юного герцога Рейхштадтского, то где же и когда он царствовал, этот герцог?

Цифра доводила Николая до бешенства. Относительно поведения посланников держав Священного союза он решил, что они могут явиться в Тюильри по приглашению президента, но должны тотчас, как только провозглашена будет империя, сложить свои полномочия. Обращение же монархов Союза к императору Наполеону III должно быть отнюдь не «mon frere», а только: «его величеству, императору французов».

Пока шла вся эта сложнейшая и тончайшая по своим мотивам переписка, Людовик Наполеон, окончательно подготовивший при помощи многочисленных своих агентов убедительнейшие результаты плебисцита, приступил к осуществлению мечты своей юности, мечты своей матери, мечты, взлелеянной в тихом замке Арененберг, в кантоне Тургау.

На всенародное голосование было поставлено предложение сената о «восстановлении императорского достоинства в пользу Людовика Наполеона и его потомства». Это было 21 ноября, а 1 декабря объявлены уже были результаты голосования: за предложение высказалось около восьми миллионов, против – около двухсот пятидесяти тысяч, и воздержалось от подачи голосов несколько более двух миллионов человек.

В ночь с 1 на 2 декабря, как только окончился подсчет голосов, сенаторы и другие высшие чиновники торжественно, в каретах, с факелами впереди, двинулись к дворцу президента, «волей народа» ставшего императором. Новый император произнес пышную речь. Он даже призывал к сотрудничеству «независимых людей, которые могли бы помочь ему своими советами и ввести власть в надлежащие границы, если бы она их когда-нибудь перешагнула».

Так 2 декабря 1852 года, в день годовщины знаменательнейших событий: коронации Наполеона I, битвы трех императоров при Аустерлице и кровавого переворота, совершенного им самим, – принц Луи Наполеон стал императором Наполеоном III.

Он не забыл порадовать мать, которая не могла торжествовать теперь с ним вместе: на ее могиле в Рели, где она покоилась рядом с его бабушкой Жозефиной, он приказал поставить заранее заготовленный великолепный памятник с надписью «Королеве Гортензии – ее сын Наполеон III».

Первой державой, которая признала его сразу и без всяких оговорок, была, как и ожидали, Англия. На полученном известии об этом Николай написал: «Это похоже на то, как дети говорят, когда боятся: “Дядюшка, боюсь!..” Любопытно, как наивно со стороны английских министров сознание страха. Это печально!»

Да, это оказалось действительно печально для России: «сердечное соглашение» не только не раскололось, но даже как будто еще более скрепилось спасительным страхом английских

министров, а вот насколько именно печально, не определял и едва ли мог определить слишком самонадеянный Николай.

Перед ним только все отчетливее начал вырисовываться облик загадочного сорокачетырехлетнего человека, которого причудливая судьба из революционера, каким он проявил себя в Италии, сделала палачом революционеров во Франции, из узника крепости Гам – самодержавным, как и он, императором, причем ни он сам, ни вся Европа ничего не сделали, чтобы воспрепятствовать этому вооруженной силой.

Толстый Людовик Филипп при первой же вспышке февральской революции трусливо бросил трон, на который втащили его крупнейшие банкиры Франции – Казимир Перье, Лаффит и другие; этот, ясно было, отнюдь не уступит без сильнейшей борьбы трона, к которому стремился так долго, так упорно и которого добился наконец не благодаря банкирам, а «волей нации».

Николай видел Луи Наполеона только в 1814 году, когда тому было шесть лет, и смутно помнил его; но теперь, после его «избрания», он пристально вглядывался в портрет его, на котором новый император был изображен в военном мундире с эполетами, с одинокой звездой на левой стороне груди и с лентой через плечо... Его открытый широкий лысеющий лоб, его тяжелый взгляд человека, верящего в себя и не верящего никому, кроме себя, его горбатый орлиный нос, закрученные в две острые шпаги усы и узкая длинная эспаньолка, уже узаконенная во французской армии (высший признак самодержавности монарха!), – все это внимательно рассматривалось Николаем.

Своего соперника, и соперника сильного, потому что изворотлив и хитер, он чувствовал в нем, но в то же время знал, что их разделяют слишком большие пространства немецких земель. Он думал, что война между ними если и возможна, то только в форме чисто дипломатической, себя же самого он считал столь же непревзойденным дипломатом, сколь крупнейший из его генералов – «отец-командир» князь Паскевич – считал себя непревзойденным стратегом и шахматистом.

## **Глава третья**

### **Третий самодержец – его величество капитал**

#### **I**

Англия торговала со всем миром и колоссально богатела. Со времен войны с Наполеоном I ей не приходилось воевать в Европе, а колониальные войны, какие она вела, были незначительны по размерам.

Англией, как это повелось издавна, правила родовая аристократия, правда с небольшою примесью «манчестерцев», то есть представителей торгово-промышленного капитала.

В Англии офицерские места продавались – явление чрезвычайно странное в XIX веке, – но покупали их младшие сыновья аристократических семейств, чтобы иметь возможность существовать, так как по праву майората только старшие сыновья наследовали состояния своих отцов: огромные имущества аристократии таким образом не дробились.

Английские промышленники того времени были так могучи, что, например, манчестерские фабриканты тканей говорили: «Если бы найден был доступ на другую планету и если бы оказалось, что эта планета заселена человекоподобными существами, нуждающимися в одежде, мы взяли бы в самый короткий срок одеть всех обитателей этой планеты».

Могучая промышленность искала всюду новых и новых рынков сбыта. Англия добывала железа и чугуна гораздо больше половины всего, что добывалось тогда во всей Европе.

Половина всего ввозимого в Европу хлопка шла на манчестерские фабрики; две трети механических веретен в Европе для производства льняных тканей приходилось на долю Англии.

Одних только больших торговых кораблей к началу пятидесятих годов считалось в Англии до шестнадцати тысяч – почти половина всего торгового флота Европы.

Нигде в мире не было столь мощного капитала, как в Англии, и нигде в мире не было столь вопиющей нищеты, как там.

Замена ручной работы машинами позволила фабрикантам брать на работу вместо взрослых мужчин женщин и, к стыду Англии, детей.

Владельцы угольных шахт даже пятилетних ребятишек принимали в шахты: должность этих рабочих состояла только в том, что они отворяли двери при провозе вагонеток с углем. Этих несчастных малюток опускали в шахты с шести часов утра, и там они проводили в темноте и грязи целые дни, не смея отойти от дверей, к которым были приставлены. Каторжные работы в рудниках считались в те времена тягчайшим наказанием даже для взрослых, вполне сознательно совершавших те или иные преступления против общества, отлично зная при этом, как именно могут быть они наказаны по суду, если их преступления будут раскрыты.

Но в Англии того времени каторгой становилась жизнь детей пролетариата, едва только они открывали глаза на жизнь. Они не видели неба, с утра до ночи несколько лет подряд работая в шахтах. Годом к десяти они сами начинали возить по рельсам вагонетки с углем.

Квершлаги шахт того времени были узки, низки, местами в них приходилось просто ползти на четвереньках, упираясь руками в вонючую грязь...

Там работали мальчики и девочки вместе, очень рано обучаясь у взрослых омерзительным ругательствам, пьянству, разврату, преступлениям... Становясь совершеннолетними, они наполняли тюрьмы.

Только в начале сороковых годов английский парламент удосужился заняться вопросом о детском труде в шахтах и запретил его. Но этим он поставил в безвыходное положение родителей, ибо многим семьям углекопов даже и такая явно каторжная работа детей казалась все-таки лучше голодной смерти, близость которой особенно грозно ощущалась во время торговых кризисов, заставлявших промышленников и фабрикантов прекращать работы.

Если манчестерские фабриканты готовы были одевать целые планеты, только бы нашелся к ним доступ, то манчестерским ткачам во время подобных кризисов вовсе не во что было одеваться и нечего есть.

В самом Лондоне, в котором было тогда два с половиной миллиона жителей – в то время как во всей Англии только семнадцать миллионов, – на рынке между кварталами Уайт-Чепл и Бетнал-Грин еженедельно по вторникам родители приводили детей в возрасте от семи до десяти лет и предлагали их первому попавшемуся хозяину внаем на какую угодно работу по пятнадцати часов в день.

Это был крикливый торг, так как родители с ругательствами вырывали друг у друга из рук хозяев, приходивших на рынок. Они всячески выхваляли своих детей и ругали чужих; они раздевали их торопливыми руками, чтобы воочию показать, как хорошо они сложены, какие они сильные для своих десяти лет (и семилетние шли при этом за десятилетними).

И ведь это совсем не был невольничий рынок; это было только узаконенное обычное место, где лондонская беднота избавлялась от голодных ртов.

А между тем кварталы Уайт-Чепл, Бетнал-Грин, Сент-Джайлс, населенные ужасающей беднотой, находились рядом с Сити, где высились роскошные особняки надменных аристократов, миллионеров-банкиров.

Кварталы бедняков в те годы казались совсем покинутыми всякою вообще администрацией. Узкие улицы здесь не мостились; площади представляли собой гнилые болота; домишки

были нередко сколочены просто из ящичных досок, и в этих домишках целое семейство имело нередко только одну постель.

Если в Сити умирала ежегодно одна женщина на шестьдесят, то в Уайт-Чепле – одна на двадцать восемь. Если там все было рассчитано на то, чтобы продлить человеческую жизнь, то здесь все соединялось, чтобы сделать ее как можно короче.

Нечего и говорить о том, что кварталы бедноты кишели проститутками, которые никому из мужчин не давали проходу, чуть только темнело и зажигались уличные фонари. На улицы выходил и плотными толпами двигался все тот же голод.

Рабочие боролись как могли, объединялись в союзы отдельных ремесел. Они и раньше составляли синдикаты, чтобы не продешевить, отдавая свой труд, но к Июльской революции во Франции Англия уже имела с легкой руки Роберта Оуэна кооперативные общества, депутаты которых съезжались на конгрессы. Тогда же пущено было в обращение и самое слово «социализм».

В начале пятидесятых годов был основан тред-юнион – союз, объединивший рабочих всех видов труда. Целью этого объединения прежде всего была организация общей стачки, чтобы через парламент добиться закона о восьмичасовом рабочем дне.

Крупные промышленники и политические деятели переживали дни ужаса и паники. На объединение рабочих они ответили объединением заводчиков и фабрикантов. Рабочего не принимали на работу, если он не мог представить удостоверения, что не принадлежит ни к какому рабочему союзу.

Так началась организованная война между английскими промышленниками и рабочими. В ответ на требование последних о повышении платы и восьмичасовом рабочем дне первые закрывали фабрики и заводы.

## II

Революционный 1830 год сделал Францию такой же буржуазно-парламентарной страной, как и Англия; кроме того, в Англии в то время вступили в министерство лиги представители либеральной партии; это сблизило Англию с Францией, оторвав ее в то же время от союза с тремя большими государствами Восточной Европы: Россией, Австрией и Пруссией.

Так Европа распалась на две части: в первой – короли только царствовали, но не управляли, предоставив это трудное дело крупной буржуазии; во второй – абсолютные монархи остались на страже трактатов 1815 года. В ней руководили политикой Николай I и австрийский канцлер князь Меттерних, опекавшие хотя и неограниченного, но тем не менее слабоумного императора Австрии Фердинанда, отца малолетнего Франца Иосифа. Недалекий король Пруссии Фридрих Вильгельм III во всех делах внешней политики ожидающе оглядывался на Николая и всегда и во всем был с ним согласен; при подавлении восстаний в Польше он снабжал армию Паскевича провиантом и не возражал против того, чтобы русские войска двинулись на Варшаву со стороны прусской границы.

Но не одни только правительства делали политику в Европе: в дело политики все заметней и ярче вмешивались революционные организации. Они действовали через печать на общественное мнение или же непосредственно на членов правительства. Ненавидевший русских и всяких других революционеров Николай во всякий момент готов был вместе с пшеницей своих помещиков экспортировать вооруженную силу куда угодно для защиты «законности и порядка».

Но и у этого рыцаря законности была своя ахиллесова пята. Основой общеевропейской внешней политики тогда была система «европейского равновесия». Правда, эту систему девятнадцатый век получил в наследство от восемнадцатого, но ловкость рук и быстрота, с которыми Наполеон I пытался перекроить в несколько лет всю карту Европы, заставили державы,



принявшие участие в Венском конгрессе 1815 года, особенно возлюбить именно эту систему. Карту Европы тогда перекроили вновь и в трактат ввели статью, воспрещавшую каждой из пяти великих держав (мелкие этого и не посмели бы сделать) в какой бы то ни было мере нарушать территориальные основы этой системы.

Когда первая война русских с Турцией закончилась Адрианопольским миром, европейские политики, опираясь на статьи Венского трактата, приняли все меры, чтобы его ликвидировать. Кровопролитная война, стоившая много жертв людьми, особенно вследствие бездарности русских генералов и пренебрежения к медицине, почти ничего не дала России.

Между тем очень выигрышное в торговом отношении положение Константинополя на проливах привлекало к нему внимание всех правителей Европы.

Сильнейшая морская держава, имевшая колонии во всех частях света, Англия, более чем какая-либо другая из европейских держав, стремилась к господству над Константинополем и проливами: тот, кто владел этим гениально расположенным городом, владел и всем ближайшим к Европе мусульманским Востоком, – крупный английский капитал всячески предпочитал в этом отношении слабого турецкого султана могущественному русскому царю. Английские правители понимали жизненное значение для России выхода через проливы. Желая изолировать Россию от мирового рынка и лишить свободы морских сообщений, английский капитал принимал все меры, чтобы прочно обосноваться непосредственно у русских границ, сделать Турцию антирусским форпостом. Обширная программа экономического и политического подчинения Турции, проводимая державами капиталистического Запада, маскировалась словами о покровительстве туркам, о защите независимости Оттоманской империи. Это была лицемерная маска, прикрывавшая лишь борьбу захватчиков.

Именно здесь, на этом стыке Средиземного и Черного морей, издавна уже завязался тугой и сложный узел англо-русских отношений.

Больше всего надеялась Англия на Францию как на единственную сильную союзницу в борьбе с Россией за столицу Турции, а борьбу эту она считала неизбежной рано или поздно.

Венский конгресс гарантировал Бурбонам трон Франции, но Бурбоны были сброшены в июле 1830 года, и в то время как Николай считал Луи Филиппа узурпатором и готовил против него интервенцию, Англия так же безоговорочно признала его, как впоследствии и Наполеона III, и Николаю, в конце концов, пришлось удовольствоваться только личной ненавистью к Луи Филиппу и отказать ему в обращении «mon frere».

Когда же восставшие против Николая поляки обратились за помощью к Западной Европе, французский министр-президент Казимир Перье поручил Талейрану предложить Англии совместное выступление в пользу Польши. Однако руководитель английской иностранной политики лорд Пальмерстон отказался от этого шага: дело ведь не касалось ни Константинополя, ни проливов. Он ограничился только чисто дипломатической перепиской по польскому вопросу.

Но беспокойство Пальмерстона достигло высшей степени, когда против султана восстал египетский паша Мухаммед-Али в 1833 году. Его поддерживали и давали ему опытных военных советников французы, вследствие чего Измаил-паша, его сын, одерживал над турецкими войсками одну победу за другой.

Пальмерстон понимал, конечно, что, помогая Мухаммеду-Али, французы собирались мирно овладеть Египтом. Однако это понимал и Николай, пославший черноморскую эскадру на помощь султану и небольшой, но вполне достаточный как авангард десант.

Как раз в это время английский флот блокировал Голландию, и Пальмерстон не мог собрать внушительную морскую силу для помощи султану, но постарался запугать его близостью полного раздела оттоманской монархии и склонил к заключению скорейшего мира с Мухаммедом-Али: отдать ему меньшее, чтобы не поплатиться большим.

Тем энергичнее стал действовать Пальмерстон впоследствии, чтобы склонить султана не возобновлять с Россией выгодный для нее и невыгодный для Англии союзный Ункиар-Скелесский договор, и вполне достиг своей цели.

Но Николай тем временем пробовал, действительно ли непроходимы для русских войск подступы к богатой Индии, не осиленные ни князем Бековичем-Черкасским при Петре, ни атаманом Платовым с его двадцатитысячным казачьим отрядом при Павле.

И вот в 1836 году русские, совершенно неожиданно для Пальмерстона, уже любовались Индией с плоскогорий Афганистана, а через три года после того граф Перовский начал пробиваться через песчаные пустыни к Хиве. Пусть этот первый блин вышел и комом, но завоевание всей Средней Азии Россией становилось уже возможным в недалеком будущем, и Англия сознавала свое бессилие этому помешать.

Сильная своим умением прибирать к рукам огромные страны, такие как Ост-Индия, и даже целые материки, как Австралия, английская крупная буржуазия видела, что многие страны, которые она уже считала своими колониями, ускользают из ее рук.

На почве борьбы с английским влиянием в Персии погиб Грибоедов, автор не только «Горя от ума», но и проекта русской торговли с Востоком.

Николай, только что договорившийся в 1833 году с султаном о закрытии проливов для военных судов английского и французского флотов, считая себя обеспеченным от нападения со стороны Черного моря, начал лихорадочно усиливать свой Балтийский флот. Ежегодно должны были строиться два линейных корабля и один фрегат на петербургских верфях, а кроме того, один корабль и один фрегат в Архангельске.

Столкновение с Англией он предвидел: об этом он писал Паскевичу еще за двадцать лет до начала Восточной войны, когда усиленно начал укреплять Кронштадт и Севастополь с моря.

Но, готовя довольно большой флот с хорошо обученными командами, начиная заводить даже паровые колесные суда как боевые единицы флота, Николай упустил из виду то, что свойственно ему было упускать из виду всегда: прогресс, движение вперед пытливого человеческого мысли.

Он любил строить прочно и надолго, как гоголевский Собакевич, но забывал, что, кроме никем и ничем не ограниченной власти самодержцев, в мире царит сила ума и что изобретатель паровой машины сделал гораздо больше для изменения жизни человечества, чем все генералы его свиты в казачьих и прочих мундирах, один другого блистательней и краше.

И если, борясь всю жизнь с революцией, он не сумел догадаться, что главный и непобедимый революционер – время, то и, вводя новую судостроительную программу в 1833 году, он не предвидел движения техники вперед, что к началу пятидесятых годов винтовые паровые суда, введенные в строй английского и французского флотов, сделают невозможным сопротивление им русских парусных и даже колесных паровых судов.

Маршируя всю жизнь сам и заставляя неукоснительно образцово маршировать других, Николай не ценил творческого таланта народа, его замечательных ученых и изобретателей. Виновником технической отсталости России в то время был сам царь.

### III

Какие бы условия ни были этому причиной: удачное ли положение при устье Темзы, известной еще древним финикийцам<sup>39</sup>, или Великая хартия вольностей<sup>40</sup>, – но Лондон сделался

---

<sup>39</sup> Финикийцы – народ, населявший северо-восточную и центральную части побережья Средиземного моря и основавший в IX в. до н. э. колонию Карфаген на северном берегу Африки.

<sup>40</sup> Великая хартия вольностей – грамота, подписанная королем Иоанном Безземельным в 1215 г., ограничивала права короля, предоставляя некоторые привилегии рыцарству, верхушке свободного крестьянства, городам.

для XIX века крупнейшим торговым центром, таким же, как Тир или Карфаген для древности, или Венеция и Генуя для Средних веков.

Лондон был банковской конторой для всего мира. Здесь оформлялись иностранные займы, здесь пускались в ход все крупнейшие финансовые предприятия.

Можно было двигаться на пароходе вниз по Темзе от собственно Лондона к морю несколько часов и видеть справа и слева угнетающе-однообразную картину: из-за густейшего леса мачт, парусов, пароходных труб вырисовывались в тумане, похожем на дым, складочные конторы, магазины, фабрики, жилые дома... и совершенно без промежутков шли док за доком: за Лондонским Индийский, за Индийским Внешний, за Внешним Гринвич, за Гринвичем Ост-Индский, – каждый док по несколько миль длиною, и этому однообразию изобилия совершенно не виделось конца, и все это неисчислимое богатство принадлежало частным компаниям, охранялось же оно от иностранных грабительских покушений только военным флотом: практические дельцы, англичане считали совершенно излишним содержать большую армию в мирное время. Кроме того, большие сухопутные армии для войны в Европе должны были найтись у континентальных государств, с которыми Англия вступала в союзы. Поэтому Франция, была ли она королевством, республикой или империей, являлась нужнейшей для Пальмерстона страной в его подготовке борьбы с Николаем при помощи пушек и штуцеров.

Правда, Николай в бытность его в Виндзоре в 44-м году предлагал юной тогда Виктории своих храбрых гренадеров на случай каких-либо затруднений, однако никто из государственных людей Англии не подумал отнестись к этому сочувственно: самая идея союза Англии с Россией казалась им совершенно противоестественной.

Но вот вскоре после отъезда Николая в Петербург несколько расстроились дела «сердечного соглашения»: Франция вышла из рамок политических приличий в Марокко и на островах Таити и тем задела интересы англичан. Лорд Абердин, глава кабинета министров, пригласил к себе Нессельроде, бывшего в то время на водах за границей, для обсуждения вопроса о союзе.

Николай ликовал. «Ведь я им говорил, что они без меня не обойдутся и будут просить о помощи, – писал он на донесение Нессельроде. – Вот плоды их подлости за четырнадцать лет!»

По желанию Николая и просьбе Нессельроде лорд Абердин написал меморандум своих бесед с Николаем на тему «больного человека» и спрятал его в архив, как ни к чему не обязывающую бумагу, а с Францией помирился.

Между тем прежняя политика Англии у постели «больного человека» продолжалась. Послом в Константинополь был назначен сэр Стратфорд Канинг – впоследствии сделанный лордом Редклифом, – яростный ненавистник России, старавшийся держать в подчинении себе всех высших чиновников султана. Он тайно руководил и отправкой английского оружия контрабандным путем на Кавказ горцам, чтобы как можно более затруднить Николаю покорение этой страны. В этом ревностно помогали лорду Редклифу и французские консулы юга России и Одессы – Тэт-Бу де Мариньи и Омер де Гелль, муж французской поэтессы Адели.

За помощью к Николаю обратились не английские лорды, а совсем юный, восемнадцатилетний император Австрии Франц Иосиф, в пользу которого отказался от престола впавший в панику и бежавший из Вены его отец Фердинанд в грозном для многих европейских монархов 1848 году.

Может быть, и он обошелся бы все-таки без помощи русских войск, но войска пришли: небольшая венгерская армия сдалась им без боя, Николай получил от эмигрантов прозвище Жандарма Европы, Англия же еще более обеспокоилась усилением его влияния, и через четыре года, когда Франция сделалась империей, английские политики решили, что настало время решительных действий.

Когда все готово уже для ссоры, подсчитаны ресурсы противника и приведены в полную ясность свои, тогда ищут обыкновенно хоть сколько-нибудь подходящего предлога для начала.

Таким именно предлогом оказался вопрос о Святой земле – Палестине, где ключами от вифлеемской церкви хотели владеть католические ксендзы, как до того владели ими православные священники. Вопрос, по существу, был вздорный и ничтожный, но из этих ключей сумели сделать совсем другие ключи – ключи к европейской драме, получившей название Восточной войны.

В николаевской России не канцлер Нессельроде, по существу, ведал иностранной политикой, а сам Николай. И в то время как испытанный дипломат князь Меншиков, доказавший еще четверть века назад свое умение говорить с азиатскими монархами и засаженный за это умение персидским шахом Фетх-Али в крепость, был послан царем в Константинополь вести переговоры там, на месте, о «ключях» и прочем, – Николай решил сам начать переговоры, только уже не с султаном, а с представителем Англии при своем дворе.

9 января 1853 года был раут у великой княгини Елены Павловны, на который приглашен был английский посланник Гамильтон Сеймур, потому что с ним хотел побеседовать Николай об очень важном деле. Это важное дело было – раздел Турции на тех же основаниях, на которых при Екатерине II проведены были разделы Польши.

По мысли Николая, к дележу Турции должны были приступить – и притом немедленно – только две державы: Россия и Англия. С Францией, в которой воцарился Наполеон III, начавший спор о Святой земле, то есть о покровительстве христианам, подданным султана, покровительстве, издавна принадлежавшем России, Николай отнюдь не хотел считаться; что же касается Австрии, то к ней Николай относился слишком свысока и слишком покровительственно, чтобы считать ее вполне самостоятельной монархией и брать ее полноправным членом в свою компанию.

Беседа Николая с Сеймуром состоялась. Самодержец был совершенно откровенен.

– Турецкие дела находятся в состоянии большой неустойчивости, – говорил он. – Страна грозит рухнуть. Ее гибель будет большим несчастьем, и важно, чтобы Англия и Россия пришли к полному соглашению и чтобы ни одна из этих двух держав не предпринимала решительного шага без ведома другой. Видите ли, на наших руках больной человек, очень больной человек! Откровенно говорю вам: было бы большим несчастьем, если бы он скончался раньше, чем были бы сделаны все нужные приготовления.

Разговор этот был продолжен через несколько дней уже в кабинете царя, как более деловом месте. Посвятив сэра Гамильтона во все тонкости восточного вопроса и в его историю, Николай перешел к «больному человеку», который может умереть внезапно, и тогда...

– Хаос, путаница и неизбежность европейской войны должны сопровождать катастрофу, если она наступит неожиданно и если не будет заранее составлен другой план... Я буду говорить с вами как друг и джентльмен, – горячо сказал самодержец посланнику другого самодержца – английского капитала. – Если нам, Англии и мне, удастся достигнуть соглашения в этом вопросе, то другие меня мало интересуют. Мне безразлично, что будут делать или думать другие, поэтому я хочу сказать вам с полной откровенностью: если Англия имеет намерение усесться когда-нибудь в Константинополе, я этого не допущу! Со своей стороны я также готов обязаться не занимать Константинополя, разумеется в качестве собственника, потому что быть держателем его по поручению я бы не отказался. Если же не будут сделаны все нужные приготовления и все будет предоставлено случаю, то возможно, что обстоятельства заставят меня оккупировать Константинополь.

Сколь ни был изумлен сэр Гамильтон этой тяжелой откровенностью царя, он, поблагодарив его за доверие, напомнил ему о Франции, которая может, пожалуй – конечно, на свой страх и риск, – снарядить военную экспедицию в империю султана.

– Поверьте, – быстро отозвался Николай, – что такой шаг довел бы дело до острого кризиса! Чувство чести заставило бы меня без промедления и колебания двинуть свои войска в Турцию, если бы даже такой образ действий повлек за собой крушение Турецкой империи...

Я сожалел бы о таком результате, но все-таки считал бы, что действовал так, как вынужден был действовать!

– Но ведь крушение Турецкой империи оставило бы незаполнимую пустоту, ваше величество! – возразил Гамильтон.

– Вот это-то и было бы возвышенным триумфом для цивилизации девятнадцатого столетия, – Николай дружески взял его за локоть, – если бы оказалось возможным заполнить пустоту эту без нарушения всеобщего мира! Как же именно? Просто: путем принятия предохранительных мер двумя – только двумя! – правительствами, наиболее заинтересованными в судьбах Турции!

Сеймур передал, конечно, свой разговор с Николаем срочной депешей на имя лорда Джона Росселя, неизменного представителя делового Сити в кабинете министров, в то время министра иностранных дел.

Ответ Росселя Сеймуру был очень тщательно обдуман и полон доказательств в пользу того, что «больной человек» отнюдь не настолько болен, чтобы не иметь силы отчаянно защищаться, что, наконец, если бы Николай стал «держателем» Константинополя, то это было бы очень опасно для него вследствие зависти Европы, так как ни Англия, ни Франция, ни даже Австрия не примирились бы с тем, чтобы Константинополь оставался в руках России. Он лицемерно уверял со своей стороны, что Англии Константинополь не нужен и что ей чуждо желание овладеть им. Напоминал собственные слова Николая, что его империя и без того очень велика, чтобы желать приращения ее территории. Осторожно советовал соблюдать величайшую сдержанность по отношению к Турции, избегать сухопутных и морских демонстраций против султана. Что же касается христиан, подданных султана, то Россель предлагал только «посоветовать» турецкому правительству обращаться с ними «по правилам равноправия и свободы веры, принятым просвещенными нациями Европы».

Заканчивая свою довольно длинную депешу, Россель просил сэра Сеймура прочесть ее графу Нессельроде, а если это будет признано им желательным, то и передать копию ее лично Николаю, «прибавив к ней уверения в дружбе и доверии ее величества нашей королевы».

По получении этой депеши в Петербурге состоялась еще беседа сэра Гамильтона с Николаем, наиболее определенная и откровенная.

На скромный вопрос Сеймура, чего он хотел бы конкретно, Николай ответил так:

– Я не хочу прочного занятия Константинополя русскими, но этот город ни в каком случае не должен и перейти во владение какой-либо другой великой нации; я никогда не допущу попытки восстановить Византийскую империю; не допущу и расширения Греции до размеров большого государства, но тем более не допущу я раздробления Турции на мелкие республики – убежища для Кошута, Маццини и других европейских революционеров. Скорее я начну войну, чем примирюсь с одним из таких оборотов событий!

Практический англичанин, сэр Гамильтон, конечно, притворился изумленным тому, что его высокий собеседник как будто совершенно ничего не хочет положительного, но Николай скоро успокоил его на этот счет, добавив:

– Княжества Молдавия и Валахия являются независимыми государствами под моим покровительством; это так и могло бы остаться. Сербия могла бы получить такую же форму правления. Болгария – тоже. Что же касается Египта, то я вполне понимаю важное значение этой области. Могу поэтому лишь сказать, что если бы при разделе империи османов вы овладели Египтом, я не имел бы ничего против. То же самое могу сказать о Крите. Что касается Франции, – небрежно припомнил царь, – то одною из ее целей является, несомненно, овладеть Тунисом.

– Ваше величество, – воскликнул сэр Гамильтон, – но ведь есть еще Австрия!

– О-о, Австрия! – с улыбкой успокоил его Николай. – Если я говорю о России, то тем самым я говорю и об Австрии. В отношении Турции наши интересы вполне совпадают. Фран-

ция – другое дело. Похоже на то, что французское правительство желает всех нас перессорить на Востоке. Менее месяца назад я даже предложил султану свою помощь для сопротивления французам. Все, чего я хочу, – это соглашения с Англией, и то не о том, что следует делать, а о том, чего делать не следует. Что же касается Константинополя, то я ведь послал туда только своего Меншикова, а согласитесь сами, что мог бы послать, если бы пожелал, и целую армию! Итак, побудите ваше правительство еще раз написать мне об этих делах подробнее и без промедления!

С этими словами царь подал руку Сеймуру, давая понять, что им оказано все; ответ был за министрами Виктории.

Правда, он не поделился с сэром Гамильтоном тем, что обратился к своему шурину, королю Пруссии, с секретным письмом о своем отношении к Франции и Англии.

Из уклончивого ответа лорда Росселя он видел, конечно, что едва ли удастся ему расколоть «сердечное соглашение», а между тем Наполеон III действовал в своих притязаниях на опеку турецких христиан явно вызывая и, разумеется, не без ведома и одобрения Англии.

Поэтому Николай писал Фридриху Вильгельму, что союзники, столь тесные и дружные, как Франция и Англия, его нимало не пугают на суше, на море же они как сильнейшие морские державы, действуя соединенным флотом, несомненно, могут вести успешную блокаду, и в этом их главный козырь. Но в апреле, к концу месяца, у него будет не меньше шестисот тысяч войск, из которых двести он мог бы предоставить ему с условием, что он двинется на Париж и свернет узурпатора с французского трона.

Так писал прусскому королю русский самодержец, не перестававший смотреть на немецкие государства только как на свои передовые форпосты.

Несколько дней бредил Фридрих Вильгельм военными подвигами, которые совершил бы он во главе железных русских полков, но более трезвые, чем он, министры его испугались этого и упростили его отказаться от лестного предложения Николая.

Ответ на предложение Николая, выраженное на последнем свидании с Сеймуром столь определенно, несколько запоздал. Поражены ли были лорд Россель и другие участники секретного обмена мнениями между двумя дворами грандиозностью замыслов Николая? Нет, просто произошла в это время смена министерства и вместо лорда Росселя отвечать Николаю пришлось новому министру иностранных дел графу Кларендону.

И он ответил, наконец.

Переменились министры, но мнение квартала Сити, правившего Англией, осталось то же самое: раздел Турции был нежелателен, потому что опасен.

«Интересы России и Англии на Востоке совершенно тождественны, – наивно пытался убедить Николая Кларендон, – но ни один крупный вопрос на Востоке не может быть поднят без того, чтобы не стать источником раздоров на Западе».

Следовательно, опасался он не войны Запада с Россией, а войны двух сильнейших и дружественных государств – Франции и Англии.

В этом было, конечно, большее знание человеческой психологии, чем у слишком занятого только собою русского царя. Но Кларендону отлично была известна и психология царя, и он добавлял, чтобы тому были вполне понятны опасения Англии: «Каждый крупный вопрос на Западе будет принимать революционный характер и включать в себя пересмотр всего общественного уклада. Отсюда возникает стремление правительства ее величества предотвратить катастрофу».

Другими словами, английский самодержец – капитал – не столько боялся войны, даже и со своим союзником Францией, сколько пугала его перспектива получить в результате этой войны английскую революцию, которая была бы не хуже французской.

Между тем, пока происходил этот серьезнейший обмен мнениями по вопросу о Турции, полномочный посол Николая, светлейший князь Меншиков, прибывший в Константинополь с большою свитой, вел переговоры с турецкими министрами о «святых местах».

Но между секретнейшими и гласными переговорами была самая тесная зависимость, известная в то время очень немногим. И если английские министры – Россель и Кларендон – стремились писать свои ответы Николаю преувеличенно дипломатическим языком, то несколько иной язык оказался у английского посла в Константинополе, лорда Стратфорда Редклифа.

Правда, этот лорд не только ненавидел Россию, но имел все основания ненавидеть и Николая, который энергично отклонил назначение его, еще лет за двадцать до того, послом в Петербург.

Но его не хотели видеть послом и в Париже: он был известен как человек с тяжелым характером. Ему оставалось только ехать посланником в Константинополь, и здесь он подчинил своему влиянию великого визиря и пашей.

В другое время и при другом английском посланнике дело о ключах вифлеемской церкви, о починке купола иерусалимского храма, о странноприимном доме для русских паломников и о прочих подобных пустяках отнюдь не потребовало бы и торжественного чрезвычайного посольства, но именно на этих пустяковых вопросах скрестились шпаги двух весьма неуступчивых людей – Меншикова и Стратфорда, которые отлично знали, что им надо говорить, но еще лучше знали, о чем следует молчать.

Меншиков, которого, между прочим, сопровождал и адмирал Корнилов, прибыл на пароходе «Громоносец» в Константинополь в середине февраля и пробыл там до половины мая, напрасно теряя время в дипломатических уловках и совершенно бесполезных переговорах о «преимущественных правах российского императора на покровительство христианам, поданным Оттоманской империи»; лорд Редклиф в гораздо большей степени, чем даже французский посланник, внушал турецким сановникам, что подобной конвенции они не смеют подписывать, так как умаляют этим права султана.

Меншиков, наконец, угрожал открытием военных действий, если эта конвенция не будет подписана, но Редклиф убедил турецких сановников не пугаться и этого. Меншиков просил аудиенции у султана и на эту аудиенцию явился в штатском пальто и высоком цилиндре, как обыкновенно ходил в Константинополе. Он говорил с султаном властным тоном. Он при своем высоком росте и внушительной фигуре как бы сознательно «представлял» своего императора. Недалекий, женоподобный, застенчивый султан Абдул-Меджид совершенно был обескуражен его видом и его резким тоном и лепетал в ответ довольно бессвязно то, что было подсказано ему суфлером – Редклифом.

Видя, что последняя карта его – угроза войною – бита, Меншиков сообщил в Петербург, что оставаться долее в Константинополе не имеет уже никакого смысла, и выехал в Одессу.

Но угроза войною была, конечно, продиктована Меншикову самим Николаем, и у Николая был план этой войны. Он хотел для начала повторить тот прием, который беспрепятственно выполнил двадцать лет назад: посадить дивизию на суда Черноморского флота и высадить ее в Константинополе, а с суши подкрепить этот небольшой десант двумя-тремя корпусами, которые должны были идти с предельной быстротой из Бессарабии на Константинополь.

Николай, автор этого плана, был далеко не молод – ему было уже под шестьдесят, – но и Меншиков и Паскевич, которые должны были приводить этот план в исполнение, как люди еще более пожилые и опытные, решили, что план этот не сулит удачи.

Меншиков всеподданнейше доносил, что Черноморский флот не в состоянии вести бой с объединенными флотами французов, англичан и турок в Босфоре и будет неминуемо уничтожен, и что Константинополь далеко не так беззащитен, чтобы его можно было захватить с налета небольшим десантом, а Паскевич не менее всеподданнейше разъяснял, что на пути

к Константинополю от русской границы и даже от Варны, если бы удалось в окрестностях ее высадить десант, есть сильно укрепленные пункты и достаточное число турецких войск, которые отлично умеют защищаться в своих крепостях, что молниеносного марша сделать будет нельзя ввиду больших обозов, неразлучных с армией, наступающей по чужой стране, а всякое промедление будет усиливать турок и ослаблять русских.

Он советовал применить испытанный уже прием: занять войсками княжества Молдавию и Валахию, что к тому же не должно будет считаться за открытие действий против Турции и в то же время заставит турок быть гораздо сговорчивей, а странам покажет, что русский царь смотрит на дело вполне серьезно.

Этот план своего испытанного стратега и должен был принять Николай. Он отлично понимал, что унылый план этот ни к чему удачному для него привести не может, но это был план фельдмаршала – высшего военного авторитета его государства.

#### IV

Объявлена война была на месяц раньше Синопского боя, именно 20 октября 1853 года.

Турецкий главнокомандующий Омер-паша, опираясь на обещанную Англией и Францией помощь, послал ультиматум князю Горчакову: очистить в двухнедельный срок княжества, занятые его армией, иначе он откроет военные действия.

Княжества, конечно, очищены не были, и на Дунае раздались первые пушечные выстрелы, вслед за которыми Николай издал манифест о войне с Турцией.

Манифест был доставлен из Севастополя Нахимову, когда он крейсировал в море, держась около берегов Малой Азии. Получено было известие, что турки отправили три груженных орудиями парохода-фрегата из Константинополя на Кавказ, в Батум, но до объявления войны задерживать эти турецкие суда, а тем более сражаться с ними, запрещалось: приказано было только следить за ними.

Турецкие боевые суда в свою очередь следили за русскими судами, то появляясь на виду у них, то скрываясь.

Между тем море было бурное, как всегда осенью, дули сильные штормовые ветры; совершать прогулки по такому морю на парусных судах было весьма опасно, не говоря уже о том, что бесполезно для дела войны. Манифест развязал руки Нахимову, а турецкую эскадру собрал в Синопскую бухту под защиту береговых батарей.

Синоп – родина философа древности Диогена и Митридата VI, царя Понтийского, – был в те времена небольшим полугреческим-полутурецким городком с верфями для постройки судов, хорошо защищенных с моря. В Синопской бухте укрылось двенадцать военных судов и два транспорта, между тем как продолжительная борьба парусных судов эскадры Нахимова со штормами весьма истрепала их.

Наиболее пострадавшие от штормов Нахимов отправил в Севастополь, оттуда же получил несколько кораблей взамен, и больше недели тянулась эта смелая блокада Нахимова синопского порта с силами гораздо меньшими, чем турецкие силы. Он дал приказ атаковать противника, если тот вздумает покинуть порт, несмотря на явное неравенство шансов на победу. Однако турецкий адмирал – капудан-паша Осман – отнюдь не хотел выходить, не веря тому, что половина эскадры Нахимова ушла чиниться в Севастополь. Через английского консула в Синопе он послал сухим путем донесение в Константинополь лорду Стратфорду о том, что русская эскадра крейсирует в виду Синопа, – значит, стоит только послать союзный флот отрезать ее от Севастополя, и она будет истреблена, если не сдастся.

Гонец английского консула успел прибыть вовремя, однако союзная эскадра послана не была: боялись штормовой погоды.



Между тем Нахимов, собрав нужные ему силы – шесть кораблей и два фрегата, – вошел в Синопский рейд.

Осман-паша был опытный моряк, участник Наваринского боя (Наваринский бой произошёл в 1827 г. между русской, английской и французской эскадрами, с одной стороны, и египетско-турецкой – с другой, у гавани Наварин в Пелопоннесе. Турецкий флот после кровопролитного боя был сожжен.), так же как и Нахимов. Одним из судов его флота, двадцатипушечным пароходом «Таиф», командовал англичанин Слэд, четверть века прошедший на турецкой службе.

У Нахимова не было пароходов. Притом береговые батареи могли обстрелять его суда калеными ядрами и зажечь их, он же был связан приказом не наносить вреда береговым турецким городам и селениям: человек глубоко штатский, канцлер Нессельроде думал, что, вполне возможно – атаковать турецкий флот на рейде портового города и уничтожить его, не нанеся самому городу во время боя никакого вреда.

Бой начался, едва только на близкое расстояние к турецкому флоту подошли русские суда и стали на якорь как неподвижные крепости против двух линий неподвижных тоже крепостей – на море и на суше.

Матросы по приказу Нахимова не спеша и своевременно пообедали перед боем. Дул норд-ост, и шел спорый осенний дождь, когда суда подходили к рейду, но когда вошли в него, дождь перестал и Синоп со своими крепкими стенами и башнями резко забелел впереди, на высоком перешейке полуострова, отгородившего от моря бухту.

На судах Нахимова все были на своих местах и спокойны; между судами Османа-паши беспорядочно металась шлюпки; пароходы разводили пары; группы турецких солдат-артиллеристов на берегу бежали к своим орудиям: нападения в этот день – 18 ноября – турки явно не ждали.

Однако они первые открыли огонь, и все развертывание русских судов прошло под сильной канонадой береговых и морских батарей. Но вот сблизилась линия судов-противников на полтора сажен, и Синопский рейд окутало густым туманом, сквозь который прорезались желтые вспышки выстрелов.

Канонада длилась около трех часов.

Линейным стопушечным кораблем «Париж» командовал Истомин. Адмирал Корнилов с тремя пароходами спешил на помощь Нахимову из Севастополя, но опоздал к началу боя из-за бурной погоды. Мимо его пароходов, развивая предельную скорость хода, бежал Муштавер-паша, капитан Слэд на своем пароходе «Таиф». Корнилов гнался за ним на пароходе «Одесса», все время обмениваясь с пароходом выстрелами, но не догнал.

«Таиф» и был единственным судном турецким, спасшимся от синопского разгрома. Все остальные или были потоплены выстрелами с русских судов, или выбросились на берег, или сгорели, или были взорваны своими же командами. Взрывы эти далеко в город занесли горящие обломки и зажгли дома.

Синоп горел, когда Корнилов вошел на рейд после погони за «Таифом», и команды пароходов кричали «ура!» своим товарищам – морякам эскадры Нахимова.

Израненный Осман-паша и человек двести, кроме него, были взяты в плен; часть команды судов спаслась на берег; от трех до четырех тысяч погибло. На русских судах насчитали около двухсот пятидесяти убитых и раненых.

Линейные корабли «Три святителя», «Императрица Мария», «Ростислав» получили по несколько десятков пробоин, а «Великий князь Константин» – сто девятнадцать.

Суда не могли бы перенести перехода по бурному морю в Севастополь, если бы их не чинили команды с не меньшей энергией, какая была выказана ими в бою.

Только через полтора дня – именно в ночь на 20 ноября – эскадра снялась, наконец, с якоря и – частью на буксире пароходов, частью своими силами – двинулась к родным берегам.

Союзники не выслали на помощь турецкому из Босфора свой флот: английские и французские адмиралы боялись шторма.

Когда Нахимов, Корнилов и Истомин подходили медленно и трудно к Севастополю, вся набережная была усеяна народом, радостно возбужденным.

Привычные глаза севастопольцев различали суда; они видели, что суда идут после боя: так они были изранены, – но ни одно из ушедших судов не погибло – значит, победа.

Только один Меншиков отменил всякие празднества по случаю синопской победы и приказал остановить все суда на внешнем рейде, а экипажам их объявить трехдневный карантин.

Одновременно с победой над турецким флотом русские сухопутные силы одержали под командой Андронникова при крепости Ахалцых крупную победу над большим отрядом турок.

Донесения об этих двух делах дошли в Петербург в один и тот же день, 29 ноября, и этот день был днем большого ликования Николая. Но если к победам на суше он уже привык и другого исхода сражения не ожидал от своих полков, то первая в его царствование победа флота над иноземным, хотя бы и турецким, флотом окрылила его донельзя. Об этом он писал и Меншикову: «До какой степени обрадован я был радостною вестью славного Синопского сражения, не могу довольно тебе выразить, любезный Меншиков! Оно меня осчастливило столько же важностью последствий, которые, вероятно, иметь будет на дела наши на черноморской береговой линии, но почти столько же потому, что в геройском деле сем вижу, что за дух, благодаря Богу, у нас в Черноморском флоте господствует от адмирала до матроса... Уверен, что при случае, от чего боже упаси, но и балтийские товарищи не отстанут. Это моему сердцу отрадно и утешительно среди всякого горя. Пришли список увечных и раздай безруким и безногим по сто рублей каждому...»

Фельдгегерем послан был к царю с известием о синопской победе адъютант Меншикова подполковник Сколков, бывший очевидцем боя. Сколков был на радостях произведен в полковники и сделан флигель-адъютантом... для того, чтобы в сражении на Алме вступить в смиренные ряды безруких и утешаться тем, что со временем могут и его, как безрукого генерала Скобелева, назначить комендантом Петропавловской крепости.

Переговоры дипломатов по поводу «святых мест» тянулись слишком долго, для того чтобы не утомить русскую публику, читающую газеты. Предчувствия войны были тяжелы для всех, и тем радостней отозвались все на победу при Синопе.

Тысячи патриотических стихотворений наводнили редакции журналов и газет. Даже старый друг Пушкина и Жуковского князь Вяземский напечатал в «Русском инвалиде» свои стихи, посвященные Нахимову и Бебутову, победителю турок на Кавказе, при Баш-Кадык-Ларе.

Владимирское дворянство пожертвовало тридцать пять тысяч серебром в пользу войск, «преимущественно Черноморского флота» в ознаменование одержанной им победы при Синопе. Вслед за этим пожертвования полились рекою. Простыми волонтерами записывались в полки сыновья знати.

Нестор Кукольник с большой быстротой написал трескучую пьесу «Синоп», имевшую бешеный успех в Петербурге.

Спектакли проходили при сплошных аплодисментах публики, которые доходили до высшей силы при упоминании об императоре Николае, о прежних подвигах флота, о создателе Черноморского флота адмирале Лазареве...

Совсем иначе отнеслись к синопскому делу на Западе. Когда известие об уничтожении турецкого флота Нахимовым дошло до Лондона, оно вздыбило всю английскую буржуазию, точно не турецкий, а британский флот потерпел неслыханное поражение.

И статьи газет, и речи на митингах, и даже речи в парламенте стали сводиться к тому, что русский флот на Черном море должен быть истреблен, а Севастополь, как древний Карфаген, разрушен.

Для иных журналистов казалось делом чрезвычайно легким не только разрушение в самый короткий срок Севастополя, но даже и Кронштадта и последующая оккупация Петербурга.

Страсти разгорелись чрезвычайно. Англия «начала точить сабли».

Эскадре английской, так же как и союзной французской эскадре, был дан приказ войти в Черное море и блокировать Севастополь.

*Так началась война.*

## Глава четвертая

### Часы тревоги

#### I

Когда адъютант Меншикова штабс-ротмистр Грейг после подробнейшего доклада о сражении на Алме рисовал Николаю состояние, в котором оставил он армию и Севастополь, то старался уже больше не раздражать царя неприкрытой правдой.

– В порядке ли отступили части? – тяжело глядя на него, вторично спросил царь.

Перед Грейгом мгновенно и очень ярко встала картина: усталые встречные матросы около усталых сивых волов и длинные хоботы морских орудий на скрипучих возах: запоздалая поддержка, посланная Меншикову Корниловым, – костры и около них фельдфебели разных полков, зычными выкриками в темноте сзывающие своих солдат, и прочее вполне законное, конечно, при столь поспешном отступлении, но он, на момент зажмурясь перед ответом, ответил вполне отчетливо:

– В совершенном порядке, ваше величество!

– А наступление этих... – несколько запнулся царь.

– Наступление союзных армий, – поспешил ответить Грейг, – совсем не было замечено, ваше величество, ни 8-го числа, ни 9-го утром.

– А ты... каким же маршрутом ты ехал из Севастополя?

Грейг понял вопрос.

– Дорога на Симферополь была совершенно свободна от неприятеля, ваше величество.

Николай вскинул на него круглый подбородок, под которым на выдавшемся заострившемся кадыке Грейг заметил морщинистую, вялую желтую кожу, обычную для людей около шестидесяти лет.

– Была свободна девятого числа, когда ты ехал, а теперь? – И, не дав Грейгу ответить на этот вопрос, задал другой: – Где должны будут сосредоточиться войска для защиты Севастополя?

Грейг ответил, как слышал от самого Меншикова, что на Инкерманских высотах, на левом фланге наступающей армии союзников, которых укрепления Северной стороны должны будут встретить, как должно.

После еще нескольких расспросов отпустив наконец Грейга, Николай стал писать, слишком нервно нажимая на перо и разбрызгивая чернила: «Любезный Меншиков!..»

Так обыкновенно начинал он письма своему командующему Крымской армией, но все прежние письма писались им человеку, который был общепризнанно умен и остер; часто приглашался во дворец как прекрасный собеседник, особенно ценимый за это императрицей великой княгиней Еленой Павловной, великими князьями и фрейлинами. Часто повторялась о нем во дворце острота опального генерала Ермолова, которому (это было в 14-м году, во Франции, на походе) Меншиков жаловался на то, что пропали где-то его бритвы и он уже три дня не брился. «Нашел о чем тужить, – сказал Ермолов. – Высунь язык и обрейся!..»

Как управляющий делами морского министерства – Меншиков отлично поставил флот, особенно Черноморский, так блистательно показавший себя в Синопском бою; как генерал-губернатор Финляндии – он был вполне на месте, успешно вел борьбу с казнокрадством чиновников, чего никак не мог добиться Киселев в министерстве государственных имуществ; как полномочный посол в Константинополе – он сделал все, что можно было сделать, не роняя престижа России на Востоке...

Но теперь, после поражения на Алме, Меншиков был уже не тот – как будто кто-то подменил этого привычного, на глазах его состарившегося человека. Теперь на него легла черная тень неудачного полководца; он не оправдал надежд, которые были связаны с его именем...

Вдвое меньше войска, чем у союзников? Да, но князь Бебутов разбил же Абди-пашу с его тридцатичетырехтысячной армией при Баш-Кадык-Ларе, имея всего пятнадцать-шестнадцать тысяч! Правда, там были турки, а не англо-французы, но ведь англо-французы наступали, а Меншиков защищал позицию, которую сам же в донесении называл очень крепкой...

Было три кита в русской армии: князь Варшавский, князь М. Д. Горчаков и князь Меншиков. Но первый очень одряхлел, часто болел, задыхался, с трудом подымался на лошадь и без чужой помощи не мог с нее слезть... Однако даже его, полумертвого, пришлось назначить главнокомандующим Дунайской армии взамен Горчакова, так как этот оказался решительно никуда не годным на таком ответственном посту.

Он был безукоризненно честен, беззаветно храбр во время сражений, как никто, заботлив о нуждах солдат, и безупречный работник в штабе, но совершенно без пользы и нужды издергал и самого себя, и всех своих ближайших подчиненных, и всю стотысячную Дунайскую армию, когда, по рекомендации князя Варшавского, был назначен главнокомандующим.

Его беспокойному, воспитанному в штабах уму то и дело представлялись тысячи случайностей и мелочей, которые могли совершенно испортить ту или иную с великим трудом выработанную им же лично диспозицию войск, и он, ударив себя ладонью по лбу, гнал одного своего адъютанта в одну сторону с дополнительным приказанием, другого в другую – с приказанием прямо противоположным данному накануне... Иногда в один и тот же день по несколько раз менял он приказы по армии, но дня этого все-таки было ему мало: он вскакивал и среди ночи будил своего начальника штаба генерала Коцебу и принимался за исправления и переделки своих дневных приказов, доводя Коцебу до отчаяния.

Командующих отрядами войск, рассеянных по Дунаю, он до того задергал, что они не смели уж и думать о малейшей самостоятельности действий; благодаря этому Омер-паша, противник Горчакова, вел всю дунайскую кампанию так, как ему было выгодно, нападая там и тогда, где и когда удавалось ему собрать явно превосходные по числу силы.

Так при деревне Четати был почти истреблен большим турецким отрядом Тобольский пехотный полк; неудачно для русских было сражение при Ольтенице; неудачны были действия при Калафате.

Горчаков сам понимал, что великое бремя главнокомандующего вручено в его лице ладье малой, и каждый день казалось ему, что он с этим бременем пойдет ко дну и опозорит Россию. Поэтому он находил время среди всех своих военных забот и трудов писать длиннейшие, подробнейшие, всеподданнейшие письма ему, Николаю, испрашивая его приказаний. Но он, кроме того, обращался за советами и к своему бывшему начальнику князю Варшавскому, и к своему другу юношеских лет, князю Меншикову, так что дунайскую кампанию вели они как бы вчетвером: прежде всего – он сам, Николай, самодержец всероссийский, затем Паскевич, Меншиков и, наконец, Горчаков, из всех четверых наиболее скромный как военачальник и даже поэт в душе. Это Горчаков там, на Дунае, сочинил солдатскую песню, начинающуюся куплетом:

Жизни тот один достоин,

Кто на смерть всегда готов.  
Православный русский воин,  
Не считая, бьет врагов!

Николай вспомнил, как приказал стихи эти положить на музыку и какая по этому поводу длинная была переписка.

Но, несмотря на всю воинственность этой песни, дела на Дунае шли из рук вон плохо. Пришлось упрашивать Паскевича взять на себя командование армией, обложившей Силистрию – турецкую крепость на Дунае – и не умевшей ее взять, что вызывало бесконечные издевательства заграничных газет.

Вспомнилось, доносил ему посланный им к Паскевичу флигель-адъютант полковник Ланской, что сердитый старик разорался зачем его разбудили ради прибытия Ланского, испортили ему послеобеденный отдых, – и запустил в Ланского своею палкой...

Под Силистрией он только лежал на персидском ковре на солнцепеке и играл в шахматы со своим неизменным партнером, чиновником Петровым, которого как шахматиста переманил к себе на службу в Варшаву из Петербурга, выгодно женил на дочери богатого интенданта, очень быстро произвел в статские советники и наслаждался победами на шахматном поле над этим молодым хитрецом, который изо всех сил старался не выиграть ни одной партии у маститого фельдмаршала.

А другой молодой хитрец, император Франц Иосиф, как пешку обошел его самого, могущественнейшего монарха Европы: благодаря ему усидев на своем троне в 49-м году, он показал теперь ему свои зубы! Он, к которому Николай был так искренне расположен, оказался вдруг в стане его врагов!

Опасаясь, что в тыл ему пойдет двухсоттысячная австрийская армия, Паскевич вместо сигнала к атаке и штурму Силистрии приказал трубить отбой.

Дунайская армия откатилась назад в Бессарабию... Иностранные газеты нельзя было взять в руки – казалось, что они обожгут даже пальцы огнем стыда.

Все это нужно было перенести ему, Николаю, при его огромном самомнении. И все это он перенес...

Князь Варшавский, уверяя, что опасность грозит и Варшаве, уехал в свой дворец наместником Польши. Горчаков снова принял командование над армией, теперь уже Южной, а не Дунайской. Первый этап войны был завершен бездарно и бесславно.

Николай скомкал забрызганный чернилами лист со словами «любезный Меншиков», бросил под стол, подошел к окну.

За окном, в парке, надоевшем, унылом, противном, ретиво подметали в мокрых от только что переставшего дождя аллеях опавшие листья. Ветер трепал верхушки деревьев, почти уже голые, серые... Осень – близость конца, – скверные известия из Крыма, притом известия поневоле давние: то, что было там несколько дней назад... А теперь что там? И хотелось и не хотелось знать подлинно и точно, что там теперь. На него, самодержца всея России, нападала какая-то оторопь, и некуда было повернуться, чтобы ее сбросить с себя: не было около людей, на которых можно было бы опереться. Сорок тысяч столоначальников управляли Россией незримо, но ощутительно, и это годилось для домашнего обихода и не годилось, как оказалось на деле, для приема непрошенных гостей с Запада.

Николай припомнил один из своих разговоров с Меншиковым. «Я был как-то в Симбирске, в Дворянском собрании, – сказал он тогда Меншикову, – и представь: там оказалось из дворян, меня встречавших, восемнадцать человек выше меня ростом! Сразу было видно, что попал я в черноземную губернию... Но почему-то – я, конечно, судил по одному внешнему виду – они не показались мне умными, нет... Они стояли браво, как в строю, но глядели сущими дураками...»

Людей, по-настоящему талантливых, а не только ревностно исполнительных, не было около него: это видел Николай к концу двадцать девятого года царения, это очень остро чувствовал он вот теперь, когда приближался вечер дождливого сентябрьского дня.

Того же Меншикова он спросил, когда думал, кем заменить светлейшего князя Чернышева:

– Как ты находишь князя Долгорукова? Я хотел бы видеть его у себя военным министром.

И Меншиков ответил:

– Долгоруков пороку не выдумает, ваше величество, стало быть, как по мерке скроен – военный министр!

Однако и сам Меншиков доказал своими действиями на Алме, что ему тоже не под силу выдумать порок, хотя он был и прав в глазах Николая тем, что еще месяца за два до высадки союзников просил подкрепления, думая – как оказалось, совершенно верно, – что союзники непременно нахлынут в Крым со стороны Евпатории, Долгоруков же поддерживал царя в мысли, что если десант и будет, то где-нибудь на береговой линии Кавказа.

Подкреплений просили и наместник Кавказа Воронцов, и наказной атаман донского войска Хомутов, и даже Паскевич, опасавшийся австрийцев... Нельзя было сразу стать одинаково сильным во всех пограничных пунктах...

Год назад из Севастополя Воронцову перевезли 13-ю дивизию, и она оказалась как нельзя нужнее на Кавказе, и благодаря этому одержали свои победы и Андронников и Бебутов... Если бы вовремя удалось отправить в Крым сильные подкрепления из армии Горчакова!

Николай представил себе, как ликует теперь этот ненавистный ему узурпатор французского трона, этот наглец, при одном воспоминании о котором у него тесно сжимались челюсти и кулаки и начинало гореть лицо.

Королеву Викторю он помнил такую, какою видел десять лет назад на параде в Виндзоре, когда предлагал ей свою помощь войсками: с очень свежим длинным, северным лицом, несколько излишне чопорным, пожалуй. Впрочем, могло быть и так, что мало улыбалась она потому, что улыбка к ней как-то совсем не шла (бывают такие женщины).

Ей он не мог простить того, что она была в оживленной переписке с узурпатором и наглецом Наполеоном III, ездила в Париж, присутствовала на смотрах войск, отправлявшихся из Франции в Константинополь, – вообще гораздо более рьяно относилась к войне с ним, Николаем, чем это могла бы делать монархиня конституционного государства.

А маленького, старенького, слабоголого лорда Джона Росселя он положительно готов был бы схватить и выбросить за окно в парк, вспоминая речь его в парламенте, направленную против него, Николая, и такую неслыханную, дерзостно-резкую.

Когда во время первой в его царствование русско-турецкой войны сдался турецкой эскадре одинокий и расстрелянный небольшой русский фрегат «Рафаил», он, Николай, отдал приказ при захвате корабля у турок обратно немедленно его сжечь, чтобы смыть этим позорное пятно, наложенное его сдачей на весь Черноморский флот, и был особенно рад, что приказ неожиданно удалось выполнить Нахимову во время Синопского боя в точности: вошедший в состав турецкого флота и переименованный, конечно, бывший «Рафаил» действительно сгорел от снаряда, попавшего в его кюйт-камеру, – загорелся, взорвался, перестал быть.

Но вот в эту войну сдался весь уцелевший от истребления гарнизон маленькой крепости Бомарзунд, на Аландских островах в Балтийском море, всего около полутора тысяч человек, и у него не находилось уже гневных слов для того, чтобы заклеить этот позор.

Несчастный гарнизон буквально расстреливался, как на месте казни, из огромных орудий стоявшего вдали союзного флота, для которого стрельба эта была как бы учебной стрельбой. Из небольших крепостных мортир и пушек крепость не могла нанести ни малейшего вреда неприятельским судам, так как ядра далеко не долетали до них.

Однако вот теперь, может быть, в подобном же положении находится уже не какой-то ничтожный Бомарзунд, а оплот всего юга России – Севастополь, атакованный одновременно с моря и с суши.

Представив это, Николай вздрогнул, отвернулся от окна и просительно, и неотрывно, и даже растерянно (в своем кабинете и в одиночестве это можно было) начал глядеть на образ спасителя над своей кроватью.

Это так часто случалось с самодержцами прошлых веков, когда изнемогали они в борьбе с другими такими же самодержцами. Тогда они требовали, просили, умоляли, наконец, чтобы самодержец всех самодержцев земли им безотлагательно помог.

Разговор со спасителем был хотя и безмолвен, но многозначителен для Николая. Царь взял после этого новый лист бумаги и новое гусиное перо и, усевшись в кресло, написал не отрываясь и без клякс:

«Любезный Меншиков!

Буди воля Божия. Ты и твои подчиненные исполнили долг свой как смогли; больны неудачи, но еще большее потеря. Будем надеяться на милость Божию и не терять надежд на светлые дни.

Да благословит тебя Господь и все войска. Скажи им, что я по-прежнему на них надеюсь и уверен, что скоро мне вновь докажут, что упование мое не напрасно. Пошли мой поклон и благословение Корнилову и нашим храбрым морякам: их положение меня крайне озабочивает. Бог милостив, унывать мы не должны.

Обнимаю. Николай».

А как раз в то время, когда он писал это письмо с надеждами на Божью помощь, в лагерь Меншикова, верстах в пяти от Бахчисарая, явился священник, посланный херсонским архиепископом Иннокентием.

Иннокентий, прибывший из Одессы в Симферополь, просил разрешения князя привезти в его лагерь явленную икону Каоперовской Божией Матери, пронести ее с молебнами по полкам, а затем приехать с нею в Севастополь.

Хмуро выслушав посланца Иннокентия, сказал светлейший:

– Передайте его высокопреосвященству, что я боюсь скомпрометировать его икону, так как она может попасть в плен к тем, которые в нее совсем не верят... Так вот, опасаясь, чтобы этого не случилось, я прошу передать, что его высокопреосвященству совсем незачем приезжать с иконой на бивуак, а тем более везти ее в Севастополь... Прощайте!

Иннокентий стороною слышал о Меншикове как о тайном безбожнике, но такого весьма откровенного мнения его о «пользе» для военных надобностей «явленных» икон не ожидал и тут же написал и отправил в Петербург красноречиво, как всегда, составленный донос на командующего православным воинством, которому вручена свыше защита Крыма от неверных, защита креста от полумесяца.

## II

За обедом в этот день были два младших сына Николая – Михаил и Николай, юноши двадцати двух и двадцати трех лет: один – артиллерист, другой – военный инженер, и приехавшая из Петербурга Елена Павловна, вдова великого князя Михаила Павловича.

Скромно сидела за столом и фрейлина императрицы Нелидова, некрасивая и уже немолодая, давняя фаворитка Николая, выполнявшая при нем обязанности его жены, отправившейся лечиться в Италию, в Ниццу.

На императрицу Александру Федоровну, сестру прусского короля Фридриха Вильгельма IV, так подействовал страх, пережитый ею во время восстания декабристов, что вполне оправиться она потом так и не могла. С годами здоровье ее становилось все хуже и хуже, и она

часто ездила по заграничным курортам, заменяя один климат другим, одни целебные воды другими и укрепляя этим состояние пользовавшихся ее врачей и владельцев курортных отелей, но не свое здоровье.

Столовая гатчинского дворца была необширная и всю ее наполнял возбужденный голос Елены Павловны. Кокетливо кутая открытую высокую шею в пушистое меховое боа, она говорила о том, что вместе с английской армией в Крым поехало много сестер милосердия из высшего общества и что, конечно, теперь там, на кровавом поле сражения, они стяжали себе славу, которую могли бы стяжать и представительницы русского высшего общества, если бы разрешено было устроить общину русских сестер милосердия.

Она говорила по-французски, как это было принято во дворце Николая, хотя война велась главным образом с французами и они преобладали численно в десантной армии, в Крыму, а русский язык Елена Павловна знала очень неплохо.

Мысль о кипучей деятельности по устройству этой первой общины сестер в России, видимо, очень сильно занимала невестку Николая, и он не без любопытства глядел на ее раскрасневшееся полное лицо, на шевелящиеся губы, на отливающие бронзовым блеском волосы и на взволнованные, обращенные к нему глаза, а длинные белые пальцы ее холеных рук всегда ему нравились, и она знала это, и все время, хотя в этом не было никакой нужды, поправляла то правой, то левой рукой боа на шее.

Сам же Николай во все время ее как будто заранее подготовленной, такой убежденной и бесперебойной речи думал о том, удержится Севастополь или не удержится до прихода к нему четвертого корпуса.

Красивые длинные белые пальцы безостановочно двигались от стола к пушистому боа и обратно, и, представив себе рядом с этими пальцами пухлые губы такого же юного, как его сын Михаил, мичмана или корнета, Николай отозвался, наконец:

– В общину ты думаешь принять женщин не моложе, конечно, сорока пяти лет, не правда ли?

– Разве бывают светские женщины сорока пяти лет? – Елена Павловна притворно изумленно поглядела на него, очень высоко подняв брови. – Нет-нет, они никогда не доживают до этого печального возраста!

Но Николай не склонен был отвечать шуткой на шутку в этот вечер и сказал без малейшей тени улыбки:

– Во вдовьих домах много старух, и они только сплетничают друг на друга и раскладывают пасьянсы. Вот из них ты могла бы набрать себе сестер в общину...

– У меня есть и такой проект! – живо подхватила Елена Павловна. – И я даже знаю для них, для этих старух, очень хорошее название: «сердобольные вдовы», – старательно выговорила она по-русски. – Для них, я думаю, вполне была бы прилична форма, как в русских монастырях: черные платья и черные платки... не правда ли? А для сестер милосердия, я думаю, лучше всего коричневые платья – они немаркие – и белые глаженные косынки, накрахмаленные, конечно, – так будет изящнее. А на шее – золотой крест.

– Золотой Георгий? – Николай круглыми глазами удивленно поглядел на нее.

– Нет-нет, моя мысль такая: золотой крест, длинный, как у священников, и на аннинской красной ленте. Вот моя мысль!

Елена Павловна даже показала правой рукой на левой ладони, какой именно длины должен быть, по ее мнению, крест на шее русской сестры милосердия.

Но, заметив, что Николай глядит на нее непонимающе неподвижно, она поспешила объяснить:

– Община сестер, по моей мысли, должна будет называться «Кресто-воз-дви-жен-ская», – по складам, как заучивала, выговорила она это длинное русское слово. – Нужно, чтобы



в самом названии было «крест», какой они на себя возлагают, чтобы быть там, в этом аду, где пули, ядра, ракеты, и делать перевязки раненым.

– Делать перевязки?.. Но ведь для этого надо уметь их делать, – возразил Николай. – И не падать в обморок от одного вида тяжелой раны, как это принято у светских дам.

– О, конечно, они будут учиться этому!

– Где учиться?.. И сколько времени учиться?

– Я думаю, им позволят ходить для этого в хирургическую больницу, присутствовать при операциях...

– Убегут домой с первой же операции! – Николай презрительно повел головою, но добавил:

– Попробуй обратиться с этой затеей к Долгорукову. Может быть, он и разрешит ее.

Елена Павловна знала, что, если Николай отсылает к кому-либо из министров, это значит, что сам он ничего не имеет против, – и она неподдельно просияла, и даже бронзовый отлив ее волос стал как-то ярче.

Оба очень рослые, хотя и не такие чрезмерно высокие, как отец, великие князья Михаил и Николай тоже, как те светские дамы, которым захотелось надеть на себя коричневые платья, белые косынки и золотые кресты наружу, высказали отцу желание отправиться на театр военных действий.

Заговорил об этом Михаил, а Николай только поддержал его, и ожидающе оба глядели на отца, который медлил с ответом: он прежде всего не представлял, где именно вот теперь, в данную минуту, мог находиться этот театр военных действий. Разве не могло случиться, что, навалившись на слабые силы Меншикова, союзные армии на его плечах вошли уже в Севастополь?

Поэтому намеренно не сразу отозвался, попеременно глядя на сыновей, точно мысленно прощаясь с ними:

– Поездка на театр военных действий, конечно, может вам принести много пользы... Ты, – обратился он к Михаилу, – со временем должен будешь стать во главе артиллерийского ведомства. А ты, – он кивнул подбородком в сторону Николая, – во главе инженерного. Вам обоим надо знать, что введено нового у них, как идет дело у нас... Я не против вашей поездки к Горчакову, в Бессарабию.

– К Горчакову? – разочарованно протянули оба сразу. – А какие же военные действия возможны у Горчакова?

– Только этого и не хватало, чтобы еще и Горчаков открыл военные действия, – зло отозвался Николай. – Слава богу, у него пока спокойно, и вы можете присмотреться там на месте, как делается война. Воевать хорошо можно только тогда, когда война подготовлена хорошо.

– А разве Горчаков хорошо подготовил войну? – улыбнулся Михаил.

– Может быть, он умеет хорошо подготовить войну, но воюет, как известно, плохо, – поддержал младшего брата старший.

– Но зато он, кажется, единственный порядочный человек на всю Южную армию! – повысил голос Николай, но тут же отошел, добавив уже гораздо тише: – Я напишу ему, что вы хотите поехать к нему в действующую армию.

– А в Крым ехать сейчас даже и опасно, – заговорила возбужденно Елена Павловна, – потому что... неизвестно ведь, что там такое делается теперь.

– Прибыл курьер от Меншикова, привез донесение, что... десантной армии оказано сопротивление, очень чувствительное для союзников, – явно выбирая выражения, сказал Николай.

– Ах вот как! – Елена Павловна радостно сложила ладони, как для аплодисментов. – Это очень утешительно!.. И что же теперь Меншиков?

– Будет защищать Севастополь с суши, пока подоспеет четвертый корпус от Горчакова... А там милые гости должны будут убраться восвояси.

Николай говорил это не столько для Елены Павловны или своих сыновей, сколько для себя самого: хотелось звуками своего спокойного, уверенного голоса убедить себя, что именно так и будет и что шагающего теперь по степи суворовскими маршами четвертого корпуса достаточно для того, чтобы десант союзников рассеялся, как мираж.

– Вот они, истинные известия из Севастополя! – Елена Павловна блеснула глазами, сжимая в кулаки красивые руки. – А разные негодные люди в Петербурге уверяют, что Севастополь уже взят не то вчера, не то два дня назад!

– Ка-ак так взят Севастополь? – Николай поднял голову и плечи. – Кто-о смеет распускать такие подлые слухи?

Елена Павловна всплеснула руками:

– Невозможно! Это невозможная низость! Но как только появится в «Северной пчеле» официальное сообщение, все эти слухи исчезнут, конечно.

– Они не должны возникать – что там исчезнут! – крикнул, уже не сдерживаясь, Николай. – За распускание подобных слухов – в Сибирь подлецов! – перешел он на русский язык, как более сильный и подходящий к моменту. – Это дело столичной полиции – брать за шиворот всякого, кто только повторяет подлейший этот слух!.. Войска Меншикова отступили в полном порядке!.. Потери наши ничтожны! Укрепления возведены! Орудия везде поставлены. И пусть-ка сунутся эти господа к Севастополю! Им устроят такой салют, что они едва ли унесут ноги! Да, они не унесут ног: Севастополь будет для них могилой!.. Могилой, да!

Он был бледен от возбуждения. Резко отставив стул, он поднялся и выпрямился, как в строю. Все встали вслед за ним, хотя обед еще не был окончен. Даже кроткая Нелидова осуждающе глядела на излишне болтливую Елену Павловну.

Император ушел к себе в кабинет, откуда тут же распорядился послать за князем Долгоруковым и петербургским генерал-губернатором.

### III

Было уже поздно, когда отпустил Николай спешно прибывшего Долгорукова. Он все пытался сквозь осторожные официальные слова военного министра добраться до его мыслей там, в глубине души, о положении русского дела в Крыму, но Долгоруков умел хорошо владеть собою и говорил только то, что могло ослабить тревогу царя, а не усилить.

По его словам, слухи о падении Севастополя до него не дошли; если же их кто-нибудь в Петербурге придумывает и распускает, то это скорее всего французы-куаферы или француженки, содержащие великосветские ателье мод.

Доводы Долгорукова относительно того, что скорее, чем ехал курьер Меншикова, штабс-ротмистр Грейг, никто бы доехать из Севастополя до Петербурга не мог, электрического же телеграфа в южном направлении не существует, конечно, являлись вескими для царя, но он знал эти доводы и сам и десятки раз приводил их самому себе.

Однако он не забывал и того, что стоустая молва, обходя почтовые тракты, способна лететь гораздо быстрее всех курьеров, а главное – были налицо все основания для такой молвы. Привыкший только отдавать приказания, а не выполнять чужую волю, самодержавный монарх России упрощал все расчеты, связанные с передвижением армий: в его мозгу они двигались неудержимо быстро, – просто для них даже и не существовало никаких препятствий. Это относилось прежде всего к армиям союзников, победителей на Алме, так как английские и французские пехотинцы были гораздо легче оснащены, чем русские, – значит, способны к более быстрым маршам.

Известию, привезенному Грейгом: будто союзники не преследовали отступающие русские полки, – он не то чтобы не верил, но это просто не укладывалось в порядок его мыслей. Раз одержан успех, его необходимо развивать без промедления – так учила тактика, – а если Грейгу не встретились союзные войска на дороге к Симферополю, то потому, конечно, что они шли морским берегом, если даже не перевозились на судах, что было бы вполне разумно с их стороны.

Прямолинейный ум Николая предполагал такую же прямолинейность и у Раглана и Сент-Арно.

Между тем в прямолинейность заявлений заграничных газет о том, что союзники направляют удар на Севастополь, он не верил, считая, что это только военная хитрость – дать газетам заведомо вздорный план войны, чтобы усыпить его внимание на Кавказе, который, несомненно, станет театром военных действий: как же можно не поднять восстания горцев, у которых есть такой вождь, как Шамиль? Как же можно не усилить мощным десантом турок около Батума, зная, что Черноморский флот заперт в Севастопольский бухте?

От себя самого Николай не мог скрыть, что его обошли, перехитрили, одурачили; что, если бы он дал больше веры записке Меншикова, посланной ему еще в конце июня, и подкрепил бы его хотя бы корпусом, Севастополь был бы в безопасности, а теперь... все говорило за то, что слухи, дошедшие до болтливой Елены Павловны, может быть, и вполне правдивы.

Что Севастополь почти не укреплялся с Южной стороны, Николай знал; в то, что его могли укрепить хорошо за несколько дней, он, когда-то занимавшийся саперным делом, не верил. Сокрушительный штурм армии союзников и позор падения твердыни и оплота всего юга России стал представляться ему все более и более возможным, когда он остался после полуночи один в своем кабинете.

Вплоть до последнего времени Николай, хотя и оставался незыблемо религиозен, не допускал, чтобы обедни в дворцовой церкви тянулись дольше часа, почему не любил и так называемых «концертов», сложных по партитуре, и выступлений солистов, а допускал только простое обиходное пение: он ценил свое рабочее время дороже длинных и витиеватых песнопений, – у него был практический ум. Ясность европейской политики, которую главным образом сам же он и делал, укрепляла его в том мнении, что все, что он делает, безошибочно хорошо: его Бог (русский Бог) стоял перед ним с благожелательным лицом.

Но вот теперь очень остро и резко почувствовал он, что Бог, самодержец всех самодержцев земли, отвернул от него лицо.

Во дворце кругом все было тихо; за окнами кабинета слабо шуршал однообразно при полном безветрии падавший дождь.

Перед иконой Спасителя старый камер-лакей Никита Иваныч по приказу Николая зажег восковую свечу и ушел спать.

Икона висела над изголовьем походной кровати. Николай, отодвинув кровать, стоял и долго молча смотрел на икону глаза в глаза. Наконец, огромный, но усталый от двух почти бессонных перед этим ночей, он медленно опустился на колени, истово крестился длинной рукой и склонял голову, касаясь ковра блестящим облысевшим лбом.

Он не шептал при этом никаких церковью сочиненных молитв, ведь в этих молитвах ничего не говорилось о Севастополе, но молился долго, до полной усталости, которая привела за собою сон.

Так и заснул он, стоя на коленях, прислонясь плечом к походной кровати и свесив голову. Свеча, подтаяв и наклонясь, капала на правый генеральский погон его мундира...

Он проснулся только тогда, когда повернул во сне голову направо и горячая капля расплавленного воска упала на его голое темя.

## Глава пятая

### Дни ликований

#### I

Человек мечтателен по натуре – его мысль быстра. Он недоволен слишком медленным, хотя и плавным, с учетом всех решительно причин и предпосылок, течением мировых событий. Он спешит. Ему так иногда хочется ускорить эти события, что он готов даже сам выдумать их и в свою же выдумку поверить.

Когда тот же самый, волчком завертевшийся по Европе слух о взятии Севастополя попал в парижские газеты (вечерние газеты за 1 октября нового стиля), ему сразу поверил весь Париж. И как было не поверить после только что опубликованных подробностей полного и решительного поражения армии Меншикова на реке Алме благодаря искусству покойного маршала Сент-Арно?

Если Сент-Арно и умер на своем славном посту, то ведь замещал его теперь молодой, полный энергии и отваги генерал Канробер, который, конечно, как волк на свою добычу, бросился на этот Севастополь и взял его.

На другой день в утренних выпусках газет появились всеми ожидаемые подробности этого славного дела. С большой осведомленностью газеты «Patrie», «Pays», «Constitutionnel» и другие сообщали своим читателям, когда и где последовательно, в нескольких сражениях была совершенно уничтожена армия Меншикова, уцелевшая от разгрома на Алме; как затем приступлено было к бомбардировке Севастополя, после которой блестяще проведен был штурм. Флот, стоявший в бухте, истреблен весь, без остатка. Сдача гарнизона была безусловной.

Конечно, нужно было все-таки указать и источник этих ошеломляющих известий. Газеты ссылались на татарина, приехавшего в Константинополь из Крыма. Уже в самом слове «татарин» была та самая экзотичность, которая необходима для достоверности, раз события совершаются в такой стране, как Россия. И в этот день самым популярным словом в Париже было слово «татарин».

Улицы были оживлены необычайно: как же можно усидеть дома, раз Севастополь взят? Газеты дошли даже до того, что патетически восклицали: «Наконец-то наши несчастья 1812 года в этой стране отомщены молниеносно быстро и блестяще». Радостно заволновались кварталы предместий; ликование перекинулось вместе с листами парижских газет в провинцию. Префекты городов печатали и приказывали наклеивать на стены прокламации о бурном натиске войск императора Наполеона III на твердыню императора Николая и об их решительном успехе, превзошедшем все ожидания.

С барабанным боем, торжественно объявлялись депеши газет гарнизонам провинциальных городов. Много, очень много было на вполне законном основании пьяных в этот день во всей Франции. Даже незнакомые люди сходились на улицах для того, чтобы поздравить друг друга с тем, какую геройскую армию имеет их страна – несомненно лучшая страна в мире.

В Сен-Клу, где ожидался император Наполеон, торжественно и лихо били барабанщики, исполняя приказание начальства. Жителям предложено было зажечь вечером иллюминационные площадки около своих домов. В парке сожжен был замысловатый фейерверк в ознаменование великого торжества французской армии над русскими казаками.

Наполеон III, мечтательный сын мечтательной Гортензии, так сразу и безоглядно уверовал в «татарина» с его бесподобными вестями из Крыма, что приказал было уже пушечными выстрелами с Инвалидного дома оповестить население Парижа о блистательной победе;

и нигде во всем Париже не ждали с таким нетерпением этих заветных выстрелов, как на бирже, где расцвел мгновенно, чуть только появились «телеграфические депеши» в газетах, давно невиданный ажиотаж.

Побочный брат Наполеона, граф Морни, был на бирже совершенно в своей стихии. Дела его в первый день шли так же блестяще, как дела французской армии в Крыму, но ему хотелось большего: не всякий же год берутся Севастополи и без остатка уничтожаются целые флоты.

Этот внешнеюстью похожий на брата, только начисто плешивый делец, больше всех окружавших в тот день императора французов настаивал на том, что необходимо палить не только с Инвалидного дома, но и вообще из всех пушек, какие имеются в Париже. Торжествовать так торжествовать! Иначе зачем же пушки?

Едва удалось военному министру, маршалу Вальяну, убедить Наполеона, что палить из пушек будет не поздно и на другой день: не все же сразу. А тем временем придут подтверждения первоначальных депеш, а главное, интересующие всех подробности этого огромного исторического события и перечисление взятых у русских трофеев.

Седоусый маршал выказал такую явную осторожность, отнюдь ни одним словом при этом не опорочивая переданных из Константинополя депеш, напечатанных и в официальном «Мониторе», что Наполеон только презрительно улыбался, глядя на него: хорош маршал! Хорош военный министр, сомневающийся в подвигах своей армии!.. Однако приказ об открытии пальбы в этот день отменил.

## II

Все-таки, если даже и не палили из пушек, никто не мог запретить кричать кое-кому на бирже, что пальба была, что они только что слышали на улице пушечные залпы. Даже самые сомнительные ценности, и те летели вверх при одних только криках о пальбе.

Страсти разгорелись так, что за общими криками биржевики и не могли бы расслышать никаких пушек не только с Инвалидного дома, но и возле здания биржи.

Вечерние газеты хотя и не принесли никаких подробностей о победах в Крыму, но зато объявили плохими патриотами тех, кто вздумает усомниться в верности сообщенных известий. Биржевые агенты были гораздо более воинственны, чем полковники и генералы. Размахивая тросточками как шпагами, они кричали: «Итак, с русским медведем мы покончили! Теперь на Рейн! Теперь очередь Пруссии!»

Граф Морни проявлял непостижимую энергию: не обедал, не отдыхал, не ложился спать два дня. Если сорвалось дело с пушками, то ведь были газеты, барабаны, иллюминации, прокламации, был ипподром, наконец, на котором можно в спешном порядке поставить на сцене «Взятие Севастополя».

Главное же было в акциях разных компаний, в акциях, продававшихся и покупавшихся в эти дни на бирже, некоронованным королем которой был Морни.

Метц, Страсбург, Тулон – все вообще города, где были крупные гарнизоны, экстренно, но тем не менее пышно устраивали банкеты с разливным морем вина, речей и тостов за императора, маршалов, офицеров и героев-стрелков.

Начало октября – время сбора винограда винных сортов – и без того всегда было праздничным временем у французских крестьян; теперь же от этих изумительных побед в Крыму французская деревня совершенно обезумела.

Если бы Наполеон в эти дни вздумал посетить провинцию, как делал это в дни своего президентства, то был бы предметом самых восторженных оваций, кумиром толпы, но он не чувствовал уже никакой нужды в подобном проявлении народных чувств. Он был и без того упоен властью и еще больше вырос в собственных глазах благодаря необыкновенной, почти сказочной удаче предпринятого им не без тайных колебаний смелого шага на Востоке.

Однако и по ту сторону Ла-Манша появились в газетах те же самые константинопольские депеши со слов «татарина», приехавшего из Крыма. Но к чести англичан, только перед тем узнавших о больших потерях армии лорда Раглана «в бою у деревни Бурлюк», то есть на Алме, нужно сказать, что они отнесли к «татарину» с некоторым сомнением.

Ликование было, конечно, и в Лондоне, и усиленно начали работать биржи и банки Сити, но Кларендона, руководившего иностранной политикой, со всех сторон засыпали вопросами, есть ли подтверждение столь пышных депеш, и Кларендон только разводил руками и говорил, что ему ничего не известно.

Париж продолжал волноваться сам и волновать Лондон, Берлин, Вену – всю Европу.

Правда, на третий день запрещено уже было правительством отправлять из Парижа электрические депеши, если в них официально сообщалось о взятии Севастополя. Однако Министрство внутренних дел ничего пока еще не имело против подобных сообщений, если газеты ссылались на «частные источники».

В подобных же «частных источниках» не было недостатка, так как агенты графа Морни не менее деятельно работали в Константинополе, чем он в Париже.

И только утром 5 октября газеты решились, наконец, разобрать набор громоносных статей, заготовленных заранее в надежде на новые депеши уже не «татарина», а Канробера и Раглана.

Мистификацию нельзя уж было продолжать: тон газет стал весьма сконфуженный.

Разочарованные парижане в тот же день к вечеру каждого полицейского на улицах награждали презрительной кличкой Татарин, за что многие поплатились арестами.

Известный комический актер Грассо, зайдя вечером в этот день в совершенно переполненное кафе, сказал во всеуслышание: «Кажется, найти здесь место за столиком потруднее будет, чем взять Севастополь!» – и за это был немедленно отведен в полицию.

Сам Наполеон был ужасно рассержен тем, что стал жертвой доверия к совершенно нелепой выдумке, и приказал строжайше расследовать это дело. А плешивый братец его мог наконец утереть трудовой пот и подсчитать миллионные барыши, которые доставила ему пока, в первые дни, севастопольская кампания своим «татаринном».

В Петербурге же иностранные газеты с константинопольскими депешами пришли в одно время с донесением Меншикова Николаю о том, что, совершив фланговый марш и обезопасив тем сообщение с тылом, он от Бахчисарая возвратился в Севастополь, на защиту которого стали в бастионы моряки рядом с пехотинцами, и что союзники, видимо, предпочли длительную осаду весьма рискованному штурму.

Сличение чисел показало, что и депеши со слов Татарина, и донесение Меншикова писаны в одно и то же время.

День получения тех и других известий – 27 сентября по старому стилю – сделался днем ликования теперь уже для сумрачно настроенного перед тем Николая.

На радостях он написал Меншикову: «Благодарю всех за усердие! Скажи нашим молодцам-морякам, что я на них надеюсь на суше, как на море. Никому не унывать! Надеяться на милосердие Божие; помнить, что мы, русские, защищаем родимый край и веру нашу, и предаться с покорностью воле Божией. Да хранит тебя и вас всех Господь! Молитвы мои – за вас и наше правое дело, а душа моя и все мысли с вами. Душевно обнимаю. Поклонись Горчакову и обними Корнилова. Что наши раненые, каково им: как призрены, и где и как обезопасил ты их от бомб?»

Горчакову же, командующему Южной армией, он писал в тот же вечер: «...Завтра благословлю в поход моих младших сыновей; думаю, что они к тебе явиться могут 3 или 5 октября. Будь им руководитель и сделай из них добрых верных служивых, а за усердие их отвечаю. Не балуй их и говори им правду».

## Глава шестая

### Дни надежд

#### I

Войдя в Синопскую бухту, суда Черноморского флота, не отвечая ни одним выстрелом на ожесточенную канонаду турок, прежде всего спустили якоря и стали прочно на отведенных им по диспозиции Нахимова местах.

Плавучие крепости сделались неподвижными крепостями, выдержали бой и уничтожили противника.

Когда Корнилов стал во главе обороны Севастополя, он остался прежним вице-адмиралом, только число подчиненных ему судов значительно выросло, и одни из них – старые – на привычных для глаза местах стояли в бухте, другие – новые, – получившие название бастионов, выстроились с другой стороны города, а моряки были одинаковы здесь и там.

Поставленный во главе обороны не приказом свыше, а доверием к его способностям со стороны старших по службе адмиралов и генералов, таких как Нахимов, Станюкович, Берх, Моллер, Корнилов в несколько дней развернул все свои недюжинные силы.

Он рос у всех на глазах. Он хорошо знал все слабые места оборонительных линий и все ресурсы крепости, которые можно было бросить туда, и все возможные способы этой переброски.

Каждый из тех нескольких дней, которые Меншиков с армией провел на бивуаке под Бахчисараем, казался вице-адмиралу неумолимо коротким.

Он стремился бывать везде и видеть всех. Его речи солдатам и матросам, рывшим траншеи, устраивавшим блиндажи, устанавливавшим орудия, были коротки, но выразительны, как знаменитая, попавшая в летопись речь Святослава. Он говорил, что отступать некуда: позади море, впереди неприятель, – и что надо умереть с честью. При этом бледное лицо горело таким экстазом, что даже солдаты, не только матросы, кричали «ура!» и говорили: «Вот это командир так командир!»

Между тем хворосту для туров и фашинов не было, земля же была сухая, хрящеватая, сыпучая: даже дерн, чтобы ее удержать на укреплениях, вырезать было негде. Какой-то озорной козел, принадлежавший попу с Корабельной слободки, и тот повадился расковыривать рогами насыпи, приготовленные близ Малахова кургана для защиты от бомб и ядер союзников, и действовал так успешно, что приводил начальство батареи не только в ярость, но и в отчаяние.

Амбразуры для орудий выкладывали мешками с землей, отчетливо представляя себе, как они загорятся при первых же выстрелах, но больше не было ничего под руками. Счастливы были, когда удавалось докопаться до глины: тогда лепили щеки амбразур из глины.

Но орудия и снаряды к ним везли и везли из арсенала и с судов. Матросы-комендоры, принимая их, ласково поглаживали и похлопывали их по хоботам: свои! Брустверы бастионов – не те же ли были борты линейных кораблей и фрегатов?

Как на кораблях, матросы называли дежурство на бастионах вахтой, часы – склянками, канаты – концами. Каждые полчаса вахтенный бил в колокол, как это делал на корабле, а боцманы свистками сзывали своих людей на обед, на работы.

Как на кораблях, вода для питья и на батареях хранилась в цистернах, железных ящиках однообразного размера, а глубокие блиндажи разве были не те же кубрики?

Князь Меншиков, адмирал по чину, начальник главного морского штаба по должности, назначенный царем в Крым на его защиту, никак не мог наладить хорошие отношения с чер-

номорскими моряками. Не было уважения к нему, хотя он часто показывал, что знает морское дело; тем более не было ни с кем, даже из адмиралов, сколько-нибудь теплых отношений.

Он пробовал устраивать обеды и приглашал на них моряков приблизительно одних рангов, чтобы они держали себя непринужденно, но на таких обедах даже друзья, сидя рядом, имели вид тайных врагов, и признанные поклонники Бахуса только прикасались губами к бокалам, тут же отодвигая их.

От старших в чинах не отставали и младшие: капитан-лейтенанты, лейтенанты, мичманы. Они всячески высказывали свое презрение к тем, кого из флотских удостоил Меншиков взять к себе в адъютанты или ординарцы.

Когда Меншиков убедился в том, что неприязненного отношения к себе в Черноморском флоте он вытравить не может, он, не сдерживаясь, давал волю своему сарказму на смотрах; синопских героев, когда они вернулись, презрительно называл «желтыми рубашками», и мало того, что выдержал их три дня в карантине, не пришел на праздник, устроенный для них городским управлением. Он сослался при этом на недужность, но все видели его в тот день вечером верхом на лошади, окруженного свитой адъютантов: вечер выдался тихий и теплый, и он вздумал проехаться по городу.

С матросами, выстроенными на палубах судов, когда он проезжал на катере или шлюпке, он даже и не здоровался, ссылаясь на свой тихий голос. Матросы звали его весьма единодушно чертом.

Но если такие установились отношения во флоте у адмирала Меншикова, то тем более чужим казался он полкам кавалерийским и пехотным, солдаты которых даже и понять не могли, почему командующим войсками вдруг оказался этот длинный старик во флотской черной шинели и черной фуражке.

Корнилов же, свой среди матросов, сразу был признан и солдатами всех полков. Когда же лейтенант Стеценко привез ему добрую весть, что армия не только не покинула города на произвол врагов, но возвращается значительно усиленная отрядом генерала Хомутова, Корнилов так светился весь радостью, что зажег ею весь гарнизон, объезжая батареи с первой до последней.

И получилось как-то само собой, что будто не командующий всей обороной не только Севастополя, а и целого Крыма, шел принять это дело в свои руки, а просто ему, адмиралу Корнилову, прислана была большая сила на подмогу, и с этой подмогой при таком командире, как Корнилов, не страшны уж никакие враги.

Между тем ему никогда не приходилось не только защищать, но и брать никаких крепостей, а Меншиков все-таки за четверть века до того взял крепость Анапу, руководил осадой Варны и гораздо лучше Корнилова знаком был с инженерными работами, удивляя этими своими знаниями даже Тотлебена.

Человек общепризнанно умный, Меншиков был и одним из образованнейших людей тогдашней России. Он не только имел богатейшую из частных библиотек, но и прочитал все свои книги, и багаж его знаний был громаден. Неизвестно, зачем вздумалось ему между прочим получить диплом ветеринарного врача (это было в молодости, за границей), и он получил его. Но медики из разговоров с ним выводили, что он прекрасно знаком с медициной, геологи принимали его за геолога, астрономы – за астронома...

И, однако, человек столь разнообразных и обширных знаний не знал такой простой, казалось бы, вещи – умения владеть людьми. Он был слишком холоден для этого; обилие его знаний не оставляло в нем места для веры в людей. Он мог отдать приказ: обдуманый и необходимый – но будто даже излишним считал внушить, как его выполнить; у него не было дара внушать.

И как раз того самого огня, которого не хватало Меншикову, чтобы стать вождем, в избытке было у Корнилова, и это чувствовали все, кто соприкасался так или иначе с ним, от генерала до рядового.



И когда светлейший вернулся в покинутый им на целую неделю Севастополь, то первый, кого он хотел видеть и с кем говорить, был Корнилов.

## II

Человек кабинетный и по натуре и в силу преклонных лет, Меншиков даже в походе носил на себе все наиболее нужное из своего кабинета: чернильницу, перья, карандаши, записные книжки разного назначения, справочники и свои записки, карты местности вокруг Севастополя, циркуль, лупу, двое карманных часов – расхожие и запасные, бинокль, а кроме того, имея в виду всякие случайности войны, набивал свои карманы набором хирургических инструментов и всем, что требовалось для перевязки раны, сухарями и мятными лепешками, плоской фляжкой с коньяком или ромом и пропастью прочего груза, для которого на одном только жилете было у него шесть карманов; сверх жилета носил он камзол – тоже с шестью карманами, а сверх камзола – короткую шинель солдатского серого сукна, состоящую сверху донизу из одних карманов.

Это чрезмерное изобилие карманов прикрывалось, в конце концов, неким подобием плаща тоже из серого солдатского сукна, с рукавами, хлястиком сзади и капюшоном; сооружение это было недлинное – всего до колен, и в нем светлейший казался издали массивным.

Таким застал его Корнилов, вызванный им вечером 18 сентября на Северную сторону, в инженерный домик, облюбованный князем для ночевки после похода.

Корнилов вошел к нему радостный.

– Наконец-то! Теперь Севастополь спасен! – возбужденно заговорил он, едва успев поздороваться с князем.

– Почему вы так думаете? – Меншиков удивленно поглядел на него. – Потому только, что вам хочется так именно думать?.. Мне, конечно, тоже хотелось бы так думать, Владимир Алексеевич, но, к сожалению, у меня нет никаких оснований для этого... Неприятель очень силен, мы же ужасно слабы... ужасно слабы!

– Мы – Севастопольский гарнизон то есть – действительно слабы, Александр Сергеевич: нас едва ли наберется всего-навсего пятнадцать тысяч... Так что, если союзники двинутся на нас тремя колоннами по пятнадцать тысяч, они нас сомнут – это правда... Но раз с нами будет вся армия...

– Армия не войдет в Севастополь, – спокойно перебил его князь.

– Как не войдет? – не понял Корнилов.

– Армия будет нужна для защиты Крыма, когда будет взят Севастополь.

Голос князя, и без того глухой и негромкий, теперь, от усталости видимо, показался Корнилову еще глуше; весь его старческий облик с темными, почти черными, дряблыми подглазьями был зловещий. Нервная судорога кривила его губы с левой стороны.

Несколько моментов Корнилов молчал пораженный, наконец проговорил сдавленно:

– Мы ждем штурма со дня на день, с часу на час, ваша светлость. Мы укрепились уже очень за эту неделю... Но у нас мало людей для рукопашного боя... Вся наша надежда была на армию!

– Весь Крым надеется на армию – не один Севастополь...

– А что же такое Крым без Севастополя? – почти вскрикнул Корнилов. – Разве можно дать погибнуть Севастополю, ваша светлость?

Меншиков повел головою.

– Моя армия его не спасет. Моя армия слишком слаба и численно мала.

– А десять тысяч подкрепления? Откуда же их взял лейтенант Стеценко?

– Десять тысяч?.. Да, мы их ждали, но пришло гораздо меньше... гораздо меньше... И то, что называется «на тебе, небоже, что нам негоже»... Никто ведь не хочет расстаться с хоро-

шими частями. Горчаков писал, что послал двенадцатую дивизию, но когда она придет? К шапкам? Когда все с Севастополем будет кончено?

– Александр Сергеевич! Выделите нам хотя бы четыре пехотных полка полного состава, и Севастополь мы отстоим! – выкрикнул Корнилов, сделав энергичный выпад тощей рукой в сторону Балаклавы и Херсонеса. – Нет, вы этого не сделаете, конечно, чтобы армия была только почетным свидетелем гибели всех матросов, всех офицеров флота, всех судов, всех фортов, всего арсенала!.. Ведь не будет же армия с Инкерманских высот только наблюдать хладнокровно пожар Севастополя, как Нерон – пожар Рима!.. Наконец... простите мою горячность, ваша светлость, ведь вы теперь лично, а не я, то есть не генерал Моллер, будете стоять во главе обороны Севастополя!

– Напротив! Совсем напротив! – спокойно возразил Меншиков. – Армию я думаю дня через два отвести снова от Севастополя.

– Но ведь штурм может быть завтра или даже сегодня в ночь, если они достаточно изучили местность!

– Местность они изучили гораздо раньше, чем высадились в Крыму, – непроницаемо спокойно отозвался князь и вынул из одного кармана камзола аккуратно сложенную пухлую карту окрестностей Севастополя с французскими надписями на ней. – Полюбуйтесь, какая чистая работа!.. Я несколько раз обращался с письмами к Долгорукову, чтобы прислал мне подробную карту Крыма, и мне прислали наконец: старой съемки, еще тридцать седьмого года, карту вам известную – пять верст в дюйме, и с целой кучей неточностей – а эта – верста в дюйме и очень точная, в чем я убеждался неоднократно на походе.

– Как же она к вам попала?

– Казаки обшаривали поле сражения на Алме и нашли ее где-то там в брошенной сумке... Между прочим подобрали и несколько наших, тяжело раненных... Бросили те, мерзавцы, без всякой помощи... Потом на арбах перевезли их казаки в Бахчисарай.

– Хорошо еще, что не отрезали им голов турки!

– А у вас есть точные сведения, что штурм назначен на завтра? От кого именно получены они?

– Сведений никаких нет, но все разумные доводы говорят за это.

– Разумных доводов мало, очень мало! Разумные доводы говорили и за то, что десант в Крыму – вещь неразумная, а умнее был бы десант на Кавказе. Однако...

Меншиков сощурился и развел кистями рук.

– Однако они пропустили уже самый удобный для них момент, – подхватил Корнилов, – когда могли захватить и Северную и Севастополь!

– Армия висела у них на вороту – вот что имели они в виду... И теперь висеть будет... И этот вытяжной пластырь, прошу вас так думать, Владимир Алексеевич, гораздо полезнее приемов лекарства внутрь... Вы увидите, что они не рискнут на штурм!

– Днем может быть, а ночью?

– Десятитысячному авангарду под командой Жабокритского я приказал как следует показаться им на Инкерманских высотах! В развернутом строю, чтобы занять как можно больше пространства! И даже, если позволит время, продефилировать два раза одними и теми же частями, чтобы мой авангард они там приняли за всю армию. Думаю, что демонстрация эта им кое-что внушила, и штурма в ближайшие дни не опасуюсь.

– А в ближайшие ночи? – снова спросил Корнилов. – Ведь одна эта карта показывает, что местность кругом им известна, а несколько дней, пока армия им не мешала, они, конечно, отлично изучили ее в натуре, нашу местность... Мы с Истоминым думали на днях устроить учение на Малаховом – примерный штурм, – чтобы определить точно, сколько штыков потребно будет для защиты этого участка обороны. Однако он думает и без подобного опыта, что надо вчетверо больше солдат и матросов, чем у него сейчас.

– Другими словами, вы хотели бы всю армию засадить за бастионы и чтобы Севастополь союзники окружили со всех сторон? – усмехнулся по-своему, длительной саркастической гримасой, Меншиков. – Нет, об этом давайте больше не говорить. Прошу показать мне вот здесь, на карте, откуда именно ждете вы ночного штурма.

Корнилов наклонился над картой, которую Меншиков тем временем осторожно развертывал на столе.

– Гм... Тут есть даже хутор Дергачева... и хутор Панютина, – изумился он. – Что же это? Они или производили съемку у нас под носом, или постарались для них какие-нибудь шпионы, наши подданные?

– Татары, конечно, – нахмурился Меншиков. – Я буду просить разрешения у государя очистить от татар западный Крым, иначе они поднимут восстание у нас в тылу.

– И мне кажется, Александр Сергеевич, – допустим – чего Боже сохрани! – врагов овладеть Севастополем, восстание тогда неизбежно. А пока... пока они расположились так, насколько мы могли выяснить: Панютин хутор занят французами; от хутора и к верховьям Камышевой бухты и Стрелецкой они расположились лагерем; туда, к этим бухтам, сегодня утром пароходы вели на буксире пятнадцать купеческих судов, больших, с низкой осадкой... Затем то и дело появляются на высотах их конные отряды: в целях, разумеется, рекогносцировки – но близко, на пушечный выстрел, все-таки подъезжать не рискуют.

– А не могут ли они захватить Георгиевский пороховой погреб? – встревожился князь.

– Я это сделал, то есть приказал его очистить, и он очищен: из него успели вывезти все. Также и лес с делового двора перевезен в адмиралтейство, так как двор оказался вне оборонительной нашей линии. Затем введены в действие сигналы по всей линии, как то: «неприятель появился там-то», «имею нужду в подкреплении»...

– Кто же не имеет нужды в подкреплении? – буркнул Меншиков. – Англичане где и как стали?

– Получены сведения из Балаклавы, что они заняли Балаклаву, Кадык-Кой, Комары – вообще всю окрестность Балаклавы и, по-видимому, хотят завести в бухту свой флот.

– Военный флот ведь нельзя же завести в бухту, – перебил князь.

– Передавали, будто даже трехдечный линейный корабль вели! Хотя у нас во флоте думают, что это какая-то басня.

– Странно! Мелкие суда – об этом не может быть спора: я так и предполагал, что тихая бухта эта будет служить убежищем для мелких судов во время равноденственных бурь, – но трехдечные линейные корабли чтобы вошли в такой узенький проход, как там, – это, правда, похоже на вымысел... Но допустим, допустим даже и это. Значит, этот район, – он обвел ногтем большого пальца, – угрожаем от французов, а этот – от англичан. Турки же, кажется, в большей части остались в Евпатории... Я такое их расположение предвидел. По каким же линиям и на какие именно пункты вы ждете ночных атак?

Корнилов пространно начал объяснять, то и дело прикасаясь к карте неочиненным концом карандаша. Меншиков слушал, глядя больше на его голову и мимо нее в окно, чем на карту, наконец сказал:

– Нет, я что-то совсем не верю в их ночные штурмы, Владимир Алексеевич! Без личной такому шагу бомбардировки они не кинутся в подобный омут... Потому что ночной штурм – это тот же омут: можно вынырнуть, а можно и ко дну пойти. Они ведь знают, я думаю, что ночью будет исключительно штыковая работа, поэтому потери их во всяком случае будут огромные, а успех сомнителен.

– Вы придаете мне много бодрости этими вашими словами, Александр Сергеевич, но я надеюсь и на то, что вы не откажете все-таки дать еще и дивизию для поддержки матросов на бастионах, – почти умоляюще поглядел на князя Корнилов.

Меншиков недовольно отвернулся.

– Я думаю, что это совсем лишнее.

– Может быть, мы сделаем так, ваша светлость, – перешел на официальный тон Корнилов. – Вы прикажете собраться военному совету из начальников оборонительных участков; я зачитаю на нем свою вам докладную записку о положении дела, и тогда уж совет решит.

– Опять совет! – Князь сделал гримасу. – Дались вам советы!

– Однако, ваша светлость, если вы говорите, что снова уведете армию от Севастополя, для чего потребовали, чтобы все обозы были перевезены на Северную, чем мы были заняты весь день и что наконец закончили...

– Ну хорошо, хорошо! Совет, военный совет, – презрительно перебил Меншиков. – Если вам так нравятся эти советы, приготовьте докладную записку – что ж с вами делать!

– Я, ваша светлость, хочу только одного: чтобы уцелел Севастополь! – Корнилов выпрямился. – В каком часу прикажете завтра собраться начальникам оборонительных участков и прочим начальствующим лицам?

– Я извещу вас об этом завтра утром.

Они простились холодно. Вернувшись к себе, Корнилов немедленно начал готовить докладную записку, но верный себе Меншиков не собрал на другой день военного совета, зато прислал к вице-адмиралу одного из адъютантов с радостным сообщением, что выделяет на усиление гарнизона три полка 17-й пехотной дивизии: Московский, Бородинский, Тарутинский – с батареями 17-й артиллерийской бригады и резервные батальоны – по одному от Волынского и Минского полков.

### III

Еще до прихода армии Меншикова к Севастополю Корнилов устроил на случай бомбардировки и штурма несколько перевязочных пунктов в городе и один на Корабельной слободке. В этот последний, с его разрешения, была зачислена в штат медицинского персонала первая русская сестра милосердия – матросская сирота Даша.

Корабельная слободка основалась в одно время с тем казенным Севастополем, который показывал Потемкин Екатерине в 1787 году. Корабельную слободку заселили корабельные плотники, которых было немало согнано сюда из Воронежской, Рязанской и других губерний, где привился и вырос этот промысел с легкой руки Петра.

Флот, представленный Екатерине в Севастопольской бухте, был уже вполне порядочный для начала: три линейных корабля, двенадцать фрегатов, двадцать пять более мелких судов.

И все это, так же как и деревянный дворец для Екатерины, строили обитатели Корабельной слободки.

Впоследствии слободка раздвинулась, чтобы вместить в себя отставных боцманов и матросов, которые занялись кто огородами, кто извозом, кто завел ялики: одни – для перевоза с одной пристани на другую, другие – для рыболовства.

Таким отставным матросом, кое-как оборудовавшим себе с женой убогую хатенку, был и отец Даши. Он умер за месяц до высадки союзников, мать Даши умерла раньше.

Даша выросла на воле. Плавала она, как дельфин. Иногда пропадала целыми днями на Черной речке, выдирая раков из нор. Гребла не хуже самого заправского гребца и ставила парус. Ее приятели были приходившие к отцу матросы.

И когда два батальона матросов, в пешем строю и с ружьями, пошли вместе с другими армейскими батальонами встречать англофранцузов на Алме, Даша не могла усидеть дома.

Она слышала от отца и других бывалых матросов о маркитантках-француженках, которые ездят на лошади с бочонком вина, и чуть где сражение – они там: подкрепят усталого стаканом вина, помогут раненому... В восемнадцатилетней голове Даши, только услышала она о том, что будет сражение, сразу возник этот план: собрать все, что можно продать, купить

немудрую лошаденку и бочонок водки, а чтобы помочь раненым, набрать с собою чистых тряпок для перевязок... Попросят воды – тогда взять еще и бочонок с водою; попросят есть – взять хлеба и еще какой еды... Наконец, как можно появиться на сражении в женском платье? И не допустят, и мало ли что может из этого выйти. И Даша решила переодеться мальчишкой-подростком, юнгой.

Перешила старую отцовскую бескозырку, спрятала под нее косы; перешила на свой рост его матроску и шаровары; продала ялик и сети, кур, свинью и все, что можно было продать, – купила водовозку-клячу вместе с двуколкой и упряжью; бочку променяла на два бочонка; собрала, что задумала собрать, и двинулась на Бельбек, на Качу, к роковой Алме.

Через казачьи пикеты пробралась, лихо держась, как самый настоящий юнга, увязалась в хвосте обоза, а когда обоз остался в Качинской долине, пользуясь сумерками, добралась по дороге до войск как раз накануне сражения, всем обращавшим на нее внимание по дороге, жалуясь энергично на свою клячу:

– Ну не проклятая скотина, скажи! Была бы своя собственная, убил бы я ее давно, а то – барина, чтоб ее черт съел!

– А кто же твой барин такой? – спрашивали иные.

– Э-э... лейтенант, барон Виллебрандт...

– Чего же он тебя сюда послал, лейтенант твой?

– Э-э... так он же адъютант самого князя Меншикова.

У Меншикова действительно был адъютантом капитан-лейтенант барон Виллебрандт – это она знала от матросов. Выдумка насчет адъютантской клячи ей много помогла. Двуколку свою она поставила в кустах, в тылу, и жадными глазами следила за полетом и разрывами неприятельских гранат, за передвижениями батальона, за пожарами в аулах, на Алме, за всем, что могла разглядеть издали в сплошном почти дыму пороховом и пожарном.

Но вот повалили раненые в тыл, на перевязочные пункты, а иных несли на скрещенных ружьях, покрытых шинелями.

Тогда началась работа Даши.

– Сюда, сюда! – кричала она тем, кто шел ближе к ней, и зазывающе махала руками.

И водку из одного ее бочонка, и воду из другого раненые и санитары выпили очень скоро; разобрали и ломти хлеба и жареную рыбу, которую она привезла. Но у нее остался еще целый узел чистой ветоши, и она занялась перевязкой раненых.

Ей никогда не приходилось этого делать раньше; солдаты сами указывали ей, как надо бинтовать руки, ноги, шеи, головы. И только когда вышла последняя тряпка, Даша беспомощно оглянулась кругом.

Сражение уже затихало. Не одни раненые – шли в тыл, отступая, целые полки. Черные от порохового дыма как негры, усталые потные солдаты безнадежно махали руками, говоря о неприятеле:

– Его – сила! Теперича будет нас гнать, поколь до Севастополя не догонит... А там уж, само собой, наши ему дадут сдачи...

На Севастополь, который они вышли защищать, только и была надежда разбитых защитников.

Мышиного цвета кляча глядела презрительно и на своего нового хозяина с синими глазами и белым лицом (прежний был чернобородый грек) – хозяина, который угнал ее черт знает в какую даль и дичь, – и на подходивших и подносимых солдат и офицеров в крови, которые выпили всю воду из бочонка, так что ей не досталось ни капли, хотя она и ржала требовательно и тянулась к нему пересохшими губами.

– Ну, ты-ы, морская кавалерия! – прикрикнул на нее один усатый солдат в кивере, из-под которого катился на щеки пот, когда она ткнула его мордой в плечо, чтобы он догадался ее напоить.

Людам не до нее было; люди помогли мальчишке в матросской фуражке ее запрячь, чтобы везти двуколку с пустыми бочонками в обратный путь, а один из раненых посоветовал Даше:

– До Качи доедешь, – худобу свою все ж таки напой, а то подохнет.

Перевязывая раны небрежливо и всячески пряча поглубже свой ужас перед такими, никогда не виданными ею раньше жестокими увечьями человеческих тел, Даша однообразно, но с большой убедительностью повторяла каждому:

– Ничего, заживет!.. Срастется, ничего... Затынет, кровь у тебя здоровая – это мне видать.

И раненым становилось легче от одного певучего девичьего голоса юнги, и от его осторожных и ловких тонких рук, и от участливых синих глаз... А один с раздробленной осколками снаряда рукой, которому несмело забинтовала она руку полотнищем своего старого линялого розового платья с чуть видными голубыми цветочками, бормотал, покачивая голову:

– Это ж прямо ангела своо небесного нам Бог послал!

Но этот раненый мог идти: ноги у него были здоровые – а на свою двуколку, сбросив с нее бочонки, Даша усадила другого, тоже перевязанного ею, с перебитой ногою, и непоеная кляча, питавшаяся все время боя только карагачевыми и дубовыми ветками, тащиась в хвосте одного свернутого перевязочного пункта, как раз того самого, куда попал с оторванной рукой флигель-адъютант Сколков.

Даша видела свою армию в отступлении. Ей казалось, что теперь уже все пропало. И раненый, которого везла кляча, повторял то и дело:

– Теперь шабаш! Будь бы нога в исправности, ушел бы, а то – как... Вот-вот француз нагрянет – и крышка!..

Через Качу в сумерках переходили вброд. Кобыла долго пила, когда вошла в речку. У Даши выбилась коса из-под фуражки, и раненый спросил:

– Да ты же никак девка?

– Ну да, девка, – уже не скрывалась Даша.

– То-то оно и есть!.. А то я даве думаю: «Отколь у этого малого сердце взялось, до людей приветное?» Мне и даве мстилось, что девка, да спросить у тебя робел через свою ногу...

Когда же утром добрались до Северной, кругом Даши все уже знали, что она – матросская сирота с Корабельной слободки, потому что узнали ее столпившиеся у перевозной пристани матросы одного из морских батальонов.

После этого дня Даша уже не хотела расставаться со своими ранеными, которых перевязывала она там, на Алме. Она продала кобылу и двуколку, явилась к начальству и просила, чтобы позволили ей ходить за ранеными в госпитале.

Просьба эта показалась начальству очень несообразной, однако была передана самому Корнилову. Корнилов приказал привести ее к нему, узнал от нее, что она – матросская сирота, вспомнил по фамилии ее отца и на каком корабле он служил, расспросил, что она делала на Алме во время боя, и не только разрешил ей ходить за ранеными, но даже обещал написать о ее подвиге в Петербург, военному министру.

Так и сказал: «О твоём подвиге напишу в Петербург...» А Даша даже и не догадалась, что сделала подвиг, да и самое слово это: «подвиг» – понимала смутно.

Так случилось, что как раз почти в то время, когда великая княгиня Елена Павловна решала томительно долго вопросы о форме для сестер милосердия из светских дам, Даша с Корабельной слободки уже вошла самочинно в историю как первая русская сестра, настоящая и подлинная сестра всей миллионной массы солдат и матросов.

#### IV

Как врачующие лейкоциты – по теории Мечникова – сбегаются путями артерий к тому месту тела, в которое вонзится заноза или какой бы то ни было посторонний режущий предмет, так стекались форсированными маршами на обывательских подводах и на своих конях пешие и конные отряды к Севастополю.

Из Феодосии от атамана донского войска Хомутова пришел Бутырский полк, 4-й полк 17-й дивизии, и Меншиков, очень довольный, что избавился от ненавистного ему генерала Кирьякова, передав три полка его дивизии в распоряжение Корнилова, немедленно отправил на защиту севастопольских бастионов и этот полк.

Но вслед за бутырцами в лагерь Меншикова на Бельбеке явилось два батальона пластунов, пришедших с Северного Кавказа.

Пластуны не понравились светлейшему уже тем, что не имели никакой военной выправки, шли вразвалку и не в ногу, штуцера несли по-охотничьи на ремне за спиной, одеты были по-азиатски: в чекмени с газырями, лохматые облезлые рыжие папахи кадушками, в постолы из коровьих, воловьих и конских шкур, шерстью наверх.

Когда батальоны эти проходили мимо встречавшего их дежурного по лагерю генерала, стоял жаркий день, а пластуны были в стареньких шинелишках поверх чекменей.

– Пускай-ка снимут шинели – жарко, – сказал генерал командиру 1-го батальона; на это начальник, почтительно, всей пятерней взяв под козырек, отозвался тем не менее очень твердо:

– Нияк не можно цего, ваше прэвосходытэльство!

– Это почему же именно «не можно»? – удивился генерал.

– А так, ваше прэвосходытэльство, – бо богацько е таких, шо зовсим без штанив!

Когда об этом доложено было Меншикову вместе с письменной просьбой командиров обоих батальонов об отпуске для их нижних чинов сукна, холста на подкладку, сапог и ниток, то светлейший, поглядев на пластунов издали, приказал отправить их к Корнилову и в сопроводительной бумаге просить его «включить пластунов в раздачу штанов».

При этом он добавил: «Прикажете объявить черноморцам особым предписанием, что за даруемую им из складов морского ведомства одежду никакого взыскания учинено не будет. Предписание это надо будет прочесть при собрании нижних чинов, ибо казачье начальство в состоянии воспользоваться этим, но только в свою пользу».

Потомки выселенных Екатериной с Днепра на Кубань запорожцев, соратников гетмана Сагайдачного, атамана Сирко, полковника Тараса Бульбы, пластуны имели такой неказистый вид, что в Севастополе солдаты пехотных полков смеялись над ними, толкая один другого.

– Смотри ты? Вот вояки какие до нас прибыли!

– Да это же те самые петрушки, какие на ярмонках в балаганах представляют!

– Ну да, какие через гребешки пицат и друг дружку за волосья тягают!

Но пластуны, рассыпанные в секреты впереди бастионов, очень скоро показали, как они могут, распластавшись на земле, по-кошачьи подползти к самым позициям противника, притаиться за камнями и пролежать незамеченными целый день, чтобы, сменившись ночью, доложить подробно начальству, сколько и каких именно орудий видели они у противника и сколько снарядов к ним заготовлено на батареях, и как, выбиваясь из сил при подвозе тяжелых осадных мортир, падают и сдыхают справные кони, и как, видимо, не хватает для работы на позициях этих коней и люди на себе волокут длинные фашины и чувалы с землей, и щеки у людей сильно позападали, и как заметно работающие в траншеях люди сильно бедствуют водой.

Между тем союзники отвели воду от Севастополя в расположение своих войск, и гарнизону, как и оставшимся жителям, пришлось довольствоваться одними колодцами, в которых теперь, перед зимними дождями, вода была солоновата на вкус.

Жителей же, имевших средства и возможность уехать из осажденного города, оставалось уже мало. Задержавшиеся в первые дни осады семьи теперь, с приходом армии Меншикова, безудержно ринулись по свободной для проезда дороге на Симферополь. Все крупные магазины стояли запертыми и пустые: купцы поспешили распродать свои товары по дешевке, лишь бы поскорее унести ноги. Зато появилось достаточно предприимчивых людей, которые с базара перебрались на более видные места, у которых страсть к легкой наживе окончательно победила страх возможной и напрасной смерти.

Но были и такие семьи, которые могли бы уехать из обреченного города, но все-таки не уехали в силу смутных причин, не менее смутно выраженных в пословице: «В своем доме стены помогают».

Со «своим домом» – и это осталось в человеке, конечно, от очень давних времен – связано именно такое представление о безопасном месте, в которое можно спрятаться от бушующих около бед. Мудрость улиток и черепах внушила им таскать на себе свои дома, чтобы спрятаться в них при малейшей угрозе со стороны. «Мой дом – моя крепость», – принято было говорить у англичан, обеспеченных законом от набегов полиции.

Семья капитана 2-го ранга в отставке Зарубина осталась в скромном, непохожем на крепость доме на тихой Малой Офицерской улице, отчасти по непреодолимой чисто кошачьей привязанности к месту, отчасти из боязни лишиться всего накопленного долгим трудом, отчасти из опасения, что на малую пенсию капитана не проживешь где-нибудь в другом городе на наемной квартире, но больше всего – в надежде на помощь России, которая неужели же и в самом деле не отстоит Севастополя, раз появляются все новые и новые полки и спешат – идут и скоро уже придут – новые дивизии и корпуса!

Никому из семейства Зарубиных не было известно, что замышляют англо-французы, но все видели, как много воинских команд лихо, с песнями, барабанным боем, с оркестрами музыки, проходят по улицам, как везут с грохотом и гиканьем орудия, все гуще устанавливая их там, по редутам, люнетам, на бастионах оборонительной линии.

К пушечной пальбе уже привыкли, потому что не проходило дня, чтобы суда противника не завязывали перестрелки с фортами. Пальба эта тянулась обыкновенно с полчаса и кончалась ничем. Только один снаряд из дальнобойного орудия с небольшой неприятельской шхуны разорвался на одном из фортов и ранил тяжело двух артиллеристов... Но шхуна эта ушла и на другой день не появилась. Юный Виктор Зарубин горячо уверял мать, что шхуна и вообще не появится больше, что ей «здорово всыпали из наших дальнобойных орудий».

Раза два заходил Дебу, – теперь в унтер-офицерской форме, явный защитник Севастополя.

– Арсенал наш, – говорил он старику Зарубину, – кажется, совершенно неистощим! Оттуда все черпают-черпают без конца снаряды, лафеты, станки, орудия, дистанционные трубки, ядра и прочее, прочее... Надо отдать справедливость начальству: заготовило оно всего на порядочную войну!

Союзникам придется довольно туго – это теперь ясно.

– Ага! Вот видите!.. Да... вот! – капитан от этих слов начинал сиять и постукивать в пол своей палкой. – Отчальят!.. Я вам говорю: от-чальят!.. Они отчальят!..

– Было бы очень хорошо – лучше не надо и для нас и для них тоже. Они, конечно, могут заварить бойню, но чего именно этим могут достигнуть? Наскочит коса на камень!

– Наскочит, да!.. И пополам! По-полам! – одушевлялся капитан, приставляя свою палку к здоровому, неконтуженному колену и делая вид, что вот-вот сломает ее пополам.

Капитолине Петровне и Варе, правда, Дебу говорил несколько иначе.

– Каждую ночь ждут штурм, и это очень изнуряет солдат. Чуть что – тревога. Встретились в темноте наши патрульные с патрулем другой части, приняли его за неприятельский, начали перестрелку – сразу весь гарнизон поднялся на ноги: штурм! А днем выспаться некогда



– все люди работают до упаду. Это может кончиться тем, что, когда действительно начнется штурм, люди наши будут спать как убитые, и по их телам союзники в полчаса дойдут до Малой Офицерской... тут я закрываю глаза, чтобы не видеть картин ужаснейших! Напрасно вы не уехали, Капитолина Петровна, хотя я думаю, что вы уже собираетесь все-таки. Все бегут! Пока есть еще время, бегите-ка и вы!

– С одной стороны, вы правы, конечно: все бегут – значит, и нам надо, – с другой стороны... – раздумчиво тянула Капитолина Петровна, глядя не на него, а на изогнутую ножку старого, еще екатерининской поры дивана.

Варя же, переплеснув по привычке тяжелую косу с плеча на плечо, отзывалась более решительно:

– Совсем не все бегут из Севастополя! Вот Елизавета Михайловна не уехала же в Симферополь... Даже еще и в сражении на Алме была, где вы не были!

Дебу знал Елизавету Михайловну Хлапоницу, соседку Зарубиных, жену батарейного командира, очень красивую и очень скромную, что редко бывает, молодую женщину, которая была для Вари предметом восхищения. Он знал, что если к нему Варя и равнодушна, то ценит в нем ум, образованность, начитанность и, пожалуй, немного и то, что он пострадал за идеи. Хлапоница же – ее счастливая внешность и весь ее внутренний мир, та теплота, с которой относилась она к шестнадцатилетней, восторженной, готовой верить каждому ее слову девушке, то сияние ее лучистых глаз, с каким она на нее смотрела, – Хлапоница представлялась ей солнцем, к которому радостно тянулась она, как молодое сильное деревце.

Хлапоница любила ездить верхом в светло-голубой амазонке, и Варя говорила уже ему как-то летом, что она, всегда спокойно сидевшая на горячившемся под нею вороном с лысиной коне, точь-в-точь «Всадница» с картины знаменитого Брюллова. Но он не знал, что эта всадница отважилась на такую прогулку.

– Она, конечно, беспокоилась очень о своем Дмитрие Дмитриче, – охотно рассказывала ему Варя. – Его батарея стояла там на каком-то фланге или центре – одним словом, очень опасно. Мало ли что могло случиться! Могли даже и ранить. Вот она и помчалась. Разумеется, не одна же, и Дмитрий Дмитрич, говорила, очень удивился, когда ее там увидел, и все посылал домой... Как же, поедет она домой, когда она так его любит! Конечно, она там и осталась и все видела.

– Все видела, хотя и смотрела только на мужнину батарею? – вставил, улыбнувшись, Дебу. Но Варю задела эта улыбка.

– А как же хотели бы вы? – Она вдруг покраснела. – Ради кого же она туда поехала, как не ради Дмитрия Дмитрича, да чтоб и на его батарею не смотрела? Вот еще!.. Конечно, она все время боялась: «А вдруг ранят!»

– Могли и убить, не только ранить, – постарался как мог равнодушнее отозваться на ее горячность Дебу. – Во время сражения иногда и убивают людей... даже менее порядочных, чем Дмитрий Дмитрич, а он человек хороший, – поспешил добавить он, заметив ее изумленный и даже как будто недовольный взгляд.

– Ну конечно, Дмитрий Дмитрич очень хороший. – Варя вся засветилась. – Стала бы Елизавета Михайловна любить плохого!

– Он, конечно, уцелел, и они вернулись благополучно, конь о конь? – опросил он весело.

– Да, конечно. Она обратно ехала с его батареей!

– И сейчас уже она больше за него не боится?

– Ну как же так – не боится! Конечно, очень боится, потому она отсюда никуда и не поехала. «Если убьют, – говорит, – так пусть уж и меня тоже».

– Она имеет большой успех среди офицерства, а среди генералов особенно, – сказал Дебу, наблюдая за выражением лица Вари. (Капитолина Петровна в это время, как всегда, хлопотала

на кухне или в саду по хозяйству.) – Но зато они не имеют у нее успеха! – Варя энергично качнула головой и переплеснула косу.

Это понравилось Дебу, но он продолжал, как будто не замечая:

– Я слышал даже, что вся ссора генерала Кириякова с князем Меншиковым началась из-за Хлапониной. Оба пустились за ней ухаживать, чуть только она появилась в Севастополе, и каждому из них показалось, что другой стоит у него поперек дороги. Ведь может же быть такое помрачение светлых умов!.. Недавно, говорят, Кирияков выкинул такой фортель. Пил где-то в компании, за столом сидел генерал Бибииков, слепой и ограбленный: наши же солдаты во время отступления ограбили его имение на Бельбеке. Теперь перебрался сюда с женой, и жена все хлопочет, чтобы ей вернули убытки, а светлейший приказал дело ее бросить в корзину, ее же совсем не принимать... А Бибииков – участник Бородинского боя... А в дивизии Кириякова как раз Бородинский полк. Поднимает Кирияков бокал: «Предлагаю, господа, выпить за здоровье настоящего, подлинного бородинца, к великой скорби нашей лишенного зрения, старого ветеринара!»

– Ничего не поняла! Почему «ветеринара»? – Варя подняла тоненькие бровки.

– То-то и дело! Не все за столом тоже поняли и подсказывать пустились: «Ветерана!.. Ветерана!» Но наш Кирияков еще отчетливее: «Ве-те-ри-на-ра!» – и сел. И сам же первый свой бокал выпил. А другие уж после догадались, что метил он совсем не в старца Бибиикова, а в самого светлейшего, который и участник Бородинского боя, и ветеринар по диплому, и, по мнению Кириякова, лишен зрения... Хотя ведь вот же Елизавету Михайловну разглядел – значит, это просто клевета оскорбленного генеральского самолюбия.

– Мне можно рассказать это Елизавете Михайловне? – рассмеявшись, спросила Варя.

– Зачем же? Тем более что она это, наверное, и сама знает. Что-что, а такие вещи очень живо расходятся: на них большой спрос.

Маленькую Олю, которая застенчиво и врастяжку называла его теперь солдатом, очевидно, вкладывая в это слово самое растяжимое значение, от немного как будто снисходительного до вполне почтительного, как к своему защитнику от каких-то несчастий, которых все кругом нее ждали, Дебу тоже спрашивал:

– Ну а ты как? Тебе не страшно?

И беловолосая Оля, оглядываясь на сестру и приближая пухлые, нетвердо еще очерченные губы к самому его уху, шептала доверчиво:

– Страшно!.. Очень бывает страшно!..

И от этого доверчивого детского шепота на ухо самому Дебу становилось страшно, что вот домчится сюда неприятельская бомба, и тут он вздрагивал, как от сильнейшего холодного ветра, резким движением головы отбрасывал то, что пыталось навязать воображение, отечески целовал ребенка в завиток волос на виске и бормотал:

– Ничего, ничего... Еще успеете уехать, пока подойдет самое страшное.

Команду юнкеров флота, которой ведал лейтенант Стеценко, уже распустили по приказу Корнилова, и Виктор Зарубин жил теперь дома, а не на корабле, но все его мысли были там, на рейде и фортах, охраняющих рейд.

Плечистый и плотный для своих пятнадцати лет, с открытым и упругим лицом, с привычкой самоуверенно вскидывать голову, когда он что-нибудь утверждал, и с тонкими и высокими, как у старшей сестры, бровями, Виктор подробно рассказывал Дебу, куда должны будут палить при ночном штурме какие суда:

– Пароходы «Крым», «Эльбрус» и «Владимир» будут громить Ушакову балку, а «Бессарабия», «Громоносец», «Одесса» – эти будут бить по той балке, какая идет мимо кладбища к Карантинной бухте... Ведь важны, конечно, балки... В балки они и напрутся, конечно, ночью, а тут их как раз и огреют как следует!

– Без порядочной бомбардировки они не пойдут на штурм, – замечал, любуясь им, Дебу.

– А что же такое бомбардировка? Они откроют, и мы откроем – и прикроем!.. Они наткнутся, вот увидите!

И так лихо подбрасывал при этом голову пятнадцатилетний, что Дебу даже переставал замечать, как несколько смешно ломается у него голос.

– По нашим судам, должно быть, будут они калеными ядрами бить, чтобы вызвать пожары, – сказал он, но Виктор отозвался живо:

– Велика штука! Тоже невидаль – каленные ядра!.. Везде на судах стоят бочки с водой и шланги: чуть что, сейчас же заливают. А над крюйт-камерами мокрые паруса навалены... Наконец, если даже, допустим, загорелось какое судно, так что потушить нельзя, – потопят его, только и всего!.. Пожар, конечно, опасен, потому что крюйт-камера может взорваться, – так разве же моряки до этого допустят!

– Я думаю, что и неприятельский флот праздным свидетелем не останется, – заметил Дебу. – А флот у них силен.

– Ого! Пускай-ка, пускай их флот сунется к нашим фортам – ему пропишут ижицу!.. У нас только один Константиновский слабоват, ну, это уж девятого числа натворили в суматохе: посбрасывали бомбические орудия в море!

– Я что-то такое слышал, да не верил, признаться. Неужели правда? – удивился Дебу.

– Конечно, правда!.. Тогда много кое-чего натворили. Что же, когда приказ был – ничего не оставлять неприятелю! «Ростислава» чуть не утопили – насилу потом откачали воду.

– Как же так с Константиновским фортом? Должны же новые орудия поставить! – забеспокоился Дебу.

– Конечно, должны... Может, и поставили уже теперь. Форты без орудий не оставят. Корнилов и Нахимов не таковские!

И после этих весьма убежденных слов лихо вскидывается голова. Унтер-офицер Дебу видел, что перед ним настоящая военная косточка, которая ждет не дожидется бомбардировки и штурма, и, уходя, он негодовал на «ветеринара», которому вверена забота о людях в явно уже для всех осажденном городе и который не догадается приказать просто выслать из него всех женщин, детей, инвалидов и таких воинственных подростков, как Витя Зарубин.

## V

Расположив армию на Бельбекских высотах, Меншиков сказал своим адъютантам:

– Устраивайтесь здесь по-домашнему, господа. Нам здесь над флангом союзников придется висеть, кажется, долгонько. По крайней мере до тех пор, пока не подойдет двенадцатая дивизия. Скорого штурма я не ожидаю и вам не советую ждать.

И адъютанты принялись устраиваться.

Была выкопана прямоугольная канава, в которую, если сесть на борт, можно было опустить ноги, а землю в середине принять за стол.

Адъютанты – их было человек пятнадцать – деятельно принялись натягивать над этим сооружением навес из хвороста и полотнищ палаток. Получалась обширная столовая – она же и главный штаб армии, – закурькал неугасимый ведерный самовар посредине прямоугольника на земле, наконец подвезли и установили столы для письменных работ и застрочили бойкие адъютантские перья.

Для самого Меншикова, как и для командира корпуса князя Петра Горчакова, который на бивуаке под Бахчисараем помещался под навесом кустов со связанными верхушками, натянули палатки. Начали даже думать о крупной разведке в сторону неприятельского лагеря, готовя для этого гусарские полки и бригаду пехоты.

Между тем Гектор<sup>41</sup> новой Трои – Корнилов – все еще одержим был мыслью, что союзники накапливают при устьях балок, скрытых от наблюдений из Севастополя холмами, крупные силы для ночной атаки, и все неумолимо сновал от одного укрепления к другому, добавляя траншей, орудий и штыков.

Контр-адмиралу Истомину, ведавшему тем участком обороны, в который входил Малахов курган, он приказал устроить примерное учение – штурм его укреплений двойными силами, и учение это было проведено, а потом Корнилов торжествующе говорил Истомину:

– Владимир Иванович, хорошо, что своевременно мы проделали это. Теперь я вижу, что ваш участок надо усилить целым полком! По крайней мере полком, за неимением большего!

Против Малахова кургана расположен был хутор Дергачева, занятый отрядом союзников. В зрительную трубу Корнилов разглядел там, в ущелье, идущем от Южной бухты, девять больших осадных орудий и три мортиры.

– Осадные орудия, не правда ли? Вы видите? – обратился он весьма оживленно к Истомину. – Это отрадный признак того, что они, кажется, готовятся к бомбардировке, а не к ночному штурму! В таком случае мы их вспырснем! Прикажете открыть стрельбу из шестидесятивосьмифунтовых!

Дальнобойные бомбические орудия Малахова кургана и третьего бастиона открыли стрельбу.

– Удачно!.. Еще удачнее!.. Молодцы! – радостно вскрикивал Корнилов, наблюдая разрыв бомб.

Союзники не отвечали, так как орудия их только еще устанавливались; подвоз ими новых орудий был прекращен, но ночью, конечно, они могли беспрепятственно выполнить свои планы.

Корнилов немедленно дал знать Меншикову, что четвертая дистанция обороны, в центре которой был Малахов курган, требует подкрепления, – и к вечеру того же дня в распоряжение Истомина был прислан Бутырский полк.

Окрестности Севастополя изобиловали хуторами; хутора эти являлись отличным прикрытием для союзников.

Особенно досаден был один, очень благоустроенный, с длинной каменной стеною, расположенный на балаклавской дороге, между пятым бастионом и французским лагерем. В нем скопилось до двух батальонов французов. Корнилов отрядил для вылазки против них один флотский батальон с двумя пушками, с несколькими казаками и саперами, и вылазка закончилась успешно: хутор сожгли, каменную стену разметали, далеко отогнали два батальона французов и вернулись почти без потерь.

– И с такими молодцами князь проиграл сражение на Алме! – возбужденно говорил Корнилов в тот день вечером Нахимову, Истомину, вице-адмиралу Новосильскому, Тотлебену, которые, как всегда по вечерам, и в тот день сошлись к нему на квартиру для получения приказаний на завтрашний день.

Несмотря на то что Тотлебен был всего только подполковником инженерных войск – значит, совсем еще недавно вместе с другими военными инженерами получил право на усы, кроме того и летами был гораздо моложе всех остальных на подобных собраниях, – к нему относились как к равному, потому что все укрепления делались по его планам и под его очень придиричивым и строгим руководством, которому подчинялись все начальники дистанций обороны.

В этот вечер Корнилов получил от жены с курьером из Николаева письмо, к которому была приложена фотографическая (дагеротипная, как тогда говорили) карточка его дочери Лизы, и он всем собравшимся показывал карточку, радостно говоря:

– Посмотрите-ка! Не правда ли, она обещает стать красавицей?

---

<sup>41</sup> Гектор – сын троянского царя Приама, героический защитник Трои, осажденной греками.

– Она и теперь красавица! – отзывались все, искренне любуясь действительно милым и удачно переданным на карточке лицом девочки.

Корнилов положил снимок на стол перед собой и, часто взглядывая на него, заговорил волнуясь:

– Я должен вас поздравить, господа, еще с одним очень важным результатом сегодняшней вылазки: замечено, что противник ведет работы, готовясь к основательной, долговременной осаде Севастополя! Значит, наши труды не пропали даром: они оценены им как должно. Он увидел, что добиться успехов крупным штурмом ему уже не удастся, что к его приему мы готовы, что мы уже не такие слабенькие, какими были дней десять назад, что нас уже не возьмешь даже и ночным штурмом. Князь готовит рекогносцировку в больших размерах на Инкерманские высоты, чтобы определить, насколько они основательно заняты союзниками. Вся регулярная кавалерия будет участвовать в этом деле... и пехоты несколько тысяч человек. Кавалерия – под командой генерала Рыжова. А с нашей стороны требуется поддержать эту рекогносцировку соответственно – чем и как? Бомбардировкой и выдвинув пехотные части. Когда я получу от князя подробное распоряжение, я и передам его вам подробно, а теперь пока вот только это... Для успеха дела прошу не разглашать, а готовиться, как заведено, принимая в соображение все случайности. Одним словом, хотя атмосфера сгущается, но сгустить ее желаем мы сами, а не противник, – это очень большая разница, господа! Это показывает, что мы уже достаточно сильны, чтоб самим лезть в драку, а не ждать, соблаговолит ли это сделать Раглан с Канробером!.. С чем вас и поздравляю, господа!

И было ли это действительно от сознания своей силы или оттого, что перед глазами его лежал фотографический портрет его дочери, о которой все отзывались как о красавице, но Корнилов вдруг встал и торжественно протянул руку сначала Нахимову, сидевшему ближе всех к нему, потом Новосильскому, Истомину, Кирьякову, Тотлебену и прочим, говоря при этом:

– Огромная тяжесть с плеч!.. Этот ночной штурм висел над нами как кошмар! Теперь мы можем наконец успокоиться и передохнуть.

– Из рекогносцировки может развиваться крупное сражение, – заметил Кирьяков, – а разве у нас хватит сил на такое сражение?

– По-видимому, подходит двенадцатая дивизия, – улыбаясь, ответил Корнилов. – Князь – человек осторожный и рискованных шагов не сделает. Во всяком случае он покажет неприятелю, что армия его сильна и врага не боится. А наконец, даже если допустим, что сражение окажется безрезультатным, начнется только бомбардировка со стороны англофранцузов... только бомбардировка, как обычно при осаде крепостей, а это дело весьма затяжное, так как нам есть чем ответить, господа! К бомбардировке мы уже и теперь почти готовы, а еще через несколько дней мы будем неуязвимы... А там подойдет четвертый корпус, и это обстоятельство...

Тут Корнилов оглядел всех поочередно загоревшимся взглядом и dokonчил:

– Это обстоятельство, господа, или заставит их прибегнуть к обратной амбаркации, или, в худшем случае, задуматься поглубже, чем они думали, когда начинали с нами войну!

## VI

В конце сентября дни все еще стояли жаркие и тихие, и если бы не ежедневная, хотя и короткая, перепалка между береговыми батареями и подходящими близко судами союзников, севастопольцы могли бы даже и позабыть на время, что где-то там, за высотами, окружающими город, неутомимо ткется крепкая паутина осадной войны.

На открытой веранде дома на Малой Офицерской, соседнего с домом Зарубиных, Елизавета Михайловна Хлапонина принимала гостя, приведенного ее мужем, тоже командира батареи, но не в 17-й артиллерийской бригаде, а на третьем бастионе, капитан-лейтенанта Лесли,

жизнерадостного, веселого, лет тридцати двух человека, белокурого, высокого и с тем счастливым складом полных и приветливых губ, которые просто не умеют не улыбаться, что бы ни говорилось и ни совершалось кругом, и обладают еще более счастливой особенностью вызывать ответные улыбки у окружающих.

До начала войны в Крыму моряки обычно не сближались с пехотинцами, среди которых они, люди высшей касты военных, чувствовали себя не в своей тарелке, тем более что даже и интересы служебные у них были совершенно различные.

Но теперь они вышли на берег, теперь, на сухопутье, они стояли бок о бок с пехотой на бастионах, теперь они стали поневоле товарищами пехотных офицеров, из которых скоро нашлись и образованные и вполне воспитанные люди.

Так быстро, за два-три дня, коротко сблизился с Хлапониным Лесли и при первой возможности вырваться на час, на два с бастиона очутился у него в гостях.

Веранда была на втором этаже и выходила в небольшой сад. Хозяева дома, жившие в первом этаже, выехали в Симферополь. Никто не мешал говорить громко о том, что занимало всех: чем заняты вот теперь союзные армии и какие сюрпризы готовят им Корнилов и Меншиков.

– Я недавно шутки ради заглянул в журнал «Общепольное чтение» и нашел там статью большущего хозяйственного значения: «Искусственное разведение раков», – да, представьте себе, раков! – весь лучась, говорил, обращаясь к Елизавете Михайловне, Лесли.

– Что такое? Я не поняла, простите! Раков? – Елизавета Михайловна вопросительно поглядела и на него и на мужа одновременно.

– Где именно разводить раков? – полюбопытствовал Хлапонин. – Конечно, где-нибудь в прудах усадебных парков?

– В том-то и дело, что в речках, где они и без того водятся, но случается с ними, что они вымирают от каких-то там эпидемических болезней, и тогда эту милую живность рекомендуют разводить искусственно.

– Вот что! И как же именно?

– Ах, это очень запутанная история, и нужно было иметь много свободного времени, чтобы дочитать такую статью до конца. Но раки, знаете ли, куда уже ни шло: я встречал на своем долгом веку немало любителей этого сорта пищи, – а вот что касается ка-ва-ле-рии, то, знаете ли – простите великодушно! – я бы, если бы моя власть, совсем запретил бы разводить этот род войска!

– Вот вы к чему клонили! – добродушно рассмеялся Хлапонин. – Действительно, кавалерия так отличилась, что тебе, Лиза, стыдно уж теперь будет галопировать на Абреке... Конечно, вы с Абреком в этом деле не участвовали, но все-таки...

– Но все-таки, – подхватил Лесли, видя, что Хлапонин не закончит фразы, – наши гусары оскрамлились исторически!.. Вы представьте себе: идут молодец к молодцу, кровь с молоком, что люди, что кони, один за другим два полка, саксенвеймарцы и лейхтенбергцы, в атаку на какой-то французский пост, где только что проснулись и еще мундиров, извините, не успели напялить, – что же должно получиться в результате подобной атаки? Приятное воспоминание об этом посту у нас – не совсем приятное у французов, не так ли?

Хлапонина расширила прекрасные большие глаза.

– Я думаю!

– Все так думали! Даже и сам Меншиков, который затеял эту рекогносцировку и в подзорную трубу смотрел с почтительной дистанции... Однако получилось совсем иначе: хлопнула всего только какая-нибудь дюжина выстрелов вразброд. Если бы хоть залп, как у нас учат теперь матросов встречать кавалерию, – нет, очевидцы говорят, всего несколько выстрелов. Вот саксенвеймарцы поворачивают назад и мчатся на лейхтенбергцев, кого-то давят при этом весьма чувствительно, кого-то насмерть, и вот вы себе представьте эту потрясающую картину:

вперед сломя голову лейхтенбергцы, за ними Саксенвеймарский полк, лупят, красиво выражаясь, во все лопатки!

И, говоря о том, что его возмущало, Лесли по обыкновению озарял всех этой своей мягкой, очень располагающей к нему улыбкой.

Дмитрий Дмитриевич Хлапонин был крепкий, полнокровный, очень спокойного вида человек. Такое спокойствие внешности свойственно обычно только тем, кто вполне уверен в себе, а если у него есть подчиненные, то и в них.

Он был всего на год старше лейтенанта, но казался старше лет на пять благодаря несколько разлатым темным усам, приспущенным бровям и начальственной складке лба над переносьем.

Он сказал жене:

– Я слышал даже, будто князь Меншиков так рассердился, что потом сам поскакал к Саксенвеймарскому полку и накричал на полковника Бутовича, что он его выгонит со службы... А Горчаков, вообрази, начал приводить ему резоны, что так неудобно, что у него будто и права на это нет...

– Почему нет? – удивилась Хлапонина.

– Потому что он пока только командующий армией, а не главнокомандующий, – ответил ей за Хлапонина Лесли.

– А Бутович разве родственник князю Горчакову? – снова недоуменно спросила Елизавета Михайловна.

– Родственник или нет, Аллах ведает, но он числится его корпуса – значит, за него надобно заступиться. А что он повернул полк назад от первых же выстрелов, так это, видите ли, такая уж милая привычка у кавалерии. Мы, дескать, существуем для парадов, как украшение, а тут вдруг какие-то неучи вздумали нас под пули совать!.. Нет, решительно – это отживший вид войска! Я бы, если бы моя власть, снял бы всех этих гусар и драгун с лошадок да в траншеи, а лошадок совсем бы угнал из Крыма.

– Где сена и для артиллерийских упряжек нет, – договорил Хлапонин, – и приходится уменьшать рацион им... Если теперь не подвезут сена, то ведь через месяц начнется распутица, тогда что будем делать?

– Неужели думают, что еще и через месяц не выгонят их... союзников? – Елизавета Михайловна вскинула глаза на мужа, но тут же перевела их на гостя, который как моряк должен был больше знать будущее.

И муж в ответ только чуть поднял подбородок и плечи, а гость ответил уверенно:

– На Алме они взяли двойными силами и штуцерами, теперь сил у нас не меньше, чем было у них тогда, а стрелять из орудий мы умеем не хуже их, – они это узнают при первой же бомбардировке!

А так как в это время денщик Хлапонина принес на веранду граненый графин водки, окруженный на подносе тарелками с закуской, то Лесли весело потер руки и бойко пропел ходовой среди моряков куплет:

Ехал чижик в ло-дочке  
В адмиральском чине,  
Не выпить ли во-о-одочки  
По этой причине?

Он посмотрел при этом на Елизавету Михайловну так, как будто знаком был с нею и с ее мужем уже давно, как будто попал к друзьям юности или даже детства, с которыми провел счастливейшие часы, дни, месяцы своей жизни; как будто на его глазах росла, обещая стать красавицей – и стала действительно красавицей! – маленькая Лиза, доверявшая свои тайные

мысли альбомам в сафьяновых и бархатных переплетах, но не ему, на что он отнюдь не обижался, считая это в порядке вещей, а тайные мысли ее безошибочно читая в глазах.

Он был жизнерадостным не потому, что хотел быть именно таким – веселым, непринужденным, неутомимо деятельным: он просто не мог быть иным и не мог смотреть на людей своего возраста и положения иначе, как на друзей юности или детства, сближая этим их с собою с первых же слов. Так же непринужденно ел он и пил в гостях, возбуждая этим аппетит даже у самых пресыщенных хозяев.

Хлапони́на видела, что угощать его совершенно излишне, что он очень самостоятелен за столом на их веранде; представляла, что так же самостоятелен он и у себя на бастионе, и спросила:

– Евгений Иванович! А у вас, на третьем бастионе, знают, кто будет вашим противником в случае бомбардировки – французы или англичане?

– Судя по многим признакам, англичане, Елизавета Михайловна, – весело ответил Лесли. – Вот вы наблюдали сражение на Алме. Как вы находите, кто из них лучшие артиллеристы – французы или англичане?

Хлапони́на поглядела на него внимательно и серьезно, говоря:

– Я несколько близорука и не гоюсь для подобных наблюдений, но видела наших раненых на перевязочном пункте... Это было ужасно!.. Это было... необыкновенно страшно... как в кошмаре!..

И она, совсем закрыв глаза, сидела так долго, забывчиво долго: может быть, с полминуты, – и при этом ресницы у нее мелко дрожали, как будто она плакала там, внутри, про себя.

– Англичане – лучшие артиллеристы, чем французы, – заметив это, поспешил сказать Хлапони́н. – Это мнение не только мое личное, но и всех, кто был под обстрелом тех и других на Алме. Я думаю, что у вас серьезные противники, Евгений Иванович.

– Тем лучше, – беззаботно отозвался Лесли. – Дай Бог всякому порядочного противника, и тогда людям некогда будет скучать, а? Как вы думаете насчет противника, Елизавета Михайловна?

– Ах, я думаю, что гораздо лучше было бы, если бы не было у нас никаких противников!.. Я с детства слышу: война, война... А почему война, зачем война – никогда не могла понять!.. Неужели нельзя как-нибудь обойтись без этого ужаса? – спросила Хлапони́на гостя.

Но гость предпочел вместо ответа только развести широко руками – в правой рюмка, в левой вилка с куском жирной баранины, – склонить белокурую голову набок и сказать несколько даже жалобно:

– И что же тогда делали бы мы с вашим мужем: я – капитан-лейтенант флота, он – командир батареи, – если бы совсем не было войн?

– Конечно, делали бы что-нибудь менее омерзительное, чем теперь вот собираются сделать с вами англичане с их осадными орудиями... и французы... и турки...

– На нас нападают, мы защищаемся, не так ли?

– Ах, это очень трудно разобрать. – Хлапони́на слабо махнула кистью руки в сторону гостя. – Только Руссо в тысячный раз оказывается правым: ни науки, ни искусства не послужили к смягчению нравов, нет!

Она была взволнована, – это видел Лесли по ее сильно порозовевшему лицу и по ярко блеснувшим глазам. Он видел также и то, что мужу своему она уже говорила это, потому что он деятельно и торопливо ел, как очень занятой и проголодавшийся человек, но предпочитал не вдаваться в отвлеченности.

И, улыбаясь, как это было ему свойственно, Лесли обратился к Елизавете Михайловне:

– Совершенно верно: разобрать трудно, кто виноват, что мы должны отстаивать Севастополь, как это случилось, как это допустили!.. Но раз допустили, раз дело дошло до такого очень



громкого разговора, как пушечные залпы, ничего нам больше не остается, как перекрычать их, не правда ли?

– И мы их перекрычим, – отозвался ему за жену Хлапонин. – Потому что не может этого быть, чтобы им удалось привезти вот теперь и орудий крупных калибров, и снарядов, и пороху больше, чем было заготовлено у нас в Севастополе! Да нужно подсчитать еще и то, сколько подвезено за последнее время...

– Они опоздали! – решительно поддержал Лесли. – Они теперь кусают вот это место, – он постарался поднести ко рту свой левый локоть, – от досады. Но напрасно-с! Не укусят!.. Какой роскошный арбуз! – восторженно перебил он сам себя, увидев, как входил денщик с огромным полосатым арбузом на подносе, уже надрезанным и кроваво-красным. – Вот мы-то имеем полную возможность наслаждаться такими прелестями, а как обстоит с этим у союзников – вопрос!

Как раз в это время раздалось один за другим два пушечных выстрела где-то не очень далеко, потому что задрожали не убранные со стола рюмки.

– Союзники ответили на ваш вопрос! – сказала Хлапонина тревожно.

– За-ви-дуют, бестии! – Лесли очень весело подмигнул в сторону выстрелов.

– Однако вам надо же идти на свой бастион?

– Если вы меня гоните, если я вам надоел, то я, конечно, уйду, – отнюдь не собираясь уходить, напротив, принимаясь за арбуз, отозвался Лесли, – но эти выстрелы нашего бастиона не касаются, это по фортам с моря... Должно быть, по Волоховой башне.

Загрохотали выстрелы и с берега, потому что гораздо сильнее дрогнули рюмки. И Хлапонин крикнул денщику:

– Убери посуду!

Несколько раз еще грохотало и сотрясало воздух, но вот наступило продолжительное затишье.

– Отчалили! – спокойно принимаясь за другой кусок арбуза, сказал Лесли.

– А я думаю... что сейчас начнется настоящая канонада... – снова закрывая глаза и сжимаясь, проговорила тихо Хлапонина.

– Напрасно думаете! Пожалуйста, не думайте так! – весело наблюдая ее, говорил Лесли. – Настоящая канонада впереди... Если мы не совсем еще готовы ее встретить как следует, то, поверьте, и союзники далеко еще не готовы ее начать!

## **Глава седьмая**

### **Торжество логики**

#### **I**

Действительно, в стане союзников были еще не готовы к канонаде, но там работали, подготавливая ее, методически, умело, обдуманно, а главное – без помехи.

Та крепость, которую в разобранном на тысячи частей виде перевезли сначала из Дувра и Марсея в Константинополь, потом из Константинополя в Варну, из Варны к Евпатории, спокойно и хозяйственно перевозилась теперь в бухты, занятые союзным флотом, здесь выгружалась на берег, направлялась в заранее намеченные участки осадной линии и воздвигалась неукоснительно по плану подобных сооружений, выработанному западной наукой войны.

Все, оказалось, было нужно, что везли на сотнях коммерческих судов: и мешки с землей, и кирпичи, и готовые фашины, и туры, и тысячи болгар-землекопов с их собственными прочными добросовестно выкованными в болгарских кузницах кирками, мотыгами, лопатами и ломami.

Может быть, даже великое изобилие всего, что было заготовлено для устройства этой крепости против крепости русской – Севастополя, и было отчасти причиной того, что Раглан и Канробер не отдали приказа по своим армиям штурмовать город еще 12 (24) сентября.

Бывает так, что обилие средств для достижения какой-нибудь цели подталкивает методический мозг использовать их все, хотя и раздается ветреный голос: «Зачем так много и для чего так долго?»

Старость медлительна и педантична. Редки случаи, когда она способна круто изменить свои расчеты, так как эти расчеты и есть именно то, что она больше всего ценит в своей угасающей жизни. Подчинить события своей логике, а не жертвовать хотя бы иногда логикой, натываясь на внезапно изменившийся ход событий, – в этом полнее всего проявляется старость.

Массивный и говорливый при этом, как часто бывает у стариков, лорд Раглан окончательно овладел нерешительным Канробером – прекрасным командиром роты, хорошим командиром полка, посредственным начальником дивизии и совершенно неспособным главнокомандующим армии.

Когда Сент-Арно слабым голосом умирающего передавал ему власть над войском, Канробер был убежден в том, что Севастополь будет взят через несколько дней и что его, Канробера, имя войдет в историю в ореоле славы.

Татары-проводники, бывшие при армии, уверяли, что город совершенно не защищен со стороны суши.

Однако, обогнув город со стороны Инкермана, Канробер увидел, что линия укрепления существует, что она снабжена орудиями и живой силой.

В досаде Канробер приказал повесить татар, хотя они и не были виноваты: они не знали, что было сделано для защиты города Корниловым всего за несколько дней.

– Все-таки, – сказал Канробер Раглану, – эти слабые укрепления не будут в состоянии остановить натиск наших армий, и я уверен в успехе штурма.

Раглан предостерегающе поднял руку и отрицательно покачал головой. Канробер казался ему молодым человеком, способным на всякие легкомысленные, свойственные молодежи действия.

Тщательно округляя фразы, он заговорил о том, что армии утомлены тяжелым переходом, что много больных, что русские будут отчаянно сопротивляться, и если Алма стоила выше трех тысяч человек, то штурм Севастополя обойдется в десять и все-таки может не дать того, что хотелось бы им обоим; между тем укрепления русских так слабы, что не выдержат и пятичасовой бомбардировки осадной артиллерией.

– Севастополь мы с вами можем уже считать взятым, – завершил Раглан цепь своих доводов в пользу правильной осады. – Нам надо добиться только того, чтобы нашу победу не называли пирровой победой... Нам надо взять его с наименьшим количеством жертв с нашей стороны!

Канробер согласился с тем, что потерять десять тысяч человек при штурме – это слишком большая цена за Севастополь, что такая крупная потеря заставит значительно потускнеть его ореол победителя, между тем как порох и чугун, сколько бы он их ни истратил, учитываться не будут, но сделают то же самое вернее, проще и безопаснее для армии императора французов.

Он помнил красивые слова приказа по армии, данного Сент-Арно в конце августа, при отплытии из Варны: «Скоро на стенах Севастополя мы будем приветствовать три союзных знамени нашим национальным криком: «Да здравствует император!»

Тогда эти слова казались ему только словами в обычном духе этого бывшего провинциального актера; теперь они приобретали значение и вес. Теперь он думал, что неплохо было бы эти слова вставить в его будущий приказ по армии, когда Севастополь будет взят после надлежащего обстрела из осадных орудий.

## II

Можно было нисколько не заботиться о том, чтобы назначить военные суда сопровождать транспорты и купеческие пароходы и парусники, подвозившие все нужное для осады: плавание у берегов Крыма было так же безопасно, как у берегов Франции.

На суше союзники стали твердой ногой: о нападении на них слабой армии Меншикова не могло быть и речи, о крупных вылазках из Севастополя тем более.

Однако в первые же дни оказалось много непредвиденных неудобств. Прежде всего в занятой союзниками под свои лагери местности почти совсем не было воды. Колодцы в Балаклаве, рассчитанные на скромные нужды небольшого населения, а также в селении Кадык-Кой, в другом селении Комары и в нескольких небольших усадьбах далеко не могли обслужить большую армию англичан, и стакан воды в их лагере продавался по три шиллинга, то есть почти по рублю серебром на тогдашние русские деньги. Еще меньше было воды на Херсонесском полуострове, занятом французами; очень скоро пришлось перестроить водопровод, снабжавший Севастополь, так, чтобы он спас большие десантные армии от грозного безводья.

Но если запасливые французы в первые же дни разбили для себя палатки и начали ставить бараки, то английская армия ждала палаток десять дней, а пока, совершенно непривычно для себя, расположилась на голой земле бивуачным порядком. Ночи же стали уже холодными, поэтому цена на самое ветхое дырявое одеяло поднялась до двух фунтов стерлингов.

Кроме холеры, которая не прекращалась, развивалось много других заболеваний. Почти все офицеры были больны. Между тем походные госпитали почему-то совсем даже не были погружены на суда и остались в Варне; их ждали со дня на день, но они не приходили.

Однако осадные работы должны были вестись усиленно, чтобы покончить с Севастополем как можно скорее. И с первых же дней английские солдаты поняли, что их любящий командир старый главнокомандующий, облюбовавший для штаб-квартиры Балаклаву, не пощадил ни ног их, ни спин, так как разные тяжести, необходимые на позициях, приходилось тащить им на себе за полтора десятка километров, рабочих лошадей было мало, корму для них тоже мало; надрываясь на подвозе осадных орудий к позициям, они выбивались из сил и погибали. Местность была гористая, дороги плохие, если не приходилось их тут же прокладывать.

Даже огромные гвардейцы дивизии герцога Кембриджского, племянника королевы Виктории, и те через несколько дней сильно подались и имели измученный вид.

Французы занимали левый фланг осадной линии; им от Камышовой и Стрелецкой бухт до позиций было гораздо ближе; их главный штаб, подготовлявший экспедицию, оказался гораздо предусмотрительнее английского; их интендантство заботливее; в их лагере было меньше больных.

Но третье союзное знамя, которое Сент-Арно собирался приветствовать на стенах Севастополя, принадлежало туркам. Их дивизия насчитывала семь тысяч офицеров и солдат; они привезли с собой двенадцать полевых орудий и девять осадных, но кормить людей этой дивизии приходилось французам на свой счет еще в Варне, и если в первое время в Крыму даже французские солдаты не могли получить того, что им полагалось, то турки тем более.

Поставленные как резервные силы в тылу французских и английских лагерей, турки, мучимые голодом, толпами бродили около кухонь и походных пекарен французов и англичан, выпрашивая необглоданные кости и хлебные корки; рылись в кучах отбросов и расходились по окрестностям в надежде ограбить местных жителей.

Но к этой последней спасительной мысли пришли и главнокомандующие союзных армий, решив ограбить Ялту как наиболее близкий к Севастополю и наиболее населенный из прибрежных городов.

Это было утром 22 сентября – перед Ялтой выстроилась эскадра в десять вымпелов; из этих судов, часть которых принадлежала английскому, часть – французскому военному флоту, особенно выделялись величиной два трехдечных корабля, сопровождавшихся на случай безветрия двумя колесными пароходами.

И ялтинцы только еще спрашивали друг друга встревоженно, что может значить этот ранний и торжественный визит, как один из пароходов подошел к берегу.

Тогда всем ясно стало, что надо бежать из города, и первыми двинулись различные, свойственные уездным городам того времени «присутственные места»: казначейство, уездный суд, городская управа и прочие. Весь гарнизон Ялты – около пятидесяти солдат и казаков при офицере – прикрывал это шествие. Таща детей и узлы наскоро собранного скарба, потянулись за ним жители по дороге на Симферополь, мимо Гурзуфа, Алушты и других татарских аулов.

Но уйти успела только часть жителей. Союзники действовали быстро. С каждого судна были спущены шлюпки; в них посажено человек до пятидесяти солдат, и десант этот, рассыпавшись по набережной и всюду по улицам, чуть ли не к каждому дому поставил часового; всякое движение было прекращено, все замерло, ожидая, что будет дальше.

Дальше же начался грабеж. Все дойные коровы и козы, которых ввиду раннего часа не успели еще выгнать на пастбище, выгонялись со двора на улицу, откуда их гнали к пристани, чтобы грузить на шлюпки и баркасы. Туда же тащили мешки, набитые курами и прочей домашней птицей. Так как свиней вообще трудно перегонять с места на место, то их кололи штыками и подвозили туши их к пристани на обывательских подводах. Хлеб, яйца, вино, сахар, мука, крупа – все съестное забиралось и отправлялось на суда.

Однако солдаты нуждались не только в съестном. Они выламывали двери и окна, которые могли пригодиться им в лагере; из сундуков и гардеробов вытаскивали пальто; потом, входя во вкус полной безнаказанности своих действий, разбивали прикладами посуду, рвали штыками картины, книги, вообще уничтожали то, что им было не нужно или чего не могли унести.

С почтовой станции вывезли все брошенные там экипажи и сбрую, опустошили все магазины и казенные склады. Совершенно разорили и Ливадию, принадлежавшую тогда графу Потockому.

Два дня длился этот погром Ялты и окрестных имений. Только в ночь на 24 сентября ушла эскадра, и только имение императрицы – «Ореанда» – осталось нетронутым из соображений высшей политики.

### III

По ночам в Севастополе слышен был стук многочисленных колес по каменистым звонким сентябрьским дорогам на неприятельской стороне: там неутомимо трудились над возведением брустверов и установкой орудий. Прошел даже слух, что союзники привезли с собой паровые машины для рытья траншей, но саперы сомневались, чтобы такие машины могли справиться со скалистым грунтом.

Ясными днями отчетливо была видна пыль, поднимаемая тысячами кирок и мотыг за три, даже за две версты от русских оборонительных линий. Рабочих обстреливали из дальнобойных орудий и замечали, что они разбегались, прекращая работы, но по утрам оказывалось, что неприятельские траншеи росли и что приближались зигзагами.

Со стороны англичан – против третьего бастиона – появилась вдруг за одну ночь траншея всего в семистах саженях от русских траншей, а со стороны французов, против пятого бастиона, еще ближе: меньше чем за версту.

Это был труд не менее упорный, чем труд русских моряков и солдат. Лошади союзников решительно не в состоянии были выносить ту работу, которая требовалась от них по подвозке к укреплениям осадных орудий, они падали по несколько десятков в день.

Пластуны и команды штуцерников ежедневно посылались Корниловым обстреливать рабочих, но французы выставляли против них цепи своих африканских егерей, англичане – снайперов, и перестрелка, то оживляясь, то временами затихая, стала ежедневной, втягивая все большее число команд.

Но штуцерных в русских полках было мало. Корнилов просил Меншикова прислать ему батальон стрелков. Меншиков обратился за этим к Горчакову, в Одессу. Горчаков, получив с курьером просьбу Меншикова, правда, распорядился послать стрелковый батальон на подводах, но батальон прибыл гораздо позже, чем его ждали.

Союзники спешили. Они не отвечали орудийным огнем на выстрелы русских пушек, не желая обнаружить расположения своих батарей. Они даже не прорезывали вполне амбразур или, прорезав, тут же закрывали их мешками с землей и турами. Они скрытничали, но когда стало обнаруживаться, что пехота выбивается из сил, сооружая траншеи и блиндажи, Раглан и Канробер потребовали от командующих флотами – лорда Дондаса и Гамелена – подкрепить пехотинцев матросами, которых насчитывалось в обоих флотах до двадцати пяти тысяч. Так что части моряков союзников, как и все русские моряки, сошли на берег, чтобы стать саперами и потом – артиллеристами у осадных орудий.

В полдень 4 октября и Канробер и Раглан получили донесения, что подготовительные работы к бомбардировке крепости с суши можно считать законченными. Из главных квартир обеих армий об этом дано было немедленно знать Дондасу и Гамелену, и к вечеру этого дня с береговых фортов замечен был проворный небольшой пароход, шнырявший вне выстрелов русских батарей на линии входа на Большой рейд и разбрасывавший буйки.

Что это значило, было известно морякам. Союзная эскадра в полном сборе стояла у устья реки Качи, из которой доставляли пароходами воду во французский лагерь; буйки, поставленные в море, показывали, что корабли союзников решили появиться перед фортами во всем своем боевом могуществе.

И в то время как флигель-адъютант подполковник Альбединский скакал на перекладных с собственноручным письмом Николая Меншикову, Раглан и Канробер верхами, в окружении нескольких штабных генералов, французских и английских, объезжали свои укрепления, на которых все считалось законченным для небывалой еще в истории канонады.

Николай отбрасывал даже и самую мысль об обороне, казавшуюся ему позорной; он настаивал на наступлении, хотя бы и постепенном, «укрепляясь на удобных местах». Он ободрял Меншикова: «Время года за нас; думаю, что союзникам куда не покойно в их лагере, на голой каменистой местности, где их продувает со всех сторон! Сын твой говорит, что они очень болеют и мрут, – ничто им! В газетах тоже упоминается о болезнях. Все это несколько охладит их жар!»

Главкомандующие союзных армий знали о том, что действительно многие болеют и многие мрут, но видели, объезжая свои позиции, что предначертания выполнены, несмотря ни на что.

Канроберу, который в Галаце, будучи еще только начальником первой дивизии, накричал на пашу, требуя от него дров для отопления казарм в апреле, не хватало выдержки и теперь, когда он стал во главе французской армии. Это подумал о нем, поморщившись, лорд Раглан, когда тот обратился к инженерному полковнику-англичанину с бестактным замечанием:

– Все-таки я нахожу, что русские укрепления тоже очень сильны! Как вы их находите, господин полковник?

Полковник, исхудалый от трудов, но аккуратный выбритый, поднял глаза на сидящего верхом французского главнокомандующего и ответил:

– Они построены не для огня наших орудий! При первых же наших выстрелах они обратятся в пыль.

Ответ этот понравился Раглану. Кивнув поощрительно в сторону столь великолепного, самоуверенного инженера, он обратился к Канроберу несколько более возбужденно, чем это было позволительно для его лет:

– Мой дорогой друг! Здесь, – он указал широким жестом своей единственной руки на огромные ланкастерские осадные орудия, выстроившиеся внушительно на батарее, прозванной русскими пятиглазой по числу амбразур в ней, – здесь мы с вами присутствуем на торжестве военной логики! Она молчалива пока, но завтра ее силу почувствуют русские! Завтрашний день будет началом конца наших военных операций!

## Глава восьмая Канонада 5 (17) октября

### I

Два полка дивизии генерала Кирьякова – Московский и Тарутинский – готовились к своим полковым праздникам, которые наступали для первого 5-го, для второго – 6 октября.

Как всегда перед подобными праздниками, в полковых казармах все мылось, чистилось, «репертилось», как говорили тогда солдаты, производя это слово от «репетиция». Кашевары на кухнях даже пекли пироги с начинкой из капусты с рублеными крутыми яйцами. Заготавлилась водка для раздачи солдатам праздничных чарок; варились двойная порция мяса: кроме говядины, еще и козлятина.

Между тем на батареях уже чувствовалось всеми, что вот-вот разразится бомбардировка: позиции противника были очень оживлены, замаскированные амбразуры открывались... Люди здоровые, полнокровные, жизнелюбивые, осевшие на батареях моряки, из которых многие сражались при Синопе, не хотели зря терять вечера, может быть последнего для многих, и тот праздник, к которому только еще готовились пехотинцы двух полков, самочинно пришел на батареи.

Это был как бы вполне законный отдых, когда люди пошабалили, закончив долгую, трудную, ответственную работу. Сделав все, что могли, вспрыснули в складчину конец дела, бастионы – восемь больших, считая с Малаховым курганом, и тридцать четыре малых.

Начальство не запрещало матросам ни музыки, ни песен, ни плясок до поздней ночи. Начальство разрешило это и себе. Казармы и палатки, в которых расположился Московский полк, были невдали от третьего бастиона; приготовления к полковому празднику создавали на всем бастионе то предпраздничное настроение, когда люди, честно проработавшие перед тем больше месяца, разгибают спины, разминают плечи, утирают пот.

Душою вечеринки в офицерском блиндаже был Лесли: непринужденно острил, рассказывал неизвестно откуда им взятые, но явно для всех свежие анекдоты, пел «Чижику» с вариациями не для дам...

Командиром бастиона был капитан 2-го ранга Попандопуло, из одесских греков, а младшим офицером на батарее Лесли – сын старого Попандопуло, мичман, юноша лет двадцати двух, во всем стремившийся подражать своему непосредственному начальнику – капитан-лейтенанту.

На бастионе было двадцать два орудия; Лесли командовал батареей крупнокалиберных пушек, снятых с линейного корабля «Императрица Мария».

Вглядываясь в амбразуры английских батарей и поглаживая и похлопывая гладкий и длинный хобот одного из своих орудий, Лесли говорил юному мичману:

– Ничего, господа энглезы! Мы вам вшпарим по всем правилам искусства!

Мы вам расчешем ваши рыжие кудри!

И мичман Попандопуло, невысокий, но стройный и очень ловкий южанин с правильным, красивым, несколько долгоносим лицом, понимал, что это не для его ободрения говорит так его начальник – он не нуждался в ободрении, – что это была твердая уверенность в успехе артиллерийского состязания завтрашнего дня. Кроме дальнобойных морских орудий на бастионе стояла батарея полевых пушек и батарея мортир для стрельбы картечью, на случай если союзники рискнут пойти на штурм.

Так как бастионом ведал его отец, немногоречивый, но деятельный и умевший всех около себя заставить работать как надо, то юный мичман чувствовал себя, может быть, даже прочнее, чем кто-либо другой на бастионе: отцу он привык верить с детства, отец не мог что-нибудь упустить из вида, не мог чего-нибудь недоделать. Для мичмана Попандопуло третий бастион был самым сильным на всей линии обороны, и после шумной вечеринки 4 октября юноша заснул спокойно и крепко, укрывшись шинелью, в углу блиндажа, чтобы подняться в пять утра, как ежедневно, ополоснуть лицо водой из корабельной цистерны – и к орудиям: долг службы – стать возле них раньше, чем подойдет Евгений Иванович, командир батареи, а в шесть происходила смена вахтенных и он заступал на вахту.

В полдень этого дня объезжал линию укреплений, как обычно верхом, с двумя флаг-офицерами, Корнилов, и мичман Попандопуло слышал, что адмирал, остановясь у них на бастионе, указал его отцу, кивнув на пятиглазую батарею англичан с открытыми амбразурами:

– По всей видимости, они приготовились уже к бомбардировке... Ну что ж... Встретим и примем!

– Мы ведь тоже сделали все, что могли сделать, ваше превосходительство, – с достоинством отозвался отец, который при одних летах с Корниловым имел уже сильную проседь в черных усах.

– Да, мы готовы... Мы готовы... Мы готовы! – все с большей уверенностью повторял Корнилов, подымаясь на стременах, чтобы разглядеть что-то такое там, на Зеленой горе, у неприятеля. – Они готовы, конечно. Однако – и мы тоже... А там пусть уж решает сам Бог!

Он был очень серьезен, говоря это, даже торжественно серьезен. У него были прозрачные глаза в несколько воспаленных, от недосыпания вероятно, веках и длинные, белые, с синими венами, кисти рук.

Засыпая в углу блиндажа под шинелью, мичман увидел высокую тонкую женщину в средневековом шлеме, с мечом на серебряном поясе, с такими же прозрачными глазами и с такими же длинными белыми кистями рук. «Кто это, Евгений Иванович?» – спросил он Лесли. «Как же так „кто“! Понятно, Жанна д'Арк!» – ответил Лесли.

А у Корнилова как раз в это время сидел, собираясь уже уходить, Нахимов. Корнилов жил тогда в доме того самого отставного поручика Волохова, который построил форт в виде башни на Северной стороне. Меньшую половину дома занимал он сам, большую – его штаб. Установка буйков в море пароходом союзников ясно указывала на то, что к бомбардировке с моря нужно быть готовыми не позже как завтра, поэтому Корнилов собрал к себе на совещание не только начальников сухопутных оборонительных дистанций: трех адмиралов – Новосильского, Панфилова и Истомина – и генерала Аслановича, но также и командиров береговых фортов. Конечно, на совещании присутствовал и генерал Моллер, продолжавший считаться начальником Корнилова, и Кирьяков, командовавший не только своей дивизией, но и всеми резервными силами, местом стоянки которых была Театральная площадь, а назначение – броситься в ту сторону линии обороны, которой неприятель угрожал бы прорывом.

Но все бывшие на совещании уже разошлись, Нахимова же удержал сам Корнилов, так как только с ним связывала его не то чтобы близкая и теплая дружба, но та старинная приязнь, которая стоит дружбы.

Нахимов часто бывал в семействе Корнилова, его, с его коротенькой трубочкой, всегда любила видеть у себя Елизавета Васильевна, жена Корнилова; к нему привыкли дети. С ним

можно было поговорить не только о служебном, тем более что о служебном все уже говорилось раньше.

Куда и какими бортами должны были стать оставшиеся корабли в случае бомбардировки с суши и с моря, об этом уже говорилось; обсуждался и способ потопить их, если бы противник ворвался в город. Как тушить на них пожары, результаты обстрела, команды знали...

Нахимов был нужен Корнилову, чтобы поговорить с ним о чем-то другом, что для него самого было как бы неясно, но важно.

В просторном кабинете, где они сидели, висел синий табачный дым. Тогда лучшим табаком считался табак фабрики Жукова, и курить какой-либо другой табак было признаком плохого тона. Два адмирала сидели друг против друга за столом, с которого не убрали еще распитых после совещания бутылок красного вина.

– Павел Степанович, письмо мне привез николаевский курьер от жены... Просит Елизавета Васильевна передать вам поклон... и дети тоже...

– Очень благодарен за память!.. Очень рад, очень... – пробормотал Нахимов. – А где-то теперь Алеша на «Диане»?

– Да, вот... Алеша... «Диана», может быть, теперь подходит к Сингапуру, но ведь англичане находятся с нами в состоянии войны и могут захватить корабль, – вот чего я боюсь!

– Отстоится, – благодушно кивнул Нахимов. – Отстоится в каком-нибудь нейтральном порту-с... скучно, конечно, будет, если очень долго стоять, да... но ведь трудно-с и предположить такое, чтобы покусились они на наш корабль, когда он учебное плавание совершает!.. Нет, Владимир Алексеевич, они этого не делали до сих пор и, я думаю, не решатся сделать.

– Я тоже полагаю, что англичане... Они – народ крепких традиций... Но вот французы, при теперешнем правительстве, – французы могут!

Нахимов поморщился, усиленно потянул из чубука, выпустил кольцами дым и сказал решительно:

– Нет, и французы не сделают!.. Наконец, постоять в китайском или голландском порту – это-с... это-с поучительно для юноши...

– Об этом нет спору... Поучительно, да, – был бы хороший надзор за ним... А то эти портовые города в Китае...

– Алеша – строгий к себе мальчик: для него не опасно-с.

– Это вы хорошо определили его, – с живостью подхватил Корнилов. – «Строгий к себе». Прекрасно сказано!.. Он даже и плохим товарищам не поддастся! В нем есть эта... эта твердая самостоятельность, да – она и в детстве у него была... «строгий к себе»! Это, это, знаете ли, то самое, что и нам всем осталось... Мы попали в строгое время, и не мы одни, – вся Россия! Для России настали строгие времена, да! И может быть, самый строгий день будет завтрашний... Переживем ли его мы с вами, Павел Степанович?

Вопрос был задан быстро, скороговоркой, так что Нахимов, казалось, не сразу даже и понял его, но когда он дошел до его сознания, то, пососав чубук, адмирал с большим Георгием – за Синоп – на шее крякнул, оперся о спинку кресла и проговорил назидательно:

– Бог не без милости, а моряк не без счастья.

– А если моряк выброшен на сушу? – слабо улыбнулся Корнилов. – Нильскому крокодилу в воде тоже везет, а вылезет на берег – и не заметит, как схватит пулю... Ведь это – совсем другая стихия, Павел Степанович, для нас с вами... Но это я между прочим... Жена прислала благословение: тревожится. Правда, она уж давно тревожится, и могло бы войти это даже в привычку, но теперь как-то у нее это сказалось... от глубины сердца... Вы верите в предчувствия?

– Я верю только в то, что не всякая пуля в лоб-с, – серьезно ответил Нахимов. – Убить человека – для этого (нам-то с вами это известно) много свинца и чугуна надо истратить.



– Вы одинокий, Павел Степанович... Правда, брат у вас есть в Москве, но брат – это, знаете ли, совсем не то, что своя личная семья – жена, дети... Я написал на всякий случай духовную с месяц назад, еще перед Алмой. Сегодня утром перечитал ее – кажется, все там сказал: не знаю, что еще можно добавить.

– Что вы, Владимир Алексеич. Что вы! – даже с подобием испуга в глазах отозвался Нахимов. – Разве вам можно думать о смерти? Вы только вспомните, как же без вас останется Севастополь! Что вы-с! Вы только об этом, об этом самом подумайте: кем же вас заменить можно? Никем-с! А защита Севастополя, как вы ее поставили, очень надолго-с, очень надолго-с может затянуться! Мимо таких-с людей – о, она, эта курносая, с косой, – сторонкой, сторонкой-с обходит, сторонкой! Я даже и за себя не боюсь – видит Бог, ни вот столько! – Он указал на кончик чубука. – А вы Севастополю необходимы, как... как все его орудия и все снаряды-с! И чтобы такой человек погиб в самом начале дела – помилуйте-с! Вас история выдвинула-с, сама история-с? Зачем же она вас выдвигала? Чтобы тут же, извините меня, по затылку вас хлопнуть? История не дура-с! История не так глупа-с, нет!

Давно не замечал Корнилов, чтобы герой Синопа так искренне говорил и так разгорячался при этом. Ему стало неловко, как будто он смалодушничал.

Рука его, уже готовая было дотянуться до кипарисового ларца, в котором лежало его духовное завещание, медленно опустилась и стала вертеть пустой винный стаканчик. Видимо, в словах Нахимова нашлось что-то такое, что было для него если не ново, то убедительно, – и он поднялся, обошел стол, положил руки на эполеты Нахимова и три раза, точно христосуясь, поцеловал его в дымящиеся, слабо растущие усы.

– Спасибо на добром слове, – сказал он потом бодро, почти весело. – Вы правы в том отношении, что поддаваться всяким этим предчувствиям и, как бы сказать, голосам вещей сердец – это упадок духа, разумеется, и для этого надо иметь, кроме того, свободное время – да, вот именно: свободное время! А у нас его нет... Кстати, я забыл вам сказать: князь присылает нам, то есть в адрес командующего войсками в Севастополе генерала Моллера, некоего полковника генерального штаба Попова в начальники штаба... Так что теперь у нас все пойдет не как бог на душу положит, а вполне по-ученому. Пишет князь, что этот Попов в Петербурге на лучшем счету.

– Ну что же-с: одним петербургским умником будет больше, – непроницаемо спокойно отозвался на это Нахимов и положил трубку в карман, что делал он всегда перед тем, как встать и прощаться.

## II

Московский полк утром 5 октября выстроился около своих палаток и казарм поротно, составив ружья в козлы. Полковой священник готовился начать молебен по случаю праздника, хотя погода была непраздничной.

Рассвет наступил поздно из-за тумана, густо залегшего вскоре после полуночи. В нескольких шагах ничего уже не было видно – люди появлялись и расплывались, как тени.

Когда же туман сдвинулся к морю и открылась линия неприятельских укреплений, к ним сразу повернулись тысячи лиц, чтобы узнать, что они готовят. Но там не замечалось ничего бросающегося резко в глаза: ни суетливого движения солдат, ни заново открытых амбразур...

Сзади, в Севастополе, тоже шло все заведенным порядком: рабочие выгружали адмиралтейство, как всегда, с самого утра; по Южной бухте и Большому рейду энергично двигались шлюпки, баркасы, гички и совсем небольшие лодчонки, носившие название вереек; переправлялись с берега на берег люди, перевозились тяжести – работа каждого дня, постоянством своим породившая уже устойчивость и спокойствие не только в солдатах, но даже и в обывателях.

И когда до уха иной матерой боцманши с Корабельной слободки доходило зловещее известие о возможной и скорой уже бомбардировке, она говорила презрительно:

– Э-э, бандировка, бандировка! Пугаешь зря, будто мы пужливые! Не слышали мы, што ль, никогда твоей бандировки! – и поджимала высокомерно губы.

Палатки белели в тылу укреплений всюду. Пехотные части были придвинуты Корниловым на случай штурма и штыкового отпора. Утренние подводы, привезшие из города хлеб и мясо для кухонь, виднелись между палатками, на задних линейках. Артельщики раздавали хлеб и черные ржаные сухари солдатам. Водовозы медленно продвигались, и к ним бежали с ведрами, чтобы защитники укреплений имели все, что полагалось для завтрака: не только сухари, но также и воду, чтобы было в чем размочить эти окаменелости, может быть десятилетней давности.

Все в это утро было как всегда за исключением только полкового праздника в Московском полку, где начался уже было молебен, как вдруг грохнуло оттуда, со стороны противника... и еще... и в третий раз.

И не успели еще как следует переглянуться и снять со лбов сложенные для креста пальцы солдаты Московского полка, как загрохотало уже по всей линии противника сразу сто двадцать огромных осадных орудий – английских, французских и турецких, – и, пряча поспешно на ходу свой тревник в широкий карман рясы, стаскивая через голову золототканую ризу, первым покинул поле молебствия перепуганный поп.

Солдаты ждали команды и искали глазами своих ротных командиров, но ротные точно так же оглядывались на батальонных, те – на командиров полков... И несколько минут канонады прошло в этих ищущих взглядах, пока, наконец, не закричали, передавая сзади приказ Кирьякова:

– Пехотным частям отступать к городу!.. Пехоте отступать в порядке к улицам города!

Кричать приходилось звонко и чуть не в ухо соседа, потому что ста двадцати осадным орудиям союзников дружно принялись отвечать сто восемнадцать больших морских орудий русских бастионов. Трудно было и в двух шагах перекрыть такой рев... клубы плотного дыма очень быстро заволокли все кругом, и целей уже не было видно артиллеристам: только вспыхивали слабо то здесь, то там желтые огоньки выстрелов. Парадно выстроившийся для молебна Московский полк уходил к городу, унося и увозя многих раненых, а вслед ему визжали в воздухе ядра. Мчались нахлестываемые вожжами ротные лошади... За насыпями укреплений прятались от ядер матросы и солдаты бастионов, но эти насыпи, сделанные из каменной щебенки, рассыпались от удара ядер и обрушивались вниз, как град картечи. С каждым таким ударом они становились ниже и ниже. Щеки амбразур, выложенные мешками с землей, загорались от выстрелов, что очень мешало стрельбе. Блиндажи на бастионах только носили название блиндажей – их все-таки не успели сделать как нужно: это были простые навесы с тонким слоем земли на крыше, похожие на обыкновенные татарские сакли в каком-нибудь ауле Бурлюк или Алма-Тамак.

Осадные орудия в большинстве были английские, и поставлены они были так, чтобы обстреливать Малахов курган и бастионы третий и четвертый.

Тот хутор с длинной каменной стенкой, которую разметали матросы при своей удачной вылазке, отогнав два батальона французов, скоро был занят французами снова. Это был хутор Рудольфа, давший свое имя и горе, на которой расположился.

Рудольфова гора была теперь вся в дыму и сверкании выстрелов французских батарей, стрелявших тоже по четвертому бастиону, взятому под перекрестный огонь.

Эти батареи на Рудольфовой горе были обстреляны в полдень 2 октября из сорока русских орудий. На пробной стрельбе тогда определялись углы возвышений для мортир и пушек, благодаря чему теперь каждый выстрел попадал в цель, хотя сплошной дым делал невозможным прицеливание.

Ветра не было, дым висел всюду, как в курной избе, дым ел глаза, от дыма трудно было дышать.

– Ре-е-е-же!.. Ред-кий огонь! – пытались командовать на батареях офицеры, чтобы осадило дым, чтобы можно было хоть что-нибудь разглядеть вблизи, а вдали хотя бы приблизительно нащупать линии неприятельских траншей.

Но матросы-артиллеристы вошли в азарт, и не замечали даже, что орудия слишком перегревались. Они действовали как на корабле в море, где бои бывают жестоки, но не длинны, и во время боя некогда думать о чем-нибудь другом, кроме самого боя. Они не знали, они могли только догадываться по неумолкаемой и меткой горячей пальбе противника, что там у многих орудий стоят такие же матросы, как они, взятые с кораблей Рагланом и Канробером.

При первых же выстрелах канонады Нахимов сел на своего рыжего и поскакал как был – в сюртуке с эполетами, на линию укреплений. Оттуда уже валом валила пехота к городу, и трудно было сразу понять, почему и куда уходят так поспешно. Нахимов пробовал кричать солдатам: «Ку-да?» – это не помогало: голос терялся в грохоте и громе канонады. Только командир Бородинского полка полковник Веревкин, бывший тоже верхом, заметив адмирала, сам подъехал к нему и доложил, что пехоте приказано отойти, чтобы не нести напрасных потерь.

Однако в поспешной стрельбе без прицела много ядер и бомб перелетало через бастионы, и бомбы крутились перед разрывом, и ядра прыгали здесь и там.

Нахимов добрался до пятого бастиона и остался на нем. Когда говорил Меншикову, что содействовать защите Севастополя с суши не может, так как он адмирал, а не генерал, он представлял себе дело это во всей его сложности, действительно ему совершенно неизвестное. Но отдельный бастион был то же самое, что флагманский корабль в Синопском бою, а на своем корабле тогда он не был праздным зрителем – не хотел быть им и теперь.

Он сам наводил орудия, поднимался на бруствер, чтобы следить, насколько позволял дым, как могли ложиться снаряды по Рудольфовой горе, но снаряды тучей летели и оттуда, иногда сшибаясь в воздухе с русскими ядрами, и один из них разорвался недалеко от Нахимова, когда он стоял на бруствере и глядел в свою морскую трубу.

Был ли это совсем небольшой осколок, или кусок камня, подброшенный с земли, но Нахимов, почувствовав легкий удар в голову, сдвинул еще дальше назад и без того сидевшую на затылке фуражку. Затем он снял фуражку, оглядел ее: она была чуть заметно пробита, – провел по голове над левым виском ладонью – кровь.

– Ваше превосходительство! Вы ранены? – подскочил к нему командир батареи капитан-лейтенант.

– Не правда-с! Ничуть не ранен! – Нахимов строго поглядел на него и надел фуражку.

– Вы ранены! Кровь идет! – крикнул обеспокоенно другой офицер, но Нахимов поспешно вытер платком щеку, по которой покатилась капля крови, и сказал ему:

– Слишком мало-с, слишком мало-с, чтобы беспокоиться!

В это время сзади молодежато рявкнуло солдатское «ура!». Нахимов оглянулся и увидел слезавшего с лошади Корнилова.

– Слишком много-с, слишком много-с – два вице-адмирала на один бастион, – пробормотал он, крепче прикладывая к голове платок, но стараясь делать это так, чтобы не заметил Корнилов.

– Павел Степанович! И вы здесь! – прокричал Корнилов, здороваясь с ним оживленно, даже пытаясь улыбнуться.

– Я-то здесь, – несколько отворачивая голову влево, бросил в свою очередь и Нахимов. – А вот вы зачем-с? – и глядел укоризненно.

– Как это зачем? – постарался не понять Корнилов.

– Дома-с, дома-с сидели бы! – прокричал совсем недовольно Нахимов.

– Что скажет свет! – шутливо уже отозвался на это Корнилов и взял из его рук трубу, так и не заметив, что он ранен.

### III

Французские батареи – с Рудольфовой горы и из первой параллели, которую удалось французам вывести в ночь на 28 сентября в расстоянии всего четырехсот пятидесяти сажен от русских укреплений длиною до полуверсты, – расположены были слишком близко, чтобы снаряды их не попадали в город, а дальнобойные орудия, стрелявшие калеными ядрами, выбивали своею целью корабли на рейде и деревянные дома в городе, чтобы вызвать пожары. То же назначение имели и конгревовы ракеты, пускавшиеся из особых ракетных орудий.

И пожары в городе начались, как это и предвидел Корнилов, по приказу которого из обывателей, инвалидов и арестантов образовано было несколько пожарных команд в разных частях.

Загорелся и сарай одного дома на Малой Офицерской, и Виктор Зарубин бросился его тушить.

Зарубины были в большой тревоге. Теперь уже Капитолина Петровна, твердо решив бежать из дома, пихала в узлы из скатертей все, что попадалось на глаза, как всегда бывает с женщинами во время близкого пожара.

Она приказала Варе и Оле одеться, помогла мужу натянуть шинель, потом закричала ему звонко:

– Что-о? Дождался? Вот теперь и... Дождался?.. Вот!

И капитан беспомощно глядел на нее, на детей, на окна, озаренные багровым отсветом, и не находил, что возразить, только открывал и закрывал рот, как рыба на берегу.

Но вот вбежал запыхавшийся, с потным лбом Виктор и закричал от двери:

– «Ягудиил» горит!

Этот крик сразу зарядил Зарубина боевой энергией.

– «Ягудиил»? Горит? – повторил он. – Зна-чит... зна-чит, и до рейда... до рейда достали?

«Ягудиил» был линейный корабль, трехдечный, восьмидесятипушечный – грозная морская крепость, давно и отлично знакомая Зарубину, и вот теперь эта крепость горела. Старик представил это, внимательно глядя в пышущее лицо сына, и сказал веско, тоном команды:

– Тогда пойдем!.. Ставни закрыть на прогоники!.. Двери все на замок!..

Он даже выпрямился, насколько позволила сведенная нога.

– Я сбегая за Елизаветой Михайловной! – вдруг забеспокоилась Варя. – Пусть и она тоже с нами! – и тут же выскочила в дверь.

Она вернулась скоро и проговорила с ужасом в глазах:

– Прихожу, а денщик говорит: «А барыня давно ушли». – «Куда?.. Куда ушла?» – «Не могу знать... Ушли и мне ничего не сказали...»

Видно было, что она передавала свой разговор с денщиком Хлапониных слово в слово.

– На Северную все бегут переправляться! – сказал Виктор.

– Вот, значит, и мы... и мы туда тоже... на Северную! – скомандовал Зарубин.

Как раз в это время ядро ударило в сад, раздробив яблоню синап- кандиль.

– Выходи вон из дома! – закричал, ударив в пол палкой, капитан.

И все поспешно вышли, захватив только те узлы, какие были поменьше, забыв закрыть ставни на железные прогоники и успев только запереть входную дверь.

Твердо опираясь на палку, капитан строго оглядывался по сторонам, как ведут себя неприятельские бомбы и ядра.

Чтобы попасть на Северную, где – говорили так те, которые спешили рядом с ними, – было безопасно от бомбардировки, нужно было дойти до пристани, – несколько кварталов.

Виктор тащил свой узел, который сунула ему в руки мать, на поднятом локте так, чтобы можно было закрыться им, если встретится кто-нибудь из своих юнкеров: стыдно было.

Но никто не встретился – все шли в том же направлении, как и они, – к Графской пристани.

А ядра визжали над головами, звучно шлепаясь потом в стены и черепичные крыши. Из бухты же вслед за оглушительными выстрелами летели русские ядра им навстречу.

– Это «Владимир» и «Херсонес», – объяснял отцу Виктор. – Бьют по Микрюкову хутору, где англичане.

Старый Зарубин шел с большим трудом, но то, что свои пароходы посылают англичанам гостинцы, его ободряло.

– Ага, Виктория... Виктория... – бормотал он. – Повертись теперь!

«Ягудиил» же действительно горел, однако было видно, что его деятельно тушили матросы: рядом с черным дымом виднелся над ним белый пар и языки пламени то вырывались, то исчезали.

На пристани было уже очень людно.

Всем хотелось поскорее уйти от смерти, летавшей кругом. Тут были семейства интендантских, портовых и прочих чиновников, усиленно проклинавших себя теперь за то, что не отправили своих раньше. Многие говорили с решимостью отчаяния:

– Только бы до Северной добраться, а там – хоть пешком пойдем на Симферополь!

Более спокойные замечали:

– Да раз он такую пальбу затеял, то, пожалуй, на Симферополь уж и не пробьетесь.

Однако пробиться и на Северную сторону было тоже очень мудрено. Шлюпки у пристани были, но стояли на причале и без весел. Иные смелые перевозчики брали пассажиров, но оставшиеся на берегу с замиранием сердца и аханьем следили за тем, как люди пробирались мимо неподвижных и тоже как будто замерших бригов и горевшего «Ягудиила», ожидая, что вот-вот обрушится на них сверху граната или ядро.

Один яличник, вернувшийся оттуда, с Северной, наотрез отказался везти кого-нибудь снова, хотя к нему кинулось наперебой несколько семейств.

– Первое дело, – сказал он рассудительно, – я могу живым манером ялика своево решиться; второе дело – я могу вас, своих давальцев, решиться; а третье дело – своей жизни могу решиться. Зачем же мне тогда, господа, ваши деньги, обсудите сами?

Он был морщинистый сурового вида крепкий человек. Деньги ему протягивали, но он отводил их рукою и добавлял:

– И так что еще, хотя я и не начальник какой, а могу вам сказать, что раз идет такая смертельная стрельба, кучно не стойте, а кто куда разойдитесь, потому как может случиться большой от этой кучности вред.

– Папа! Давай у него купим ялик и пойдем сами на веслах! – обратился Виктор к отцу, и глаза у него так и горели.

– Скажи матери, – буркнул Зарубин.

Капитолина Петровна так была напугана рассуждениями яличника, что только махала рукою – на Виктора. Но вот ядро ударило шагах в десяти от них, к счастью, никого не задев, а яличник уже уходил, унося свои весла.

Капитолина Петровна поспешно сунула в руку Виктора десятирублевую ассигнацию, он кинулся за перевозчиком, а через несколько минут торжественно тащил весла.

Эти весла на плечах Виктора могли означать что угодно: будущее было темно и страшно, – но маленькая Оля вскрикнула ликуя:

– Есть весла! Есть! Смотрите!

И все около нее, не говоря о самом Викторе, поверили, что в этих веслах спасение их жизней.

Варя даже оглядывалась кругом с последней надеждой – самой крепкой! – не покажется ли где Хлапонина.

– Куда же Елизавета Михайловна могла?.. Может быть, уже давно переехала? – спрашивала она мать.

Но мать отвечала ей с чувством:

– О себе заботься, а не о людях!

Уселись в ялик. Их считали счастливыми те, кто остался на пристани. Виктор сел на весла, стараясь грести, работая только бицепсами; ведь он начал грести на виду у всех – надо же было показать себя мастером гребного спорта.

На корме уселся сам капитан, готовый править рулем ялика, – он, когда-то правивший боевыми кораблями.

Едва успели пройти метров пятьдесят, как впереди шлепнулось в воду ядро, обдав их брызгами. Капитолина Петровна ахнула визгливо и припала головой к узлу, который держала на коленях (самый большой – с двумя подушками и одеялом). Оля смотрела на отца побелевшими глазами и с открытым ртом; у Вари выдавились сами собой слезы; Виктор, оглянувшись кругом, буркнул:

– Здорово лупят! – и продолжил грести.

Сам капитан серьезно исполнял обязанности рулевого, держа в руках мокрую бечевку руля.

Однако это было только первое ядро; вслед за ним, пока передвигался ялик к пристани Северной стороны, еще несколько ядер – притом ядер каленых – упало около него, точно там, на английских батареях, кто-то внимательно следил за ходом крошечного ялика и целился только в него.

Белые столбы воды всплескивались с шипом и шумом. И в то время, когда не только Капитолина Петровна, Варя и Оля сидели, онемев от ужаса, но даже и Виктор как будто начал задумываться над будущим и временами не знал, куда ему будет лучше ударить веслами – вперед или назад, влево или вправо, – старый отставной капитан воодушевлялся все больше и становился воинственным на вид.

В «Ягудиил», видимо, попали новые ядра или ракеты: он вспыхнул огромным костром у них на глазах, и капитан кричал, кивая на него сыну:

– М-мерзавцы, а? Не-го-дяи, – что делают!.. Не суши весел!.. Отдохнешь, когда причалим!.. Гребите!

И Виктор, хотя чувствовал, что немеют руки и вот-вот, пожалуй, начнет их сводить судорогой, греб исправно.

Добрались наконец. Капитан направил ялик так, чтобы первой могла вылезти Капитолина Петровна со своим узлом. У него был вид победителя в серьезном сражении.

А ядра как будто гнались за ними, и одно упало в воду почти за кормой, обдав капитана с головы до ног.

Отряхиваясь, он вышел из ялика последним, и, точно став на твердую землю, он уже был застрахован от всяких покушений союзников, повернулся лицом в ту сторону, откуда летели снаряды, сделал самую язвительную мину, торжественно поднял правую руку, не спеша сложил заглодевшие пальцы в символический знак и прокричал:

– Что-о, Виктория? Шиш взяла?! На тебе... на!.. Шиш под нос! Шиш под нос!

Виктор постарался привязать ялик, оставив в нем весла, но только что отошли они всего шагов десять от берега, как новое ядро, нащупав наконец их спасителя, ударило в него яростно, и щепки брызнули высоко вверх вместе с фонтаном кипуче-белой воды.

#### IV

Когда Хлапони́на слышала сквозь сон первые сигнальные выстрелы канонады, она тут же вскочила с постели, как подброшенная землетрясением, и посмотрела на свои маленькие часики, лежавшие на стуле у изголовья: было только половина седьмого.

– Так еще рано... и уже так страшно! – сказала она, хотя была одна в спальне: муж ночевал там, на батарее, «подпиравшей», как он выражался, третий бастион.

Елизавета Михайловна уснула поздно и спала плохо, потому что с совещания у Корнилова вздумалось заехать к ней генералу Ки́рьякову. Конечно, этот слишком поздний и для нее неожиданный визит был подсказан начальнику ее мужа лишним стаканом вина, выпитого на квартире адмирала, но он объяснил свой приезд заботой о ней: он заехал будто бы только затем, чтобы предупредить ее о том самом, что и действительно началось в половине седьмого утра, – о канонаде.

Сначала он по-хозяйски звякал щеколдой запертой уже калитки. Она думала, что пришел муж, и открыла ему калитку сама, даже не спросив: «Кто там?» Она была так уверена – это вырвался к ней с батареи муж, – что даже вскрикнула радостно:

– Митя! Как же ты вырвался?

Но всадник около калитки отозвался раскатисто и знакомо по тембру голоса:

– Митю ждали?

И она еще пыталась догадаться, кто это: ночь же была не из очень светлых, – как всадник добавил, спрыгнув с лошади:

– Митя ваш выполняет долг службы, а Ва-силий счел долгом вас навестить, Елизавета Михайловна!

– Василий Яковлевич! – узнала она наконец Ки́рьякова, невольно отшатнувшись.

– Он самый... А где ваш личарда? Посмотреть бы надо за конем, чтобы кто не мотнул на нем в Бахчисарай, к татарам.

Она только что хотела сказать, что готова его выслушать здесь, у калитки, и «личарду» незачем будить, как услышала сзади себя поспешные шаги денщика, – шинель внакидку.

– Присмотри, братец, за конем! – начальственным баритоном приказал ему Ки́рьяков и только на дворе, звякнув шпорами и сняв на отлет фуражку, поцеловал ее руку.

На лестнице горела поставленная ею свеча в шандале, и она очень боялась, чтобы Ки́рьяков не двинулся туда, «на огонек».

И он действительно направился было «на огонек», но она остановила его, взяв за локоть:

– Простите, Василий Яковлевич, в комнаты неудобно: там спят дети... Они только что уснули – мы их разбудим.

– Дети? Ваши дети? – очень удивился он.

– Не мои, моих знакомых, – храбро придумала она. – Они живут там одним словом – слишком близко к бастиону...

Назвать какой-нибудь бастион точно она все-таки не решилась, добавила поспешно:

– Погода, впрочем, очень теплая... Вы что-нибудь мне хотели сказать?

Вот тут в садике есть скамейка, пойдемте.

– Да-да, сказать... кое-что сказать, именно!

Звякая шпорами, Ки́рьяков пошел за нею к скамейке в саду, скрывая, как ей показалось, недовольство таким оборотом дела за целой кучей бубнящих слов:

– Детям не здесь нужно быть, их надо было отправить... Если они дети какого-нибудь обер-офицера, то ведь давали же пособия на отправку отсюда семейств бедных офицеров... А раз давали, то нужно было воспользоваться этим и за-бла-говре-менно их отправить, а не подбрасывать вам... О-очень хороши родители! Кто же они такие?

Хлапониная поспешила его успокоить, сказав, что это – дети одной чиновницы, которая собирается увезти их завтра же в Симферополь, уже нашла подводу и сговорила о цене.

– Завтра едва ли ей удастся это... э-э... так удобно, как сегодня она могла бы, – ворчливо говорил Кирыков, садясь на скамейку рядом с нею.

И на ее испуганный вопрос, что ожидается завтра, коротко, но выразительно ответил:

– Бойня!

Она даже не повторила этого слова вслух: оно было ясно без повторения, – только сказала тихо:

– Вот видите!

Видеть же он, генерал Кирыков, явившийся к ней так непозволительно поздно, должен был то, что ее маленькая ложь насчет спящих у нее чужих детей не только понятна, даже необходима в такое страшное время.

Он просидел с нею рядом на скамейке в саду недолго, минут десять, но все это время говорил сам; он был речист вообще, теперь же пытался быть красноречивым. Он дошел даже до того, что сравнил ее с Еленой спартанской...<sup>42</sup> Наконец, с каким-то даже волнением в голосе, спросил, будет ли ей хоть немного жаль его как человека – только как человека, не как начальника 17-й дивизии, – если завтра, например, его, Василия Яковлевича Кирыкова, убьют нечаянно осколком снаряда, пущенного за две версты.

Разумеется, она сказала, что этого не может быть и она даже не хочет думать о подобном.

– Ну а если не убьют, а так, слегка покалечат, а? Придете ли вы меня проведать, когда буду я лежать в госпитале? – спросил он, сжимая ее руку в своей.

– О-о, непременно, непременно! – совершенно искренне ответила она, стараясь все-таки высвободить руку.

– Я очень рад!.. Я вам верю и очень рад!.. Я, само собою, не хотел бы быть искалеченным, чтобы доставлять вам лишнее беспокойство, но когда, знаете ли, один адмирал тобой, а другой – и тобой и этим твоим командиром командует, то тут уж хочешь или не хочешь, а жди всяких неприятных сюрпризов!

Он постарался успокоить ее насчет Дмитрия Дмитриевича, сказав, что артиллерия только пехоте причиняет большие неприятности, сама же вообще несет мало потерь, и ушел, наконец, расцеловав ей обе руки.

У нее же слово «бойня» так и звенело и стучало в мозгу, когда она легла в постель, и продолжало звенеть и стучать в течение всей почти ночи.

Она поспешно оделась и вышла из дому, когда уже все кругом звенело, стучало, стонало, грохотало и под ногами дрожала земля. Дышать было трудно, хотя до внутренних улиц города, по которым она шла, доходили еще только первые волны пушечного дыма. Солнце сквозь дым казалось тусклым, светило не сильнее луны в полнолуние. У домов толпились люди, совершенно потерявшие головы: никто не знал, что начать делать, куда именно, в какую сторону бежать, а если бежать, где и в чем спасение от того, что началось так ошеломляюще ужасно.

Так как Хлапониная шла быстро и имела решительный вид, то встречные думали, что она знает, куда надо идти, где спасение. И она действительно знала, куда идет, и когда ее спрашивали: «Куда вы?» – отвечала твердо, не останавливаясь однако: «В госпиталь сухопутных войск».

В городе был еще и морской госпиталь, гораздо больший и лучше обставленный, чем сухопутный, но она думала, что ее мужа, если ранят, доставят в сухопутный, а не в морской.

Морской госпиталь был на Корабельной стороне; сухопутный – тоже за городом, между пятым и шестым бастионами.

---

<sup>42</sup> Елена спартанская – жена спартанского царя Менелая, славившаяся своей красотой. По греческой легенде, похищение ее Парисом, сыном троянского царя Приама, вызвало поход греков на Трою.



Она повернула с Малой Офицерской на Офицерскую, потом вышла на Екатерининскую; дальше переулками выбралась за город, и чем дальше шла, тем чаще и пронзительнее визжали над нею или в стороне от нее багровые и черные, как большие мячи, ядра.

Их визг почему-то был различим даже при том грохоте пушечной пальбы, от которой дрожала земля.

– Какой пронзительный! – Ошеломленно шептала Хлапониная, быстро все-таки подвигаясь вперед, как лунатик. Она изо всех сил старалась не думать, что какое-нибудь ядро может попасть в нее. Почему же в нее? Зачем непременно в нее? Так много места кругом – совершенно пустого места, – куда падают эти ядра и будут падать, а она... Она казалась себе самой почти невесомой, почти не занимающей пространства...

Между домами, даже на окраине, было легче идти, чем на пустыре, отделявшем госпиталь от города. Двухэтажное длинное здание госпиталя было уже видно – она не сбилась с дороги, – но видно как-то очень смутно: частью от деревьев, которыми оно было окружено, частью от порохового дыма.

Здесь пальба гремела, как бесконечный гром, когда молнии, одна за другою, безостановочно и ослепительно блещут над самой головой.

И в то же время ядер, гранат и бомб в небе виднелось здесь гораздо больше, чем в городе, и визжали они пронзительней. Испуг так было охватил ее здесь, что она остановилась и оглянулась назад. Но вот различила она там, у ворот госпиталя, будто принесли кого-то тяжело раненого, конечно, на носилках, и принесли оттуда, со стороны третьего бастиона... Она подобрала левой рукой платье и побежала туда, к этим носилкам.

Через полчаса комендант госпиталя, пожилой сановитый полковник, и старший врач – зеленоглазый, бровастый, крупноносый, бритый старик в запачканном кровью белом халате – требовали, чтобы она оставила госпиталь, так как «это не полагается».

Но она, которой накануне вечером целовал руки начальник всех сухопутных войск Севастополя генерал Кирьяков, уходить не хотела.

– Что именно, что такое не полагается? – отнюдь не робко спрашивала она.

– Никаких в военных госпиталях женщин не полагается по уставу, – объяснял ей полковник, а врач добавлял:

– Это, прошу понять, внести может сумятицу разную неподобную в обиход госпиталя, поняли?

Но она не понимала, она говорила горячо:

– Сюда могут принести мужа моего – он командир батареи, – и я отсюда никуда не пойду, так и знайте!

– Госпиталь обстреливают, – кричал ей полковник, – сейчас только что трубу снесло ядром!.. Мы и в том не уверены, что сами живы останемся, а как мы можем отвечать за вашу жизнь?

– Вам не нужно будет отвечать за меня никому! – кричала и она, потому что от грохота канонады тряслись стены и дребезжали окна. – Я буду делать тут у вас все для раненых, что мне прикажут, но чтобы я ушла отсюда – ни за что!

Полковник с врачом переглянулись, пожали плечами и разошлись, оставив ее: и у того и другого слишком много было дела, чтобы тратить время на споры с женщиной.

Хлапониная осталась в госпитале.

## V

На пятый бастион, где встретился он с Нахимовым, Корнилов попал, побывав уже на четвертом.

Четвертый его беспокоил еще накануне: ему казалось, что батареи англичан и французов сознательно ставились так, чтобы взять именно этот бастион под перекрестный огонь.

Когда он с несколькими из своих флаг-офицеров скакал к четвертому, то сам ловил себя на том, что чувствовал какой-то небывалый подъем, как будто в этот именно день его ожидала большая удача.

От каких-то странных и томящих предчувствий, вызвавших его беседу с Нахимовым накануне, не осталось и следа. Напротив, он был теперь в той же запальчивости бойца, которой отдался, когда, например, хотел догнать турецкий пароход «Таиф» под Синопом, несмотря на то что «Таиф» был вооружен гораздо сильнее и имел лучший ход, чем его «Одесса», так что впоследствии он сам сравнивал тогдашнего себя с зарвавшейся гончей, которая в одиночку думает взять матерого волка.

Он хотел объяснить себе теперь этот свой подъем и вспомнил, что такое случилось после ухода Нахимова.

Память вытолкнула три таких удачных хода в той игре со смертью, какую он вел: в письме Меншикова, которое курьер привез ему уже после ухода Нахимова, сообщалось, что прибыла 12-я дивизия генерала Липранди, – это был самый удачный ход; затем еще – что Тотлебен и другой очень способный военный инженер, Ползиков, по его представлению произведены в полковники, с чем их и можно поздравить; кроме того, удалось вспомнить вчера о массивных золотых отцовских часах, которые у него были, вспомнить затем, чтобы отправить их жене в Николаев.

Как ни странно было ему самому сопоставлять эти три удачных хода, но они сопоставлялись как-то сами собой, помимо его воли: чуть только возникала в мозгу 12-я дивизия, делавшая армию Меншикова вдвое сильнее, тут же прицеплялись к ней с одной стороны два полковника инженерных войск, с другой – отцовские золотые часы.

Об этих часах он думал, что передаст их капитан-лейтенанту Христофорову вместе с письмом жене и скажет: «Боюсь, чтобы здесь их как-нибудь не разбить, а они – вещь все-таки ценная для меня, потому что достались мне от отца... Пусть и от меня перейдут к моему старшему сыну...»

Лошади, сначала скакавшие бодро, стали пятиться, взвизгивать на дыбы и бросаться в стороны, когда невдалеке уже был четвертый бастион, действительно попавший под перекрестный огонь. То и дело падали кругом то английские, то французские снаряды, а две полевые батареи, «подпиравшие» четвертый бастион, посылали свои снаряды одна в сторону французов, другая – в сторону англичан. Было от чего артачиться лошадям.

Четвертым бастионом командовал Новосильский, произведенный в вице-адмиралы за Синопский бой. Он был первым в этот день, испуганно встретившим не бомбардировку англо-французов, а очень любимого им Корнилова на своем бастионе.

– Зачем вы в этот ад, Владимир Алексеевич? – сказал он, крепко (он был человек сильного сложения) пожимая тонкую руку Корнилова.

– Как – зачем?.. Чтобы знать, что мы делаем...

Оглянувшись кругом, Корнилов добавил:

– И что делают с нами!

На бастионе были уже подбитые орудия, разбитые в щепки лафеты, валялись убитые и тяжело раненные...

– Почему не выносят убитых и раненых? – удивился Корнилов такой нераспорядительности боевого адмирала.

– Нет людей для этого, – ответил Новосильский. – Несем большие потери от перекрестного огня... Артиллерийская прислуга вся на счету... Требуется частая замена людей у орудий...

– Нужно будет из арестантов, не прикованных к тачкам, срочно составить команды санитаров, – решил Корнилов и подошел к ближайшему комендору-матросу посмотреть его прицел.

Новосильский наблюдал его с большой за него тревогой, а он держался совершенно неторопливо, точно у себя в кабинете. От первого комендора перешел ко второму, к третьему, прошел не спеша через весь бастион, дошел до батареи и «грибка» на бульваре (который получил впоследствии название «Исторический бульвар») и оттуда так же спокойно повернул назад и снова вышел к правому фасу бастиона.

Провожая его, Новосильский сказал:

– Владимир Алексеевич! Не примите за совет – это моя, и знаю, что не моя только, просьба: поберегите себя, поезжайте прямо домой!

– От ядра ведь не уйдешь, – улыбнулся ему, садясь на лошадь, Корнилов. – Арестантов же для уборки раненых и убитых я пришлю.

Но он поехал не в город, а на пятый бастион, где рядом с Нахимовым стоял на бруствере, чтобы лучше разглядеть в трубу, как падают снаряды в укрепления противника.

Нахимов был доволен, что кровь в его небольшой ране над виском запеклась, что не нужно вытирать щеку платком и что Корнилов ничего не заметил.

Это была приманчивая для неприятельских артиллеристов цель. Кроме двух адмиралов тут стояли по обязанности и три адъютанта Корнилова, и флаг-офицер Нахимова, и командир бастиона Ильинский.

Ядра свистели пронзительно кругом, делая свое страшное дело; землю и кровью убитых обдавало адмиралов и их свиту, но они заняты были наблюдением такой же точно картины в стане противника и не двигались с места. Это было, может быть, только щегольство личной храбростью и могло бы продолжаться так долго, как позволила бы плохая наводка неприятельских комендоров, но Нахимов, наконец, как бы очнулся и, взяв за локоть Корнилова, решительно свел его вниз под прикрытие.

– Ваше превосходительство! – обратился к Корнилову Ильинский. – Ваша жизнь слишком дорога для Севастополя... Простите, но я вас очень прошу оставить бастион!

Нахимов смотрел на Ильинского поощрительно и кивал в знак согласия. Корнилов же, не отвечая, наклонился над орудием, проверяя прицелку.

– Ваше превосходительство, – продолжал, заходя с другой стороны, Ильинский, – беру на себя смелость доложить, что своим присутствием на бастионе вы показываете недоверие ко всем нам – к офицерам, к матросам, к солдатам...

– Все вы выполняете свой долг прекрасно, – отозвался, наконец, Корнилов, – но у меня тоже есть долг: всех вас видеть!

И он пробыл на бастионе еще с четверть часа и увидел не только спокойную, бесстрашную работу молодцов-матросов, солдат и офицеров, причем на место убитого или раненого у орудия сейчас же, без команды, становился другой, и каждый разбитый лафет заменялся новым с той же быстротою, какая требовалась на судах во время учения. Увидел он еще и матросских жен – толпу баб в скромных платочках и с кувшинами в руках. Кувшины были то глиняные, то жестяные, и у каждой, кроме них, были еще и узелки с тарелками и мисками – домашняя еда. Их не пускали на бастион, они толпились сзади, эти бесстрашные бабы, около оборонительных казарм и барачных, кое-где уже полуразваленных бомбами.

Корнилов испугался за них – снаряды падали неистово часто.

– Кто вы такие? Куда? Зачем?

– Водички вот, водички холодненькой своим принесли... Душу промочить... Душа-то горит небось али нет?

Бабы даже показывали Корнилову на свои загорелые шеи, не надеясь, что в таком несусветном шуме и громе расслышит он их, хотя и голосистых, и не считая необходимым держать руки по швам при разговоре с таким высоким начальством.

Корнилов справился, есть ли вода на бастионе; бабы оказались правы: воды не было, и души у матросов около орудий действительно горели.

Воду, правда, привезли с утра и успели наполнить ею корабельные цистерны, но частью ее уже успели выпить, частью вылили на орудия, которые слишком нагревались от безостановочной пальбы, а в одну цистерну угодило неприятельское ядро и разбрызгало и разлило драгоценную влагу.

Одного из своих адъютантов – лейтенанта Жандра – Корнилов сейчас же отправил в город наладить подвоз воды ко всем бастионам, а кувшины и узелки бабы приказал передать по назначению.

– А сами идите скорей домой, пока живы! – сказал адмирал бабам.

– Как же так – домой, без посуды? – удивились такой несообразности бабы. – Еще пропадет тут, в содоме таком. Где ее тогда искать?.. И своих тоже повидать бы хотелось...

Бабы так и не двинулись; двинулся Корнилов со своими флаг-офицерами на шестой бастион.

## VI

Зарубины по сыпучему песку Северной стороны дотащились туда, где – они заметили это издали – в безопасном от снарядов и даже сытном месте, около кухонь резервного батальона Литовского полка, расположились со своими саквояжами и узлами все бежавшие из города.

Витя огляделся и вдруг, совсем неожиданно для себя, заметил своего товарища Боброва, также юнкера гардемаринской роты.

Бобров, тех же лет, что и он, встретившись с ним глазами, тут же отшатнулся и спрятался за спинами своих семейных.

Витя понял это движение, потому что ему тоже хотелось в первый момент спрятаться за отца от Боброва. Но момент этой обоюдной неловкости прошел, и мальчики в форме гардемаринов бросились один к другому.

– Ты что тут делаешь? – спросил Витя, как будто даже с надеждой на то, что тут можно что-то такое делать им, юнкерам, а не сидеть, подпирая солдатскую кухню.

– Я вот переехал со своими – перепугались, – конфузливо объяснил Бобров, ростом немного выше Вити, но тоньше и с девичьим лицом.

Витя знал, что отец Боброва служил в порту: к такой нестроевщине, хотя и в чинах морских офицеров, у них в роте относились несколько свысока.

– Я тоже своих переправил с Екатерининской – сам греб, – отозвался он как мог небрежно. – Яличник струсил: ни за какие деньги не соглашался грести.

– А на чем же ты переправился?

– На ялике же... Мы его купили, только его ядром разбило.

– Сочиняешь?.. А как же вы спаслись?

– Ты думаешь, что один умный? Ядро, брат, тоже не из глупых; разбило ялик, когда мы уже высадились.

– Вот черт!.. Если ты не врешь – очень жалко!

– Я, брат, раньше тебя пожалел!.. Был бы цел ялик, ты думаешь, я бы здесь остался?

Вид у Вити был бравый, Боброву не нужно было доказывать ничего больше: он знал Витю и если не совсем верил в историю с яликом, то признавал, что она все-таки могла бы быть на самом деле. Отстать от Вити не позволяло ему самолюбие, и он заметил:

– Можно попробовать дойти до пристани, а там...

– Пойдем, – тут же, решительно взяв его за руку, сказал Витя.

Они оба уже и теперь стояли в стороне от своих. Бобров нерешительно оглянулся. В толпе у кухонь у всех нашлись общие знакомые. Его семейные затерялись между другими. Витя смотрел на него неумолимо требовательно.

Отказаться было нельзя.

– Пойдем... только...

– Что – только?

– Надо так, чтобы не заметили, – сконфузился Бобров, и Витя тут же нашел, как это сделать, чтобы не подняли тревоги востроглазые его сестры Варя и Оля.

– Сейчас давай разойдемся, а то догадаются. Потом поодиночке выйдем вон туда на дорогу, а там сойдемся. Есть?

– Есть, – отозвался Бобров, тут же от него отходя.

Минут через десять они сошлись на дороге к пристани в таком месте, которое не было видно толпе у кухонь.

Но только что они успели сойтись, как увидели своего офицера: лейтенант Стеценко в сопровождении двух казаков скакал к пристани, куда воровато направились они.

Они вытянулись во фронт. Стеценко придержал лошадь.

– Вы что здесь? – крикнул он.

– Перевезли свои семейства! – ответил за обоих Витя.

– А-а!.. Переправа под обстрелом?

– Так точно, ваше благородие!

Стеценко кивнул в знак трудности положения и помчался дальше, а оба юнкера поглядели друг на друга так, как будто получили то, чего им недоставало: приказание своего ближайшего начальника идти не куда-то вообще, а именно туда, на пристань, где переправа под обстрелом противника.

Они знали, конечно, что Стеценко теперь адъютант князя Меншикова, и не сомневались в том, что он послан в город с каким-то приказом князя.

Приказ действительно был: Стеценко был послан на пристань подготовить баркас или шлюпку с гребцами для переправы князя в город: командующий войсками Крыма хотел своими глазами видеть, как отбивается от англо-французов твердыня Крыма.

Витя и Бобров шли к пристани, не оглядываясь назад. Они видели, как засуетились на пристани, готовя шлюпку, но не для лейтенанта Стеценко – для самого князя, который приехал со свитой в шесть человек. Из флотских были при нем барон Виллебрандт и мичман Томилин. Последнему, который был старше каждого из них всего пятью-шестью годами, мальчики позавидовали от души.

Переехать в одной шлюпке с князем нечего было и думать; от него они прятались. Они знали, что он приказал распустить роту юнкеров не затем, чтобы юнкера рвались туда, где рвутся бомбы. Но когда светлейший, усевшись в шлюпку с адъютантами, отчалил, а лошадей повели грузить на плоскодонный баркас, то кто же мог запретить им устроиться на том же баркасе?

И они устроились, и снова перед глазами Вити стали чертить густой дымный воздух над Большим рейдом снаряды; из Южной бухты выходили транспорты «Дунай», «Буг», «Сухум-Калэ», спасаясь от сильнейшего обстрела; «Ягудиил» – в который уже раз! – загорелся снова, а в городе на одной из церквей очень заметен был подбитый ядром и повисший крест колокольни.

Прибыв к Екатерининской пристани, светлейший со свитой не ждал баркаса с лошадьми и пошел к библиотеке Морского собрания. Витя и Бобров сияли от своей удачи: они были в городе, в котором то справа, то слева падали ядра и рвались бомбы, и идти можно было куда угодно, но им хотелось прежде всего знать, зачем сюда переправился Меншиков.

Может быть, думает он двинуть на союзников свою армию с Бельбека во фланг? Но что же может он рассмотреть в телескоп с библиотеки, когда на сухопутье везде такой сплошной дым?

Они дождались минуты, когда князь спустился, сел на лошадь; за ним очень бодро вскочили на лошадей своих Стеценко, Виллебрандт и другие, потом двинулась кавалькада.

– Куда он? – спросил Бобров Витю.

– Неужели на Корабельную? – недоуменно спросил Боброва Витя.

## VII

Когда Корнилов вернулся с бастиона в город, было уже девять утра. Он хотел было двинуться прямо на Малахов, к Истомину, но вспомнил об арестантах и поскакал к острогу.

– Вызови караульного начальника, – приказал он часовому.

Часовой ударил в колокол.

– Ну не дико ли это? – обратился Корнилов к одному из своих флаг-офицеров, капитан-лейтенанту Попову. – Тут адская канонада – я боюсь, что у нас и снарядов не хватит: с часу на час ожидаем штурма, – а колодники сидят за решетками, и при них караул, как в мирное время!

Вышел на вызов часового караульный начальник, подпоручик Минского полка, и застыл в ожидании с рукой у козырька.

– Сделайте вот что, – обратился к нему Корнилов. – Сейчас же всех арестантов, не прикованных к тачкам, ведите на Малахов. Я буду туда следом за вами и распоряжусь, что делать.

– Ваше превосходительство, караульный начальник... не имеет права отлучаться со своего поста! – несколько запинаясь, ответил подпоручик адмиралу, явно как будто незнакомому с уставом гарнизонной службы.

– Вы знаете, кто я?... Я – Корнилов!

– Так точно, знаю, ваше превосходительство...

Подпоручик смотрел на адмирала, как полагалось смотреть на высшее начальство, но не поворачивался кругом, щелкнув по форме каблуками, и не мчался опрометью исполнять приказ, столь странный для его сознания.

– Над вами есть дежурный по караулам, кроме того – тюремное начальство, – заметил его замешательство Корнилов. – Вот вам моя визитная карточка – это взамен письменного приказа. И сейчас же выводите всех арестантов на плац.

Только получив карточку, повернул налево кругом подпоручик и пошел к воротам острога, четко отбивая шаг.

Острог был большой. До тысячи арестантов, исполняя приказ, высыпало минут через десять из ворот на площадь. Они были возбужденно-радостны, как будто получали полную свободу, а эта свобода была только подаренная им возможность умереть на бастионе.

Но человек завистлив: колодники, прикованные к тачкам, подняли крик, чтобы выпустили и их туда, где сражаются с врагами.

– Какие люди! Какие прекрасные люди! – растроганно говорил о них Корнилов флаг-офицерам и приказал сбить кандалы со всех, чтобы ни одного человека, кроме больных, не оставалось в этих мрачных казематах.

Бритоголовые, в странных здесь, вне острога, арестантских бушлатах и серых суконных бескозырках, бородатые, бледные тюремной бледностью люди сами строились в шеренги, а когда построились наконец, Корнилов прокричал им в неподдельном волнении:

– Братцы! Теперь не время вспоминать ваши вины – забудем их! Вспомните, что вы русские! Слышите, как громят Севастополь враги? Идем защищать его!.. За мною! Ма-арш!

– Ура-а-а! – далеко перекричали канонаду арестанты и двинулись за Корниловым, сами соблюдая равнение и ногу.

Флаг-офицерам показалось несколько неудобным ехать впереди арестантов; но канонада, доносившаяся со стороны Малахова кургана, была гораздо внушительнее и грознее, чем там, на пятом и шестом бастионах, и всем страшно было за пылкого адмирала.

Никто из них, и сам Корнилов также, ничего еще не ел и не пил с самого утра, и всем хотелось выпить хоть по стакану чая, поэтому один из них, Лихачев, напомнил Корнилову, что буйки накануне расставлялись противником не даром, и не худо бы на всякий случай посмотреть с библиотеки на море, не собираются ли и оттуда тучи.

– Вы правы, – согласился Корнилов, – а я совсем как-то выпустил это из вида... Конечно, мы должны ждать еще сюрприза и с моря.

И батальон арестантов пошел дальше, а Корнилов повернул к библиотеке.

Но сколько ни стремились все разглядеть что-нибудь подозрительное в море перед рейдом, там было пустынно; эскадра же союзников стояла, как и раньше, возле устья Качи.

В двух шагах от библиотеки был дом Волохова, и Корнилов вспомнил, что там дожидается его, чтобы ехать курьером в Николаев, капитан-лейтенант Христофоров, а у него еще не дописано начатое было письмо жене.

И он зашел к себе на квартиру, наскоро, обжигаясь, проглотил стакан горячего чая, наскоро дописал письмо жене, и передал его Христофорову вместе с отцовскими золотыми часами и только что приготовился выйти, чтобы ехать на Малахов, как вошел лейтенант Стеценко.

– Ваше превосходительство, его светлость просит вас к себе.

– Вот как! Он здесь! Где именно?

– Возле библиотеки.

– А я как раз собрался ехать на Малахов.

– Его светлость только что оттуда.

– А-а! Ну, что там, как?.. Я только что послал туда арестантов.

– Мы их встретили, ваше превосходительство.

Стеценко не сказал, конечно, Корнилову, что, встретив колонну арестантов и узнав, куда они идут и кто их послал, Меншиков сделал одну из своих гримас, в которые умел вкладывать по обыкновению очень много невысказанного, неудобного для высказывания вслух.

Корнилов тотчас же сел на еще не остывшую лошадь, и около библиотеки съехались два генерал-адъютанта.

– А я и не предполагал, что застаю вас дома, Владимир Алексеевич, – сказал, здороваясь, Меншиков.

Почувствовав какую-то неприязнь и колкость в этих словах, Корнилов выпрямился на седле.

– Я объехал первую и вторую дистанции, ваша светлость!

– Ах, вы уже были там! Ну, что?

– Когда я был на шестом бастионе, слышен был сильный взрыв на французской батарее – взорвался пороховой погреб.

– А-а! Это хорошо!

– Я уехал успокоенный, ваша светлость. Французов мы заставим замолчать, и очень скоро.

– Да, мне тоже кажется – если мне не изменяет слух, – что с той стороны, от Рудольфа, канонада стала слабее, зато у Истомина очень жарко.

Там мы несем большие потери.

– Я думаю, что и англичане тоже... Сейчас я поеду туда.

– Но если вы говорите, что французские батареи вот-вот будут к молчанию приведены, тогда я, стало быть, видел самую жестокую картину артиллерийского боя... Ну что ж... лишь бы хватило снарядов... Надо позаботиться о снарядах.

– Трех офицеров я назначил, ваша светлость, следить за доставкой снарядов на батареи... что же касается фортов, если вздумает пожаловать к нам эскадра, то они получили достаточный запас...

– Я имею в виду, что атака с моря будет непременно, не нам с вами ее накликать, но она как будто даже запоздала несколько... В таком случае мне, я думаю, лучше проверить готовность фортов Северной стороны.

И Меншиков двинулся к Екатерининской пристани, до которой провожал его Корнилов.

Князь расстался с Корниловым очень любезно, но в тоне, каким он просил его беречь себя и не рваться на явную опасность, почудилась Корнилову какая-то скрытая, далеко затаенная насмешка, и еще ядовитее показались первые его слова: «А я и не предполагал, что застану вас дома!»

Канонада гремела; ядра падали около и выбрасывали камни мостовой на тротуар; Южная бухта будто кипела от обилия разрывавшихся над ней конгревовых ракет, от каленых ядер и бомб, щедрой рукой посылавшихся с английских батарей. Но едва только отчалила от пристани и пошла в очень опасный путь шлюпка с князем и его адъютантами, Корнилову будто даже в виски ударила изнутри эта спрятавшаяся на время насмешка: «Не предполагал, что застану дома!»

Не раз приходилось говорить самому Корнилову о Меншикове, что он просто бежал из Севастополя в Бахчисарай, оставив город и порт без защиты. И вот теперь – нужно же было так случиться! – он, этот беглец, возвращаясь с опаснейшего участка обороны, застает его дома, за чаем!

Флаг-офицеры его, благодаря которым попал он не на Малахов впереди колонны арестантов, а домой, сразу стали ему противны, и он разослал их с приказаниями – одного по доставке снарядов на батареи, другого – по уборке раненых и убитых в городе; с ним остался только лейтенант Жандр, наиболее скромный и молчаливый.

Ненужно горяча лошадь, Корнилов поскакал по Екатерининской улице к театру, около которого стояли резервные части; посмотрел, как они укрыты от снарядов противника, справился, много ли потеряли людей. Кирьякова предупредил, что штурма, по мнению светлейшего, можно ожидать скорее всего со стороны Малахова кургана, но когда Кирьяков упорно почему-то начал уверять его, что ждет штурма отнюдь не там, а со стороны четвертого бастиона, что весь его военный опыт говорит именно за это, Корнилов направился на близкий от площади четвертый бастион снова.

Там представился ему новый начальник штаба генерала Моллера – то есть его штаба, – присланный из Петербурга полковник Попов, о котором накануне писал ему Меншиков.

Корнилов думал встретить в нем самоуверенного знатока военных дел, как все штабные в полковничьем чине, но перед ним стоял сырого вида и значительно уже оглушенный канонадой человек, который слушал его открытым ртом, а говорил – казалось так – ерзавшими вверх и вниз по лбу толстыми каштановыми бровями: он имел слабый голос, и слов его не было слышно из-за непрерывной пальбы.

Однако Корнилов заметил, что убитые и тяжело раненные не валялись уже теперь здесь и там, как было это в его первый приезд; они убраны, хотя сюда и не были направлены им арестанты, как он обещал Новосильскому.

От орудий шел пар, заметно белевший на фоне сплошного дыма: их обильно поливали водой – значит, успели уже подвезти бочки. Комендоры сбросили с себя мундиры: слишком жарко было около орудий.



Улучив момент, Попов доложил, что был командирован военным министром, князем Долгоруковым, с назначением начальником штаба не крепостных, а полевых войск армии Меншикова, но командующий армией решительно заявил, что начальник штаба ему не нужен, так как у него нет штаба и он не собирается его заводить.

– Поэтому его светлость и откомандировал меня к вам, – закончил в новый, тихий сравнительно момент полковник и этим еще больше понравился Корнилову.

– Буду благодарить за вас князя! – прокричал он Попову. – Вижу, что нам принесете вы большую пользу!

Попов преданно наклонил голову.

Потом он ехал верхом рядом с Корниловым уже как признанный начальник штаба гарнизона крепости, обязанный до мелочей знать все, что делается для обороны.

Между бараками четвертого бастиона, по горе, над бульваром, по которому точно прошел ураган, заваливший буреломом аллеи, он рысил осторожно, держась в отдалении от редута «Язона», где команда с брига этого имени стояла около двух батарей своих бомбических орудий.

– Генерал Кирьяков убежден, что штурмовать нас готовятся союзники именно с этой стороны, – говорил Корнилов. – Поверим его опытности... В таком случае вам придется остаться здесь, на второй дистанции.

– Слушаю! Я сам того же мнения, – с готовностью отозвался Попов. – Но я был на третьем бастионе. Туда направлен весьма сосредоточенный огонь. Штурмовать нас могут и оттуда тоже.

– Вот видите, а мне никто не донес, – встревожился Корнилов. – Тогда я поеду прямо на третий бастион.

Попов посмотрел на него испуганно.

– Ваше превосходительство! Считаю своим долгом вам доложить, что третий бастион... очень опасен, – проговорил он, поднимая брови. – Там большая убыль людей, ваше превосходительство!

– Вот видите, а мне это не было известно. – И Корнилов послал лошадь вперед.

– Ваше превосходительство, – Попов тронулся следом за ним, – в Петербурге я получил приказ военного министра оберегать вашу личную безопасность!

– Но ведь вы такой же самый приказ получили, конечно, и относительно князя Меншикова? – улыбнулся слегка Корнилов.

Однако Попов возразил весьма живо:

– Никак нет, ваше превосходительство, о князе Меншикове в этом смысле ничего не было сказано.

– От смерти не уйдешь, – улыбнулся снова Корнилов и протянул ему руку на прощание. Жандру же он сказал по дороге на третий бастион:

– Наш начальник штаба, кажется, знает свое дело, почему от него и отказался князь... Кроме того, он, по всей видимости, очень хороший человек, а?

– Позвольте и мне быть тоже хорошим человеком, – горячо отозвался на это обычно молчаливый Жандр. – Если у нас есть теперь начальник штаба, то должен быть и неподвижный штаб, ваше превосходительство, и непременно в центре города, а не на бастионах, с которых в штаб должны поступать донесения!

– Так что мое место, по-вашему, где же должно быть? – удивленно спросил Корнилов.

– В доме Волохова, ваше превосходительство, – очень твердо ответил лейтенант.

Корнилов поглядел на него искоса, но ласково, и сказал:

– Я вижу, что вам хочется просто попить чайку!

Из-за бульвара навстречу им показались тоже двое конных: это был Тотлебен с ординарцем, – и Корнилов был непритворно обрадован, увидев его.

– Поздравляю с чином полковника! – крикнул он ему шага за три.

– О-о, благодарю, благодарю вас! – не столько радостно, сколько как будто оторопело ответил на это Тотлебен, подъезжая.

Он знал, что представление об этом было сделано адмиралом еще до сражения на Алме, и неожиданного в поздравлении Корнилова было только то, что производство почему-то не затянули, как обычно.

– Откуда вы, Эдуард Иванович?

– Я объехал все укрепления Корабельной стороны... Они держатся, но... но мне бы хотелось, чтобы они наносили большой вред противнику. Этого, последнего, я не заметил.

Подробно и обстоятельно докладывал он Корнилову о том, что им было замечено на Малаховом кургане и на соседних редутах.

– А как третий бастион? – спросил Корнилов.

– Я только что оттуда сейчас... Против него действуют очень сильные батареи... Он отбивается, конечно, как может, но... явный перевес на стороне англичан.

– Я сейчас еду туда, – заторопился Корнилов, но Тотлебен совершенно непосредственно спросил:

– Зачем, ваше превосходительство? – И с тою обстоятельностью, которая его отличала, добавил: – Существенную пользу там могла бы оказать батарея шестидесятисемифунтовых орудий, если бы мы имели возможность туда их доставить немедленно и... и невидимо для противника. Но если мы продержимся до ночи, то есть если штурм сегодня не состоится, то третий бастион мы укрепим ночью.

– Очень жалею, что я не поехал туда раньше, – сказал Корнилов, прощаясь, а Тотлебен припомнил тем временем, что еще нужно доложить адмиралу:

– Замечено мною с башни Малахова кургана, что эскадра союзников покинула устье Качи.

– Покинула, и?... – живо спросил Корнилов.

– Держит направление на Севастополь, ваше превосходительство.

– Наконец-то! – Корнилов повел шеей, как будто сразу стал узок ему воротник сюртука. – Значит, скоро начнется вдобавок ко всему еще и атака с моря... А вы, – он укоризненно повернулся к Жандру, – додумались при таких обстоятельствах до неподвижного штаба!

## VIII

На третьем бастионе было несколько флотских офицеров: два капитан-лейтенанта – Рачинский и Лесли, лейтенант Ребровский, мичман Попандопуло, а также много матросов, которые в конце сентября были участниками вылазки, очень удачной и стоившей очень дешево в смысле жертв. Поэтому с самого начала артиллерийского поединка настроение тут было приподнятое, несмотря на сильнейший огонь, сразу развитый английскими батареями.

Наперебой кидались офицеры к орудиям, чуть только выходили из строя убитыми или ранеными матросы-комендоры, и сами становились на их места, пока подоспевала смена.

Это был исключительно жизнерадостный бастион, несмотря на явную и страшную смерть, которая неслась к нему с каждым огромным снарядом осадных орудий, и поддерживал жизнерадостность эту Евгений Иванович Лесли, неистово веселый, как будто все еще продолжалась вчерашняя пирушка, только под неистово трескучий оркестр орудий, разрыв гранат и бомб и тяжкое шлепанье ядер.

Шутка ли, сказанная всегда метко ближайшим, а потом переданная от одного к другому во все углы бастиона; ходовое ли, всем известное, словцо, которое всегда в трудных обстоятельствах бывает кстати, лишь бы кто-нибудь вспомнил его вовремя; просто ли бесшабашный жест, или яркая усмешка, способная далеко блеснуть даже и сквозь густой пороховой дым, –

все это, исходя от одного Лесли, общего любимца, действовало на всех кругом, как праздничные подарки на детвору.

И этот бастион был бы непобедимейшим участком оборонительной линии, если бы было на нем больше крупных морских орудий и меньше мелких, поставленных здесь для отражения штурма, до которого было еще далеко.

Пятый бастион, на котором был Нахимов, заставил замолчать французские батареи уже к одиннадцати часам.

Кроме того взрыва порохового погреба, о котором говорил Меншикову Корнилов, там вызван был удачным выстрелом другой взрыв, отчетливо видный всем с пятого и шестого бастионов по огромному столбу черного дыма и встреченный громовым «ура!» всей линии. После этого взрыва огонь французов все слабел и чах, наконец потух совершенно, пальба оттуда умолкла, и на бастионе-победителе могли заслуженно отдохнуть и начать перевязывать свои раны.

Но французские батареи расположены были гораздо ближе английских, что явилось ошибкой французских инженеров, и большей частью сгущены были на Рудольфовой горе, что явилось второй ошибкой.

Совсем иначе разместили свои батареи англичане.

Кроме того, что они были поставлены далеко, так что только дальнобойные русские орудия могли состязаться с ними, они были развернуты в широкий охват, и сгущенными по сравнению с ними оказались уже русские батареи, потому редкий выстрел английских мортир и пушек пропадал даром.

Молодой Попандопуло был ранен в грудь осколком снаряда около восьми утра. Он был в сознании, когда его подхватили матросы и отнесли в укрытое мешками место.

К нему подошел отец и с первого взгляда увидел, что рана смертельна.

– Потерпи, Коля, скоро увидимся! – прокричал он на ухо сыну, благословил его, поцеловал в лоб, сморгнул слезу с ресниц и отошел к орудиям.

Вскоре был убит ядром Ребровский...

Комендоры выбывали один за другим... И когда Корнилов добрался через Пересыпь, у оконечности Южной бухты, до третьего бастиона, он увидел далеко не то, что видел на пятом, на шестом, даже на четвертом.

Баракы и казармы здесь уже лежали в развалинах. Поодаль от них, оставшись без прикрытия, стояли матросы и солдаты. Земля была сплошь изрыта, как вспахана глубоким плугом, и в больших ямах от взрывов бомб образовались как будто склады закатившихся сюда ядер внушительных размеров.

– Ого! – многозначительно сказал Жандру Корнилов. – А вы еще мне говорили, что мне сюда незачем ехать!

Однако возле орудий Корнилов не заметил растерянности. Правда, часть их была уже подбита и поникла, несколько лафетов были раздроблены в щепки и не заменялись новыми, но остальные орудия отстреливались азартно – с большим подъемом.

– Я мало вижу офицеров, – заметил Корнилов командиру бастиона.

– Офицеры на местах, другие же выбыли из строя, Владимир Алексеевич, – ответил, забывая о чине Корнилова, Попандопуло.

– Выбыли?.. Я не вижу Рачинского...

– Только что вынесено тело: убит ядром.

– Рачинский убит. Какая жалость!.. А лейтенант Ребровский?

– Убит раньше.

– Прекрасный был офицер!.. А где же... – Корнилов запнулся, еще раз оглядел на бастионе все, что не совершенно скрывал из глаз дым, и dokonчил: – На этой батарее ведь был ваш сын, насколько я помню...

– Отправлен в госпиталь. Ранен в грудь смертельно.

Корнилов порывисто обнял капитана и пошел с ним рядом дальше, уже не спрашивая о потерях.

Но дальше трудились офицер, стоявший спиной, и матросы, поправляя амбразуру, заваленную ядром, и даже сквозь грохот выстрелов при этом слышны были взрывы громкого матросского смеха.

– Кому это тут так весело? – в недоумении спросил Корнилов шедшего ему навстречу командира всей артиллерии дистанции, капитана 1-го ранга Ергомышева.

– А! Это Лесли, – поздоровавшись с адмиралом, ответил Ергомышев с улыбкой.

– А ну-ка этого младенчика – в люльку! – донесся до Корнилова голос Лесли. – Держи его за уши! Рра-аз!.. Есть! Лежи, мерзавец!

И поднятый им вместе с матросами худой мешок, из которого сыпалась земля, лег на своем месте в щеле амбразуры.

– Браво, капитан Лесли! – крикнул было ему Корнилов, но выстрел из орудия вблизи заглушил его слова.

Корнилов прошел дальше, но когда сказали Лесли, что на бастионе Владимир Алексеевич, веселый командир батареи отозвался испуганно:

– Экая охота у человека шляться по всяким гиблым местам! Посоветовал бы ему кто-нибудь ехать домой!

## IX

Между тем союзная эскадра, приблизившись к Севастополю с двух сторон – от устья Качи и от Херсонеса, – начала занимать по заранее поставленным буйкам намеченные для составлявших ее судов места, хотя и запоздала. Она имела двух командиров различного темперамента. Французскими судами командовал адмирал Гамелен, английскими – лорд Дондас, оба глубокие старцы.

Долго совещались они накануне, как провести атаку с наименьшими потерями для себя и наибольшими для русских фортов, для города и для остатков русского флота.

Был принят, наконец, план действий, которому нельзя было отказать в легкости и красоте: атаковать крепость, гуляя перед нею в море взад и вперед, взад и вперед. Проходит корабль мимо фортов и дает залп изо всех орудий одного борта; затем снова заряжаются орудия – и новый залп... Так до тех пор, пока цель из-за рельефа местности станет недостижимой. Тогда – обратный ход корабля и залпы из орудий другого борта.

Выгода этих прогулок перед фортами казалась несомненною: артиллерийская стрельба по подвижным целям давала в те времена плохие результаты; суда же на ходу по неподвижным целям стреляли недурно.

По требованию Раглана и Канробера атака с моря должна была начаться одновременно с канонадой на суше, чтобы не дать опомниться защитникам крепости, чтобы ошеломить их с первых же моментов и лишить воли к сопротивлению под тучами из чугуна, надвинувшимися сразу со всех сторон.

Но Гамелен за ночь (может быть, это была бессонная ночь, что свойственно старости) совершенно забраковал принятый было план обстрела фортов гуляя. Это показалось ему ребячеством. И утром Дондас услышал от Гамелена, что самым лучшим планом был бы точно такой, какой был проведен Нахимовым в Синопском бою: боевые суда должны стать на якорь и палить изо всех орудий одновременно, для чего французский флот развернется от Херсонесской бухты до Севастопольской, английский – от Севастопольской дальше на северо-восток.

– Но ведь над этим планом Нахимова – непременно привязать суда на якорь, чтобы они не разбежались в страхе, – смеялась вся Европа. Разве вы забыли это? – спрашивал пораженный непостоянством соратника лорд Дондас.

– Пусть Европа смеялась, но Нахимов все-таки истребил турецкий флот, – возражал Гамелен.

Новые переговоры вождей союзных эскадр шли долго. Гамелен не сдавался. Пришлось сдаться Дондасу, иначе это угрожало бы разрывом союза Англии и Франции.

Но сдача Дондаса влекла за собою изменение всех приказов по флоту, данных накануне, что тоже отняло довольно времени. Наконец, не было ветра, и огромные парусные корабли союзников могли передвигаться только на буксире пароходов, значит, поневоле гораздо медленнее, чем это требовалось моментом, и главнокомандующие союзных армий выходили из себя, ежеминутно ожидая и не слыша начала бомбардировки с моря.

Корнилов был уже на Малаховом кургане в то время, когда соединенные эскадры, со снятыми парусами, медленно приближались с севера и с юга. Ведущими кораблями были французские, английские смиренно шли сзади, а в самом хвосте – несколько турецких судов.

Паровой корабль «Шарлемань», подойдя к берегу так близко, как позволяла глубина воды, собрал около себя суда, предназначенные для обстрела южных фортов; это были суда французского и турецкого флотов. Английским судам предоставлены были форты Северной стороны.

Когда Корнилов узнал, что с верхнего этажа башни на кургане можно при удаче, если осядет пороховой дым, наблюдать, как расстанавливаются суда союзников, не задумываясь пошел было туда, но Истомин уверил его, что за дымом и оттуда ничего не видно, но башня – самое опасное место на бастионе.

– Там ничего нет, на этой верхней площадке: я приказал оттуда снять и орудия, и оттуда ничего не видно, – повторял он, решительно становясь на дороге между Корниловым и башней. Башня действительно, как самая высокая точка бастиона, осыпалась роем снарядов.

– Вы говорите со мною так, будто я ребенок! – несколько даже обиженно сказал Корнилов.

– Вы наш любимый начальник, Владимир Алексеич! Вам надо беречься для нас, для нашего общего дела!

И он, бесстрашный на своем кургане, как был бесстрашен на корабле «Париж» во время Синопского боя, глядел на него умоляющими глазами.

– Со всех бастионов меня, точно сговорились, гонят домой, – скорее грустно, чем благодарно, улыбнулся Корнилов. – А для меня этот день – торжественный.

У него и вид был торжественный. Обыкновенно сутулый, он выпрямился и стал выше; глаза его сделались шире, осанка тверже, даже голос звучнее.

– Вы видели все на Малаховом, Владимир Алексеич. Тут все будет идти и без вас, как при вас... Зачем же вам быть здесь, где смерть кругом?

– Я не спросил еще у вас: как вы находите – будут ли вам полезны арестанты, Владимир Иванович?

– Всякий лишний человек при таких потерях полезен...

– Кроме меня?

– Кроме вас, – твердо ответил Истомин, заметив, что Корнилов медлит оставить бастион.

– Часть арестантов вы пошлите на третий бастион – так человек сто... Там тоже огромная убыль людей.

– Есть, – отозвался Истомин, но смотрел по-прежнему умоляюще.

Между тем стояли они недалеко от башни, и около них то и дело падали, подпрыгивали и катились ядра.

– Могут убить лошадей наших, – сказал Жандр уныло.

– Мы сейчас едем, едем, но только мне хотелось посмотреть вон те полки, – показал на Бородинский и Бутырский полки, приготовленные для отражения штурма, Корнилов.

Он простился с Истоминым, который отошел успокоенно, и двинулся к лошадям, говоря Жандру:

– Вот только погляжу на солдат, и поедем госпитальной дорогой домой.

Но едва он сделал несколько шагов, выбирая место для ног на совершенно искалеченной бомбардировкой земле, как упал. Жандра отбросило горячей струей сжатого воздуха то самое ядро, которое ударило Корнилова в левое бедро и раздробило ногу около живота. В луже крови, опрокинувшись навзничь, бледный, с закрытыми глазами, адмирал лежал без сознания.

– Носилки! Носилки сюда! – плачущим голосом кричал Жандр, но уже бежали со всех сторон матросы, солдаты, арестанты...

Сюртук Жандра спереди был залит корниловской кровью.

Тело бережно подняли и понесли на руках на насыпь, где положили между запасными орудиями.

– Кончился? – спрашивали один у другого.

– Видишь – кончился!

Крестились, снимая фуражки.

Три английские батареи громили в этот памятный для России день Малахов курган: одна, в двадцать четыре орудия, на горе между Лабораторной балкой и Доковым оврагом; другая – возле шоссе на дороге и третья, прозванная пятиглазой, у начала Килен-балки, идущей к Южной бухте, – поэтому на Малаховом было так же трудно держаться, как и на третьем бастионе. Но когда разнесся слух, что смертельно ранен и уже умер Корнилов, то многие бросились из-за прикрытий только затем, чтобы в последний раз взглянуть хотя бы на его тело.

Несколько офицеров обступили тело. Но вот открылись глаза Корнилова, обвели опечаленные лица внимательным взглядом, зашевелились губы, и кто был ближе и наклонился к ним, расслышал:

– Отстаивайте... Отстаивайте Севастополь!

Потом снова закрылись глаза и сжались губы, и не знали кругом, умер он или только потерял сознание снова.

Жандр вспомнил о перевязочном пункте, мимо которого ехали они сюда, проезжая Корабельной слободкой, и четверо дюжих матросов понесли на носилках своего адмирала на этот перевязочный пункт. Жандр считал неудобным сидеть на своей лошади и вел ее в поводу за носилками, а за лошадью Жандра вели лошадь Корнилова.

Когда грустное шествие увидела первая русская сестра милосердия Даша, она всплеснула руками и стояла оцепенев, потому что видела и узнала Корнилова, когда он проезжал на Малахов, и по его лошади, которую вели, догадалась, что несут к ним адмирала, который обещал о ее «подвиге» написать в Петербург.

Она не решилась уже теперь сказать: «Ничего, заживет!» – как говорила не только на Алме, но и здесь раненым матросам, солдатам и офицерам: по лицам всех, кто был около этого раненого, она видела, что не заживет, нет.

Два врача перевязочного пункта осмотрели рану, переглянулись, покачали безнадежно головами и сказали, что перевязку они сделают, но надо вызвать священника, чтобы адмирал закончил свою жизнь принятием тайн, как это подобает христианину.

– Когда же можно ожидать смерти? – оторопело спросил Жандр, в первый раз почувствовав именно теперь, что левая сторона его тела контужена тем самым ядром, которое убило Корнилова.

– Может быть, вы распорядитесь отправить раненого в Морской госпиталь, там ему будет спокойнее, – вместо ответа предложил ему старший врач.

– Хорошо, – понял его Жандр, – я сейчас отправлюсь доложить о нашей потере генералу Моллеру, чтобы больше от Владимира Алексеевича не ждали приказаний... И также Нахимову... Буду проезжать мимо госпиталя, pošлю сюда оператора и носилки.

И поглядев на живого еще, хотя и с закрытыми глазами, адмирала в последний раз, Жандр, несвободно владея левой ногой, вышел.

Носилки из госпиталя были принесены через полчаса, когда Корнилов был в сознании, но они были поставлены так, что приходились со стороны раздробленной ноги, и санитары не знали, как положить на них раненого.

Корнилов поднял голову, оперся локтями и перевалился через почти оторванную ногу сам в носилки, спасительно потеряв при этом сознание снова на долгую дорогу к госпиталю, когда то и дело опять падали рядом пролетавшие через бастион ядра.

Теперь ревело уже все кругом, потому что начала бомбардировку фортов союзная эскадра.

Отдельных выстрелов уже не было слышно: безостановочно гремели теперь тысяча семьсот орудий с той и с другой сторон, и если до этого сквозь дым бастионов иногда проблескивало далекое штилевое море, то теперь уж и море было в сплошном дыму.

Казалось, что вместе с Корниловым доживает свои последние часы и Севастополь, поэтому в госпитале никто не думал делать операцию раненому, и когда он пришел в себя и попросил какого-нибудь лекарства от сильной боли в животе, ему дали только несколько чайных ложек чая.

Здесь нашел его один из его адъютантов, капитан-лейтенант Попов. Увидев Попова, Корнилов заметно оживился, как будто один вид прискакавшего верхом адъютанта, от которого шел запах конского пота, внушал ему, смертельно раненному, мысль, что надо тоже на лошадь и скакать на бастионы.

Попов был так поражен беспомощным видом своего адмирала, что глаза его заволокло слезами.

– Не плачьте, Попов, – заметил это Корнилов. – Я еще переживу поражение англичан!.. Моя совесть спокойна, и умирать мне не страшно... Но я хотел бы видеть Владимира Ивановича.

Попов дал свою лошадь одному из солдат, и тот поскакал на Малахов курган за Истоминим.

Сознание больше уже не покидало Корнилова. Гул орудий, от которого дрожали и звенели не только окна госпиталя, но даже и стены, начиная с фундамента, заставил его набожно перекреститься и сказать:

– Благослови, Господи, Россию, спаси Севастополь и флот!

Он просил Попова послать юнкера гардемаринской роты Новосильцева, брата своей жены, в Николаев, сказать там жене и детям, что он ранен...

Истомин явился, встревоженный донельзя. Он, боевой адмирал, руководивший теперь делом обороны крупнейшего и важнейшего бастиона, на котором каждую минуту видел ужасные раны кругом и растерзанные снарядами тела, заплакал, подойдя к койке Корнилова.

– Не верю, нет, не верю, Владимир Алексеевич, чтобы ваша рана... Вы поправитесь, поправитесь! – повторял он, хватая его обеими руками за руку, точно силясь удержать его, отбить у надвигающейся смерти.

– Нет, туда, туда, к Михаилу Петровичу! – Корнилов указывал глазами вверх.

Попов знал, конечно, что Михаил Петрович был адмирал Лазарев, создатель могущественного Черноморского флота, внушавшего опасения англичанам, знал также, что Лазарев особенно ценил и выдвигал Корнилова как своего заместителя.

По просьбе Корнилова Истомин рассказал, как идут дела на бастионе.

Корнилов внимательно слушал, наконец сказал:

– Вам надо спешить туда, Владимир Иванович... Прощайте!

– Благословите меня! – Истомин стал перед койкой на колени.

Серьезно, важно и медленно благословил своего младшего товарища умирающий; они обнялись в последний раз, и Истомин выбежал из палаты, чтобы не разрыдаться на глазах капитан-лейтенанта.

Еще около часа просидел с ним Попов. Иногда Корнилов слабо вскрикивал от сильнейших болей, тогда его опять поили с ложечки чаем...

Но вот явился посланный Истоминим лейтенант Львов с радостной вестью. Его не хотел было впускать врач, чтобы не тревожить раненого, но Корнилов сам просил, чтобы его впустили.

– Английские орудия сбиты, – доложил ему, как командующему обороной, Львов. – Осталось действующих только два орудия!

– Ура!.. Ура!.. – радостно отозвался на это Корнилов, сложив на груди ладони, как будто хотел в них захлопать, и умер через несколько минут, дождавшись все-таки, как и хотел, поражения англичан против Малахова кургана.

## Х

Витя Зарубин и Бобров на полной свободе ходили по городу, который обстреливался с нескольких батарей, главным образом английских, имевших более дальнобойные орудия.

Они побывали на Малой Офицерской, чтобы посмотреть, уцелел ли дом Зарубиных, и на Малой Морской, где жили Бобровы, и около порта, вход в который охранялся часовыми, и около фортов. Самыми же любопытными были для них те места, на которых падало больше снарядов.

Когда же увидели они, как, развернувшись веером, подходили на буксире пароходов огромные линейные корабли союзников для состязания с фортами, их глаз ничто уже больше не могло оторвать от моря.

Правда, от пышной картины выстроившихся полукругом кораблей не осталось ничего, как только началась канонада.

Корабли тут же окутались сплошным дымом, сквозь который пробивались только изжелта-красные вспышки залпов.

Но это был первый в их жизни бой эскадры с береговыми фортами и фортов с сильнейшей эскадрой; это было как раз то самое, к чему они готовились сами, что осмысливало их жизнь, с чем они были связаны сотнями крепких нитей.

Они могли бы по отдаленному выстрелу из одной пушки или мортиры определить на слух ее калибр, но здесь был сплошной, нераздельный и нескончаемый гром и рев, утопивший все отдельные калибры; они могли бы без бинокля определить степень меткости огня своего и чужого, но здесь все было заволочено дымом.

Однако же были такие моменты (они жадно ждали и ловили их), когда мачты и реи кораблей показывались из оседавшего дыма, и они торжествующе кричали:

– Ага!.. Смотри! Смотри сюда! Видел? – и показывали друг другу, как все больше терзанными становились с каждым таким моментом корабли союзников.

Им показалось однажды, когда почему-то ниже осел дым, что двух кораблей уже нет на их прежних, привычных уже для глаз местах, и они кричали:

– Утопили их наши! Молодцы!.. Честное слово, утопили!

Корабли эти, правда, не были потоплены выстрелами с фортов, но были приведены в такое состояние, что должны были выйти из строя, и пароходы, сами пострадавшие, отвели их на почтенное расстояние от фортов.



Пятнадцатилетние юнкера, увлеченные боем, не замечали, что время идет, что уже три часа пополудни... Их не беспокоило даже и то, что часть неприятельской эскадры обстреливала форты Северной стороны, куда спаслись от канонады сухопутных батарей их семьи: они твердо надеялись, что при таком многолюдье бежавших из города, какое оказалось там, все своевременно уйдут в безопасные места.

Они искали такое место, с которого лучше могли бы видеть весь флот союзников, и, передвигаясь для этой цели, натолкнулись еще на двух юнкеров своей роты. Один из этих юнкеров был Новосильцев, брат жены Корнилова, несколько старше Вити, рослый и крепкий, но едва взглянул на Витю и Боброва: у него был растревоженный вид, он спешил.

– Куда ты? – крикнул ему Бобров.

– Дядю убили! – крикнул, не останавливаясь, Новосильцев.

Витя и Бобров знали, что дядей он называл Корнилова. Они посмотрели друг на друга ошарашенными глазами и кинулись догонять Новосильцева, а когда узнали от него, что Корнилов теперь в Морском госпитале, пошли туда вместе. Первый в их жизни бой как-то потускнел сразу перед сознанием того, что убит главный защитник Севастополя, на котором покоились все надежды.

Через Пересыпь, в тылу бастионов, четверо юнкеров вышли на Корабельную сторону и пришли к Морскому госпиталю как раз в тот момент, когда тело Корнилова на носилках выносили, чтобы поставить в Михайловском соборе.

Ближе всех к телу был Нахимов.

Жандр нашел его не на пятом бастионе, где, руководя стрельбой из орудий, адмирал добился такого успеха, что заставил замолчать французские батареи. Он был уже дома и обедал, но когда услышал о смертельной ране Корнилова, выронил ложку, закрыл рукою глаза и тут же, как был, пошел к своей лошади, бормоча горестно:

– Ведь я говорил ему!.. Ведь я просил его!.. И вот! Ведь я предупреждал его!.. Эх, горе! Эх, Владимир Алексеевич... И как же теперь?.. Кто же теперь?

Капитан-лейтенант Попов, бывший при умирающем Корнилове, вместе с несколькими служителями госпиталя взялись было за носилки, но Витя Зарубин, Новосильцев и двое других юнкеров решительно придвинулись к Попову и сказали:

– Разрешите нам! Мы понесем!

И никому потом не уступали они этой чести.

Но на половине пути они почувствовали, как дрогнула земля у них под ногами, и дрогнула на носилках в их руках дорогая ноша, и сквозь слитый рев орудий прорвался вдруг грохот, покрывший даже и этот тысячеорудийный рев, потому что раздался он где-то близко.

Все переглянулись не понимая. Кто-то крикнул: «Взрыв!» Нахимов поспешно сел на своего рыжего, и через минуту его уже не было видно: он скакал от одной утраты в сторону другой.

Это был взрыв порохового погреба на третьем бастионе. За час перед тем командир бастиона Попандопуло был ранен в голову и отправлен в госпиталь к сыну, оправдав то, что прокричал ему на ухо, и сын умер на его глазах; бастионом же пришлось командовать Лесли.

Между тем бастион все слабел и слабел. Уже больше половины орудий на нем было подбито. Три раза переменялся весь состав прислуги при орудиях. Люди были уже усталые и одурманенные десятичасовой непрерывной канонадой.

Все прикрытия были разворочены ядрами, и восстанавливать их не было возможности под сильнейшим огнем...

Пороховой погреб бастиона защищен был накатом из толстых бревен с достаточным, как казалось, слоем земли на нем, но огромный снаряд осадного орудия пробил крышу погреба, и раздался взрыв.

Действие этого взрыва было ужасно.

Из двадцати двух орудий двадцать оказались засыпанными землей; из ста с лишком человек, бывших в то время на бастионе, уцелели, и то сильно контуженные, только шесть человек, включая сюда и начальника артиллерии дистанции Ергомышева.

Когда контуженный в голову Ергомышев очнулся, он не понимал еще, что такое случилось с ним и с бастионом, но его ногу дергал лежавший на нем поперек матрос, который кричал ему:

– Слышь! Это твоя нога или моя?

Глаза матроса, как и все лицо его, были залиты кровью, веки слиплись.

Кое-как высвободившись и приподнявшись, Ергомышев увидел кругом себя вздыбленную землю, а во рвах сброшенные туда, как в готовые братские могилы, чудовищно растерзанные трупы – обгорелые, безголовые, безрукие...

И все падало что-то сверху – какие-то комочки, какие-то клочья коричневого цвета, от которых сильно, нестерпимо пахло паленым.

Ергомышев, пересиливая боль в голове, поднял лежавшего на нем матроса, ноги и руки которого оказались в целости, а рана на голове неопасной. Тот протер глаза закопченными черными руками, и, один поддерживая другого, они помогли подняться еще четверым.

– А где же капитан-лейтенант Лесли? – спросил Ергомышев.

– Раз не объявляется в живых, то значит...

– К орудиям! – скомандовал Ергомышев.

И пять человек, оставшихся в живых из всей орудийной прислуги бастиона, спотыкаясь о глыбы земли, ядра, куски лафетов, трупы товарищей, пошли к двум уцелевшим орудиям, оглядываясь друг на друга и ища кругом глазами, где взять для этих орудий снаряды, чтобы продолжать стрельбу, чтобы показать ликующему противнику, что третий бастион еще жив. Но из подпиравших бастион пехотных частей штабс-капитан Хлапонин вел уже им на смену своих артиллеристов: третий бастион все-таки не был приведен к полному молчанию.

Долго потом составляли человеческие тела, или только отдаленные подобию их, из разбросанных всюду рук, ног, туловищ и голов, но тела храброго воина Евгения Ивановича Лесли так и не нашли.

## XI

Флаг адмирала Гамелена был на корабле «Город Париж». На этом корабле был поднят сигнал: «La France vous regarde!» – «Франция смотрит на вас!» Французские корабли вместе с турецкими выстраивались для начала боя в шахматном порядке, на расстоянии несколько больше километра от берега, так же без выстрела, как год назад эскадра Нахимова в Синопской бухте, хотя с форта Александровского и 10-й батареи их и осыпали снарядами.

От первых же выстрелов орудия нагрелись так, что около них, как и на бастионах, нельзя было стоять не только в шинелях, как полагалось ходить в октябре, но даже и в мундирах: орудийная прислуга действовала в одних рубашках с расстегнутыми воротами.

Из линии судов, ставших так, чтобы нести возможно меньше потерь от русского огня, вырвался вперед только паровой корабль «Шарлемань», ставший против входа на Большой рейд, чтобы обстреливать суда Черноморского флота и город: на нем даже видны были люди на палубах. Когда первыми же выстрелами сбит был на нем трехцветный флаг, он тут же поднял другой такой же. Он щеголял неустрашимостью своей команды, но первый же и вышел из строя: удачно пущенная бомба, пройдя все три его палубы, разорвалась в машине, и он был уведен на буксире в два часа дня.

Недолго после него держался и корабль «Наполеон», пораженный в подводную часть, а вслед за ним и «Париж» тоже вынужден был оставить свою позицию.

Флагманский корабль этот пострадал особенно сильно. В одну только оснастку его попало около ста снарядов; более пятидесяти пробоин получил он, причем три – в подводную часть. Несколько раз возникали на нем пожары; их тушили, и корабль все еще стоял и посылал залп за залпом из шестидесяти орудий одного борта.

Но вот бомба разорвалась близ капитанского мостика; снесен был ют<sup>43</sup>, убит адъютант Гамелена, ранены несколько офицеров его штаба, а старый адмирал, поняв, наконец, что Севастополь далеко не Синоп, приказал буксирующему пароходу вывести «Париж» за линию огня в тыл.

Как в артиллерийском состязании на суше, так и тут французы первые потерпели поражение, хотя имели на своих и турецких судах тысячу шестьсот орудий против девяноста шести орудий фортов Южной стороны.

Правда, в деле были только орудия одного борта кораблей и пароходов, то есть восемьсот, но и этот перевес в силах был громаден. И хотя суда стали на якоря, но якоря в случае нужды поднимались, и подбитые корабли уходили, – форты же представляли неподвижную цель и должны были рассеивать свой огонь по многим направлениям.

Наведиств третий бастион, где кое-как устраивалась свежая смена, Нахимов направился к шестому и седьмому, от которых не так далеко была 10-я батарея, боровшаяся с эскадрой противника.

Попутно он послал своего адъютанта на корабль «Ягудиил» с приказом, чтобы оттуда была свезена на третий бастион команда в семьдесят пять человек, а из пехотной части при пятом бастионе вызвал партию охотников для подноски снарядов на третий бастион.

Была сильная опасность, что именно со стороны этого разрушенного укрепления союзники пойдут на штурм, поэтому нужно было сделать все, чтобы подтянуть сюда силы.

Но как адмирал, для которого флот и форты крепости были кровным делом, Нахимов стремился и туда, на 10-ю батарею. Однако все пространство между этой батареей и бастионами шестым и седьмым было сплошь засыпано ядрами и осколками разрывных снарядов, перелетавших через цель.

Если сильнейший огонь развивали десятки орудий сухопутных укреплений союзников, то восемьсот орудий морских, действовавших безостановочно и залпами, не давали надежды пробраться на 10-ю батарею, чтобы узнать, осталось ли там что-нибудь живое. Густой дым скрыл ее от глаз, а выстрелов с нее не было слышно. Отдельных выстрелов не было слышно вообще – был сплошной гром, грохот, рев, не сравнимый ни с чем в природе. Позже об этой совершенно исключительной в истории осады крепостей бомбардировке говорили, что ее было слышно не только во всех самых отдаленных концах Крыма, но и на кавказском побережье.

И все-таки нашелся храбрец, который вызвался сам пробраться сквозь эту чашу падавших снарядов на 10-ю батарею.

Это был лейтенант Троицкий, который подобрал несколько человек таких же смельчаков охотников из матросов, и они пошли.

И Нахимов и другие, отправлявшие их, ждали их долго, около часа, и думали, что все они погибли, как и несчастная батарея, но к сумеркам они вернулись, не потеряв ни одного человека, и Троицкий доложил, что батарея действует исправно, что потери на ней ничтожны, но что снаряды уже приходят к концу.

Однако к шести часам вечера эскадра франко-турок снялась с якорей и ушла под прикрытием дыма и сумерек.

Нахимов посылал и на Северную сторону узнать, что делается там, как отбиваются форты Константиновский и Карташевский и Волохова башня с ничтожным числом своих орудий от большого английского флота.

---

<sup>43</sup> Ют – у парусных судов кормовая часть верхней палубы.

Но когда посланный, вернувшись, донес, что за деятельностью фортов Северной стороны наблюдает сам Меншиков, он успокоился.

Если четырнадцать кораблей французских и два турецких имели против своих восьмисот орудий одного борта только девяносто шесть на южных фортах, то одиннадцать кораблей английских против четырехсот шестидесяти орудий одного борта имели жалкое количество орудий на Северной стороне: пять на Волоховой башне, три на батарее Карташевского и восемнадцать на Константиновском форте.

Как человек, многие годы ведавший морским министерством, носивший адмиральский чин, часто последнее время плававший на военных судах у берегов Крыма, Меншиков с живейшим интересом наблюдал подход и выстраивание английских кораблей: «Британии», «Трафальгара», «Кина», «Агамемнона», «Роднея» и других.

Очевидно, зная слабость фортов Северной стороны, они подошли ближе, чем на километр, чтобы бить наверняка и добиться победы в кратчайшее время.

Пять сильнейших кораблей атаковали Константиновскую батарею с фронта, четыре – с фланга и тыла, один фрегат – «Аретуза» – вступил в борьбу с маленькой батареей Карташевского, другой – «Альбион» – с Волоховой башней.

Слабость двух последних укреплений была известна Меншикову, но на Константиновской батарее, он знал, были огромные бомбические мортиры, и он жадно ожидал их сокрушительного действия.

Однако канонада шла, и все девять судов британцев стояли против Константиновского форта на своих местах.

– Почему же так плохо действуют там наши новые мортиры? – в недоумении спросил он одного из своих адъютантов.

– Мне передавали, но я не хотел этому верить, ваша светлость, – ответил адъютант, – будто эти мортиры приказано было сбросить в море, когда, после сражения на Алме, ждали штурма.

– Как так – сбросить в море?... Зачем же именно?

– Чтобы они не достались неприятелю, ваша светлость.

– Ну, если так, тогда...

Меншиков бросил трубу, в которую силился рассмотреть что-нибудь сквозь дым, и повернулся к морю спиной.

Но и кроме этих утопленных мортир на Константиновском форте, бездействовало пять орудий, стоявших в казематах: английские корабли расположились так, что по ним из этих орудий совершенно бесполезно было бы открывать стрельбу.

Наконец, на этом форте было мало не только офицеров, но даже фейерверкеров, и у орудий стояли совсем малоопытные солдаты Минского резервного батальона, зря в самом начале выпустившие в море запас каленых ядер и плохо знакомые с наводкой и прицелкой.

Поэтому Константиновский форт понес очень большие потери. Все орудия верхнего этажа каземата были подбиты или совсем опрокинуты; на дворе взорвалось три зарядных ящика, и взрыв этот произвел большое опустошение.

Но и из английских кораблей три – «Кин», «Лондон» и «Агамемнон» – несколько раз загорались и выходили из строя. «Агамемнон», наконец, ушел совсем, а боровшиеся с батареей Карташевского и Волоховой башней фрегаты «Аретуза» и «Альбион» получили так много пробоин, что их повели чиниться уже не в Балаклаву, а в Константинополь.

Двадцатью минутами позже французской ушла от Севастополя и вся английская эскадра, чтобы уж никогда за все время осады не пытаться больше атаковать севастопольские форты.

Начавшись в половине седьмого утра, кончилась в половине седьмого вечера и бомбардировка с суши, показавшая союзникам, что пока нечего и думать о штурме, что осада Сева-

стополя обертывается делом трудным, затяжным, требующим огромнейших средств и жертв, и что канонаду с такою же, если не с большей, силой надо продолжать на следующий день.

А севастопольцы, пережившие такой ураган событий в течение двенадцати часов, принялись чинить укрепления, подвозить новые орудия и устанавливать их взамен подбитых, вводить на бастионы новых людей на смену выбывшим из строя.

Но так как никто не мог заменить погибшего Корнилова, Меншиков назначил на его место старшего из вице-адмиралов, командира порта Станюковича. Его почтенный семидесятилетний возраст служил явной и веской порукой его благоразумия.

Приказом по армии, гарнизону крепости и флоту похороны Корнилова были назначены на следующий день, 6 октября, в пять часов пополудни, в том самом склепе, в котором погребли адмирала Лазарева.

В наряд для проводов тела назначались: батальон моряков, батальон пехоты и полубатарея из четырех орудий.

## Часть третья

### Глава первая Канонада продолжается

#### I

На 10-й батарее утром 6 октября спешно выстраивались обе бывшие там роты артиллеристов: приехал вице-адмирал Нахимов.

Старый моряк, всего только год назад уничтоживший не только турецкий флот, но и сильные береговые форты Синопа, не мог успокоиться на одних только донесениях о «благополучии».

С шестого бастиона он видел, что даже промежуточное пространство между этим бастионом и 10-й батареей было сплошь засыпано ядрами и осколками разрывных снарядов; что же могло в таком случае остаться от батареи?

Он знал, что под Синопом был впятеро слабее, чем союзники перед севастопольскими фортами, – вот почему, не совсем доверяя донесениям, отправился он на батарею сам.

Он приехал верхом, к чему начал уже привыкать в последнее время. Хотя при спешной езде брюки его задирались к коленям, но он и к этому привык как к неизбежному неудобству верховой езды.

Командир батареи, полковник Желтышев, заставивший солдат с раннего утра убирать двор и складывать неприятельские ядра и неразорвавшиеся снаряды в кучи, встретил Нахимова с рапортом при въезде.

Оглядев внушительные кучи ядер, Нахимов сказал Желтышеву:

– Однако они не поскупились на это добро! Сколько навалили-с, ого!.. На бастионах за целый день все-таки меньше-с!

В этом замечании была некоторая доля признания преимущества флота перед береговыми батареями вообще, пусть флот даже был неприятельский, и Желтышев, некрупный, но энергичный человек, с простоватым, но весьма себе на уме лицом подрядчика, это уловил и отозвался весело:

– Засыпали, ваше превосходительство! Совершенно засыпали!.. Я приказал считать, и насчитали мои молодцы две тысячи семьсот ядер... Но, во-первых, далеко не все еще убрали, а затем – недолеты: очень много ядер их падало в море у берега, – затем перелеты, затем гранаты и бомбы... Думаю, что одни мы им стоили не меньше, как двадцать тысяч выстрелов!.. Говорю так из осторожности, но думаю, что гораздо больше, чем двадцать.

– Возникает вопрос: сколько же они выпустили по всем фортам, – покачал головою Нахимов и добавил: – Ведь они с первых же выстрелов были в дыму, как же вы в них стреляли?

– Орудия наши были пристреляны, когда еще корабли не закрылись дымом.

– Но ведь они все-таки двигались, – перебил Нахимов. – Не замечено было вами: не потопили ни одного корабля?

– Хотел бы этим порадовать, но из-за дыма разглядеть не было возможности... Даже и солнца не было видно. Уверен все же, что всыпали мы ему здорово, и сегодня он уже едва ли рискнет подойти! – молодежато подбросил голову полковник.

– Сегодня будут чиниться... Сегодня не ждите-с, нет... А как у вас тут – много ли потерь?

– Восемь убито, двадцать два ранено, ваше превосходительство, – и это считая также убыль в людях двух рот прикрытия от Минского полка... Из орудий подбито только три, и у семи повреждены лафеты.

– Для такого огня?.. Невероятно мало! – удивился, как моряк, Нахимов и даже несколько подозрительно поглядел на противника. – Очень удачно отделались, очень, очень... – бормотал он, окидывая глазами всю обширную площадь батарей с пятью десятками орудий. – А скажите мне, если бы не был закрыт вход на рейд, что могло бы быть тогда, а?.. – спросил он быстро.

– Тогда мы, конечно, утопили бы два-три их корабля на рейде! – тут же ответил, как на знакомый уже вопрос, Желтышев.

– Д-да, утопили бы, я не сомневаюсь, – как будто даже обиженно отозвался Нахимов, – но пока утопили бы, они нам могли бы наполовину уничтожить арсенал-с, наполовину город-с! А форты были бы обстреляны с тылу-с! И я даже уверен-с, что они пытались форсировать рейд, почему и подходили близко к заграждению-с!.. Они могли бы также высадить десант и захватить вашу батарею с суши-с – вот что они могли сделать-с!

Нахимов даже разгорячился, как будто сам в воображении командовал огромной атакующей эскадрой союзников.

– Не забывайте того, что они были в десять раз сильнее по огню, чем все форты вместе взятые-с, и что у них стояли при орудиях матросы, а не солдаты... Да... вот-с... А как действовали ваши артиллеристы? – спохватился Нахимов.

– Выше всякой похвалы, ваше превосходительство! – восторженно ответил Желтышев, точно был он и не пожилой уже человек и не полковник, а восемнадцатилетний прапорщик вроде одесского Щеголева.

– А-а! – протянул Нахимов, тем самым как бы предлагая полковнику высказаться полнее и обстоятельней.

– Сначала они были, конечно, как ошпарены кипятком, – продолжал возбужденно Желтышев, глядя снизу вверх в голубые глаза Нахимова. – Потом горячились зря, палили в белый свет, но скоро взяли себя в руки, разделись – жарко стало! – и потом уже действовали отлично: выше всякой похвалы.

– Представьте список особо отличившихся на предмет награждения, – казенной фразой отозвался Нахимов, но левая рука его, дотянувшись до плеча полковника, задержалась на нем, точно он хотел ласково погладить командира батареи за то, что он в восторге от своих артиллеристов.

– Слушаю, ваше превосходительство, – отозвался полковник. – Вот этот фас батареи, – показал он на орудия, обращенные жерлами к рейду, – бездействовал, и прислуга отсюда сама перешла к действующим орудиям на помощь... Так же и для подноски бомб из погреба, потому что у нас в начале боя при каждом береговом орудии находилось только по двадцать бомб... Был такой еще случай с одним часовым из рот прикрытия, ваше превосходительство, – спешил рассказать полковник. – Он стоял на часах вот там, где теперь все разворочено. Там был склад ручных гранат, при них полагается по уставу пост... Вдруг попадает в этот склад граната... совсем другого свойства, огнюдь не ручная, и весь склад взорвался. Но была такая канонада, что никто этого взрыва стекляшек и не расслышал, один только часовой остался не у дел, хотя жив и невредим... Ждал смены – смены нет. Оказалось, в прикрытии его разводящего ранило. Смены нет, однако и склада уж тоже нет. Спрашивается – зачем же ему стоять? Только чтобы зря его ранили или убили? Я его снял с поста своею властью. Однако он к прикрытию не пошел. «Дозвольте, – говорит, – мне тут что-нибудь делать». – «Нечего, – говорю, – тебе тут делать, пехоте». И как раз мимо шел с двумя зарядами из погреба канонир Прокопенко, а в него ударило ядро и убило наповал. Другой бы, видя такое, растеряться мог, а этот часовой ко мне: «Дозвольте заряды вместо него донести!» Дозволил, конечно. Так он и работал на подноске зарядов и бомб до конца пальбы, а ведь от погреба до орудий четыреста шагов!

– Вот-с, вот-с, видите-с!.. Вот и его тоже в список внесите-с. Непременно-с!

Глаза Нахимова лучились, и уже обе руки его легли на плечи Желтышева, когда он говорил этому артиллерийскому полковнику, точно лейтенанту флота:

– Матрос есть главный двигатель на военном корабле, а мы с вами только пружины, которые на него действуют, да-с! Матрос управляет парусами, он же наводит орудия на неприятеля, он же бросится на abordаж, все сделает матрос, если мы с вами забудем о том, что мы помещики, дворяне, а он – крепостной! Он – первая фигура войны, матрос, да-с! А мы с вами – вторые-с! Он матрос – вот кто!.. Так же и солдат! – заметил вдруг Нахимов, что он говорит с сухопутным полковником и что в отдалении, выстроившись, ждут его не матросы, а солдаты-артиллеристы.

И он пошел к ним наконец, высокий, сутуловатый, в своем длинном сюртуке с густыми эполетами, с георгиевским большим за Синоп полученным крестом на шее и с полусаблей на портупее, продетой под эполет. Брюки его внизу от частой верховой езды были сильно помяты, встопорщены, покрыты гневой лошадиной шерстью, когда он подходил к артиллеристам.

– Здорово, друзья! – звонко крикнул он, приложив пальцы к козырьку фуражки.

– Здравия желаем, ваше превосходительство! – радостно отозвались роты.

– Благодарю вас!

– Рады стараться, ваше превосходительство! – загремели солдаты.

– Вы защищали Севастополь как герои! – взволнованно продолжал Нахимов. – Вами гордится наш славный город!.. Если все мы будем действовать, как вы, то скоро прогоним от стен Севастополя врагов, как вы прогнали союзный флот... с большим уроном для них прогоним!.. От всей души благодарю вас, друзья! – И он поклонился солдатам, держа руку у козырька фуражки.

Неистовым «ура!» отвечали на это солдаты, и расстроился парадно-чопорный строй. Никто не командовал «вольно!» – это случилось как-то само собою, что фронт – святое место по правилам дисциплины того времени – сломался, и разнообразно изгибались солдатские шеи, чтобы можно было как следует разглядеть необычайного адмирала, который только что называл их друзьями и о котором все слышали как об адмирале геройском.

– Господа офицеры! Прошу ко мне! – крикнул Нахимов.

Офицеры вышли. Их было не так и много в двух ротах.

Каждому из них, от капитана до прапорщика, Нахимов жал руку, вглядываясь в них пристально и признательно, а уходя с батареи, окруженный ими, он говорил:

– Союзники думали, что Севастополь – это другой Бомарзунд, где и казармы-то не были достроены, и орудия были малых калибров против всего флота Непира... Теперь наконец они будут знать, что такое Севастополь!.. Просто уму непостижимо, что писали о Синопском бое в английских газетах и как это печатали! Писали даже, что один из моих лейтенантов ворвался в разбитый турецкий корабль, нашел там в каюте капитана этого корабля, который, натурально, хотел ему сдаться... Но он, лейтенант мой, будто бы убил этого турецкого капитана, отрезал от убитого кусок мяса, – не сказано только было, откуда именно отрезал! – и... и, представьте себе, будто бы съел сырым-с! Да-с, сырым-с! И вот за этот подвиг был представлен мною к Георгию четвертой степени, каковой и получил-с! Вот каковы эти английские журналисты-с! Мы, по их мнению, людоеды-с! Однако мы вот отбили атаку огромного их флота и заставили уж замолчать французские батареи на Рудольфе... А сегодня завтра, может быть, и английские молчать заставим, если будем все действовать, как вы вчера. И наш... Владимир Алексеич... может тогда спать спокойно... в своем гробу... Он свое дело сделал... хорошо сделал... А мы по его стопам...

В это время Нахимов подошел уже к лошади, оставленной под присмотром казака-ординарца, и мог, отвернувшись к ней, смахнуть движением руки непрошено проступившие на глаза слезы.



Когда же привычным уже движением взобрался он на своего гнедого, то обратился к офицерам голосом уже вполне окрепшим и словами начальнически точными:

– Из приказа по гарнизону вам, господа, известно, что похороны генерал-адъютанта, адмирала Корнилова назначены на пять с половиной вечера... Так вот, господа, прошу свободных от нарядов по службе к этому времени в Михайловский собор...

## II

А канонада между тем продолжалась, и только на бастионах пятом и шестом, против которых действовали французские батареи, могли бы сказать, что интервенты значительно ослабили свой огонь; севастопольцы же слышали, что так же грохотало и так же визжали и тупо шлепались ядра на улицах и рвались бомбы.

Очень немногие из севастопольцев знали, что вечером 5 октября английские батареи Зеленой горы, почти сравнявшие с землею третий бастион и соседние с ним редуты, как нельзя лучше подготовили весь этот участок обороны для штурма, и штурм этот очень трудно было бы отразить, если бы в дело были пущены осаждающими большие силы. Бруствер был уничтожен, ров завален, собрать сразу к этому месту достаточное число защитников было невозможно, и если бы англичане заняли третий бастион, то они зашли бы в тыл Малахову кургану и таким образом с одного удара могли бы занять всю Корабельную сторону.

Однако они не решились на штурм, и в этом именно была победа, одержанная Севастополем над интервентами в памятный день 5 (17) октября: встретив сопротивление, равное нападению, противник был побежден морально и не решился сделать то, на подготовку чего затратил так много средств и усилий.

А ночью с 5-го на 6-е на третьем бастионе работало пятьсот рабочих от Московского полка и двести саперов, и на всем протяжении был поднят и сделан еще выше, чем прежде, вал, прорезаны тринадцать амбразур, устроены два новых траверса и поправлены пять старых; исправлено семь орудийных платформ; заменены новыми подбитые орудия больших калибров – между ними и бомбические, – и наутро третий бастион заговорил с англичанами еще внушительнее и громче, чем накануне, а пороховые погреба на нем были теперь обсыпаны землей так, что уже не боялись ланкастерских пушек.

Французы же не в состоянии оказались привести за ночь свои батареи в порядок и сконфуженно промолчали весь этот новый день.

Третий бастион восстанавливал из развалин Тотлебен лично, на остальные же он разослал подведомственных ему саперных офицеров.

Но до поздней ночи направлял большую и сложную работу в тылу по доставке на бастионы всего необходимого Нахимов.

Это вышло как-то само собою, что после смерти Корнилова все обращались за приказами к нему, минуя почтенных старцев – генерала Моллера и адмирала Станюковича, считавшихся в Севастополе выше его по положению.

Великолепный флотоводец, Нахимов считал, что на сухопутье как администратор он значительно уступал Корнилову в умении все охватить и все рассчитать, почему охотно и уступил Корнилову главную роль в обороне города и порта. Но на его стороне сравнительно со всеми другими было то, что все о нем знали: полное забвение себя и своих личных интересов, раз дело касалось службы.

Когда отец его, екатерининский секунд-майор, отправлял двух своих белокурых красивых рослых ребят, Платона и Павла, в морской кадетский корпус-того, он, конечно, не справлялся у них, любят ли они, родившись в Смоленской губернии, море и хотят ли стать моряками. Его решение было совершенно случайным, старший из двух братьев, Платон, моряком

так и не сделался. Он остался воспитателем в том самом корпусе, который окончил, потом перешел на службу в Московский университет.

И попробовал бы кто-нибудь очертить инспектора студентов Платона Степановича Нахимова, на того двинулся бы сплошной и неодолимой стеною весь возмущенный университет, так как в нем не было другого столь же порядочного, честного до святости, самоотверженного и истинного друга студентов, как этот чудаковатый с виду и одиноко живший человек.

Но младший из братьев, Павел, почему-то вышел моряком, причем моряком совершенно исключительных достоинств. С ранней молодости удивлял он даже своих товарищей как не знающий отдыха, неутомимый, не то чтобы службист, а буквально фанатик морского дела. Именно это скверное понятие «службист» к нему и не шло совсем, так как «выслуживаться» он никогда не стремился. Он просто полюбил от молодых ногтей войну с непокорной стихией – морем, и весь без остатка отдался этой любви. Поэтому никто из сверстников лучше его и не знал всех тонкостей морского ремесла, и в пятнадцать лет он был уже мичманом, а в восемнадцать был замечен Лазаревым, командовавшим тогда фрегатом «Крейсер», и взят им с собою в кругосветное плавание.

Лазарев тогда был только капитаном 2-го ранга, но уже выдавался как талантливейший моряк русского флота и притягивал к себе, как магнит, всех тех из молодежи, кто мог бы со временем сильно двинуть вперед дело устройства флота по его, лазаревскому, пути. Так же были притянуты им один за другим к себе и молодой Корнилов, и Новосильский, и Истомин...

Фрегат «Крейсер» в те годы был признанным образцом военного судна, и молодой Нахимов считал для себя за большую честь служить у Лазарева на таком фрегате, да еще в иностранных морях.

Вояж этот продлился три года, а спустя еще три года и Лазарев, командовавший тогда кораблем «Азов», и Нахимов, и Корнилов, служивший на том же корабле, отличились в знаменитом Наваринском бою, за который сам Лазарев произведен был в контр-адмиралы, а Нахимов получил Георгиевский крест и чин капитан-лейтенанта, став таким образом штаб-офицером в двадцать четыре года.

В те годы он считался по службе в Балтийском флоте, а в Черноморский перетащил его тот же Лазарев, когда, после смерти адмирала Грейга, он стал главным командиром этого флота.

И корвет «Наварин», и фрегат «Паллада», и корабль «Силистрия», которыми последовательно командовал Нахимов, были неизменно образцовыми судами: по ним равнялись все остальные суда, и так велик был авторитет Нахимова в морском деле, что заслужить его одобрение считали счастьем и те, кто нисколько не зависел от него по службе, но был моряком не по одному только названию, а по натуре.

Когда один известный художник обратился к нему как к герою Синопского боя, с просьбой позволить ему написать его портрет маслом, Нахимов недовольно ответил:

– И-и, голубчик, что я – светская дама, что ли? Совершенно это лишняя затея-с! – и отказал художнику.

Один поэт прислал Нахимову как герою Синопа хвалебную оду. Нахимов повертел в руках лист бумаги, на котором старательно – заглавные буквы в завитушках – была написана эта ода, бросил ее в корзину под столом и сказал одному из своих флаг-офицеров:

– Автор этих стихов, должно быть, человек богатый – вон какая бумага у него хорошая, еще и с фамильным гербом... Прислал бы несколько сот ведер кислой капусты для героев Синопа – матросов, было бы куда лучше-с!

Это было одно из его многочисленных чудачеств – полное равнодушие к искусству, так же как, например, и ненависть к писанию всяких казенных бумаг. Читал он эти бумаги внимательно, если нужно было их подписывать или выполнять то, что ими предписывалось, но

никак не мог заставить себя самого изъясняться официальным языком на бумаге: это делали за него его адъютанты, флаг-офицеры.

Он жил одиноким старым холостяком, как и его старший брат в Москве, но бирюком отнюдь не был. Напротив, он был всегда радушным хозяином, когда к нему собирались гости, и охотно помогал денежно, когда к нему обращались.

Этим неумением его отказывать кому бы то ни было в деньгах часто злоупотребляли даже его сослуживцы, люди широкого образа жизни.

Он не отличался красноречием, однако никто из командиров во флоте не мог так говорить с матросами, как он, потому что никто лучше его не знал ни быта, ни нужды, ни сердца матроса, и матросы его любили, хотя он был очень требователен по службе. В разговоре между собою они не называли его ни адмиралом, ни Нахимовым, – он был у них просто Павел Степаныч.

Воспитанный на парусном флоте, знавший в совершенстве все, что касалось управления парусами, способный часами наблюдать в трубу с Графской пристани не только корабли, входившие на рейд и выходившие в море, но даже и шлюпки, что под парусами, Нахимов был поэтом паруса, хотя и видел все преимущества паровых судов, особенно снабженных винтом. Ему нужно было сначала отвыкнуть от парусного флота, чтобы потом привыкнуть к паровому, и то и другое были для него очень длительные и, пожалуй, даже мучительные процессы.

Корнилов как начальник штаба флота жил до войны в Николаеве, где находилось управление флота, но когда бы ни приезжал в Севастополь, останавливался у своего старшего по службе товарища – Нахимова: им было что вспомнить и о чем говорить, не истощаясь, так как состояние флота никто не знал лучше, чем Нахимов. Кроме того, Корнилов видел, что из всех адмиралов один только он без всякой зависти относится к его блестящей карьере.

И вот в полдень 5 октября на Нахимова жестоко свалилась почти вся тяжесть, какая лежала на его друге, между тем как он – адмирал, выброшенный на берег, – чувствовал себя и без того тяжело.

Он не то чтобы растерялся, но он метался по осажденному городу в огромной тревоге за все и всех кругом, и небольшому гнедому коньку его никогда раньше не приходилось столько скакать в разных направлениях.

Раза три в этот день пришлось Нахимову проезжать мимо Михайловского собора, где было поставлено тело Корнилова в ожидании погребения и где толпились моряки и пехотные, прощавшиеся с телом.

Всякий раз Нахимов останавливал здесь гнедого, входил в собор и несколько минут простаивал около гроба, всматриваясь в черты лица, оставшиеся волевыми и после смерти.

И всякий раз он опасливо оглядывал собор, особенно его купол, не попала бы в него шальная, наудачу пущенная бомба большого калибра или конгревова ракета, вполне способная пробить купол и обрушиться вниз. Купол казался ему наиболее непрочным из всего этого обширного здания, а тело того, кто вдунул всю, без остатка, свою душу в дело защиты порта, флота и города, лежало как раз под куполом.

Канонада гремела, и если флот интервентов, выпустивший накануне, как он подсчитал приблизительно, не менее чем полтораста тысяч ядер, бомб и гранат, теперь не рисковал уже подходить близко к береговым батареям и вдали зализывал свои раны, и если большая часть французских мортир и пушек молчала, то английские ревели по-прежнему не умолкая.

### III

Канонада не умолкала и в шестом часу вечера, когда протяжно, печально, глухо зазвонили в колокола в Михайловском соборе, сзывая на панихиду по Корнилову. Речей не было.

С телом прощались молча. В церкви были только те, кто знал Корнилова, а им не нужно было в пышных словах разъяснять, кого именно они потеряли.

При виде этого большелобого, с сурово сжатыми губами адмирала в гробу другие адмиралы, и генералы, и полковники, и майоры, и капитаны флота и армии чувствовали себя наполовину побежденными врагом, и это чувство было жуткое и тяжелое.

Человек, который мог, обращаясь к полку солдат, сказать знаменательные слова: «Ретирады не будет! А если услышите, что я вам скомандую ретираду, колите меня штыками!» – сказал о себе все, и никто не мог бы сказать над его телом ничего сильнее, короче и ярче.

Та воля, которая сплотила все силы и средства для защиты города в часы и дни полной растерянности, разброда, преступной паники, вдруг иссякла, – и в ком же и где было искать новый источник подобной же сильной и зрячей воли?

Может быть, расстроила нервы неслыханная, убийственная, оглушающая канонада, не прекращавшаяся два дня, но плакали здесь, в соборе, многие, даже и те, которые не знали о самих себе, что они умеют плакать.

И Нахимов уже не прятал здесь своего личного горя: стоял со свечой, как и все, ближе всех других к гробу, забывчиво слегка кивал головой, совсем не в такт панихидному пению, и слезы скатывались в его белесые, едва прикрывавшие губу усы.

Вместе с племянником покойного адмирала, гардемаринном Новосильцевым, который до похорон не собрался уехать в Николаев, был в церкви и Виктор Зарубин; отец же Виктора, как это ни было трудно для него, не захотел отстать от сына, раз дело шло о похоронах самого Корнилова, и тоже пробрался внутрь собора.

Он стремился вытянуть свою сведенную от раны ногу, чтобы стать хоть чуть-чуть повыше и разглядеть побольше.

Ведь, кроме Корнилова в гробу и Нахимова около гроба, тут были, озаренные слабым и неверным желтым светом мерцавших свечей, и старый Станюкович, крестившийся частыми и бессильными крестиками около сухого лица, точно стогнал с него докучную муху, и Истомин, урвавший час от своей тяжелой вахты на Малаховом, и оба Вукотича, и Зорин, и много его бывших сослуживцев по затопленному кораблю «Три святителя»...

И всех их хотелось видеть ему, наполовину ушедшему от жизни, у тела того, кто ушел от нее совсем. Он знал великую торжественность подобных минут, когда люди как бы дают свои клятвы умершему, даже если никто из живых рядом не слышит ни одной клятвы.

Но панихида была недолго. Она и не могла затягиваться, потому что суровы были предночные часы: канонада гремела, ядра летели в город; может, уже скопьялись под прикрытием глубоких балок против третьего и четвертого бастионов войска союзников для штурма.

Около собора выстроились батальоны моряков, пехоты и полубатарея в четыре орудия. На рейде корабли скрестили реи и приспустили свои флаги и вымпелы. Гроб вынесли на паперть. Вынесли и бархатную подушку с многочисленными орденами Корнилова. Певчие пели «надгробное рыдание»... Траурная процессия потянулась по Екатерининской улице туда, где незадолго до высадки интервентов так торжественно был заложен новый Владимирский собор над склепом, в котором хоронили года три назад адмирала Лазарева.

Когда Лазарев командовал кораблем «Азов», он зашел однажды в каюту своего молодого лейтенанта Корнилова. Тот сидел за чтением французского романа. Кипа французских же романов лежала у него и на полке каюты.

Лазарев был возмущен таким легкомыслием чрезвычайно.

– Вы, даровитый умный человек, тратите драгоценное время на чтение всякой чепухи! – закричал он. – Я вам запрещаю это как ваш начальник!... Понимаете? Раз и навсегда запрещаю!

Он собрал энергично все книги лейтенанта и выкинул через окошко каюты в море.

– Что же все-таки я должен читать? – ошеломленный, спросил Корнилов.

– А это уж я вам принесу сейчас сам, что вы должны читать!

И капитан Лазарев вышел, но скоро вернулся с кипой совсем других книг. Это были сочинения главным образом по морскому делу.

Прошло четверть века, и ученик стал достоин учителя настолько, чтобы лечь с ним рядом после смерти в одном склепе.

Процессия двигалась. Певчие пели «вечную память» истово и выразительно, чувствуя, что не лгут при этом, как приходилось им поневоле лгать обычно. Темнело быстро. Зажгли факелы.

А ядра и бомбы все еще летели в город.

И одна из бомб разорвалась как раз в хвосте процессии, где шли обыватели. Капитан Зарубин, припечатывая каждый свой шаг толстой палкой и вывертывая замысловато ногу, плелся недалеко впереди и слышал разрыв бомбы, и потом бабий визг и глухой вопль.

Толпа сгрудилась сзади. Донеслись крики:

– Что, аль попало в кого?

– Ну а как же! Известно, попало!

Зарубин остановился в нерешимости, идти ли дальше за гробом Корнилова или повернуть сюда, где в кого-то попало.

Услышал суровые мужские слова:

– Где тут носилок искать на улице... Носилки! Берись за ноги, за руки, тащи прямо в часовню! Там люди найдут, чья она!

– Неужто насмерть? – жалостно спросил Зарубин какого-то бородатого.

– Ну а как же? Известно, насмерть, – ответил бородач. – Баба ведь...

Много ей надо? Осколок в брюхо воткнулся – вот и готово.

Зарубин покачал головой, пробормотал задумчиво:

– Что же тут скажешь, а? Бог знает, что он с нами делает...

Виктор был далеко впереди, жена и дочери оставались дома. (Они перебрались с Северной стороны вечером накануне, когда прекратилась пальба.) Успокоившись за себя и своих, Зарубин заковылял догонять процессию.

Полыхали факелы, придавая всей картине необычайный вид, на обширном, отгороженном забором месте заложенного собора толпились офицеры разных чинов. Батальоны матросов и пехоты и четыре орудия дали положенное число залпов холостыми зарядами.

В последний раз приложились губами к мощному, но холодному корниловскому лбу те, кто был ближе, и вот уже начали забивать крышку гроба.

– А здесь ведь найдется, пожалуй, и для меня местечко! – оглядывая при факеле обширный склеп, неожиданно для нескольких адмиралов, которые удостоились туда войти, сказал Нахимов.

– Ну что это вы, Павел Степаныч! – укоризненно, вполголоса отозвался на это Истомин.

– А что вы думаете? Не заслужу?.. Пожалуй, и правда, не заслужу-с! – поник головой Нахимов.

– Я совсем не в том смысле, Павел Степаныч, – захотел поправиться Истомин.

– А в каком же еще-с?.. Может, вы думаете, что мы из Севастополя живыми выйдем? Нет-с! Не выйдем-с!

Но не было времени ни для праздных гаданий о грядущем, ни для того, чтобы безмолвно пробыть лишнюю минуту около тела Корнилова: мысль о возможности вечернего штурма союзников скоро разметала всех далеко от склепа. Только каменщики остались в нем поспешно укладывать свод из кирпича над свежей могилой.

О том, что ждут штурма ночью, слышал в толпе и старый Зарубин, и когда Виктор разыскал его, отец тревожно говорил сыну:

– Штурма ждут ночью сегодня, штурма! Вот видишь ты, вышло как для нас худо: с одной стороны, и Владимира Алексеича похоронили, а с другой – штурм может быть. Что же теперь должно получиться, а?

– Пустяки! – беспечно отвечал сын. – А матросы?.. Да матросы теперь их не то чтоб штыками, зубами за Корнилова рвать будут!

Горячие слова сына все-таки не убедили отца. Утром вся семья Зарубиных вместе с другими офицерскими семьями перешла из своего дома в адмиралтейство.

#### IV

Прошло еще два дня.

На штурм все еще не отважились интервенты, но канонада 7 октября была уже значительно сильнее, чем 6-го: исправили все свои повреждения французы и поставили даже новые батареи. Замечено было, что появились новые дальнобойные орудия и на Зеленой горе у англичан.

Эта гора была названа так интервентами, но очень молодыми были и названия горы Рудольфа, облюбованной для своих батарей французами, и знаменитого в крымскую кампанию кургана, принадлежавшего в тридцатых годах шкиперу Малахову. Но места эти, как и все места кругом здесь, прихотливо, как в Греции, изрезанные бухтами берега незамерзающего моря, видели на своем веку великое множество больших и малых войн; по ним летали в древние времена и стрелы и камни, выпущенные из катапульт, а соседний с Севастополем – «величественным городом» – Инкерман, «город-крепость» по-турецки, имел не менее как трехтысячелетнюю давность, все расширяясь и обновляясь и украшаясь орнаментами вдоль своих подземных стен из податливого резцу известняка. И каждый уступ на его отвесах, конечно, сотни раз орошался такою дешевой и такою грозной жидкостью, как алая человеческая кровь.

Первые греческие поэты и географы рассказывают с ужасом о неприступных скалах Инкермана, с которых скифы сбрасывали вниз захваченных ими мореплавателей-греков. Эти страшные укрепления тавро-скифов были взяты только Диофантом, знаменитым полководцем Митридата VI, царя понтийского.

Совсем перед Крымской войною златоустый Иннокентий, архиепископ херсонский и таврический, вздумал основать в инкерманских пещерах монастырь, и там поселилось было человек двадцать монахов, устроившихся в этом древнем жилье не так плохо. Монастырек этот был назван киновией во имя святых пап Климента и Мартина.

На северном склоне Малахова кургана, как и на примыкавшей к нему Корабельной слободке, были тоже пещеры, оставшиеся от бывших здесь некогда каменоломен. В этих пещерах селились беднейшие семьи матросов, не имевшие средств даже и для того, чтобы соорудить себе нехитрую хатенку под крышей.

Однако теперь, когда и северный склон Малахова кургана начал обстреливаться столь же беспощадно, как и южный и восточный, занятые редутами хаты подешевели, пещеры подорожали.

Неслыханной силы канонада загнала в землю и тех, кто нападал на город, и тех, кто в нем оборонялся. Землянки были выкопаны и для матросов-артиллеристов, и для офицеров на батареях; контр-адмиралы, ведавшие участками или дистанциями оборонительной линии, имели свои пещеры. Инкерман значительно расширил свои древние границы.

Уже в первые дни канонады до сорока хаток-мазанок на Корабельной слободке было развалено и даже сожжено снарядами и ракетами. Но велика у людей привычка к родным пепелищам и велика сила нужды: матроски все-таки не ушли далеко от редутов, где у многих сражались мужья, а только переселились в глубь слободки, особенно густо заселяя пещеры, имевшие двери только наружу, на улицу.

Изыскивая средства для пропитания своих ребят, они и раньше занимались тем, что пекли на продажу бублики, оладьи, калачи и прочую снедь, но продавали это на рынке. Теперь же рядом с ними появился тот же рынок – пехотные прикрытия бастионов.

К утру четвертого дня канонады матроски уже освоились с ней. Не то чтобы не обращали уж совсем на нее внимания или перестали ее бояться, но начали больше думать о продолжении жизни, чем о близкой и напрасной смерти.

Утром 8 октября соседка уже окликала бодро соседку через узенькую улицу:

– Дунька-а, а Дуньк!.. Чи ты там у себя живая?

– Жи-ва-я, родимец! – откликнулась Дунька.

– О-о! Живая?.. А крышу те не провалило?

– Не-е! Крыша моя стоит целая!

– Вот и слава те осподи!.. А хотя бы ж и крышу – а бы б не голову провалило!

И через минуту:

– Дунька-а!

– А-а!

– За водой со мной пойдешь?

– Пойду, а как же мне – без воды сидеть?

– Ну, тогда бери ведра-то, пойдем, што ль!.. А то мне одной чегой-то показывается вроде как страшно!

И идут вместе с ведрами на коромыслах вниз, к колодцу. И хотя ядра немилосердно рыщут по Корабельной, выискивая себе жертвы, но когда идешь вдвоем, все-таки не так на них обращаешь внимание и поговоришь, кстати, на ходу о том о сем, о своем, о бабьем.

Многочисленная же матросская детвора очень скоро привыкла к ядрам, и они занимали ребят гораздо меньше, чем бомбы.

Ядра просто шлепались в землю, как большие камни, или, если падали на твердое, подскакивали и катились, как мячи. Бомбы же были куда загадочней, таинственней и замысловатей.

Они вертелись, двигались по земле, шипели, как гуси, сыпали искры из своих трубок и, наконец, рвались с раскатистым треском и лупили во все стороны черепками.

Так же точно рвались и бутылки, когда ребята насыпали в них негашеной извести, наливали воды и затыкали бутылку крепче пробкой. Известь нагревалась, набухала, шипела, выстреливала пробку и рвала бутылку в мелкие брызги.

Это было тоже занятно, но бомбы занимали ребят гораздо больше.

В полдень 8 октября первая русская сестра милосердия – матросская сирота Даша – заметила от дверей своего перевязочного пункта на Корабельной, что на улице куча ребятешек лет по девяти-десяти, сцепившись руками, весело танцуют около чего-то на земле и поют.

Они пели звонко:

Бомба идет, бомба идет!

Ух ты-ы! Ух ты-ы!

Кого-то хватит, кого-то хватит!

Ух ты-ы! Ух ты-ы!

В середине их круга вертелась и шипела бомба, готовая взорваться.

Даша не видела ее издали, но догадалась об этом, вскрикнула, обомлела и кинулась к ребятам, крича иступленно:

– Чертенята! Что вы! Игрушка вам это?

Но уже поздно было: впору было самой падать на землю, спастись от осколков. Взорвалась бомба, и двое ребят валялись на земле в крови, а остальные убегали, оглядываясь назад и крича:

– Ваську хватило!.. Митьку хватило!

Они действительно играли, хотя и оказалось, что это была игра со смертью. Но не дано нам в детстве различать, где кончается наша мечта о жизни и где начинается свирепая правда этой жизни.

Когда добежала Даша, один из ребяташек уже не двигался: осколок вонзился ему в висок. И хотя был это небольшой осколок, но она видела, применяя свой недолгий опыт, что ребенок уже безнадежен.

У другого, Митьки – она знала его, – были только сильно изранены ноги, и это он так окровавил землю.

Она схватила Митьку на руки и потащила на перевязочный пункт, возмущенно ворча при этом:

– Удивляюсь я на матерей таких! Чего же они за своими детьми не смотрят?

Отлично знала она, что матерям здесь некогда все время смотреть за детьми: они были в вечной заботе о том, чем бы их накормить, – но нужно же было и ей кого-нибудь обвиновать за Митьку, который если и останется в живых, то будет калекой.

Матери и бежали, обе голорукие и с подоткнутыми подолами, и голосили над убитым Васькой, и порывались за уносимым Митькой: укрытые в своих пещерах от ядер, они стирали белье на офицеров с Малахова кургана. Это были Дунька и ее соседка, ходившие утром за водою вниз к колодцу.

В этот же день вторая русская сестра милосердия, жена батарейного командира Хлапони́на, в госпитале сухопутных войск тревожно, как и во все эти страшные дни канонады, вглядывалась в каждого нового раненого офицера, которого приносили на носилках.

Утром этого дня получен уже был приказ перевезти весь госпиталь в безопасное место на Северную сторону, так как в него часто начали падать снаряды, поэтому здесь все готовились к переезду и дожидались только густых сумерек, когда прекращалась пальба.

С мужем виделась она в ночь с 6-го на 7-е; от него узнала потрясающие подробности о взрыве порохового погреба на третьем бастионе и о смерти ее недавнего гостя капитан-лейтенанта Лесли, быть может разорванного на мельчайшие части, почему и не удалось разыскать его тела, а может быть, просто забитого слишком глубоко в землю.

На ночь она уходила к себе на квартиру, и потому, что ей негде было ночевать в лазарете, и потому, что ночью не было перестрелки, она могла несколько успокоиться за мужа и уснуть, чтобы иметь силы весь следующий день с раннего утра до темноты провести в лазарете.

Однако если на четвертый день к ней уже привыкли, и врачи и смотритель госпиталя – полковник, то она никак не могла заставить себя с необходимым равнодушием смотреть на изувеченные тела, потому что каждую минуту ждала, что вот именно с такою страшною раной, или с такою, или вот с подобной принесут ее мужа.

О том, что муж ее может быть убит и исчезнет бесследно точно так же, как исчез Лесли, она не думала: такая мысль просто не могла бы и появиться в ее голове; она не думала и о том, что он будет убит, как очень многие другие, как все, кроме Лесли, – и эта мысль ее раздавила бы своей тяжестью, если бы овладела ею прочно.

Но испуг за мужа, который может быть ранен, ее не оставлял и первые три дня канонады и перешел на четвертый.

Она безотказно делала в госпитале все, что просили ее делать врачи, так как раненых было очень много, врачей мало и всегда не хватало людей для помощи им при операциях. Она старалась глядеть на страшные раны только вполглаза, у нее так болезненно сжималось сердце,



что ей казалось временами это непереносимым, казалось, что сердце оборвется куда-то и она упадет и умрет.

Тяжелый запах крови и нечистых ран доводил ее до тошноты; тогда она кидалась к окну с разбитым стеклом или открытой форточкой и старалась надышаться свежего воздуха как можно больше.

Но из госпиталя она все-таки не уходила: силилась приучить себя и к страшному виду ран, и к их не менее страшному запаху, потому что такие именно раны и с таким же точно запахом могут появиться на теле ее мужа там, на этом ужасном третьем бастионе, и что же тогда? Тогда он может заметить по выражению лица ее, что ей непереносимо тяжело с ним возиться, и это его убьет.

Падавшие в госпиталь снаряды – причем одним из них на третий день бомбардировки были убиты двое раненых, а двое доведены до безнадежного состояния, – очень нервировали зрителя, который жил здесь с семейством, врачей и всех вообще служащих и тех из раненых, которые не были в беспамятстве.

Офицеры требовали крикливо, чтобы их сейчас же увезли отсюда, что должна быть какая-нибудь разница между госпиталем и бастионом; что они будут жаловаться на такие порядки по начальству и непосредственно в Петербург... Солдаты испуганно оглядывались на окна и потолки и ругали начальство госпиталя за то, что, как им казалось, оно не хлопчет об их переводе отсюда. Но Елизавета Михайловна Хлапонина меньше всего была обеспокоена именно этим, что госпиталь под обстрелом. Неясно, пожалуй, даже для нее самой ей чувствовалось, что так она сопереживает с мужем хотя бы отчасти то, что делается на третьем бастионе и около него, а более ясно в ней возникала боязнь, что до Северной стороны труднее будет доставить раненого с третьего бастиона, что придется перевозить его через Большой рейд на шаланде, что он много крови потеряет дорогой, что испытает страшно много боли от толчков на такой длинной дороге... Наконец, пугало ее еще и то, что на Северной стороне было Братское кладбище, куда ежедневно на подводах возили десятками сразу убитых и умерших от ран.

В полдень 8 октября она вышла из госпиталя затем, чтобы немного подышать свежим чистым воздухом, взглянуть на голубое небо, на золотые листья тополей и белых акаций, которые были посажены кругом госпиталя, а главное – чтобы посмотреть туда, в сторону этого ужасного третьего бастиона.

Как раз в это время солдаты подносили сплошь окровавленные, без перемены служившие уже который день носилки с ранеными.

Это было так обычно для нее в последнее время, что вот именно эти носилки и в этот именно час совсем не показались ей как-нибудь особенно тревожащими: просто вот принесли еще кого-то, еще одну несчастную жертву войны. Подойдя к носилкам, она открыла лицо раненого, ничего не спросив у солдат, открыла по создавшейся уже привычке и... отшатнулась.

То, чего она ожидала – отнюдь не веря в это, впрочем, – все последние дни, оказалось вдруг до того неожиданным, что потрясло ее всю с головы до ног, как электрическим током: на носилках лежал ее муж, глаза у него были открыты, и рот открыт, но он глядел совершенно бессмысленно и не узнавал ее, и из открытого рта его не вырвалось ни одного слова, ни даже стона...

– Митя! – крикнула она. – Митя!

Солдаты, не опуская носилок, но не двигаясь с ними и вперед, смотрели на нее с недоумением, но участливо, догадавшись уже, кем она приходилась раненому офицеру, но раненый не изменил ничего в своем взгляде и не закрыл рта.

Тогда она вскрикнула и упала в обморок рядом с носилками, ничком, лицом в опавшие с тополей листья...

Осмотрев Хлапони́на, старший врач госпиталя решил, что он, раненный в плечо и сильно контуженный в голову, пожалуй, может оправиться, если только за ним будет тщательный уход и если будет лежать он подальше от грохота орудий.

На другой же день Елизавета Михайловна повезла своего мужа на извозчике в Симферополь.

## V

Двенадцатая дивизия, посланная Горчаковым 2-м на помощь Меншикову, начала подходить эшелонами, начиная с 3 октября, а 9 октября уже все четыре полка ее, Азовский, Днепровский, Украинский и Одесский, были в сборе у деревни Чоргун, в тылу позиции интервентов. Дивизия была почти полного военного состава – пятнадцать тысяч штыков.

Однако как раз в это же время большие подкрепления получили и интервенты: в Париже и Лондоне хотели покончить с Севастополем как можно скорее и потому не скупились ни на войска, ни на издержки по их перевозке.

Из Варны приплыла к французам бригада африканских конных егерей под командой генерала д'Алонви́ля, бригада пехоты генерала Базена и дивизия Лавалье́на. Так что число французских войск выросло до пятидесяти тысяч, английских же с прибывшим подкреплением – до тридцати пяти тысяч.

Русская армия численно значительно (тысяч на двадцать) уступала к 9 октября армии интервентов, хотя, кроме 12-й дивизии, к Севастополю подошли: Бутырский пехотный полк, 4-й полк 17-й дивизии генерала Кирьякова, запасные батальоны Минского и Волынского полков, Уральский казачий полк, батальон стрелков, батальон пластунов и другие мелкие части.

Наконец, Горчаков, кроме своего 4-го корпуса, отправил Меншикову и двести тысяч серебром, потому что боялся, что у него мало денег на содержание войск. А так как Меншиков больше нуждался в порохе, чем в деньгах, то несколько тысяч пудов пороху, предназначенного для Бендер, были отправлены по приказу Горчакова в Севастополь; 10-я и 11-я дивизии шли сюда же ускоренными маршами.

Однако Горчаков писал при этом Меншикову (конечно, по-французски): «Войска, посылаемые вам, хороши, но вы не поддавайтесь на их хвастовство: они скажут, что готовы штурмовать небо. Дело в том, что они будут стойки при защите данной местности, но не ждите от них смелых атак. У неприятеля слишком большой над нами перевес в вооружении. Храбрейшие из начальников и офицеры бросятся, как угорелые, и будут выведены из строя, а все войско потом покажет тыл. Говорю вам это по опыту. Считал долгом предупредить вас об этом. Впрочем, говорю это для очищения совести, убежденный, что будете стараться затягивать дело, не рискуя ставить его на одну неверную карту...»

Такие советы давал умудренный Дунайской кампанией Горчаков 2-й, но совсем другие, не советы уж, конечно, а приказания, получал Меншиков от Николая.

Самодержец требовал наступательной войны и считал, что посылаемых светлейшему подкреплений для этого вполне достаточно. Он писал ему: «...Остальные две дивизии 4-го корпуса следуют к тебе безостановочно, и, таким образом, любезный Меншиков, сделано все и, смею сказать, более, чем почти можно было, чтобы помочь тебе уничтожить замыслы вражки. Остается молить Бога, чтобы это, последнее уже, подкрепление дошло еще вовремя, чтобы спасти Севастополь».

Стремясь всячески руководить Крымской войной из гатчинского дворца, Николай не только не хотел считаться с технической отсталостью своей армии, не только ожидал от нее исключительных подвигов, но еще и предупреждал своего главнокомандующего в Крыму, что больше подкреплений он не получит. Единственно, что он обещал ему еще, это прислать к

нему двух своих сыновей – Михаила и Николая. Если он думал обрадовать этим Меншикова, то, конечно, ошибся.

«Европейский рыцарь», как любил себя называть русский самодержец, имел огромную по тому времени армию под ружьем, но она была распылена по западной границе и Кавказу, причем для защиты одного только Петербурга и прилегающих к Рижскому заливу берегов сосредоточено было сто семьдесят тысяч.

Но русская власть в Польше тоже, по его мнению, нуждалась в сильной защите – так же как и граница с вероломной Австрией, военного выступления которой, притом очень большими силами, он не переставал бояться.

Наконец, интервенты могли ударить и на Одессу, и на Николаев, на Херсон, потому и здесь нужно было держать сильные гарнизоны...

Английский адмирал Непир, хвастливо обещавший в Лондоне «позавтракать в Кронштадте, а отобедать в Петербурге», правда, держался на приличной дистанции от Кронштадта, но все-таки крейсировал в Рижском заливе; кроме того, англичане делали попытки нападать и на Соловки, и на Петропавловск-на-Камчатке, как бы желая показать вездесущность и всемогущество своего флота.

Это обилие уязвимых мест заставляло Николая быть прижимистым в расходовании войск на Крымскую кампанию: ему все казалось, что здесь только демонстрация, а настоящий сокрушительный удар ему готовится Парижем и Лондоном где-нибудь в другом месте.

В начале 1850 года, то есть всего за три года до начала Восточной войны, Корнилов был командирован Лазаревым в Петербург к Меншикову как к начальнику главного морского штаба, чтобы исходатайствовать нужные суммы для укрепления Севастополя как порта. Меншиков направил Корнилова непосредственно к царю, который и дал ему аудиенцию, очень примечательную тем, что на все просьбы Корнилова Николай отвечал однообразно:

– Понимаю, что надо бы это сделать: сам люблю во всем порядок, – да денег нет!.. Хотел бы дать, да не из чего: за что ни возьмешься, везде требуется монета!.. Денег нет, денег нет... Что делать с этим, когда их так много нужно?..

Так Корнилов и не добился ассигнований ни на устройство казарм, ни на ремонт госпиталя, ни на другие постройки и ремонты.

Как тогда не было у царя для Севастополя денег, так и теперь не было войск. А между тем никто так, как именно царь, не ожидал, что чуть только с прибытием всего 4-го корпуса армия Меншикова сравнится численно с армией интервентов, Севастополь и флот будут спасены.

«Когда дойдут 10-я и 11-я дивизия, – писал он Меншикову, – надеюсь, что ты во всяком случае найдешь возможным нанести удар неприятелю, чтобы поддержать честь оружия нашего. Крайне желательно в глазах иностранных врагов наших и даже самой России доказать, что мы все еще те же русские 1812 года, бородинские и парижские. Да поможет тебе Бог великосердный!»

В этом же письме Николай особенно рекомендовал Меншикову начальника 12-й дивизии генерал-лейтенанта Липранди. Липранди действительно был одним из наиболее способных и образованных генералов николаевской армии.

В молодости участник семнадцати сражений во время Отечественной войны, он был потом в армии Дибича, когда Николай затеял войну с Турцией в 1828 году, затем отличился при штурме Варшавы, наконец, показал себя опытным и находчивым в Дунайскую кампанию, насколько можно было это сделать под командой такого путаника, как Горчаков 2-й, который тоже расхваливал Липранди в письме к Меншикову.

Но у Меншикова были свои причины отнестись и к Липранди так же подозрительно, как относился он ко всем особо рекомендуемым ему лицам. Он считал Липранди виновником гибели лично ему известного полковника Андрея Карамзина, сына историка.

Гусарский полк под командой только что прибывшего из Петербурга в армию Карамзина, совершенно не знавшего местности и не имевшего никакого военного опыта, был послан Липранди в рекогносцировку, но наткнулся на большие турецкие силы, был почти окружен, едва вырвался, но потерял пятую часть гусар и самого Карамзина: раненный, он был взят в плен, и паша приказал отрубить ему голову, так же как и молодому князю Голицыну, тоже лично известному светлейшему.

Кроме того, Меншиков не одобрял нерешительные, как ему казалось, действия Липранди, осаждавшего турецкое укрепление Калафат, хотя в этом случае всякая решительность действий была строго воспрещена самим Горчаковым, и Липранди тут был ни при чем.

Самого Липранди Меншикову никогда не приходилось видеть, и вот в лагере на Бельбеке начальник 12-й дивизии представился ему вместе с последним своим эшелоном.

Он оказался старым уже человеком, но еще очень бодрым и, главное, державшимся безукоризненно прямо и грудью, а не животом, вперед. Росту он был большого, большеголовый, в плечах плотный, в движениях неторопливый. Но неприятно внимательными и даже как будто слегка насмешливыми показались Меншикову светлые глаза Липранди на довольно свежем еще лице без морщин.

Кроме того, неприятно было и то князю, что говорил этот генерал с Георгием на шее очень правильным, вполне литературным языком, без каких-либо вставок, запинок, эканья, пауз; как это было, по его мнению, свойственно природным русским.

Горчаков писал Меншикову о Липранди: «Если у вас есть свободная минута, заставьте Липранди рассказать вам об всем, что касается сохранения солдата. Это человек с прекрасными мыслями в этом отношении».

Но такой свободной минуты у Меншикова не нашлось, да и вопрос о сохранении солдата не занимал его: на очереди стоял вопрос о расходе солдат, так как подготавливалось наступление.

– Вы прибыли ко мне, Павел Петрович, как раз вовремя, – говорил он Липранди. – Бомбардировка Севастополя продолжается союзниками с очень большим усердием... цель этого усердия ясна, конечно: подготовить штурм. Мы отвечаем, конечно, но они гораздо лучше нас снабжены порохом, а у нас – у нас пороха мало. Может случиться так, что еще три-четыре дня, и мы уж будем отвечать одним выстрелом на два. Следственно, надо отвлечь их внимание от Севастополя.

Меншиков говорил это медленно, вопросительно, присматриваясь к Липранди и как бы не желая высказываться сразу до конца.

– Для того чтобы кого-нибудь отвлечь, надо его оттащить, а для того чтобы оттащить, надо схватить за шиворот, то есть сделать диверсию в тыл, ваша светлость, – слегка улыбнулся одними только глазами Липранди.

– В тыл, да! Диверсия в тыл союзников – это и есть моя мысль! – оживился Меншиков. – Вот эту задачу я и хотел бы возложить на вас.

– Очень благодарен вам за доверие, ваша светлость, – наклонил голову Липранди, – но пока я не видал местности...

– Вы, разумеется, ее увидите сегодня же, – перебил Меншиков.

– Затем я хотел бы видеть и те части, какие вы мне вверяете, ваша светлость.

– Вы их видели и знаете гораздо лучше меня: это четыре полка вашей же дивизии и с вашей артиллерией.

– Только-то? – очень удивился Липранди. – Значит, это именно моя дивизия и в состоянии схватить за шиворот и оттащить всю армию союзников? Я, признаться, не знал за нею таких исключительно больших достоинств! У меня самая обыкновенная пехотная дивизия, ваша светлость.

Тон, каким было это сказано, совершенно не понравился Меншикову. Он прищурил глаза и насторожился.

Липранди же продолжал, как начал:

– Предпринимать дело наступления можно только с полным вероятием на успех, а иначе лучше его не начинать. Я держусь такого мнения, ваша светлость.

– Хорошо, вот сегодня же вы сделайте рекогносцировку от селения Чоргун и представьте мне ваши соображения, – сухо отозвался Меншиков. – Не смею задерживать вас больше.

Липранди откланялся и в тот же день, взяв с собою двух своих командиров бригад – Семякина и Левуцкого – и четырех командиров полков, в числе которых был генерал-майор Гриббе, отправился осматривать тыл позиций интервентов.

С этих позиций, расположенных на длинной Сапун-горе, могли отлично разглядеть – и, конечно, разглядели – большую конную группу, появлявшуюся то на одном, то на другом холме по линии Чоргунских высот, а еще лучше она была заметна с четырех английских редутов, перегородивших Балаклавскую долину от деревни Комары до Сапун-горы. Но за этой линией редутов шла вторая, перед селением Кадык-Кой, а за ним расположены были две сильные батареи. Однако и это было еще не все.

Балаклава прикрывалась непрерывными траншеями, соединявшими ряд батарей от горы Спилии до селения Кадык-Кой.

Комары были заняты неприятельскими аванпостами, а впереди Кадык-Коя виднелся большой лагерь кавалерии рядом с лагерем пехоты. Кавалерия эта была дивизия лорда Лукана, состоящая из двух бригад: тяжелой драгунской под командой Скарлета и легкой смешанной под командой лорда Кардигана, – а пехота – 93-й шотландский полк. Дальше, к Балаклаве, стояли флотские команды.

– Ну, что вы скажете, Константин Романыч, насчет того, как они закупорили свою Балаклаву? – обратился Липранди к Семякину.

Приземистый, сутулый, косоплечий, пожалуй, очень некрасивый и на лицо и по фигуре, генерал Семякин вздохнул кротко и сказал:

– Балаклаву заткнули на славу... Откупорить эту бутылочку будет трудненько.

– А можем ли мы взять ее одною нашей дивизией, как полагаете?

– Одною дивизией нашей? – Семякин поглядел вопросительно на Липранди, не шутит ли, поглядел еще раз на все укрепления англичан и ответил решительно: – С одною дивизией на Балаклаву идти можно только во сне.

– А первую линию редутов?

– Это совсем другой вопрос – первая линия! Если отдадут они их нам, то возьмем.

– То есть как это «если отдадут»?

– То есть если не придвинут очень больших резервов... Если пойдем сразу и дружно, то взять их можно.

– Вот в этом именно смысле я и думаю ставить задачу... Идти на большее мы не имеем сил, – значит, не имеем и права.

И тут же на месте Липранди распределил, кому и куда идти и что делать. Но другой план, гораздо более обширный, он таил про себя и с ним поехал вечером к светлейшему.

По этому плану предполагалось, взяв передовые редуты, идти не на Балаклаву, а прямо на Сапун-гору, куда вели из долины три дороги и куда Липранди думал подняться тремя колоннами, распылив таким образом силы противника.

Он рассчитал, что к 22 октября должны были прибыть 10-я и 11-я дивизии, и тогда в Чоргуне можно было бы собрать шестьдесят пять батальонов, семьдесят эскадронов и сотен и двести орудий. С этими силами он брался опрокинуть интервентов.

Он говорил горячо и убедительно, но Меншиков смотрел на него с недоумением и даже как будто с сожалением, что он, по общему мнению, человек умный, допустил такую нелепость, будто ему, всего только начальнику дивизии, дадут в командование целую армию! Он не сказал

этого, конечно, но Липранди почувствовал, что именно это он и хотел дать ему понять, когда, покашляв скромно и усмехнувшись слегка, заговорил вполголоса:

– У нас истощаются запасы пороха, о чем я уже ставил вас в известность; у меня есть все основания предполагать, что союзники вот-вот сочтут подготовку к штурму законченной и пойдут на штурм. . . А вы строите мне какие-то воздушные замки на двадцать второе октября! Мы и одного дня не можем ждать, не только две недели! Поэтому-то я и предлагаю вам захватить только линию передовых окопов и их удержать за собою.

– Ваша светлость! С одной своей дивизией я и этого не смогу сделать, – обиженно ответил Липранди. – Редуты можно бы было, пожалуй, занять, но удержать их будет более чем трудно.

– Я вам дам еще бригаду кавалерии генерала Рыжова. . . Затем, пожалуй, еще два казачьих полка – Донской и Уральский.

– Кавалерия, конечно, может мне пригодиться на случай действия против английской кавалерии, но этого мало. . . Мне нужен заслон со стороны Сапун-горы, предпочтительнее всего на Федюхиных высотах. Для этой цели, я думаю, довольно было бы одной бригады при опытном командире.

Меншиков недовольно несколько раз слегка покашлял и, отвернувшись к окну, сделал свою затяжную гримасу в ответ на такое вымогательство и, наконец, сказал:

– Хорошо, я назначу для этой цели Владимирский и Суздальский полки под командой Жабокритского. . . Еще что?

– Для выполнения только этой задачи – а именно овладения четырьмя редутами – мне больше ничего не нужно, ваша светлость, но я считаю своим долгом доложить, что шаг этот только обострит внимание союзного командования на свой тыл, и, пока подойдут десятая и одиннадцатая дивизии, оно так может укрепить его, что тогда уж ему не опасны будут все наши усилия.

Меншиков задумчиво побарабанил пальцами по столу и обещал обсудить его проект, но на другой же день, 10 октября, к Липранди приехал посланный им полковник Попов и передал, что ждать прихода всего 4-го корпуса для наступления совершенно нельзя, что бомбардировка слишком сильна, что нет пороха, что нужно сделать хотя бы что-нибудь, дабы отвлечь неприятеля.

Так было решено произвести давление в сторону Балаклавы.

## **Глава вторая**

### **Балаклавское дело**

#### **I**

Бивуачные ночные костры догорали, и люди и кони, густо скопившиеся в узкой Чоргунской долине, начали чувствовать вкрадчиво жалящий холодок, набегавший порывами со стороны моря: наступало утро 13 (25) октября, в которое приказано было Меншиковым дивизии генерала Липранди нажать на Балаклаву.

Еще не светало, только еще готовилось светать – чуть брезжило. Орудия, упряжки, люди еще не воспринимались глазами, а смутно угадывались в темноте.

Окрики были негромки, манерки звякали о приклады тихо, и даже лошади, проникаясь таинственностью обстановки, фыркали вполголоса, ссорились между собою сдержанно, подымая беспокойно головы, часто ставили уши торчком, вслушиваясь в отдаленное.

Эти лошади пришли с берегов Дуная, из армии Горчакова. Они были участницами не одного там сражения с турками, и у русских солдат успели уже сложиться приметы, в которые твердо верили, особенно кавалеристы. Если лошади ржут наперебой одна за другою, если то

ложатся, то срыву вскакивают, то снова ложатся, – быть дальнему походу; если какая лошадь перед боем стоит понурясь и не ест – значит чует, что быть ей убитой, а если ластится к своему хозяину и смотрит на него пристально и жалостливо – значит, его убьют.

Такое явное предпочтение лошадиного ума своему извинительно было старым солдатам николаевских времен: дисциплина тогда на том только и покоилась, что всячески укрощала пытливость ума человека.

Солдаты и в это наступающее утро перед боем совершенно не знали, куда и зачем они пойдут; еще меньше знали они, как встретит их неприятель.

Но когда собираешься в бой, не нужно иметь много ума, чтобы догадаться, что могут тебя и убить, не только ранить. Поэтому у догорающих костров шла деловая передача от земляка к земляку последних просьб – сдать тому-то или переслать туда-то родным в случае смерти те небольшие деньги, которые за долгую службу скопились у каждого из этих старых усачей.

Иные пожилые семейные офицеры, сидя на корточках у тех же костров, при беглом свете их, наскоро, карандашами в записных книжках писали духовные завещания; другие, молодые, рвали письма, не желая, чтобы в случае смерти они попали в чьи-либо посторонние руки.

Когда полки 12-й дивизии стягивались накануне к Чоргуну, их встречал сам Липранди, чтобы каждому батальону прокричать несколько бравых слов и выслушать в ответ: «Рады стараться, ваше прево-сходи-тель-ство», – а по оттенкам разноголосых криков этих решить про себя, ожидает ли его успех на другой день утром.

Он гадал по этим крикам, как гусары по своим лошадям. Опытным ухом он слышал, что солдаты кричат «от сердца» и стараться будут.

Теперь же эти, сердца которых он подслушивал: народ уже обстрелянный, обдержан-ный в ежовых рукавицах войны, кто подремавший час-другой, завернувшись в шинель, кто не сомкнувший на ночь глаз, – были уже бодры и хлопотливы: ожидалась команда строиться.

И команда эта пришла; и, осмотрев в последний раз ружья и патронные сумки и подтянув ремни ранцев, стали поротно выстраиваться пехотинцы; похлопав и погладив коней и попробовав на ощупь подпруги, садились в седла гусары и уланы; за орудием орудие вытягивались в строй батареи...

Командующим отрядом, легким на руку генералом Липранди, было сказано наконец: «Марш!» Приказ этот передали от старших младшим, и передрагсветное движение началось в том порядке, который указан был в диспозиции, розданной командирам отдельных частей накануне.

От каменного Трактирного моста через Черную речку вправо разлеглись Федюхины высоты – два длинных холма, разделенных балкой, по которой проходила дорога из Балаклавы на Инкерман; высоты эти должна была занять бригада генерала Жабокритского – Владимирский и Суздальский полки.

К лежащей версты за три влево греческой деревне Комары, из которой еще в сентябре Раглан выгнал всех жителей, подозревая их в шпионстве в пользу русских, двинулась колонна генерала Гриббе, около полка пехоты с батареей и уланами. А прямо по Балаклавской долине, в сторону укрепленного англичанами селения Кадык-Кой, охраняемого, кроме того, еще и цепью сильных редутов на холмах, повел главные силы генерал Семякин.

Он ехал на смирном казачьем маштачке соловой масти, неуклюжий, в плохо пригнанной, встопорщенной горбом сзади солдатской шинели, в низко надвинутой на уши фуражке, и совершенно ничего – ни воинственного, ни начальственного – не было в его отяжелелой от лет, подавшейся на седле вперед фигуре.

Щеголеватый, подбористый полковник Криднер, командир Азовского полка, которого назначил Семякин для атаки первого и самого сильного из английских редутов, держался рядом с ним и поневоле был молчалив, потому что сосредоточенно молчал Семякин.

Светлело быстро. Утренний ветер утих. Туман сползал к морю. День обещал развернуться ясный – может быть, даже жаркий, – как было накануне.

Темно-синие, оторвались от неба и четко обозначились вершушки Сапун-горы, которая занята была охранительным корпусом Боске. Зоркие молодые глаза пытались даже и без зрительных труб разглядеть на ней кое-где кавалерийские пикеты французов.

Правее пяти батальонов Семякина двигалась уступами 2-я бригада дивизии Липранди. Ее вели генерал Левуцкий и полковник Скюдери, командир Одесского полка. Она должна была занять остальные три редута после того, как будет захвачен первый, самый сильный, на холме, названном союзниками холмом Канробера.

За Одесским полком шагом, как на учении, вытянулась бригада гусар – лейхтенбергцев и веймарцев, – которую вел старый генерал Рыжов.

Веймарцы на гнедых конях и лейхтенбергцы на вороных и сами в черных ментиках, шитых золотом, краса отряда, очень смутно представляли, придется ли им, и если придется, то как именно, участвовать в бою. Но сам Рыжов, начальник всей кавалерии в Крыму, получил приказ Липранди выжидать окончания действий пехоты, и чуть только последний редут англичан будет занят, броситься в карьер на английскую кавалерию и смять ее.

Накануне, вместе с Липранди, Семякиным, Левуцким и другими, Рыжов выезжал на рекогносцировку и видел четыре редута на холмах и укрепленный лагерь английской кавалерии за этими редутами, вблизи селения Кадык-Кой, но сомневался, чтобы редуты, такие сильные на вид, могли быть взяты. Уже свыше сорока лет прошло с тех пор, как был он произведен в первый офицерский чин. Он участвовал еще в трехдневном бою под Лейпцигом, был в войсках, вступивших в Париж; вслед за тем на его глазах проведены были еще девять кампаний, но ему никогда не приходилось получать приказания, подобного тому, какое он получил накануне от Липранди.

За день перед тем, отправляя его к Чоргуну из лагеря на Каче, с ним очень любезно говорил сам светлейший. Он просто сказал: «Вы присоединитесь к двенадцатой дивизии...» Но присоединиться к пехотной дивизии и даже поступить под команду Липранди (хотя они в равных чинах) еще не значило получить такую диспозицию, какую придумал этот любимец генерала Горчакова.

Он утешал себя мыслью, что ему, может быть, придется только ударить в тыл бегущему противнику, хотя сильно сомневался и в этом.

Под его командой было еще три конных полка: два казачьих – Уральский и Донской – и сводный уланский, который сопровождал колонну Гриббе. И он вообще не понимал, зачем Липранди потребовал так много кавалерии для наступления на сильно укрепленные позиции в местности, очень пересеченной, крайне неудобной для действия конными частями.

– Ну, куда тут пушу я два полка в атаку? – ворчливо говорил он командиру лейхтенбергцев генерал-майору Халецкому, ехавшему с ним рядом. – Там, у англичан, все изрыто какими-то безобразными окопами, вы видите?

– Окопы?.. Я вижу кусты, а насчет окопов... В какой стороне вы разглядели окопы? – поворачивал голову то вправо, то влево Халецкий, длинный, с хрящеватым носом и жилистой шеей.

– Кусты, совершенно верно, кусты! – тут же согласился Рыжов. – Теперь и я вижу, что кусты, а совсем не окопы... Однако не один ли это черт, благодарю покорно?

И он пучил круглые светлые глаза, ерзая жесткими на вид седыми бровями недоуменно и сердито.

Между тем со стороны Комаров и монастырька Ионы Постного донесся гулкий штуцерный выстрел, первый и потому показавшийся всем неумеренно значительным. За этим выстрелом забарабанило вразброд несколько еще: это, отстреливаясь, отходили от Комаров аванпосты союзников.



– Ну вот!.. Началось! – строго поглядел на Халецкого Рыжов.

Потом он медленно снял фуражку и торжественно перекрестился три раза.

Халецкий поспешно сделал то же, но тут же достал часы и проговорил ненужно подчеркнуто:

– Ровно шесть! Согласно диспозиции!.. Примерный командир этот Гриббе!

– У Липранди они, кажется, все примерные, – проворчал Рыжов. – А что Одесский полк? Остановился или продвигается?.. Остановился ведь. Что же вы? Не видите разве, что остановился? Значит, и нам стоять.

– Полк, сто-о-ой! – повернул коня боком к передним рядам Халецкий, и конский топот утих постепенно от передних к задним.

Солнце выкатилось из-за моря багровое. По Сапун-горе забегали красноватые отблески, очень беспокойные на взгляд. Зарозовели и Федюхины высоты, где устанавливались орудия впереди жиденьких батальонов владимирцев, которых еще не успели пополнить после жаркого дела на Алме.

Однако и орудия батарей 12-й дивизии и зарядные ящики к ним без заметной торопливости выдвигали на линии дюжие крупные кони, и скоро прогремел первый выстрел из полевой пушки.

Халецкий снова вынул часы и сказал:

– Десять минут седьмого.

– Странное дело, благодарю покорно! – суетливо задвигался на седле Рыжов. – Чего же молчат их редуты?

Но тут за клубился розовый дым над холмом Канробера, и загрохотал очень мощный выстрел в ответ.

– Ого! Это крепостное! – проговорил Халецкий, ища вверху глазами снаряд.

Рыжов тоже задрал голову кверху, адъютант же его, поручик Корсаков, показал в промежутке между первым и вторым редутами, обращаясь к своему генералу:

– Ваше превосходительство! Вон на рысях идет их батарея из резерва!

Залп из орудий невдалеке стоявшего Одесского полка заглушил его слова.

Вверху становилось все светлее и голубее от подымавшегося солнца, внизу – все неразборчивей и туманней от расползавшегося всюду дыма. Орудийные выстрелы гремели чаще; дело на подступах к Балаклаве, над обдумыванием которого трудились накануне Липранди и Семякин, началось именно так, как об этом говорилось в составленной ими диспозиции.

Даже то, что на Сапун-горе выстраивались колонны французов из корпуса Боске, предусматривалось заранее: отряд Жабокритского и занимал Федюхины высоты только затем, чтобы противодействовать обходу справа, на который мог отважиться Боске.

Полковник Войнилович, командир дивизиона лейхтенбергцев, не старый еще, черноусый, плечистый, крепкий на вид человек, спросил у Рыжова, где же именно лагерь конницы союзников.

Балаклавская долина в этом месте была неширока. До Комаров от позиции гусарской бригады можно было дать глазомерно версты две; столько же до Сапун-горы. Правее гусар шла дорога от Мекензиевых гор на Балаклаву, а впереди редуты, поперек долины, тянулось Воронцовское шоссе. Из-за дыма, окутавшего редуты, трудно было рассмотреть не только лагерь союзной кавалерии, но даже и селение Кадык-Кой, и Рыжов только указал наудачу в сторону между третьим и четвертым редутами, махнув при этом рукою и усмехнувшись, как принято усмехаться заведомо пустой затее, которая, конечно же, будет отменена.

Несколько поодаль от гусар расположился Уральский казачий полк. Хотя полк этот не находился в непосредственном подчинении Рыжова, но Рыжову было неприятно, что командир его решил держаться чересчур самостоятельно, не подъезжает к нему и не просит у него никаких объяснений, даже спешил, как и несколько офицеров около него.

Это вывело из себя Рыжова.

– Поручик Корсаков! – крикнул он адъютанту. – Как-нибудь поделикатнее напомните вы этому болвану, что он не в резерве, а в боевой линии, да! Что каждую минуту, благодаря покорно, могут ему приказать бросить полк туда или сюда в атаку!

Корсаков бросился к уральцам.

– Ну, что он сказал, этот болван? – спросил Рыжов Корсакова, когда он вернулся от командира уральцев.

– Удивился, ваше превосходительство, – улыбаясь, ответил адъютант. – Однако на коня сел.

Уже все три десятка орудий отрядов Семякина, Левуцкого и Скюдери заговорили громко и согласно. Войнилович разглядел сквозь дым, что английская батарея из шести орудий, занявшая было промежуток между первым и вторым редутами, повернула в тыл, и Халецкий, победно щелкнув крышкой своих золотых часов, отметил:

– Половина седьмого!

Из редутов выстрелы были подавляюще гулки, но редки, и чем дальше, тем реже. Оживленно шла перестрелка штуцерных с той и с другой сторон, таившихся за кустами. Однако ближе к семи часам, когда стало уже совсем по-дневному светло в небе, редуты первый и второй умолкли.

– Ого! Кажется, наша берет! – оживленно сказал Войнилович, подкачнув крупной головой.

Видно стало, как донская легкая батарея против третьего редута снялась с передков и передвинулась вперед: это значило, что там ослабел даже и штуцерный огонь противника.

– Покорно благодарю, а? Кажется, мы скоро начнем штурмовать их, а?.. – не столько радостно, сколько встревоженно обратился к Халецкому Рыжов и энергично оттянул раз, и два, и три тугие седые усы.

Действительно, скоро заметно стало движение в отряде Семякина, и показался на своей лошадке сам Семякин почему-то с обнаженной, несколько как будто башкирского склада головой. Фуражку свою он держал в обеих руках перед собою.

Может быть, он что-нибудь говорил солдатам, но слов его не было слышно. Видно было только, что он низко поклонился вперед, потом вправо, потом влево, поднял фуражку и показал ею в направлении холма Канробера, потом нахлобучил ее также обеими руками на самые уши и повернул маштачка. Азовский полк ротными колоннами двинулся в атаку под музыку и барабанный бой, заглушавшие перестрелку штуцерных.

Роты шли без выстрела.

Солдаты не сбивались с ноги и отбивали шаг торжественно, хотя редут весь был заволочен дымом от сильного ружейного огня его защитников. Ряды обходили убитых и тяжело раненных, свалившихся на землю, и смыкались вновь, а легко раненные шли вместе с другими, не отставая, поскольку хватало сил.

Эта атака пехотинцев была похожа на атаку конницы – таким широким шагом двигались роты, и так быстро сокращалось расстояние между ними и подножием холма.

Гусары стали на стремяна, чтобы лучше видеть.

Вот уже к самому холму подошли первые две роты. Напряженно ждали гусары «ура!», и «ура!» донеслось до них. Азовцы ринулись вперед и облепили холм.

Это было подмывающее зрелище: со штыками наперевес иные бежали наискось по холму, сталкиваясь и подпирая один другого, другие, более запальчивые и молодые, уверенные в себе, карабкались прямо по крутогорью к амбразурам орудий и вот уже лезли через амбразуру внутрь редута.

Редуты защищали турки. «Ура!» мешалось с криками «алла!». Опытные глаза гусар, отбывавших Дунайскую кампанию, видели, что штыковой бой там, внутри окопа, начался.

- Возьмут!.. Сейчас возьмут! – вскрикнул поручик Корсаков.
- Раз орудия там молчат – значит, редут уже наш! – радостно отозвался ему Войнилович.
- И значит, нам надо готовиться к атаке! – подхватил Халецкий, вопросительно поглядев

на Рыжова.

Рыжов же, вооруженный зрительной трубой, взятой им у ординарца, следил за тем, что делалось на холме Канробера, напряженно и молча.

И вдруг закричал он:

– Бегут! Турки бегут, благодарю покорно!.. Англичане тоже отступают!

И снова припал глазами к трубе.

Правее дороги, на которой стояли гусары, проскакала вперед кавалькада всадников: сам командующий боем генерал Липранди и несколько человек его адъютантов, – а через две-три минуты – барабаны, полковая музыка, и на второй и третий редуты двинулись батальоны Левуцкого, а на самый отдаленный, четвертый, – Одесский полк.

Однако турки, сидевшие в этих трех редутах, даже не защищались и не захотели принимать штыкового удара русских, как в первом: они бежали вслед за своим командиром Сулейманом-пашою.

Часть их, добежавшая до стоящего в резерве пехотного полка шотландцев, была остановлена этим полком, но другая часть рассыпалась по палаткам лагеря шотландцев, хватала там на скорую руку все, что считала поценнее, и мчалась дальше.

Расстроенное воображение турок рисовало им картину, близкую к картине Потопа: русские войска казались им теперь неисчислимыми и несокрушимыми, почему им и хотелось как можно скорее добраться до спасительных кораблей Балаклавской бухты, но отнюдь не с пустыми руками.

А между тем канонада под Кадык-Коем встревожила уже Балаклаву, и из обширного лагеря около нее шли на помощь шотландцам гвардейская дивизия герцога Кембриджского и дивизия генерала Каткарта, а на Сапун-горе Боске выстраивал в линию позади укреплений весь свой корпус, и сюда, как в место более высокое и прочное на случай атаки русских, скакали оба главнокомандующих союзных армий – Канробер и Раглан.

Четвертый редут, замыкавший долину, был очень близок к Сапун-горе, поэтому, чуть только был он занят одессцами, на нем стали рваться французские бомбы.

Липранди заметил это, и от него был послан прикомандированный к нему Меншиковым капитан-лейтенант Виллебрандт с приказом срыть вал редута, изрубить лафеты взятых там трех орудий, а тела орудий сбросить с горы.

Разгоряченный успехом дела, статный и красивый полковник Скюдери, выслушав Виллебрандта, с полным недоумением поглядел на него и кругом на своих одессцев.

– И потом что же должен я делать? – резко крикнул он. – Отступить?

– По всей вероятности, отступить – что же вы можете делать еще? – в свою очередь спросил его Виллебрандт, преувеличенно хлопая густыми белыми ресницами как крыльями.

– Отступить? – повторил Скюдери крикливо, исказив красивое лицо.

– Непременно! – уверенно и даже несколько свысока, как адъютант не Липранди, а самого светлейшего, ответил Виллебрандт.

Скюдери оглянулся на задымленную Сапун-гору, с которой летели ядра и бомбы, и, выхватив шашку, зло и звонко ударил по лафету стоявшего около него английского орудия, которое нельзя было вывезти отсюда как трофеем.

## II

Генерал Рыжов старыми, но еще зоркими глазами пристально вглядывался через трубу в эту движущуюся панораму боя, где густо заволоченную дымом, где очень четкую, яркую, но тем не менее весьма загадочную.

Он заметил и кавалькаду – Липранди с его штабом – на холме Канробера и встречавшего своего начальника дивизии мешковатого Семякина, которого узнал по казачьему маштачку соловой масти; разглядел хозяйственную суету и оживление на редутах втором и третьем, которые днепровцы и украинцы уже деятельно принялись приспособлять к защите на случай штурма союзников, но то, что увидел на четвертом редуте, поставило его в тупик: два задних батальона Одесского полка от него отходили.

Правда, на самом редуте все время рвались снаряды, но батальоны шли не вперед, а назад, – это было не совсем понятно.

– Посмотрите, мы отступаем, или что это? – передал он встревоженно трубу Халецкому.

– Может быть, маневрируем, – отозвался Халецкий.

– Маневрируем?.. Как именно и зачем?

Маневрировать совсем не значило отступить и не снимало вопроса об атаке английской кавалерии, поэтому Рыжов снова взял трубу у Халецкого.

Кавалерия англичан стояла так же неподвижно, как и раньше; левее ее виднелся тот самый, по номеру 93-й, шотландский пехотный полк, который собрал около себя батальоны бежавших из редутов турок, а еще дальше – полевая батарея.

Рыжов понимал, что Липранди еще лучше, чем он отсюда, видел оттуда, с первого редута, и пехотный английский полк и орудия, которые могут осыпать гусар пулями и картечью, если они в самом деле отважатся атаковать бивук кавалерии. И чем больше вглядывался в то, что его ожидало в случае атаки, тем становился спокойнее: рождалась непоколебимая уверенность, что нелепая атака эта будет отменена.

Когда же он совершенно успокоился на этот счет, то тронул лошадь и двинулся шагом вдоль фронта лейхтенбергцев.

Всего за минуту перед этим гусары, тревожившие его тем, как-то будут они вести себя в бою, теперь становились для него с каждым шагом его лошади, прекрасной вороной кобылы Юноны, обыкновенными гусарами каждого дня. Нахмурясь, он вглядывался привычно инспекторски в посадку каждого и в стойку коней, но вдруг поднял плечи и брови.

– Это что за чучело такое? А-а?

Он заметил, что бок и даже шея одного коня были щедро выпачканы глиной.

– Ты-ы! – крикнул он гусару. – Как фамилия?

– Сорока, ваше превосходительство! – ответил молодой еще гусар.

– Со-ро-ка?.. Скверная ты птица, почему не чистил лошади?

– Выкатался, ваше превосходительство, аж перед тем как сидали на коней, а ночью чистив, – отнюдь не робко объяснил Сорока.

– Кто твой взводный?

– Старший унтер-офицер Захаров, ваше превосходительство! – заученно, поэтому очень отчетливо отчеканил Сорока.

– Унтер-офицер Захаров! – позвал Рыжов.

– Я, ваше превосходительство! – отозвался пожилой, с седеющими у висков баками унтер, сидевший в седле как влитой.

– Лы-ычки сдеру, слышишь? – погрозил ему пальцем Рыжов.

– Слушаю, ваше превосходительство, – не моргнув, ответил молодцеватый Захаров.

Как раз в это время Халецкий, который уже принял было невольно позу за дело, правда, но совсем не вовремя получающего замечание, увидел скакавшего к ним в карьер всадника.

– Кажется, какой-то адъютант командующего, – сказал он Рыжову, показав на всадника подбородком, и Рыжов, мгновенно обернувшись, замер.

Всадник, пехотный штабс-капитан, был действительно послан Липранди. Подскакав, он переводил глаза с одного кавалерийского генерала на другого, не зная, который из них Рыжов, но, заметив три звездочки на погоне более старого, отрапортовал без запинки:

– Командующий отрядом, генерал Липранди, приказывает вам, ваше превосходительство, сейчас же вести бригаду гусар в атаку согласно диспозиции!

– Как, сейчас же в атаку? – опешил Рыжов.

– Приказано – с места в карьер, ваше превосходительство, – дополнил штабс-капитан.

– Нельзя с места в карьер на дистанцию в полторы версты! – строго, как истину, которую не мешает знать даже и штабс-капитанам, не только пехотным генералам, сказал Рыжов, поглядел на Халецкого и добавил решительно: – Где генерал Липранди?

Штабс-капитан указал рукою. Липранди спустился уже с холма Канробера, и вся кавалькада его стояла метрах в четырехстах от передних рядов гусар.

Рыжов подобрался и, точно желая показать пехотинцу-адъютанту, на какую дистанцию можно пускать кавалерию с места в карьер, дал Юноне шпоры. Нагнув голову, кобыла помчалась вскачь, сразу оставив далеко за собою лошадь адъютанта. Оставляя свою бригаду, Рыжов успел только крикнуть Халецкому: «Рысью, вперед!» – и показать направление: полки должны были проезжать мимо Липранди, и Рыжов вполне надеялся на свою Юнону, что она их догонит.

Липранди удивился, увидев перед собой старого генерала с красным и потным лицом и сердитыми глазами.

– Прошу дать мне колонновожатого! – закричал Рыжов. – Я не знаю местности!

– Как так не знаете? – удивился Липранди. – Видите – вон артиллерийский парк англичан, – указал он рукою на тот самый кавалерийский бивук, который изучал в трубу Рыжов.

– Парк? – удивился и Рыжов. – Значит, там парк?.. Прошу дать мне в провожатые вот капитан-лейтенанта! – кивнул он на Виллебрандта. – Как севастополец он знает, конечно, здешнюю местность.

– Простите, ваше превосходительство, я не могу с вами... – весьма решительно отказался Виллебрандт.

– Я приказал Уральскому полку идти вместе с вами... – сказал между тем Липранди. – И донской легкой батарее вас поддержать.

Рыжов невольно оглянулся, услышав в это время пронзительное гиканье и лихой топот: карьером мчался, справа по шести, Уральский полк.

– Я могу ехать с вами! – вдруг сказал какой-то капитан генерального штаба, бывший в свите Липранди.

– Благодарю покорно! – наклонился в его сторону Рыжов, взял под козырек, прощаясь с Липранди, и помчался догонять свою бригаду, стараясь в то же время не обгонять капитана и своего адъютанта, поручика Корсакова.

### III

Полки перешли уже на большую рысь, когда поравнялся с лейхтенбергцами Рыжов, но не больше как через полминуты Юнона, одна из резвейших лошадей во всей 6-й кавалерийской дивизии, догнала лошадь Халецкого, который вел бригаду в атаку.

Капитан свиты Липранди – его фамилия была Феоктистов, – припав на скаку к луке, указывал блестящей шашкой направление, наиболее удобное и короткое, но ряды мчались расстроенные.

Кусты виноградника, хотя низкие и довольно редкие, хлестали лошадей по ногам. Кое-где между кустами валялись убитые и тяжело раненные стрелки...

Свистел воздух около, но свистели и пели кругом пули шотландцев, рвалась картечь... Наконец, скакать пришлось в гору, так как на высоком сравнительно месте расположилась английская кавалерия.

Поразило Рыжова, что она стояла неподвижно.

Сам он скакал, как Мюрат, не вынимая сабли. Он уже различал впереди огромных всадников на огромных гнедых конях с черными гривами. То, что показалось Липранди артиллерийским парком, были простые обеденные столы между коновязями, отделявшими эскадрон от эскадрона.

Уральцы опередили гусар.

В лохматых рыжих шапках, с пронзительным гиканьем, они уже гарцевали перед молчаливым плотным строем английских красных драгун, не решаясь все-таки врубиться в их стену.

Когда эскадроны пущены в атаку в карьер, их уже нельзя останавливать, чтобы не ослаблять силы их стремительного удара. Рыжов еще заранее приказал своим эскадронным командирам выноситься на скаку уступами влево – этого требовал развернутый строй английских драгун.

И вот, блестя поднятыми саблями, разгоряченные всадники неслись на разгорячившихся конях всесокрушающей на вид лавиной, а их встречала бригада тяжелых драгун Скарлета загадочной тишиной и опущенными клинками.

Первым доскакавшим эскадроном был эскадрон Войниловича. Он врубился в ряды англичан, и началась сеча.

Рыжов, отставший от Халецкого, чтобы руководить боем обоих полков, видел, как этот всегда хладнокровный и точный человек взмахнул над головой окровавленной уже саблей и как потом, через момент, брызнула на его широкий погон кровь из его левого уха, отрубленного английским клинком.

Но нельзя было смотреть на одного в общей свалке. Кругом звякали, скрещиваясь, сабли, кругом вскрикивали и хрипели люди, взвизгивали и грызли кони...

Первый эскадрон веймарцев угодил с разгону как раз против коновязей и обеденных столов. Лошади, безудержно рассказавшись, прыгали через коновязи и опрокидывали столы...

Метнулся в глаза лейхтенбергец из молодых солдат, с очень знакомым, хотя и искаженным напряжением схватки лицом. В два сильных удара свалил он с коня огромного красного драгуна, напавшего на Войниловича.

– Молодец, Сорока! – бормотнул Рыжов, припомнив фамилию гусара. – Крест тебе, крест!..

И теперь, в разгаре сечи, не понимал он, как и прежде, зачем послал его бригаду в атаку Липранди. Англичане, видимо, тоже не поняли этого, почему и стояли на месте. Но бой был бой, раз он начался, и некогда уже было думать ни о чем другом, кроме боя.

Халецкий, зажав пальцами левой руки ухо, а ладонью – раненую шею, повернул коня в тыл, ища глазами кого-нибудь из эскадронных цирюльников, которые были также и фельдшерами, чтобы сделать себе перевязку, остановить кровь; Войнилович же еще рубился...

Красномундирные огромные всадники на очень рослых и мощных красно-огненных, с черными челками и гривами, конях держались стойко. Между тем уральцы почему-то носились назад и вперед далеко вправо, в стороне от боя, вместо того чтобы обскákat англичан и врезаться в них с их левого фланга.

Рыжов только что хотел послать к ним Корсакова с приказом атаковать драгун, но, оглянувшись, увидел, что адъютант его бессильно припал к шее коня, раненный пулей в бок, – в крови был левый бок.

Рыжов повернул Юнону, чтобы помочь как-нибудь поручику, но вдруг Юнона сделала совершенно ненужный прыжок, до того неожиданный, что он едва усидел в седле, и стала валиться на землю, дав ему время только выхватить ногу из стремени.

Шотландская пуля попала ей в голову несколько выше глаза. Раз три жестоко ударилась она головою о землю и вытянула шею.

Юнона была у Рыжова пять уже лет, но некогда было тосковать о ней, шел бой, нужна была другая лошадь: нельзя было оставаться пешим командиру кавалерийской бригады во время боя.

Поручик Корсаков не падал со своего коня – его можно было еще увезти в случае отхода к своим.

Но вот около самой головы Рыжова тесно пришлась голова вороной лошади. С нее спрыгнул унтер-офицер Захаров, которого четверть часа назад обещал он разжаловать в рядовые, и очень быстро, но четко сказал:

– Пожалуйста, ваше превосходительство, извольте садиться!

– Ага! Да!.. А ты как же? – спросил Рыжов, занося ногу в стремя.

– Найду себе, ваше превосходительство!.. Вот только седло сыму, – нагнулся он над Юноной.

– Брось! Что ты выдумал! – крикнул Рыжов, но тут же повернул свою новую лошадь и поскакал в сторону веймарцев, перед которыми начали уже пятиться красные драгуны.

– Урра-а! – кричал Рыжов, входя в азарт победы.

– Урра-а-а! – кричали веймарцы, а за ними и лейхтенбергцы, перед которыми тоже уже кое-где начали показывать черные хвосты своих коней англичане.

Захаров же не спеша, но привычно легко и ловко расстегивал ремни седла, бормоча при этом:

– Как же можно дать пропасть седлу генеральскому? Чудное дело!

Донская батарея, устроившись в тылу гусар, состязалась с английской полевой, но английские снаряды падали и туда, где скопились раненные гусары; пули же шотландцев становились метче и злее.

Гусары гнали уже красных драгун, но подходили на выручку им шотландские стрелки, подъезжали ближе орудия...

– Труби отбой! – кричал трубачам Рыжов – Аппель!

Трубачи, как петухи утром, подхватили звуки «аппеля», но гусары в пылу сечи забыли, что такое там выговаривают звонкие трубы.

Полковник Войнилович за шиворот оттащивал назад своего спасителя Сороку, а когда собрал первый эскадрон, то увидел в нем унтера Захарова верхом на огромном гнедом английском коне и с генеральским седлом, накинутым на переднюю луку английского седла.

Отступать после атаки, хотя бы и очень удачно проведенной, искусство гораздо более сложное, чем самая атака.

Халецкий, голову и шею которого наскоро бинтовал не цирюльник, а его же ординарец унтер Зарудин, заслышав трубы, по привычке вынул часы и проговорил:

– Ровно семь минут рубки.

Однако за эти семь минут рубки третья часть офицеров в полках оказалась вышедшей из строя и сильно поредели ряды гусар.

Поддерживать в седле Корсакова Рыжов назначил было двух рядовых, но подъехал выпущенный им из виду капитан Феоктистов и сказал:

– Я могу помочь поручику; я не ранен пока...

– Где же вы были? – спросил удивленный Рыжов.

– Нечаянно попал в свалку, но уцелел, – спокойно ответил Феоктистов.

Перерубленный погон его мундира болтался, мундир спереди был забрызган кровью, хотя, видимо, не своей.

Когда спускались вниз, в долину, под певучими пулями шотландцев и турок эскадроны, холодело между лопатками у Рыжова: вот-вот пустятся в карьер им вдогонку красные драгуны и начнут рубить, как капусту.

Но драгуны не двинулись с места. Слишком ошеломлен был генерал Скарлет лихим нападением русских гусар и достаточно потерь было в его эскадронах, чтобы так круто переменить роли.

Уральцы передовыми были и при отступлении; прогарцевав в стороне до отбоя, они при первых же звуках труб двинулись назад большой рысью, не потеряв ни одного казака, ни одной лошади.

И чем ближе были свои и полная безопасность, тем злее становился Рыжов на Липранди и за этих бесполезных для дела уральцев, и за вопиюще нелепую затею атаки, благодаря которой совершенно зря потерял он столько солдат, и офицеров, и адъютанта, к которому привык, и Юнону, которую не продал бы и за большие деньги.

– Прошу подтвердить перед генералом Липранди, – сказал он, улучив минуту, Феоктистову, – что не артиллерийский парк мы атаковали, но, за неимением оного, только коновязи и столы!

#### IV

Однако Липранди знал, зачем посылал гусар Рыжова в атаку. Предприятие это было дерзкое, что и говорить, но оно и должно было показаться неприятелю дерзким: оно должно было ошеломить его именно этим бьющим в глаза избытком силы и удали, которые бросаются как будто совсем ненужно щедро; оно должно было заставить задуматься.

Он предвидел, что против его дивизии будут стянуты немалые силы, и хотел выгадать время, чтобы перестроить свои для отражения атаки.

В разные стороны разослал он адъютантов, чтобы стянуть полки и батареи ближе к правому флангу, которому могла угрожать спешно спустившаяся в долину с Сапун-горы бригада генерала Винуа.

В зрительные трубы видно было, что солдаты этой бригады шли совсем налегке, без ранцев, – так спешил Винуа поскорее помочь англичанам.

Французская кавалерия – африканские конные егеря под командой д'Аленвиля – тоже мчалась уже выручать Скарлета.

Французам было гораздо ближе, однако и английские дивизии подходили, спешно вызванные из лагеря под Балаклавой Рагланом.

Первыми пришли гвардейцы молодого герцога Кембриджского, за ними – дивизия старого и опытного генерала Каткарта, получившего известность своими удачными действиями в колониальных войсках.

Видя, что линия редутов уже потеряна, эти дивизии устанавливались у подошвы Сапун-горы, под прикрытием батарей Боске.

Войска стягивались отовсюду к левому флангу союзников и правому русскому флангу. Поэты сравнили бы их с тучами, которые ползут, клубятся, тучнеют, набухают, становятся лилово-черными, чтобы разразиться, наконец, молниями, громами и ливнем.

Бригада Рыжова стояла теперь на своей прежней позиции, но позади линии батарей, перегородивших по приказу Липранди всю долину от Комаров до Федюхиных высот в ожидании атаки союзников.

Бригада потеряла при отступлении еще несколько десятков человек от пуль и картечи, но не менее потеряли и драгуны Скарлета, запоздало кинувшиеся было в погоню за русскими



гусарами; их встретили дружным огнем стрелки, рассыпанные в кустах впереди батарей, и они повернули обратно.

– Опять эти уральцы торчат перед нами, как шиши, благодарю покорно! – возмущенно говорил Рыжов Войниловичу, к которому перешло теперь командование Лейхтенбергским полком.

Уральцам приказал Липранди вытянуться развернутым фронтом шагах в сорока за батареями и шагах в пятидесяти от гусар, построенных в колонны к атаке.

– Они нас прикрывают теперь от всех нападений, – пытался улыбаться Войнилович.

Первым врезавшийся в гущу красных драгун, он чудесно вышел из сечи без царапины, и эта удача его очень ободрила – ради нее он готов был извинить даже и уральцев.

Шестой эскадрон Веймарского полка был поставлен Липранди с правого фланга уральцев под прямым к ним углом, а три эскадрона улан полковника Еропкина – с левого фланга, укрыто за холмом, заросшим кустами. Получался как бы бредень из конницы, в мотне которого таилась бригада Рыжова.

Чтобы четвертый редут, покидаемый Одесским полком как слишком удаленный не был занят союзными батареями снова, Липранди приказал скрыть вал и уничтожить все прикрытия на этом редуте, после чего отступать. Одесцы и сделали это не спеша, хотя их и обстреливали с Сапун-горы. Три орудия они сбросили с холма, как было приказано, но Раглану показалось, что русские, отходя, потому что не могут держаться, увозят и английские пушки.

Он сделал простой подсчет: на Алме, у аула Бурлюк, после кровавого боя и больших потерь англичанам удалось захватить только два легких подбитых русских орудия, брошенных в эполементе за полным истреблением лошадей и прислуги при них, а здесь, где англичане чувствовали себя дома, вдруг неожиданно ворвавшись, русские захватили и увозят, отступая, не два, а одиннадцать крупных орудий, из которых восемь крепостных!.. Что будет писать после этого о нем, Раглане, «Таймс» и другие газеты Англии? Пусть виноваты в этом турки, бежавшие из редуты, но кто же посадил турок защищать редуты, как не он сам, Раглан, почти уже маршал Англии?

И Раглан тотчас же – это было около полудня, – послал приказ графу Лукану, который командовал всей вообще конницей англичан.

Приказ этот был короток, ясен и прост: бросить вслед отступающим русским всю кавалерию, разбить их, занять их позицию и отнять увозимые ими английские пушки. Старый Каткарт получил тоже приказ закрепить успех конных полков.

Раглан считал стыдом для себя и для целой Англии обращаться за помощью к французам: победа над русскими должна была завершиться силами одних только английских полков.

Лукан тоже видел отход русских батальонов с четвертого редута; но вот отошли они и стали, и никаких следов отступления нигде в русских войсках. Куда же было пускать конницу в атаку?

Лукан медлил, время шло, Раглан наблюдал с Сапун-горы бездействие своей кавалерии и бесновался.

От генерал-квартирмейстера Эри послан был к Лукану один из адъютантов, капитан Нолан, с запиской: «Лорд Раглан желает, чтобы кавалерия, двинувшись быстро, преследовала неприятелям старалась во что бы то ни стало воспрепятствовать ему увезти наши орудия. Конная артиллерия может вам содействовать. Французская кавалерия – на вашем левом фланге. Немедленно».

Лукан прочитал приказ, огляделся кругом, всмотрелся в расположение русских и ничего все-таки не понял.

Французскую кавалерию слева от себя он видел, конную артиллерию справа от себя тоже видел, но не видел отступления русских и не знал, куда направить атаку.

И он сказал Нолану:

– Я не могу исполнить того, чего нельзя исполнить. Приказ для меня совершенно неясен.

– Как неясен? – удивился Нолан. – Нужно атаковать нашей кавалерией русских.

– Нельзя преследовать того, кто не отступает, – вы меня поняли? – сердился Лукан. – Я не вижу, чтобы русские увозили наши пушки... Куда же должен пустить я свою кавалерию?

– Туда, милорд! – Нолан решительно указал рукой на редуты. – Там наши враги, там наши пушки, которые должны быть отбиты вами.

Из двух бригад, которые были под командой графа Лукана, свежей была только легкая бригада Кардигана.

Кавалерия Англии тех времен была предметом совершенно исключительных забот, внимания и надежд правительства, общества и печати.

При майоратной системе, когда только первенцы наследовали своим отцам в обладании именьями, все прочие помещичьи сынки, покупая офицерские чины, охотнее всего поступали и принимались именно в кавалерию, где для них изобреталось столько должностей, что число офицеров в полках едва не равнялось числу простых солдат, взятых по вербовке. И каждый вступающий в семью офицеров кавалерии считал долгом чести ввести в конский состав полка лошадь исключительных качеств.

Конские состязания – дерби – воспринимались всею Англией как национальный праздник, заставляющий в этот день жить одною жизнью и лордов, и их поваров, и горничных, и миллионеров Сити, и последних уличных нищих – словом, как принято было говорить тогда, «весь свет и его жену» (all the world and his wife). Когда несколько кровных лошадей английской кавалерии утонуло при высадке десанта – об этом писали во всех английских газетах как о большом несчастье.

Дерзкая атака русских гусар стоила также не одного десятка этих великолепных животных, а запальчивость Скарлета, бросившегося вдогонку за уходившей бригадой Рыжова, значительно увеличила число выбывших из строя коней. И вот теперь совершенно безумный приказ лорда Раглана ставил под удар русских пушек и стрелков и человеческую знать Англии и конскую знать.

Когда гусары Рыжова атаковали тяжелую конницу Скарлета, легкая кавалерия лорда Кардигана – бригада в пять полков по два эскадрона в каждом – стояла во второй линии, в резерве, и ничем не помогла красным драгунам, даже не двинулась с места. Даже когда капитан Моррис, командир уланского полка, сам просился идти на помощь драгунам, Кардиган отказал ему в этом.

Как и Скарлет, Кардиган, дожив до пятидесяти семи лет, совсем не имел военного опыта и не участвовал ни в одном сражении. Бой на Алме был первый виденный им бой, и воспринимал он его только издали, как любой зритель.

Теперь, после того как бригада Скарлета понесла потери, она была отправлена во вторую линию, а в первой стояло пять полков Кардигана.

К ним подъехал вместе с Ноланом граф Лукан, когда Раглан повторил свое приказание.

– Вы должны бросить свою бригаду в атаку на... русскую кавалерию, – сказал Кардигану Лукан.

Быть может, это было неожиданно даже для самого Лукана, что с языка его сорвалось слово «кавалерия»: в приказе Раглана не было этого слова, однако в приказе этом не было указано и вообще никакого определенного пункта для атаки.

– Значит, я должен пустить бригаду этой долиной? – указал Кардиган в ту сторону, где стояли за жидкой оградой уральцев плотные колонны гусар Рыжова.

– Да, именно этой долиной, – подтвердил Лукан, так как не видел возможности для конницы скакать на редуты.

– Мы попадем в мешок, – сказал возмущенно Кардиган. – Вы видите, надеюсь, батареи русских против нашего фронта, а на обоих флангах еще и батареи стрелков?

– Вижу, – ответил Лукан. – Но что же делать? Нам с вами не остается ничего другого, как только исполнить приказ главнокомандующего.

При этом разговоре двух генералов присутствовал и капитан Нолан. То, что говорилось о долине и русской кавалерии, показалось ему полным извращением приказа Раглана. Ведь приказано было отбить английские пушки, которые были еще там, в стороне редутов.

И он поскакал слева направо перед фронтом, указывая рукой на третий редут и крича:

– Туда! Туда!

Это было картинно, но пущенная со стороны третьего редута граната разорвалась около Нолана, и его ударило в голову осколком.

Испуганный конь помчал его, залитого кровью и мозгом и запутавшегося ногами в стременах, далеко прочь от фронта, но это прозвучало для колебавшегося Кардигана категоричнее приказа главнокомандующего. Он подбросил голову, сказал Лукану: «Мы пойдем!» – выхватил саблю и прокричал командные слова атаки.

## V

Гусары – лейхтенбергцы и веймарцы – отдыхали после атаки.

Удачна она была или нет, но она была произведена ими безотказно, и отдых свой они считали заслуженным.

Больше того: они полагали, что сражение вообще окончено, – уже час с лишним стояли они как бы в резерве.

Офицеры спешили. Даже сам Рыжов слез со своего нового коня размять затекшие старые ноги.

Он спросил унтера Захарова, какое имя носит этот конь, чтобы и он знал, как надо к нему обращаться, но бравый унтер, с опасностью для собственной жизни спасший генеральское седло от гибели, несколько замялся с ответом, наконец сказал как-то, пожалуй, даже стыдливо:

– Так что, ваше превосходительство, жеребец мой всем справный, а имя дали ему вроде как совсем незавидное.

Оказалось, что жеребца звали Перун, но солдаты по-своему переделывали все пышные имена коней, какие придумывали для них офицеры, и вместо кобылы Дарлинг, например, получалась кобыла Дарья, вместо Марии Терезии – Марья Терентьевна... В этом же роде, простонародно, только совсем неудобопроизносимо, переименовано было и звучное имя Перун.

Все-таки Рыжов, несмотря на такое неприличное имя коня Захарова, обещал добродушно этому бравому унтеру внести его в список отличившихся во время боя гусар.

Ординарец же Халецкого, который стоял теперь в строю, в первом ряду первого эскадрона, оказался спасителем командира полка: он схватил за грудки того английского драгуна, который ранил Халецкого, и с первого удара своей златоустовской саблей перерубил его латы, а со второго зарубил насмерть.

Это был тот самый богатырски сложенный и большой военной сметки гусар, который захватил в плен близорукого полковника генерального штаба Ла-Гонди перед сражением на Алме, за что получил от Меншикова полтора ста рублей ассигнациями и крест.

Теперь Рыжов обещал ему второй крест.

И Сороку не забыл он и его поздравил с будущим крестом, но все-таки осмотрел его лошадь со всех сторон. Никаких грязных пятен на ней теперь не оказалось.

– Когда же ты успел ее вычистить, Сорока? – спросил Рыжов.

– Никак нет, ваше превосходительство, не чистив, – простосердечно ответил Сорока. – Так что сама собою обчистилась.

И небо было чистое, голубое. Стрельба из пушек редкая. Казалось всем, и самому Рыжову, что едва ли что-нибудь еще разыграется в этот день.

И вдруг тревожные крики со стороны батареи донцов:

– Кавалерия с фронта!.. Кавалерия с фронта!..

Это вихрем мчалась по долине прямо на них бригада Кардигана. Некогда было даже и взглядываться и прикидывать на глаз число эскадронов; впору было только вскочить самим в седла.

Беспорядочную пальбу открыли штуцерные там, впереди, два-три заряда картечи успели выпустить донцы, но полки англичан мчались таким бешеным аллюром, что это не остановило и не могло остановить их.

Вот они уже налетели на батареи донцов и начали рубить прислугу и заклепывать орудия, чтобы увезти с собою на обратном пути.

Жидким строем стоявшие уральцы повернули коней и кинулись на лейхтенбергцев. И так недавно еще рубившиеся с красными драгунами лейхтенбергцы не выдержали этого напора. Кто-то бессмысленно крикнул «ура!», другие подхватили, и все беспорядочной массой нажали на веймарцев...

За веймарцами дальше был деревянный мост через Черную речку, над водопроводом, доставлявшим воду в севастопольские доки. Перед самым мостом с этой стороны стояла конная батарея 12-й дивизии.

Видя растерянность уральцев и гусар, мчавшихся к мосту, желая спасти орудия, артиллеристы повернули лошадей к тому же мосту, чтобы проскочить на другой берег Черной, но сюда же мчались и казаки донской батареи, огибая беспорядочно толпившихся и кричавших гусар. Донцы спасали только себя, упряжки и передки, орудия же были ими брошены на позиции.

Домчавшись до моста раньше веймарцев, артиллерия загвоздила мост. Иные гусары гнали коней просто в воду, хотя берега Черной были тут очень топкие, другие же остановились поневоле: эскадроны англичан наседали на плечи и рубили – нужно было защищаться.

Напрасно, выпучив глаза и надрываясь до хрипа, кричал Рыжов:

– Куда-а?.. Братцы, сто-ой!

Его, командира бригады, теперь уже никто не слушал.

Он видел, как недалеко от него хотел было собрать своих лейхтенбергцев полковник Войнилович, но только унтер Зарудин конь о конь с ним бросился навстречу английским уланам, и оба они были мгновенно смяты и пронизаны пиками у него на глазах.

Тогда он выхватил саблю. Он перестал уже самому себе казаться Мюратом. Как ни неожиданно свалилась гибель на его гусар, он обвинял в ней себя и хотел бросить Перуна в ряды англичан. Он искал смерти.

Однако Перун не шел вперед, упирался, нагнув голову, потом рванулся в сторону за каким-то гнедым конем: это Захаров дернул его по-хозяйски за поводья, чтобы выхватить своего генерала из злой сечи.

Все кругом неразборно перепуталось и смешалось: уральцы в рыжих шапках, лейхтенбергцы в черных ментиках, уланы и гусары Кардигана, сабли и пики, лошади разных мастей... Орало, гоготало, визжало, стонало, звякало, стреляло из пистолетов и карабинов, гулко топало копытами по дереву моста, звонко сваливалось в воду, вязло в пожелтелых чащах осоки на речке...

Батальон Украинского полка, стоявший в резерве за речкой, и рота – прикрытия обоза 12-й дивизии, не открывавшие огня, чтобы не перестрелять своих, – стали в каре и ошетинились штыками для встречи неприятельской кавалерии, как это было предписано уставом полевой службы.

И большая часть передового эскадрона англичан сгоряча проскочила уже по мосту на другой берег, гоня перед собою казаков и гусар, но Кардиган понял, что чем дальше заберется

он в распоряжение русских, тем труднее будет ему возвращаться обратно, и теперь уже английские, а не русские трубы трубили отбой.

Однако и Липранди заметил, что безумно-стремительная атака английской конницы не поддерживается почему-то ни артиллерией, ни пехотой.

С холма, на котором стоял, он видел разгром донцов, уральцев и гусар Рыжова. У него оставался только сводный полк улан Еропкина. К нему он послал Виллебрандта: уланы должны были отстоять честь русской кавалерии – ударить во фланг англичанам, когда придется им отступать.

Батальоны Одесского полка придвинулись на ружейный выстрел из гладкостволок; стрелки-штыцерники стянулись спешно к тому склону долины, по которому промчались эскадроны Кардигана; легкие батареи выстроились за стрелками с той и другой стороны.

Можно было думать, впрочем, и так, что Кардиган будет возвращаться какою-либо другой дорогой и тем совершенно спутает карты Липранди.

Но было великолепное презрение к опасности у этого пятидесятилетнего лорда или просто отуманил его легкий успех, одержанный над русскими, только именно по тому же самому пути, уже усеянному трупами своих убитых людей и лошадей, в порядке, изумительном для отступающей кавалерии, совершенно как на учении близ лагеря, возвращалась сильно уже поредевшая легкая бригада, и офицеры-уланы полка Еропкина, глазами знатоков кавалерийской службы наблюдая этот обратный марш, переглядывались удивленно, даже готовясь к своему фланговому удару.

Кардигану пришлось забыть о заклепанных, готовых к увозу в английский стан орудиях донцов, мимо которых он несея теперь; предварительные команды: «По отступающей кавалерии вдогонку пальба ротою», – отзвучали уже в ротах одессцев; теперь раздавались только короткие исполнительные: «Рота... пли!»

Залп следовал за залпом. Одиночные стрелки-штыцерники развили самый частый огонь. Картечь рвалась над головами скакавших... Пройденный путь оказался теперь крестным путем.

Через головы убитых или тяжело раненных коней летели всадники, кони скакали, волоча всадников, которые были тяжело ранены или убиты.

Наконец, выждав свой момент, кинулись из засады во фланг отступавшим с пиками наперевес, поэскадронно, уступами, три эскадрона сводных улан.

Кое-кто из солдат Одесского полка принял их за англичан тоже потому, что были они на разномастных лошадях, чего в русской коннице не допускалось; в них полетело несколько своих пуль, и оказались убитые лошади и раненые люди; это произвело замешательство в уланах и спасло не одного из английских кавалеристов.

Но атака все-таки произошла и была сокрушительной. Началась жестокая схватка. Даже отрезанные, англичане не сдавались в плен, и часть их все-таки пробилась.

За самим Кардиганом погналось было несколько человек улан, но конь его был известный всей Англии дербист, лауреат ипсонских скачек, умчал своего хозяина, неудержимо махавшего влево и вправо саблей, и мчал так стремительно, что оказался далеко впереди жалких остатков легкой бригады, добравшихся до английских позиций.

Под начальством Кардигана было до тысячи прекрасных всадников на породистых конях в начале его безумной атаки и всего около двухсот, из которых только третья часть была нераненых, – в конце. Легкая кавалерия англичан перестала существовать.

Наблюдавший рядом с Рагланом начало и конец действий этой конницы генерал Боске сказал ему:

– Я ничего и никогда не видел великолепнее сегодняшней атаки, но, к сожалению, так совсем нельзя воевать!

## VI

Французская кавалерия в этот день воевала более расчетливо. Это была бригада африканских конных егерей под командой генерала д'Алонвиля. Она одержала немало побед над алжирскими кабилами во время восстания Абд-эль-Кадера. Егеря помчались в атаку немного позже Кардигана. Им было приказано нанести поражение отряду Жабокритского на Федюхиных высотах, артиллерия которого очень досаждала союзникам.

Д'Алонвиль разделил свою бригаду на два отряда, чтобы одним уничтожить артиллерийскую прислугу, другим – пехоту.

Атака обоих отрядов егерей была стремительна, но два неполных батальона владимирцев – все, что осталось от полка после сражения на Алме, – встретили африканцев таким сосредоточенным огнем, что д'Алонвиль счел за лучшее повернуть обратно.

Эта атака помогла остаткам конницы Кардигана проскочить остаток их пути: около четвертого редута, где они могли бы быть совершенно истреблены батареями с Федюхиных высот, – но зато вывела из строя до полусотни егерей д'Алонвиля.

Так закончилось к часу дня дело под Балаклавой, единственное в своем роде.

Как флот союзников после 5 (17) октября больше уже ни разу всей своей массой не подходил к грозным севастопольским фортам с желанием померяться с ними силой, так и конница ярко блеснула через неделю после того на Балаклавской долине как будто только затем, чтобы потом совершенно угаснуть и предоставить дело войны только сухопутной артиллерии и пехоте.

Перестрелка в тот день тянулась еще часа три, но была уже выдыхающаяся, вялая, бесцельная.

Собрались и выстроились в боевой порядок дивизии союзников, но оба главнокомандующих согласились с тем, что силы их слабы для наступления, и отвели, наконец, войска, уступив поле сражения русским.

Раглан был под тяжелым впечатлением полного истребления бригады Кардигана и боялся еще значительно увеличить свои потери. Неудача этого дня поразила старца чрезвычайно.

– Как могли вы атаковать русскую батарею с фронта, вопреки всем решительно правилам войны? – сильно повысив голос, спрашивал он Кардигана.

– Я только подчинялся правилам воинской дисциплины, – отвечал Кардиган. – Мне было приказано это сделать графом Луканом.

– Так значит, это вы, вы, милорд, погубили нашу легкую бригаду? – обратился Раглан к Лукану.

– Но ведь я только передал лорду Кардигану ваш же категорический письменный приказ! – отвечал Лукан.

Меншиков, наблюдавший за ходом сражения издали, от Чоргуна, откуда далеко не все было для него ясно, появился на позициях, занятых Липранди, только тогда, когда артиллерийская пальба совершенно утихла, когда Виллебрандт, посланный к нему, в самых ярких красках изобразил ему успехи русских войск.

Виллебрандт всегда казался Меншикову наиболее пустым из его адъютантов. Между прочим, он почему-то отстаивал мнение, что крупные линейные корабли союзников ни за что не пройдут в узкие ворота Балаклавской бухты. Но он попал к нему в адъютанты по желанию сына царя, Константина, «августейшего начальника флота». Зная способность этого капитан-лейтенанта слишком увлекаться во время изложения даже совершенно мизерных событий, Меншиков тем более не вполне доверял ему теперь. Но оставалось бесспорным то, что 12-я дивизия не отступала, как армия на Алме, и одно это приходилось уже считать видным успехом.

В Меншикове рождалось странное для него самого чувство. Не то чтобы это была мелкая зависть к генералу Липранди, которому удалось то, чего не добился он: одержать успех над союзниками в открытом поле, – нет, конечно; все-таки, совершенно наперекор своему желанию казаться обрадованным победой, Меншиков придирчиво присматривался ко всему кругом, что видел, когда подъезжал к мосту через Черную речку.

На перевязочном пункте, приткнувшемся около обоза, ему показалось прежде всего слишком много раненых – гораздо больше, чем можно было предположить, судя по рассказам Виллебрандта. Поток раненых еще не прекратился, – кто шел сам, кого несли на руках. Больше было раненных в лицо и голову теми самыми саблями, по поводу которых так еще недавно, на балу в Бородинском полку, пытался он острить, что их полгода точили, перетачивали и дотачивали в разных городах Англии.

Мост через Черную ясно говорил о кровавой схватке на нем. Между кустов острой, как сабли, рыжей осоки барахталась, разбрызгивая грязь, и ревела, как бык, подстреленная кавалерийская лошадь... Какие-то колеса торчали из воды на мелководье...

Среди других трупов русских солдат бросился в глаза светлейшего раскинувшийся на пригорке труп знакомого ему унтер-офицера богатыря Зарудина.

Приостановив лошадь, он по-стариковски покачал головой, обращаясь укоризненно к Виллебрандту:

– Вот какого молодца потеряли мы, а вы мне говорите!..

– А разве из убитых англичан мало молодцов, ваша светлость? Мы сейчас будем ехать мимо них... Их несколько сот валяется, если не вся тысяча! – успокаивал его возбужденно Виллебрандт.

Действительно, дальше все гуще и гуще лежали трупы гусар, драгун и улан Кардигана, и все это был очень рослый, красивый, видимо, тщательно подобранный народ в красивых мундирах. Породистые крупные лошади, как раненые, так и здоровые, но потерявшие своих хозяев, бродили, опустив к земле шеи, около тел или сходились кучками и медленно кивали, может быть то же самое думая, что думал и старый светлейший над трупом бравого Зарудина.

Ожидавший приезда главнокомандующего, удачливый генерал Липранди подъехал к нему с готовым уже рапортом и, передавая бумажку, отчетливо перечислил все подвиги своего отряда в этот день: взяты редуты, одно турецкое знамя, одиннадцать орудий, шестьдесят патронных ящиков, турецкий лагерь, шанцевый инструмент и прочее; сосчитанные потери противника: сто семьдесят турок, убитых в штыковом бою при занятии первого редута; прочие потери противника, так же как и свои потери, приводятся в известность; в плен взято шестьдесят англичан, из них три офицера.

Несмотря на несомненно пережитые им кое-какие тревоги этого дня, Липранди имел, к удивлению Меншикова, свой обыкновенный вид человека, у которого, как у ротного фельдфебеля, в голове всегда и при любых обстоятельствах должно быть ясно и бывает ясно.

Безукоризненно фронтовой, сидел ли он на коне или был пешим, генерал этот почему-то был неприятен Меншикову, и ему все хотелось найти в нем какие-нибудь явные недостатки, а в том, что он отрапортовал так отчетливо по-строевому, – какую-нибудь подтасованность или просто фальшь.

После рапорта он пожал ему как мог крепко руку своей большой, но холодной рукой, и сказал, даже как будто растроганно:

– Благодарю вас, Павел Петрович, искренне благодарю вас!.. Вы очень, очень обрадуете государя этой победой... очень!

Он даже приветливо улыбнулся при этом, именно так, как, по его же собственному представлению, улыбался бы заждавшийся победы русского оружия над союзными силами сам Николай.

Но в то же время он переводил глаза с правильного, как будто тоже вытянутого во фронт, молодежавого лица Липранди на весьма некрасивое, даже несколько курносое, как-то уж очень подчеркнуто простонародное пожилое лицо Семякина, и ему – пока еще как-то неясно, почему именно, – хотелось, чтобы героем этого дня был не ясноголовый, проглотивший аршин Липранди, а сутуловатый и угловатый, не имевший никакой выправки Семякин.

– Шестьдесят англичан, вы говорите, сдались? Нераненых? – спросил он без задней мысли Липранди.

– Большой частью раненые, ваша светлость, а из офицеров один не англичанин даже, а сардинец, адъютант самого Раглана, – ответил Липранди.

– А-а! Вот как! Раглана!.. Вы мне его потом покажете... Однако наши гусары бежали от английских, как я это видел из Чоргуна.

И Меншиков сделал при этом свою привычную гримасу.

– Они их заманивали в ловушку, ваша светлость, – невозмутимо объяснил Липранди. – Не совсем умело сделали это и пострадали при этом, но что же делать: без этого не удалось бы так чисто уничтожить англичан.

Меншиков внимательно смотрел на него и думал, сделал ли он сам ошибку, что не доверил ему всех сил, какие были у него на Бельбеке, или не сделал.

Собственно, этот вопрос и мучил его с тех пор, как Виллебрандт примчался к нему вестником победы: не упустил ли он счастливого случая, который, может быть, и не повторится? Если так удачно захвачены редуты и деревня Комары в тылу англичан, то ведь, развивая этот успех при более крупных силах, может быть, можно было захватить в этот день и Кадык-Кой и Балаклаву? А если в это же время сделать вылазку большей частью сил севастопольского гарнизона, то, может быть, союзникам пришлось бы подумать и о посадке на свои суда, и была бы окончена Крымская война?

Когда Липранди обратился к нему: не пожелает ли он посмотреть редуты, отнятые у союзников, – Меншиков внешне с большой готовностью отозвался:

– Непременно, непременно посмотрю! – и помахал слегка плеточкой около правого глаза своего тихоходного коня, чтобы прибавил ради такого предлога рыси.

Но вопрос, овладевший им, продолжал торчать в нем и требовать ответа. Первый редут, с которого начали осмотр, удивил Меншикова высотой и крутизной холма, на котором был построен. Когда же узнал он от Липранди, что своих азовцев вел на приступ лично Семякин, князь нелицемерно расцвел, поздравляя угловатого командира бригады.

– Где вы получили образование? – спросил он Семякина.

– В Академии генерального штаба, ваша светлость, – несколько выпрямился сообразно с требованием момента Семякин.

– А-а!.. Вот видите, да... генерального штаба! Я почему-то именно так и думал, – пристально и благосклонно оглядывал его Меншиков.

Теперь ему показалось вдруг, что он нашел решение своего вопроса. Успех этого дня принадлежит совсем не щеголю Липранди, а вот этому генерал-майору такого невзрачного вида, но академику и имеющему большой уже военный опыт, которого, между прочим, не имел никто из его адъютантов.

Дело было в том, что в последние дни он начинал уже склоняться к мысли о главном штабе, так как был уже назначен главнокомандующим армий Крыма: звание, которого официально не имел раньше, но он затруднялся найти себе начальника штаба. И вдруг именно здесь, на холме Канробера, ему показалось бесспорным, что более подходящего на эту должность, чем бригадный генерал Семякин, он не найдет.

Он подробно расспросил Семякина о прежней службе и сознался самому себе, что несколько отстал от современных требований как вождь сухопутных армий, что помощь в этом



ему, конечно, нужна была, а перед ним был боевой генерал-майор, как оказалось, речистый, несмотря на свою угловатость, и, видимо, деловой.

Решение взять Семякина в начальники своего будущего штаба зрело в Меншикове, когда он поднимался на холм и входил в редут. Но вот он увидел груды тел убитых турок и солдат-азовцев, поморщился и сказал Липранди тоном приказа:

– Закопать надо!

– Если, ваша светлость, нас не вздумают ночью выбить отсюда, то завтра же закопаем, – ответил Липранди.

Этот ответ не понравился князю.

– Выбить?.. Как так выбить отсюда? – повысил он голос. – Нет-с, этих редуты уступить нельзя! Я прикажу придвинуть сюда к ночи бригаду драгун. Сам я тоже останусь здесь, в Чоргуне, где и на будущее время будет моя штаб-квартира... Нет, редуты этих мы никому не отдадим!.. Мы можем их не занимать сами: это другое дело, – но все трупы из них вынести и закопать непременно.

Поглядев еще раз на убитых, он спросил вдруг Семякина:

– А если бы в редутах сидели не турки, то как вы полагаете, были бы они взяты?

– Они потребовали бы тогда гораздо больше жертв с нашей стороны, но все-таки были бы взяты сегодня, – очень твердо ответил Семякин, и Меншиков вышел из редута, также очень твердо решив, что начальник его будущего главного штаба им счастливо найден, но счастливый случай захватить с боя Балаклаву потерял, потому что едва ли можно уж было теперь надеяться встретить на ответственных местах укрепленной линии союзников турок.

Он остался действительно ночевать в Чоргуне – в первый раз на целый месяц не на бивуаке, а в доме, какой его адъютанты нашли более удобным. А на другой день по его приказу из Севастополя произведена была вылазка двумя полками – Бутырским и Бородинским – на Сапун-гору. Полки эти должны были поддержать отряды Липранди и Жабокритского, чтобы выбить корпус Боске с Сапун-горы. Но вылазка не удалась, и оба полка вернулись в Севастополь с большими потерями. Боске же с этого дня начал усиленно укрепляться.

Однако отобрать редуты на холмах, которые Меншиков приказал на картах обозначить как «Семякины высоты», союзники тоже не покушались.

## VII

Казачи в Чоргуне продавали офицерам переловленных ими английских лошадей по дешевке: за три, за два империяла, иногда и за один. А когда до Англии дошла злая весть о гибели легкой конной бригады Кардигана, возмущению газет не было меры.

Спасшегося от смерти благодаря только быстроте бега своей лошади Кардигана обвиняли в том, что он позорно бросил свой отряд и бежал с поля сражения гораздо раньше, чем его кавалерия доскакала до русских орудий. Его отставили от командования легкой конной бригадой – впрочем, ему уж и командовать было нечем.

Лорд Лукан, травимый газетами, вынужден был просить, чтобы наряжена была комиссия для расследования его действий в этом злополучном для англичан сражении.

Правительство спешно снимало полки из гарнизонов Мальты, Корфу, Пирея, Дублина, Эдинбурга: их сажали на пароходы и отправляли в Крым, – но газеты не удовлетворялись этими мерами и писали, что это только капли на горячий камень. И это писали те же самые журналисты, которые за месяц до того уверяли английскую публику, что Севастополь – совершенно картонный город, и рассыплется при первых же залпах английских пушек.

Необычное волнение и в Париже вызвали депеши об успехе русских войск под Балаклавой. Как ни старался братец Наполеона граф Морни сохранить спокойствие на бирже, она отозвалась на это событие понижением курса почти на франк.

Издатели иллюстрированных журналов, заранее заготовившие рисунки Густава Доре и других известных тогда художников, изображающие величественный приступ французских войск, отчаянный штурм и взятие Севастополя, конфузливо спрятали эти иллюстрации в долгий ящик.

Султан Абдул-Меджид предал военному суду бежавшего из редутов со всем своим отрядом генерала Сулеймана-пашу. Под давлением английского посланника в Константинополе, лорда Радклифа, суд приговорил Сулеймана-пашу к смертной казни. «По неизреченному милосердию своему», султан смягчил этот приговор – разжаловал осужденного в рядовые на семь лет.

В Петербурге вестником победы под Балаклавой был Виллебрандт. Он явился в гатчинский дворец с донесением Меншикова рано утром, когда царь был еще в постели. Несколько дней он скакал на перекладных по осенне-звонким и осенне-грязным, но одинаково ухабистым дорогам без отдыха и без сколько-нибудь продолжительного сна, так как ухабы и кочки не давали заснуть во время езды, поминутно и жестоко встряхивая тележку.

Едва только успев сдать донесение светлейшего дежурному генералу для передачи царю, Виллебрандт свалился в мягкое кресло и уснул как убитый.

Николай поднялся, как всегда, рано. Донесение Меншикова о победе так обрадовало его, что он тут же захотел расспросить адъютанта светлейшего о подробностях боя, но Виллебрандта никто не мог добудиться.

Его трясли за плечи, всячески тормошили, щекотали за ушами и под мышками, наконец, стащили с кресла на пол, – он даже и не мычал в ответ, как это принято у крепко спящих, а продолжал спать и на полу.

– Я его разбуджу сейчас сам! – весело сказал Николай, вышедший на эту возню с мертвецки сонным адъютантом из своего кабинета.

Он наклонился, насколько позволил это ему громадный рост, и гаркнул в лицо спящему:

– Ваше благородие! Лошади поданы!

– А, лошади? Счас!

Виллебрандт вскочил и испуганно заморгал белесыми ресницами, разглядев перед собой самого царя. Проснулся он уже не капитан-лейтенантом, а полковником артиллерии и флигель-адъютантом. Он сделал скачок через чин, как до него сделал то же самое Сколков, очевидец Синопского боя, так же точно посланный к царю Меншиковым, а немного позже Сколкова восемнадцатилетний прапорщик Щеголев, отстаивавший с четырьмя мелкими орудиями Одессу от обстрела союзной эскадры и произведенный за это сразу в штабс-капитаны.

При личном докладе царю о сражении Виллебрандт дал полную волю своей живой фантазии. У него лейхтенбергцы и веймарцы не бросились в беспорядке толпою на мост под натиском англичан, а «встретили их по-хозяйски и тесали саблями без всякого милосердия!». У него командир сводных улан полковник Еропкин, имея саблю в ножнах, «так свистнул кулаком по башке одного англичанина, что тот кувыркнулся с лошади замертво и потом попал к нам в плен».

После такого доклада Николай расчувствованно расцеловал Виллебрандта и оставил во дворце обедать, как следует выспаться, а на другой день скакать снова в Севастополь с письмом Меншикову.

«Слава богу! Слава тебе и сподвижникам твоим, слава героям-богатырям нашим за прекрасное начало наступательных действий! – писал царь светлейшему. – Надеюсь на милость Божию, что начатое славно довершится так же.

Не менее счастливит меня геройская стойкость наших несравненных моряков, неустрашимых защитников Севастополя... Я счастлив, что, зная моих моряков-черноморцев с 1828 года, быв тогда очевидцем, что им никогда и ничего нет невозможного, был уверен, что эти несравненные молодцы вновь себя покажут, какими всегда были и на море и на суше. Вели им

сказать всем, что их старый знакомый, всегда их уважавший, ими гордится и всех отцовски благодарит как своих дорогих и любимых детей. Передай эти слова в приказе и флигель-адъютанту князю Голицыну вели объехать все экипажи с моим поклоном и благодарностью.

Ожидая, что все усилия обращены будут англичанами, чтоб снова овладеть утраченной позицией; кажется, это несомненно, но надеюсь и на храбрость войск, и на распорядительность Липранди, которого ты, вероятно, усилил еще прибывающими дивизиями, что неприятелю это намерение не даром обойдется.

Вероятно, дети мои прибудут еще вовремя, чтобы участвовать в готовящемся, – поручаю тебе их; надеюсь, что они окажутся достойными своего звания; вверяю их войскам в доказательство моей любви и доверенности; пусть их присутствие среди вас заменит меня.

Да хранит вас Господь великосердный!

Обнимаю тебя душевно; мой искренний привет всем. Липранди обними за меня за славное начало...»

Одновременно с этим письмом Николая императрица также писала Меншикову. В ее письме было только повторение просьбы ее, уже высказанной раньше и присланной с другим фельдъегерем, – беречь великих князей. Это было чисто материнское дополнение к воинственному письму ее мужа.

В те времена при петербургском дворе, как, впрочем, и во всей тогдашней Европе, процветал месмеризм, называвшийся по-русски столоверчением. Устойчиво верили в то, что можно вызывать души умерших и даже беседовать с ними на разные текущие темы, предполагая в них, как «бесплотных и вечных», безусловное знание настоящего и будущего тоже.

У иных это странное препровождение времени каким-то непостижимым образом связывалось с неплохим знанием точных наук, с чисто деловым складом мозга, с обширными практическими предприятиями и заботами, которыми они были заняты всю жизнь.

К этим последним принадлежал, между прочим, инженер-генерал Шильдер, учитель Тотлебена, умерший при осаде Силистрии от раны.

Этот старый сапер, отлично умевший делать укрепления разных профилей, проводить мины и контрмины и взрывать камуфлеты, очень любил вызывать дух Александра I и беседовать с ним часами.

Однако и во дворце Николая – правда, на половине императрицы, – тоже часто беспокоили усопшего в Таганроге «благословенного» вопросами о том, что готовит ближайшее будущее.

После того как отправлен был в обратный путь Виллебрандт – уже как флигель-адъютант и полковник, – на половине императрицы, беспокоившейся не столько об участи Севастополя, сколько о безопасности своих двух сыновей, Николая и Михаила, выехавших в это время от Горчакова к Меншикову, состоялось таинственное столоверчение, и вызывался по обыкновению дух Александра.

Предсказания его на ближайшее будущее были вполне успокоительны и благоприятны.

Даже когда отважились задать ему вопрос, когда и чем именно закончится война, он, отвечавший раньше на такие вопросы очень неохотно и уклончиво, ответил решительно, что окончится скоро и со славой для России.

Это предсказание немедленно было сообщено Николаю.

## VIII

Между тем Меншиков, – может быть, даже более, чем сам Николай, – был взбодрен неожиданным и дешево стоившим успехом Липранди.

По самым подробным спискам потери оказались небольшие, всего пятьсот пятьдесят человек, в то время как вдвое, если не втрое, больше потеряли союзники. А главное, они после этого дела значительно ослабили обстрел Севастополя, справедливо опасаясь за свой тыл.

Меншиков понимал, конечно, что Раглан и Канробер все усилия клали теперь на укрепление своего лагеря, особенно подходов к Балаклаве. Это он знал и из допросов перебежчиков, хотя к тому, что говорили перебежчики, всегда относился без особого доверия. Очень скрытный вообще – что было свойственно старому дипломату, – во всех вопросах, касавшихся его военных планов, он часто один, с ординарцем-казаком, подымался на лошаке на высокий холм около Чоргуна, в котором жил теперь, и отсюда подолгу всматривался во все окрестности и делал чертежи в записной книжке.

Лопухого лошака он теперь решительно предпочел лошади за его способность всходить на какую угодно крутизну и спускаться с нее, не проявляя при этом никакой излишней и вредной прыти и не спотыкаясь.

Остальные дивизии 4-го корпуса – 10-я и 11-я – подходили в эти дни частями и накапливались около Чоргуна. Перебежчики были и из русского лагеря к союзникам (большей частью поляки), и, конечно, они так же, как и шпионы из местных жителей, должны были передавать союзному командованию, что скопляются большие русские силы у Чоргуна. Впрочем, в телескопы это можно было разглядеть без особых затруднений и с Сапун-горы.

На это и надеялся Меншиков, это входило в его планы – дипломат тут приходил на помощь стратегу. Даже своих адъютантов не посвящал он в то, что обдумывалось им в одиночку, и одному из них, полковнику Панаеву, поручил подыскать для армии проводников из местных татар, хорошо знающих всю местность в направлении к Балаклаве.

Когда венский гофкригсрат спросил Суворова, каков его план действий против войск французов, тот, как известно, выложил на стол совершенно чистый лист бумаги, сказав при этом: «Вот мой план!.. Того, что задумано в моей голове, не должна знать даже моя шляпа».

Это правило великого воина – скрытность задуманных операций – было прекрасно усвоено Меншиковым. Но Суворов сам и выполнял свои планы, а не передоверял их другим исполнителям, – об этом Меншиков не то чтобы забывал, но опыт с Липранди в балаклавском деле давал ему основания думать несколько иначе.

Он был достаточно умен и опытен, чтобы понимать полную невозможность одному человеку управлять ходом большого сражения, в котором так много зависит от случайностей, а эти случайности все равно ни один стратег не в состоянии взвесить заранее, предусмотреть и предупредить.

Он считал, что самое важное – скопить необходимые для удара силы, выбрать направление для удара и подходящий момент, а все остальное поневоле придется возложить на командиров и солдат, причем изменить их состав, заменить одного другим не было даже в его возможностях, хотя он и был главнокомандующим.

Когда прочитал в письме к нему Горчакова, что посылается ему на помощь 4-й корпус с Данненбергом во главе, он сделал гримасу, долго не сходящую с его лица.

Данненберг – генерал от инфантерии – был известен ему только как начальник отряда, проигравший сражение с турками в эту же войну при Ольтенице, на Дунае. И он тогда же писал Горчакову, нельзя ли заменить Данненберга Лидерсом, но Горчаков ответил, что не имеет права перемещать командиров корпусов одного на место другого.

«Я не могу, – писал он, – освободить вас от Данненберга. Принимая выгоды от войск, вам посылаемых, примите и сопряженные с этим неудобства. К тому же он не сделал ничего предосудительного, за что можно бы было отнять у него корпус, но полезно иметь в виду, что его способности не таковы, чтобы можно было поручить ему отдельное командование».

Однако письмо это непростительно запоздало: Меншиков получил его как раз тогда, когда бой был уже закончен, – вечером 24-го.

Данненберг, таким образом, против желания Меншикова, непременно должен был командовать тем большим и решительным сражением, какое обдумывал он уединенно и скрытно.

Кроме него еще два новых для Меншикова генерал-лейтенанта – Соймонов и Павлов – приходили вместе со своими дивизиями, 10-й и 11-й, а между тем ни о ком из них светлейший почти ничего не знал.

Однако откладывать сражение было нельзя, по его мнению, ни на один день: ожидался приезд великих князей, и Меншиков во что бы то ни стало стремился дать союзникам генеральный бой до их приезда. Вместе с великими князьями должны были явиться и великие заботы о них, которые неминуемо должны были отнять и все его время, время многих нужных для дела людей.

А главное, Меншиков боялся, что по молодости и пылкости своей великие князья будут подвергать себя всем опасностям боя и что удержать их в приличном расстоянии от ядер и пуль будет нельзя.

Как старый царедворец, он без писем императрицы понимал, что для него будет гораздо лучше потерять сражение и половину армии, но сохранить невредимыми царевичей, чем даже при полной победе потерять хоть одного из них.

Так как было известно, что они приедут в Севастополь вечером 23 октября, то сражение было назначено им на утро этого дня.

Полки, подходя к Чоргуну, располагались бивуаками около в походных палатках или совсем под открытым небом.

Придя, солдаты отдыхали, не тревожимые службой. Кашевары варили борщи и каши, балалаечники тренькали на балалайках, песенники пели, плясуны плясали... А Меншиков, избегая смотров, но желая все-таки видеть своими глазами тех, кто через несколько дней будет по его приказу отстаивать штыками и Севастополь, и правильность его стратегических замыслов и расчетов, прохаживался иногда в одиночку между этими живописными и шумными группами.

В лицо не знал его почти никто из новых офицеров, не только солдат, и этим пользовался светлейший.

Так как ходил он в морской фуражке или в папахе и в накидке серого солдатского сукна, скрывавшей погоны, его никто и не встречал ретиво-раскатистыми криками «смир-но-о!». Это ему нравилось. Так он чувствовал себя гораздо свободнее, а солдаты, казалось, ничуть не утомленные шестисотверстным маршем, внушали ему надежды на успех.

Иногда он проезжал между солдатами на своем теперь неизменном лошаке и в таком виде казался им очень смешным.

Работы, которые производились союзными отрядами для укрепления своих позиций, ему хотелось наблюдать с возможно ближайших расстояний, поэтому он часто пробирался к передовым постам около редутов.

Эти посты были расставлены дальше чем на штуцерный выстрел от подобных же постов противника.

Однажды он был обеспокоен толпою турок в куртках верблюжьего сукна и в башлыках, которые заняли пост гораздо ближе к русской линии и сидели на земле на корточках без всяких предосторожностей, совершенно открыто.

Это его обеспокоило чрезвычайно. Он послал адъютанта, с которым выехал, подползти к ним поближе и хорошенько рассмотреть их в трубу.

Адъютант пополз, и «турки», завидев его, распластали огромные крылья и поднялись. Это были грифы, сидевшие на конской падали. В них не стреляли с постов отчасти потому, чтобы не беспокоить зря выстрелами своих, отчасти признавая за грифами очевидное право на их добычу, которая никому не нужна, кроме них, и только отравляет воздух.

Несколько позже грифов появилось здесь много воронов. Странно было видеть этих обычно одиноких птиц в больших стаях. Наконец, стаями же, больше по ночам, чем днем, начали набегать сюда из окрестностей бездомные собаки...

Спал главнокомандующий в облюбованном им домике в Чоргуне мало и плохо. Ел тоже мало. Был очень неразговорчив со своими адъютантами. Подготовка к новому сражению отнимала у него все время и занимала все его мысли.

## **Глава третья**

### **Канун битвы**

#### **I**

– Совершенно секретно, господа, – говорил Меншиков трем новым для него генералам – Данненбергу, Соймонову и Павлову, понижая при этом голос и оглядываясь на дверь. – Прежде всего – совершенно секретно! Я вам подробно изложу план ваших будущих действий, но, повторяю, он должен быть известен только вам, чтобы, господа, не стал известен неприятелю.

Тут он перевел пытливые, прощупывающие насквозь глаза с сухощавого и более приличного немецкому ученому, чем русскому генералу, лица Данненберга на открытое мясистое добротное лицо тамбовского помещика Соймонова и остановился на лице Павлова, нервном, восточного склада, очень внимательном лице.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.